П—89

№ 782
452

СОДЕРЖАНИЕ.

СТР.

Отдел I. Из истории революционного движения.

С. Е. Лион. От пропаганды к террору (Из одесских воспоминаний семидесятника) 9
М. Ф. Фроленко. И. М. Ковальский (Заметка по поводу статьи С. Лиона) 25
М. М. Чернавский. Ипполит Никитич Мышкин. (По воспоминаниям каторжанина 70—80 г.г.). С приложением списка политич. каторжан, содержавшихся в централах 30
Н. Тютчев. Заметки о воспоминаниях Б. В. Савинкова 49
М. И. Дрей. Заметка о рабочем движении в Одессе в 1880—1881 г.г. 73
Б. Г. Кубалов. Ветеран Народной Воли (М. П. Овчинников) . . . 78
Л. Гольденберг. Воспоминания (Продолжение) 106
Мелочи прошлого:
1) М. Бельских. Юношеские годы И. П. Мышкина 121
2) М. Попов. Заметка о Г. А. Лопатине 123
3) М. Эльцина-Зак. Из встреч с первомартовцами 126
4) Седой. Убийство капитана Гиждеу и Мария Калюжная (По архивным данным) 128
5) Неопубликованные письма. П. Ф. Якубовича. Сообщил В. В. Баитов 133

Отдел II. Каторга, тюрьма и ссылка.

Б. Федоров. Из истории Якутской ссылки 1870-х годов. Неизданные материалы (Окончание) 139
М. Кротов. Романовский протест в прокламациях якутских политических ссыльных 167
С. Мартыновский. На каторжном положении 181
Я. Белый. Воспоминания ссыльного 80-х годов (Продолжение) . . 212
В. Сушицкий. Попытка освобождения народовольца Новицкого из Саратовской тюрьмы 227

Отдел III. Лики отошедших.

С. Ф. Ковалик. Сергей Александрович Жебунев 243
М. Ф. Фроленко. Сергей Жебунев и Кобиев 248
А. П. Прибылева-Корба. I. А. В. Желваков. II. И. П. Емельянов. 249
Л. Фрейфельд. Светлой памяти Софьи Михайловны Гинсбург . . 259
А. Макаревский. Рабочий-народоволец П. Л. Антонов (Воспоминания) 272

947
К-29

ОБЩЕСТВО ПОЛИТИЧЕСКИХ КАТОРЖАН И ССЫЛЬНО-ПОСЕЛЕНЦЕВ

947
К-29

9

КАТОРГА И ССЫЛКА

ИСТОРИКО-РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ВЕСТНИК

№ 5 (12)

Тюменское Районное библиотечное хозяйство

46962

МОСКВА
1924

одной травин-

…полоса за по-
…ко стлалось
…выше видно
…ленной ча-
… чайки,
… беспо-
…Быстро
…краску,

…ло-
…е-

Луг на Отрубке стоял в солнечном…
Осадник Хоржиняк, в длинных са…
сорочке с засученными рукавами,
Тут же, на кучке травы, лежала в…
сияя отсветом вычищенного дула. К…
вый приклад прятался в траве, как п…
шийся зверь.

— Вам отдали луг? — хриплым…
спросил Иван Пискор, и все замерли…
дании.

Осадник помедлил некоторое врем…

— А в чем дело?

— Мы подавали заявление… — с…
продолжал Иван.

— Два злотых отдали за гербов…
ку… — прерывающимся писклывым…
…ставила вдова Паручиха.

Хоржиняк оттолкнул ногой пучок…
травы.

…не подавал никакого заявлен…
…к же так, без заявления? —…
…росил кто-то.

…знать, что за неплатеж…
…и присоединен к осадни…
…ня ведь нет травы, т…
…дома.

…ме, глаз… му…
…ди…
…ян…

28 x 5103

329

П81

ОБЩЕСТВО ПОЛИТИЧЕСКИХ КАТОРЖАН И ССЫЛЬНО-ПОСЕЛЕНЦЕВ

947
К-29
Тюменское Районное
Библиотечное хозяйство
К 84692 62

КАТОРГА И ССЫЛКА

ИСТОРИКО-РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ВЕСТНИК

КНИГА ДВЕНАДЦАТАЯ

ПОД ОБЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ

Вл. Виленского (Сибирякова)

МОСКВА
1924

Ленинградский Гублит № 21.059 23 л. Тираж 4.000 экз.

Типография «Коминтерн» Государственное Издательство
Екатерингофский пр., д. № 87.

стр.

Д. Д. Лейвин. Памяти Ростислава Андреевича Стеблин-Каменского 282
Письмо Р. А. Стеблин-Каменского к Е. Н. Вагнер-Дзвонкевич. Сообщил Жуковский-Жук. 287
О. Буланова. А. П. Буланов. 291
М. Поляков. Образы минувшего. I. Н. К. Сигида. II. П. А. Грабовский. III. В. А. Данилов. 297
И. Майнов. Софья Наумовна Доллер. 307
А. Ч. и З. Л. Синебрюхова. Е. М. Кржеминская. 312
И. И. Жуковский-Жук. Памяти Джорджа Кеннана. 314

Отдел IV. Библиография.

Б. Горев. В. Невский. Очерки по истории Р. К. П. Его же. Протоколы II съезда Р. С.-Д. Р. П. Точная перепечатка с Женевского изд. В. Кряжин. Из прошлого Баку. Мих. Осипов. В. Святловский. История профессионального движения в России. В. Алексеев. А. Барс. Пугачевщина на Урале. Его же. Л. Н. Каптерев. Дубинщина. Б. К. Историко-литературный сборник. В. Алексеев. Лев Зотов. Саратовская охранка. Н. Головина. Л. Г. Дейч. 16 лет в Сибири. Я. Д. Б. В. Залежский. «В стране поднадзорной». И. Бороздин. Ф. А. Вольенштейн. В дореволюционных судах. Г. Голосов. И. Вильчур. «Русские в Америке». Я. Д. Баум. Андржей Струг. Люди Подполья. М. М. Зарин. Красный город. С. Мирошенко. «Вестник Труда»—орган Всероссийск. Центр. Сов. проф. союзов. № 5—6 и 7. Е. Колосов. Якутская трагедия 22 марта 1889 г. А. Шестаков. М. Покровский. Очерки по истории революционного движения в России XIX и XX в. в. 323

Отдел V. Хроника.

Устав Всесоюзного Общества Политкаторжан и Сс-Поселенцев. Инструкция о порядке приема в члены Общества. Инструкция о порядке выдачи единого членского билета. У гроба В. И. Александровой-Натансон. 345
Письмо в редакцию. И. Ройтмана. 352
Список действительных членов общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев. 353

В книге помещены портреты: М. П. Овчинникова, А. Филюкова. С. И. Мартыновского, М. В. Калюжной (стр. 82—83), А. В. Желвакова, С. Л. Геллера, П. А. Антонова, Р. А. Стеблин-Каменского (стр. 150—151), А. П. Буланова, Н. К. Сигиды, С. Н. Доллер, Джорджа Кеннана (стр. 292—293).

Отдел I.

ИЗ ИСТОРИИ РЕВОЛЮЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ

37

От пропаганды к террору.

(Из одесских воспоминаний семидесятника).

1. Арест.

Это было 24 июля 1878 года в Одессе перед зданием Военно-Окружного Суда на Гулевой улице, в последний день суда над И. М. Ковальским и другими*), обвиняемыми в вооруженном сопротивлении жандармам при аресте, т.-е. по 179 ст. Военно-Судебных Постановлений, карающей смертной казнью; несметное количество публики в ожидании приговора; многочисленная полиция конная и пешая как то вяло просит публику разойтись, но не настаивает; публика скопляется к вечеру все более и более, — яблоку упасть негде; в этой толпе много членов нашего революционного кружка, в том числе и я. Главному подсудимому Ковальскому грозит, по слухам, смертная казнь; вот почему вся толпа и все мы с замиранием сердца ждем приговора; Военный Суд совещается уже много часов. Не хочется верить, не допускаем мысли, чтобы суд вынес, осмелился вынести смертный приговор... Кроме полиции пешей и конной, много казаков-башкир и вооруженной пехоты. А новая публика все прибывает и прибывает; тут и рабочие, и чернорабочие, и обыватели разных слоев, и интеллигенция: прибывающие спрашивают, в чем дело, кого и за что судят, — и, наэлектризованные, присоединяются к ожидающей толпе. Смерклось... Вдруг по толпе проносится резкий, ужасный, душу раздирающий и в то же время как бы вызывающий крик: «Ковальский присужден к смертной казни! Ковальский присужден к смертной казни!» Крик подхватывается, несется по всей площади и скоро сменяется истерическими возгласами: «Долой палачей! Долой смертную казнь! Убийцы! Мерзавцы!». Раздаются два-три выстрела, потом ружейный залп, Гулевая улица моментально пустеет, остается лишь на мостовой несколько раненых и убитых, — в числе последних двое молодых

---

*) Студзинский, Виташевский, Свитыч, Кленов, Виттен.

наших товарищей Потребицкий и Полтавский. Бросившись бежать с Гулевой улицы, многие из нас очутились на Приморском бульваре, где в то время была масса гуляющей публики; молодая 14-ти летняя Виктория Гуковская, бывшая тоже в числе демонстрантов на Гулевой улице и прибежавшая оттуда с другими на бульвар, не долго думая, обратилась к публике с речью, в которой, рассказав вкратце о процессе Ковальского и последовавшем смертном приговоре, убеждала публику выразить протест против палачей и убийц; в это время послышались крики, что приближаются казаки, и мы разбежались по домам... Гуковская заслуживает того, чтобы сказать здесь о ней несколько слов, она не принадлежала ни к одному из революционных кружков, это была экзальтированная девушка, почти ребенок, типичная нигилистка, обращавшая внимание чуть ли не всей Одессы своим эксцентричным костюмом *) и поведением, румяная, кровь с молоком, рыжая, стриженая, в громадной, широкополой, клеенчатой шляпе, искренняя, наивная, смелая. Она чрез несколько дней была арестована; ее, этого ребенка, продержали около года в Одесской тюрьме в строжайшем одиночном заключении и самым безжалостным образом сослали в административном порядке в Восточную Сибирь, в г. Красноярск, где она года через два, не выдержав тяжелой ссылки, покончила жизнь самоубийством...

На другой же день после описанного события начались в Одессе многочисленные аресты всех подозрительных. Я в то время состоял, уже второй год, в революционном кружке под кличкой «Кассьян», и только-что перешел на 3-й курс юридического факультета Одесского университета; мне шел 22-й год; жил я вполне легально, снимая по-студенчески отдельную комнату у какой-то хозяйки и существуя уроками английского языка и репетированием гимназических предметов; жандармам и полиции как будто не был известен. Прошло с неделю после кровавых событий на Гулевой улице; я спокойно шел по какой-то улице, одетый в простую летнюю блузу, в высоких сапогах, давно нестриженый, — вообще, вид был довольно «нигилистячий», — как это и подобало в то время нашему брату — революционеру... Как вдруг подходит ко мне городовой и просит следовать за ним, будучи вполне легальным и зная, что у меня на квартире все в порядке (в виду происходивших многочисленных арестов я ее привел в надлежащий «порядок»), — я довольно спокойно пошел за ним; возле какого-то подвального кабачка городовой попросил меня подождать, а сам вошел в кабачок, я стал ждать, пошел мелкий дождик, я все ждал, терпеливо

*) Она носила часто мужской пиджак. *Ред.*

ждал; правда, мелькала мысль: «не уйти ли, какого чорта в самом деле ждать!», и, конечно, если бы я мог предвидеть весь дальнейший ход событий, я бы не стал ждать... Минут через 20 вернулся мой городовой и вскоре привел меня в участок; каково же было мое удивление и негодование, когда он, передавая меня дежурному околоточному надзирателю, выпалил: «так-что, ваше благородие, по дороге он давал мне три рубля, чтобы я его отпустил, но я не взял», возмущенный такой наглостью, я рассказал околоточному, как я терпеливо мок на дожде, пока городовой прохлаждался в кабаке, но это нисколько не помешало величественному околоточному занести в протокол заявление своего городового в виде непреложного факта; после чего меня отвели в одиночную камеру при участке, до того наполненную мириадами клопов гигантской величины, что нельзя было ни сесть, ни лечь, ни есть, ни пить, — это было нечто кошмарное... Постепенно, час за часом, день за днем, и другие камеры начали наполняться вновь приводимыми политическими арестованными, и в числе их через несколько дней появился в соседней камере мой любимейший друг и товарищ по кружку, также студент-юрист моего же курса Григорий Фомичев, который, увидев меня через форточку, после вечерней поверки, когда все стихло, стал в самых резких выраженьях ругать демонстрацию и демонстрантов и меня в том числе: «Вооруженная демонстрация! вооруженное сопротивление! Что выдумали! ведь это безобразие! ведь это безумие, чистейшее мальчишество! И столько жертв! Чорт знает, что такое! И как ты мог принять в этом участие!» Прошло несколько месяцев и вот, по какой-то роковой иронии судьбы случилось, что этот самый Фомичев предстал пред Одесским Военно-Окружным Судом по обвинению не более и не менее, как... в организации этой самой демонстрации, этого самого вооруженного сопротивления, как главный зачинщик и предводитель, — он, который ничего о ней не знал и который кипел таким искренним негодованием и возмущением против этой «мальчишеской затеи», потому что Фомичев был и остался до конца мирным пропагандистом, — мучеником чистейшей воды начала 70-х годов, эпохи медовых месяцев «хождения в народ»; и только его горячее, полное искреннего, глубокого чувства последнее слово на суде, благородно-смелое и откровенное, в котором он клялся в своей непричастности к этой демонстрации, заявляя в то же время, что он враг существующего строя и всеми силами стремится и будет стремиться к его ниспровержению путем социальной революции, но единственно оружием мирной пропаганды, — только это последнее слово, тронув своею благородною искренностью даже каменные сердца военных судей, спасло Фомичева от виселицы: он был присужден «только» к бес-

срочным каторжным работам *). Фомичев был признан виновным и осужден потому, что нашелся один трусливый офицер из числа дежуривших во время суда над Ковальским, показавший под присягой на суде, что он **сам видел**, как, будто бы, после произнесения смертного приговора над Ковальским, Фомичев, бывший в зале суда в числе публики (публика пускалась по билетам и Фомичев таковой имел), махнул в раскрытое окно платком публике, собравшейся пред зданием суда, затем стремительно выбежал к толпе и стал подстрекать ее к вооруженной демонстрации... **). Дальнейшая трагическая участь Фомичева известна: по пути на каторгу, а именно в феврале 1880 года, он бежал из Иркутской тюрьмы через подкоп вместе с пятью другими: Попко, Волошенко, неизвестный раненый в голову (Иванченко), Тищенко и Яцевич, но вскоре они были пойманы, при чем Фомичев, водворенный на каторгу в Карийских рудниках, был прикован к тачке; чрез несколько лет, не выдержав всех ужасов каторжного режима, он угас навеки. Так погиб этот замечательный человек, пропагандист лаврист чистейшей воды, последний могикан мирного «хождения в народ», погиб от меча, хотя «меча не поднимал» ни на кого; беззаветно преданный своему народу, кристальной души, суровый, бесстрашный борец и нежнейший, сердечнейший товарищ, бесконечно любящий и бесконечно любимый... ***).

Но возвращусь к своему рассказу. Через несколько дней появились в коридоре, куда выходили наши камеры, два каких-то штатских субъекта, которые заглядывали в наши дверные окошечки, как бы что-то разглядывая... Я все еще недоумевал, как и почему я арестован, случайно ли или по чьему-либо доносу и указанию, в чем меня подозревают, имеются ли какие-либо улики... Дней через десять после моего ареста меня привезли к следователю Окружного Суда (к счастью, следствие по делу о «вооруженном восстании» вел обыкновенный следователь, а не жандармерия, как позднее) и поставили среди двух типичнейших уголовных арестантов, одетых в жалкое арестантское платье, тогда как я, попрежнему, был в том самом своем

*) А. Шехтер в своей статье «Революционная Одесса 1877—1878 гг.» («Каторга и Ссылка», № 6, стр. 49), рисуя вполне правдивый и яркий образ Фомичева, впала, однако, в жестокую ошибку, говоря, что «летом 78 года мы видим его (Фомичева) участником демонстрации по поводу суда над Ковальским».

**) Впоследствии общество офицеров, убедившись в лжесвидетельстве этого офицера, исключило его из своей среды.

***) Смотри о нем статью Анастасии Шехтер в 6-м номере журнала «Каторга и Ссылка», «Революционная Одесса 1877—1878 гг.»; Шехтер рисует верный и яркий духовный облик Фомичева: «Это был фанатик своей идеи. Живой, активный, горячий человек, он страстно проповедывал свои идеи и заражал ими слушателей»...

обыкновенном костюме, в котором меня арестовали на улице, затем ввели тех двух субъектов, которые заглядывали в наши камеры, и следователь торжественно спросил, узнают ли они среди предъявляемых им трех лиц кого-либо из участников вооруженной демонстрации? Они сейчас же ткнули пальцем по моему адресу и категорически заявили: «этот самый, он там был и кричал, мы сами видели его на Гулевой улице перед зданием Военно-Окружного Суда». Но я спокойно объяснил судебному следователю, что они вовсе там меня не видели, а узнают меня теперь по той простой причине, что видели в участке, когда заглядывали в наши камеры, где содержались все подозреваемые в участии в этой демонстрации; растерявшись и рассвирепев при таком неотразимом доводе, видимо подействовавшем на следователя, один из этих двух шпиков воскликнул с своеобразным пафосом: «да, действительно, мы заглядывали в камеры, но мы искали **наших** Дейча и Стефановича, — они люди такие здоровенные, высокие, широкоплечие, а это (указывая на меня) что?! тьфу!» и даже плюнул в знак презрения к моей сравнительной тщедушности... *). Таким образом, эта «улика» опознания рухнула... Прошло еще несколько дней моего сидения в отвратительном клоповнике при участке, я стал немного успокаиваться насчет своей дальнейшей участи. Недели через две после моего ареста, тот же судебный следователь с двумя городовыми на двух извозчиках повез меня на мою бывшую студенческую квартиру для производства в ней обыска; я был совершенно спокоен, так как, во-1-х, ничего подозрительного я в ней не оставил, даже ни одной запрещенной книги, ни одного подозрительного письма, а во-2-х, все товарищи по кружку были прекрасно осведомлены как об аресте моем и многих других товарищей, так и о продолжающейся охоте за всеми неблагонадежными и подозрительными... Каково же было мое удивление и прямо ужас, когда, войдя в мою комнату в сопровождении моей почтенной свиты, я увидел там нигилистяче одетых, таких террористов и нелегальных, как Попко (убивший незадолго до того в Киеве жандармского адъютанта Гейкинга), Волошенко и еще двух-трех не менее выдающихся и ценных революционеров, каждый из них, как я хорошо знал, был вооружен револьвером и кинжалом, все они жили нелегально по подложным паспортам и усиленно разыскивались; стоило лишь копнуть их немного и... страшно даже подумать, что произошло бы...

---

*) Дейч, Стефанович и Бохановский, как известно, бежали бесследно из Киевской тюрьмы 25 мая 1878 года. История их замечательно искусного и остроумного побега рассказана подробно, между прочим, в «Воспоминаниях» Владимира Дебагория-Мокриевича (3-е издание, стр. 352—359).

Этот случай наглядно рисует вообще тогдашнюю халатность наших революционных кружков, благодаря которой было столько провалов и гибло преждевременно столько драгоценнейших революционных сил... Покончив вскоре затем с безрезультатным обыском, следователь очень вежливо раскланялся со всеми и препроводил меня обратно в участок, а чрез несколько дней следователь вызвал меня опять в свою камеру и прочел свое постановление о том, что мне предъявляется обвинение по ст. 263 Уложения о Наказаниях, т.-е. в вооруженном восстании против местных властей, карающем каторжными работами от 15 до 20 лет, и что мерой пресечения он избрал для меня заключение в тюрьме, — и немедленно отправил меня в одесский тюремный замок.

2. Одесский кружок.

Я вступил в подпольную организацию одесского революционного кружка весною 1877 года, будучи студентом 2-го курса Одесского университета по юридическому факультету (этот факультет я избрал в свое время по склонности не к юриспруденции, а к тем общественным наукам, которые там преподавались, — политическая экономия, государствоведение, история политических учений, статистика, история и философия права и т. п.). Революционные кружки того времени переживали полосу кризиса и перелома, тяжкого и мучительного, вызванного сильнейшим разочарованием того «хождения в народ», которое дало слишком мало реальных результатов, а между тем стоило бесчисленного количества жертв, томившихся годами в одиночных тюрьмах и изнывавших в каторге и ссылке, умиравших там или сходивших с ума...«Мирная пропаганда», от которой сторонники и теоретики «хождения в народ» ждали чуть ли не моментальной революции, потерпела жестокий крах и была дискредитирована в глазах большинства революционно-настроенной интеллигенции; среди последней уже нащупывались и намечались, хотя и нерешительно, почти инстинктивно, более практические, реальные пути революционной борьбы, и наиболее решительные стали указывать все настойчивее и энергичнее на необходимость более активной борьбы с ненавистным «существующим строем», охраняемым свирепо-азиатским самодержавием: если за одну передачу или даже простое хранение какой-нибудь «Хитрой механики» гноят по нескольку лет в предварительном заключении и затем заживо замуровывают в центральных каторжных тюрьмах, то не целесообразнее ли, бросив путь безответного христианского мученичества, начать борьбу с этим строем с оружием в руках, — путем террора? Не будет ли террор гораздо более внушительным орудием пропаганды социальной революции в глазах народных масс, чем раздача нелегальных книжек

и, вообще, словесная «мирная пропаганда»? Всколыхнуть эти забитые вековым гнетом инертные массы от непробудного сна и рабства можно только пропагандой действий, активным террором, который в то же время покажет им, что правительство, охраняющее «существующий строй», вовсе не так уж сильно, и тем самым зажжет революционный дух, таящийся и тлеющий в недрах народных масс... Одним из первых, если не первым, пионером теории террора в одесских революционных кружках был Иван Мартынович Ковальский, который из личного тяжелого опыта вынес глубокое, горькое разочарование от «хождения в народ»; в это время я и познакомился с ним, и он произвел на меня сильное впечатление. Ему тогда было лет 30, если не больше; высокий, сутулый, широкоплечий, с длинными волосами, в высоких нечищеных порыжевших сапогах, одетый по-нигилистиче, с вечным пледом на плечах, с большущим кинжалом за поясом и неуклюжим громадным револьвером в кармане брюк, он, слегка картавя и шепелявя, громил своими сарказмами и насмешливо-ядовитой иронией «хождение в народ» и всякого рода мирную пропаганду, настаивая на необходимости пропаганды действием, с оружием в руках; он доказывал, что нельзя спокойно позволять арестовывать себя подобно кротким агнцам, а следует при всяком обыске и аресте оказывать вооруженное сопротивление; у него была даже целая рукопись, довольно объемистая, посвященная им специально этому предмету, которую, помню, он как-то читал при мне. Но одесские революционные кружки смотрели на Ковальского несколько иронически, считая его разочарованным не в меру пессимистом-теоретиком, который едва ли применит когда-либо на практике свою проповедь вооруженного сопротивления и активного террора... Но мы жестоко ошибались: не прошло и нескольких месяцев, как 30 января 1878 года Ковальский, вместе с несколькими другими членами одесского кружка *), оказал геройское вооруженное сопротивление жандармам при аресте и тем самым не только доказал на деле всю глубокую искренность своего нового террористического мировоззрения, но был одним из пионеров того великого, крутого и неизбежного поворота русского революционного движения, который с необходимостью железной логики привел к цареубийству 1-го марта 1881 года.

В июне или июле 1877 года я вместе с одним из товарищей был послан в деревню для пропаганды среди крестьян, верст за 30 от Одессы. Захватив с собою несколько экземпляров «Хитрой механики», «Сказки о четырех братьях» и т. п., мы ранним утром выехали из Одессы на простой крестьянской телеге, запряженной одной клячей, которой правил я; едва мы

---

*) См. выше.

выехали за городскую черту, как с нами поровнялся конный полицейский и ни с того, ни с сего хвать меня кнутом по лицу, да еще выругался по матерному; пришлось стерпеть; это было несколько неблагоприятным предзнаменованием и, в то же время, довольно наглядной иллюстрацией «мирной пропаганды» и хождения в народ при тогдашней российской обстановке... В деревне я пробыл с месяц, работая поденно на табачной плантации какого-то помещика с восхода солнца и до заката под знойными лучами почти тропического южного солнца за 20 копеек в день и попутно ведя с батраками и крестьянами разговоры о налогах, о земле, о всяких притеснениях и т. п.; они, конечно, жаловались на непомерную тяжесть налогов, на малоземелье, на притеснения помещиков, на произвол полиции и т. д., соглашались со мною, что этого не должно быть, но были в то же время настолько сдержанны, что говорить с ними о восстании, о царе, о революции не приходилось. Впрочем, наученные горьким опытом наших предшественников-пионеров «хождения в народ», мы на этот раз и не возлагали особых надежд на нашу попытку; наша поездка была предпринята скорее для личного ознакомления с деревенской жизнью и бытом, а отчасти для проверки основательности того разочарования от пропаганды в деревне, которое в то время (вторая половина 70-х годов) было господствующим настроением революционных кружков. Вывод был ясен и неумолим: летучее, так сказать, хождение в народ не может дать результатов; революционная пропаганда в деревне может и должна вестись и будет плодотворной при том условии, если пропагандисту удастся устроиться прочно, оседло в деревне в виде волостного писаря, сельского учителя, фельдшера, акушерки, владельца мельничного предприятия, деревенской лавочки, кузнечной или сапожной мастерской и т. п. Стали усердно учиться разным ремеслам, потребным в деревенской обстановке; помню, как и я, забросив на время всякие науки, в течение нескольких месяцев с утра и до вечера учился тачать сапоги в мастерской одного распропагандированного мелкого сапожника... Увлечение такими, так сказать, революционными поселками было еще так велико, что даже Г. В Плеханов, будущий великий основоположник революционного марксизма, решил с целью пропаганды основаться в деревне в качестве народного учителя, и только счастливая случайность (его не приняли, так как местный исправник заподозрил его политическую благонадежность) спасла Плеханова и русский революционный марксизм от этого рискованного и бесплодного эксперимента. Сторонники деревенской «оседлой пропаганды» упускали из виду, что деревня была ограждена таким кордоном полицейской охраны и добровольных шпионов (поп, кулак и т. п.), крестьянская масса была до такой степени инертна и, в то же

№ 962

время, недоверчиво-подозрительна, смешивая революционеров, готовых за нее жизнь положить, с «господами», мечтающими вернуть крепостное право и поэтому именно «бунтующими» против «царя-освободителя», что строить планы и надежды «социальной революции» на системе оседлых очагов революционной пропаганды мало чем отличалось от попытки построить здание на песке... С такими-то деревенскими впечатлениями я вернулся в Одессу; здесь мы решили повести революционную пропаганду среди городских рабочих. Мне удалось вскоре завязать близкие сношения с несколькими типографскими и заводскими рабочими, пропаганда среди них пошла очень успешно; они с жадностью слушали революционную критику существующего строя, не только экономического, но и политического; чтобы лучше и сознательнее уразуметь и усвоить всю «хитрую механику» эксплуатации человека человеком и ознакомиться с историей революционных движений, они стали просить меня заняться с ними основательнее и подробнее. Образовалась группа рабочих человек из 20-ти; я начал с Лассаля, ознакомил их с его блестящими агитационными и судебными речами, с его теорией «железного закона» заработной платы в области экономики и «реального соотношения сил» в области политики, с его планом «производительных ассоциаций» и всеобщего избирательного права как средствами мирного социалистического переворота, затем я переходил к описанию положения пролетариата в Западной Европе, в особенности в Германии и Франции, излагал исторический ход развития пролетарского движения с его важнейшими этапами, отмечаемыми Великой Французской Революцией, революцией 1848 года, июньскими днями 1848 года в Париже, восстанием Парижской Коммуны 1871 года, в самой популярной, конечно, форме я знакомил их с сущностью учения Карла Маркса о капитале и прибавочной стоимости, преподав основные понятия о прибыли, ренте и заработной плате и т. д. В то время учение Карла Маркса только что стало восходить на русском горизонте, — первый русский перевод его «Капитала» появился лишь в 1872 году и был еще мало распространен; усвоить его так прочно, чтобы в популярной форме изложить рабочим, стоило мне не мало труда. Рабочие слушали с величайшим интересом, с жадностью и наслаждением, несмотря на то, что наши беседы (а это были именно беседы, а не лекции) происходили по вечерам, по окончании их утомительного рабочего дня и после небольшого отдыха. Я, конечно, уже забросил свой университет и университетские занятия, продолжая для замаскировки числиться студентом, и весь ушел в революционную работу. Моей настоящей фамилии рабочие не знали, — я был для них просто «Касьян» (моя кличка в революционных кружках), — предосторожность, как оказалось впоследствии, далеко

не лишняя, так как предатели нашлись и среди рабочих (напр., Василий Меркулов *); по всей вероятности, этого «Касьяна», Панютин с Тотлебеном не отказали бы себе в удовольствии повесить, но они не могли поймать его, хотя усиленно разыскивали и хотя Лион сидел уже в Одесской тюрьме... Группа рабочих постепенно увеличивалась и сделалась настолько развитой и сознательной, что когда я в марте 1878 года предложил им по поводу седьмой годовщины восстания Парижской Коммуны послать приветственный адрес парижским рабочим, то предложение это было подхвачено с восторгом, адрес был тут же мною средактирован, единогласно одобрен и послан немедленно через Швейцарию, где и был вскоре напечатан в революционной газете «Община» № 3-4; об этом адресе упоминает Тун в своей «Истории революционного движения в России» (стр. 87, изд. 1917 г.). «Позднее, в 1878 году рабочий союз в Одессе праздновал даже годовщину Парижской Коммуны, бывшим членам которой был послан адрес». Вот текст этого адреса.

«Одесские рабочие, собравшись на сходку в достопамятный день провозглашения Парижской Коммуны, шлют вам, французские рабочие, свой пламенный братский привет. Мы работаем на своей родине для той же великой цели, для достижения которой погибло в 1871 г. на баррикадах Парижа столько ваших братьев, сестер, отцов, сыновей, дочерей и друзей. Мы трепетно ждем наступления той исторической минуты, когда и мы сможем ринуться в бой за права трудящихся против эксплоататоров, за торжество умственной, нравственной и экономической свободы. А пока у нас идет глухая, неравная борьба, в которой гибнут медленной мучительной смертью в тюрьмах и каторге наши лучшие люди, эти мужественные застрельщики святого дела народного освобождения. Вы правы были, когда в 1871 г. говорили, что сражаетесь за все человечество: да, интересы всех народов так тесно связаны между собою, что торжество народа в одной стране немедленно повлечет за собою торжество народа во всем мире. Французские рабочие! Когда наступит время и вы снова поднимете красное знамя социальной революции, то пусть одушевляет вас то же самое героическое мужество и горячая любовь к человечеству, какие одушевляли борцов в 1871 г., но пусть для блага всего человечества победа увенчает на этот раз ваши многолетние труды». Из этого рабочего кружка вышли вскоре некоторые выдающиеся революционные борцы, припоминаю братьев Игната и Ивана Ивичевичей, которые в феврале 1879 года оказали вместе с

*) Василий Меркулов судился в 1882 году по процессу 20-ти народовольцев вместе с Фроленко, Якимовой Кобозевой, Морозовым, Лангансом, Сухановым, Колоткевичем, Баранниковым и друг., выдавал всех и за это был освобожден от наказания *Ред.*

другими героическое вооруженное сопротивление жандармам при аресте в Киеве; вот как описывает это знаменательное и весьма характерное для того времени событие Дебагорий-Мокриевич в своих известных «Воспоминаниях» (стр. 376 — 378).

«К Ивичевичу собралась довольно большая компания с целью провести вечер. Тут были Брандтнер, Позен, Стеблин-Каменский, Армфельдт Наталья, брат Ивана Ивичевича — Игнат и другие... В передней послышался шум, отворилась дверь и показались жандармы. «Здесь живет г. Дебагорий-Мокриевич?» спросил Судейкин (жандармский адъютант). «Никакого Дебагорий-Мокриевича здесь нет», ответил Ивичевич. Тогда Судейкин захотел узнать, кто были они все. Но Иван Ивичевич вместо ответа схватил револьвер, который у него всегда лежал заряженный под подушкой, и подошел к дверям. За Иваном приблизился к дверям брат его Игнат и Брандтнер, тоже оба вооруженные револьверами. Кто сделал первый выстрел — неизвестно; на суде вопрос этот остался неразъясненным, так как никто не помнил. Жандармы, как потом показывал на следствии сам Судейкин, были в панцырях. Раздался залп с одной и с другой стороны. Унтерофицер Казанкин, стоявший впереди, упал у самых дверей, пуля попала ему в лоб, несколько выше носа, он был убит сразу. Судейкина ударила одна пуля в грудь, но панцырь спас его. В комнате, возле самой двери, упал раненый Иван Ивичевич, а за ним упал и брат его Игнат. Брандтнер продолжал стрелять, хотя тоже получил рану. Кто еще стрелял из революционеров — на следствии не было выяснено. Известно лишь, что в то время как одни стреляли, другие уничтожали и жгли компрометирующие бумаги. «Ножами их, братцы!» кричал лежавший на полу Иван Ивичевич. Оба брата Ивичевичи были смертельно ранены и не могли уже больше подняться с земли...».

Кроме рабочих, мне приходилось еще заниматься с группой штундистов, живших в предместьи Одессы «Молдаванка»; это были менее развитые чернорабочие, ломовые извозчики, штукатуры, плотники; они были малограмотные, но развитее обыкновенных крестьян и сильно увлекались недавно возникшим тогда на юге России сектантским учением штундистов, придерживавшихся «чистого» евангельского учения, отрицая иконы, попов и всякие обрядности православной церкви; секта эта образовалась отчасти под влиянием знакомства с немцами-колонистами, отчасти в связи с теми течениями народной жизни, которые вообще питали церковный раскол. Наша задача по отношению к штундистам, как к элементу сознательно-протестующему, состояла в дальнейшем их умственном развитии, чтобы сделать их сознательными сторонниками социальной революции; с этой целью я знакомил их с учением Маркса, читал им агитационные речи Лассаля, «Хитрую Механику», «Сказку о 4

братьях» и т. п. Мы обратили особенное внимание на штундистов и усиленно занялись их пропагандой и поддержанием связи с ними, так как, с легкой руки известного исследователя и историка русского раскольничьего движения Иванова, всецело разделяли распространенное тогда среди революционной интеллигенции убеждение, что раскольники представляют собою сознательную оппозиционную, анти-правительственную силу, численностью около 10 миллионов человек, готовую чуть ли не каждую минуту встать во главе социальной революции. Это оказалось впоследствии глубокой ошибкой, обманным миражем, объясняемым с одной стороны слабым знакомством с историей и с народным бытом, а с другой стороны тем обстоятельством, что марксизм в то время еще только начинал проникать в сознание революционной интеллигенции и мы еще не понимали, что революционному социализму не по пути с религией, что они противоположны друг другу как огонь и вода, что раскол — это такая же заставшая, окаменевшая форма религии, как и все разновидности христианской религии, — православие, католичество, протестантство и т. п. Но тогда многие из нас, если не большинство, считали евангелие, Христа и евангельских апостолов чуть ли не предтечами революционного социализма; мирные пропагандисты, как лавристы, так и землевольцы, видели в них чуть ли не свой идеал и образец и шли на каторгу за хранение экземпляра какой-нибудь «Хитрой Механики», как на завидное, почти желанное мученичество, цитаты из евангелия играли тогда большую роль в речах мирных пропагандистов и в нелегальных книжках... Как бы то ни было, но из штундистов, сколько помню, нам удалось выработать несколько сознательных, полезных революционеров.

Наряду с этим, не мало времени посвящалось мною пропагандистской работе среди учащейся молодежи, представлявшей весьма благодарный, восприимчивый материал. Эта молодежь в общем была настроена не только оппозиционно, но и революционно, она нуждалась лишь в указании ей определенного революционного пути, определенной программы действий, обоснованной теоретически и научно, она вся была — самоотверженный, безудержный порыв на благо трудящихся масс, на освобождение их от экономического и политического гнета и рабства; она беззаветно готова была всякую минуту идти за этот народ на какие угодно жертвы, страдания, лишения и на мученическую смерть, но... у нее не было достаточных знаний — она не знала не только Западной Европы, но и своей собственной страны, — ни истории, ни современного положения, — знакомство с ними было слишком поверхностное, столь же слабое представление имела она о научном социализме, о законах политической экономии и т. п. Она знала только, что народ страдает, что он

истекает кровью, что необходимо немедленно помочь ему и что единственный способ помочь это — социальная революция. И самым жгучим вопросом, волновавшим умы молодежи, было «как же произойдет эта социальная революция? и что будет на другой день после социальной революции? И как все это устроится?» В этой плоскости и велись мои беседы с молодежью, которую я старался ознакомить с главнейшими этапами западноевропейского пролетарского движения, с блестящею агитационно-организаторскою деятельностью немецкого трибуна Лассаля, с учением Карла Маркса, с основными положениями политической экономии по Миллю — Чернышевскому, с революционными программами Лаврова (журнал «Вперед»), Бакунина («Государственность и Анархия»), Ткачева («Набат»). С современным положением крестьянской массы я знакомил молодежь по нашумевшей тогда замечательной книжке проф. Янсона «Опыт статистического исследования о крестьянских наделах и платежах», эта на вид скромная и сухая книжка своими цифровыми данными открыла нам глаза на всю ужасающую фальшь совершенного Александром II «освобождения» крестьян от... земли и на причины невыносимо тяжелого экономического положения крестьянских масс, их быстро-прогрессирующего обнищания и обезземеления, столь же быстрого роста фабрично-заводского пролетариата и все учащающихся неурожаев и случаев голода, завершившихся всем памятным Самарским голодом 1873 года. Кстати сказать, потрясающие рассказы и газетные корреспонденции об этом голоде врезались неизгладимо на много лет в умы и сердца молодежи и сыграли громадную роль в ее революционизировании; то сознание «неоплатного долга» пред народом, которое так мучительно и неотступно терзало русскую интеллигенцию 70-х годов и было одним из главных толчков к великому «хождению в народ», — это прямо-болезненное сознание достигло своего апогея под влиянием кошмарных картин Самарского голода. Как, в самом деле, можно спокойно жить, спокойно учиться, даже есть и спать в то время, когда целые волости и уезды, сотни тысяч наших ближних, мужчин, женщин и детей умирают буквально от голода? Преступно медлить, преступно учиться, — не до науки и не до университетских дипломов теперь! Скорей в народ! скорей поднять его на кровавое, беспощадное восстание, на социальную революцию, чтобы раз навсегда покончить с вековыми страданиями и с вековым рабством!.. Но, увы! это массовое стихийно-революционное «движение в народ» лучшей беззаветнейшей части нашей интеллигенции уже к 1875 году разбилось о гранитную, глухую стену непроницаемой индифферентности и тупого фатализма тех самых крестьянских масс, во имя спасения которых, не задумываясь, шла на гибель с энтузиазмом вся эта молодежь; беспощадно, с чисто-азиатской

свирепостью расправилась с нею самодержавно-царская жандармерия... Тогда наступило отрезвление, и мы начали понимать, что без науки, одним «нутром» ничего не поделаешь: нужно знать законы истории и политической экономии, нужно основательно изучить прошлое и настоящее трудовых масс наших и западно-европейских, нужна твердая, глубоко-обдуманная, научно-обоснованная программа, идеология и тактика, словом, нужны знания, знания и знания... но, в то же время, надо спешить, народ страдает, он ждать не может, он истекает кровью... И мы, революционная интеллигенция, стали учиться и учить, держа в одной руке Маркса или Чернышевского, в другой «Хитрую Механику» или Бакунина, а потом — в одной руке Лассаля, а в другой — револьвер и кинжал... Неудивительно, что мы работали чуть не по 24 часа в сутки и что когда попадали, наконец, в тюрьму, то первое время смотрели на это чуть ли не как на желанный отдых; в тюрьме же мы пополняли наш скудный арсенал научных знаний, — тюрьма была для нас своеобразным курортом и университетом, потому что спокойно отдыхать и заниматься науками — эту роскошь мы считали себя вправе дозволить себе только... в тюрьме, когда наши руки и ноги были связаны и нам больше ничего не оставалось делать. Такова была самодержавная российская действительность, пожиравшая ежедневно, подобно ненасытному кровавому Молоху, лучшие силы интеллигенции, а впоследствии и пролетариата, и крестьянства...

Вот почему не малую долю деятельности революционных кружков составляла организация правильных сношений с политическими заключенными в виде регулярной конспиративной переписки с ними и материальной их поддержки. В Одесской тюрьме у нас был подкупленный надзиратель, который за небольшую плату (около 12 рублей в месяц) доставлял нам письма от наших товарищей-пленников самодержавия и наши письма к ним; письма эти были шифрованные и, кроме того, писались невидимыми химическими чернилами на чрезвычайно-тонкой «конспиративной» бумаге, представляя в малом объеме большое содержание, и заключали в себе взаимные подробнейшие информации, инструкции, размышления, советы, указания, иногда планы побега и т. п. Перепиской этой заведывал специально кто-либо из членов кружка, который один только и имел дело с этим надзирателем, встречаясь с ним в определенные дни и часы в условленном месте, раза три в неделю. Эта переписка, помимо своей пользы и даже необходимости для революционной деятельности, была в то же время истинной отрадой для узников, изнывавших в бездействии и тоске в одиночных мрачных камерах Одесской тюрьмы, для которых неизвестность о событиях внешнего мира и о деятельности своих товарищей, остав-

шихся на свободе, была бы наиболее нестерпимым из всех выпавших на их долю страданий и мучений... Я оценил это должным образом, когда сам очутился в одиночке Одесской тюрьмы и почувствовал известное удовлетворение от сознания, что до ареста я в течение нескольких месяцев заведывал сношениями с заключенными.

Вспоминая теперь те могучие факторы, которые в эпоху «хождения в народ» толкали молодежь на революционный путь, я должен отметить, что большую роль сыграли в этом отношении политические процессы, инсценированные «либеральным» царским правительством с большою помпою и... с большою смелостью. Первым по времени большим политическим процессом, происходившим в обстановке нового «гласнаго» суда с вылощенными «либеральными» прокурорами, с якобы гарантиями защиты, был процесс нечаевский; газеты того времени печатали подробнейшие стенографические отчеты, с жадностью читавшиеся и производившие впечатление, прямо противоположное тому, на которое рассчитывало правительство «царя-освободителя»: смелые речи обвиняемых, которые беспощадно разоблачали ублюдочную реформу «освобождения» крестьян и рисовали бедственное положение трудящихся масс, производили громадное впечатление, сорвали либеральную маску с Александра II и нанесли сильный удар тому ореолу гуманности и западно-европейского либерализма, которым еще был окружен этот, в сущности, типичный представитель жестокой Романовской династии... Но нечаевский процесс был только прелюдией; кроме того, некоторые отрицательные стороны нечаевской организации и деятельности этого кружка, иерархическое генеральство, пускание пыли в глаза своим же товарищам и убийство заподозренного в измене члена кружка Иванова, произвели неблагоприятное впечатление в широких кругах. Гораздо сильнейшее впечатление произвел большой процесс московских пропагандистов, так называемый «процесс 50-ти», Бардиной, Любатович, Лидии Фигнер, Джабадари, Петра Алексеева, трех сестер Субботиных, Бети Каминской и др.; кристальные образы этих самоотверженных героев «хождения в народ» из среды изнеженной интеллигенции, поступавших на фабрики в качестве простых чернорабочих и работавших там по 12 часов в сутки, чтобы, заручившись доверием рабочих и работниц, вести среди них революционную пропаганду, и их смелые речи на суде производили потрясающее впечатление, особенно в связи с свирепым приговором, в виде каторжных работ, который новый «гласный суд» царских чиновников не поколебался обрушить на эти мученические головы.

Значительно ранее «процесса 50-ти», а именно летом 1874 г. разбирался процесс «долгушинский», — первый в сущности про-

цесс мирных пропагандистов, пошедших в народ, в деревни, с несколькими прокламациями в руках, чтобы поднять крестьянские массы на всенародное восстание против помещиков и господ. Участники процесса были приговорены к каторжным работам, которые они отбывали сначала в Ново-Белгородской центральной тюрьме, Харьковской губернии, «централке», где они содержались в строжайшем одиночном заключении и где двое из них погибли *); эту «централку» Долгушин, еще отбывая каторгу, описал в своей брошюре «Заживо-погребенные»; могу засвидетельствовать по личному впечатлению и наблюдению, что чтение этой замечательной и жуткой брошюры, в которой широкие круги впервые ознакомились с кошмарными ужасами ново-изобретенных «централок», производило на нас всех потрясающее впечатление и сыграло не малую роль в деле изменения тактики революционных кружков в сторону террористической деятельности взамен мирной пропаганды.

Но самое сильное впечатление произвел грандиозный процесс 193-х, разбиравшийся в Петербурге в «Особом Присутствии Правительствующего Сената» в течение 4-х месяцев (с октября 1877 по январь 1878 года). Процесс этот представлял собою крайне драматический эпилог «хождения в народ», начатого в 1874 году и пресеченного вскоре грандиозными массовыми арестами. Обвиняемые сумели талантливо и героически, не щадя себя, использовать скамью подсудимых, как всенародную трибуну для пропаганды своих социалистических и революционных идей, потрясая своими страстными речами иерихонские стены экономического и политического рабства царской России. Эти неслыханные дотоле речи литографировались подпольно во множестве экземпляров и с жадностью читались в широких кругах «общества» и особенно в революционных кружках, и производили колоссальное впечатление.

Не меньшее впечатление, чем речи подсудимых на суде, производили рассказы выпущенных из тюремных одиночек до суда, привлекавшихся по процессу 193-х, об ужасах многолетнего одиночного заключения, помню, например, рассказ об этом Ланганса, приезжавшего в Одессу вскоре после своего освобождения из тюрьмы и вскоре вновь вступившего на тернистый путь подпольного революционера, несмотря на зачатки туберкулеза, полученного в результате многолетнего тюремного заключения **).

С. Е. Лион.

(***Продолжение в следующем номере***).

*) Плотников сошел с ума; Гамов умер.

**) В 1882 году он судился по процессу 20-ти народовольцев, был присужден к каторге, но через год умер в Алексеевском равелине.

И. М. Ковальский.

Заметка по поводу статьи С. Е. Лиона.

Тов. Лион в своей статье, говоря о Ковальском, замечает, что к Ковальскому в Одессе относились иронически будто за его пессимизм. Это, по-моему, не вполне верно. Правда, к Ковальскому отношение было несколько насмешливое, но улыбку вызывал не пессимизм его, а скорее оптимизм, его непрактичность, то, что он мало обращал внимания на окружающую действительность и строил теоретические планы из головы. Он был как бы не от мира сего, имел много странностей, как человек, живущий исключительно духовной жизнью.

В 1875 году мне вместе с Дробязгиным одно время пришлось жить с Ковальским в Николаеве. Мы тогда вели дело с штундистами, и Ковальский, как знаток св. писания, являлся нашим главным представителем. Но дело пока не в этом, а в том, что, живя вместе, а потом встречаясь в Одессе в 76—77 г.г., я никогда не замечал у него ни малейшего пессимизма. Правда, мы оставили Николаев, бросили возиться там с деревенскими штундистами, Дробязгин и я ушли в бунтарство, Ковальский переехал в Одессу. Но когда я встретился с Ковальским в конце 76 г. в Одессе, я снова видел, что он продолжает дело с городскими одесскими штундистами и еще подыскал себе какого-то пожилого интеллигента из немцев в помощники. При том надо заметить, что мы, хотя и отошли от тех прибугских (т.-е. живущих по Бугу) деревенских штундистов, приезжавших к нам в Николаев, но это вовсе еще не означало, что мы махнули и вообще рукой на деревню. Нет. Ничего подобного. Бросив одних, мы начали строить планы насчет других, и только недостаток денег затянул выполнение этого нового набега на деревню, а затем подвернулось уже готовое якобы восстание в Киевской губ., куда я и ушел с Дробязгиным. Ковальский же с Юрковским и Златопольским переехал в Одессу, где, как только мы встретились, он первый заговорил: «Ну, что ж! Одно не выгорело, не беда! Будем искать другого». Он в это время подобрал себе небольшую кучку молодежи и читал ей лекции и вел беседы о революции, а в то же время не прекращал сношений ни со штундистами, ни с одесскими радикалами, пытаясь последних даже объединить на устройстве одной общей революционной кассы, а потом типографии. Во всем этом я также не вижу пессимизма. Напротив. Правда, относительно кассы дело не пошло, но тут сказалась его непрактичность. Все одесские радикалы находились в довольно-таки плохом денежном состоянии. Ковальский знал это и по себе, а между тем пред-

лагал составить революционную кассу из процентных взносов со своих заработков, каковыми пользовались два-три человека в размере 25 — 30 р. в месяц, и вот из них-то он и хотел устроить банк. Идея о банке у него засела еще в Николаеве, там у нас после нашей возни со штундистами осталась небольшая рыжая свинка. Куда ее деть? Недолго думая, Ковальский уговаривает штундистов устроить свой банк и в основу его, как фундамент, положить эту свинку, отдав ее на кормление одной семье. Свинку берут, подкармливают и спокойно потом скушивают — банк рушится. Но Ковальский в Одессе снова поднимает вопрос о кассе и, конечно, проваливается. Тогда он прибегает к новому способу. Ему сообщили или он как-то узнал, что некоторые из либералов согласны ежемесячно давать по сколько-то нашему брату. Ковальский достает приличный, хотя ему и не по плечу, костюм и самым серьезным образом обходит их. Сколько он собрал таким путем, не знаю, но я видел, как его с улыбкой провожали его же друзья, когда он отправлялся в обход. Конечно, иногда над ним подтрунивали: Дробязгин, например, целую шуточную поэму написал, когда мы жили в Николаеве, но все-таки это не мешало относиться к нему с должным уважением, как к человеку, глубоко и серьезно относящемуся к революции. Трунить же над ним было не трудно. Он к этому подавал массу поводов. Одна его фигура невольно заставляла улыбнуться. Широкополая шляпа, пиджачок с чужого плеча, короткие брюки, грязное белье из полотна, ботинки и широко шагающая, как-то ныряющая, неуклюжая фигура с рыжей бородой невольно бросались в глаза. А к этому, когда почти все наши стали носить при себе револьвер, обзавелся им и он, помещая его сзади под пиджаком на поясе. По выпуклости на заду сразу, конечно, можно было понять в чем дело, и это давало многим повод подтрунивать на его счет. А он полагал, что очень хорошо законспирировал свой револьвер. В Николаеве мы не всегда могли иметь обед в кухмистерской. Питались чаем с хлебом, творогом, яйцами. Ковальский, покупая творог, всегда выбирал самый ослизлый, испорченный, яица тоже. Мы с Дробязгиным не могли есть, а он ел, как видно было, с большим удовольствием.

В университете ему показалось, что у него завелись глисты, и тогда он придумывает для лечения ходить к морю и пить там морскую воду. Помогло! — говорил.

Вышел у нас как-то сахар. Остался лишь один кусок пиленый. Купить нового — нет денег. «Бросим жребий» — предлагаем мы с Дробязгиным. «Нет, говорит Ковальский, дайте мне третью часть». Даем ему треть. Он берет, колет этот кусочек еще на несколько малюсеньких кусочков и начинает, опуская их по одному в стакан, пить, якобы в накладку. Неужели чувствует

хоть какую-либо сладость, спрашиваем. «Даже очень сладко» — отвечает серьезно.

Штундисты ежегодно устраивают тайную вечерь, где старший брат играет роль спасителя, другие апостолов, и тут происходит преломление хлебов и прочее. Николаевцы захотели посмотреть на это. Штундисты изъявили согласие. Ковальский взялся быть путеводителем. Вечерь должна была происходить в одной деревне, где Ковальский бывал раньше. Поехали, вышли на какой-то железно-дорожной станции. Пошли в деревню, шли, шли по полям — нет! не туда! Повернули опять, шли, шли — нет! не туда! Снова надо поворачивать, но тут на выручку явились жандармы и вместо деревни предложили всем вернуться в Николаев, а там до выяснения дела засадили попросту в тюрьму. Это было в 1874 г., когда шла ловля радикалов, отправившихся в народ. Жандармы со станции, увидев, что какие-то молодые люди и молодые барышни чего-то блуждают по полям, решили их попытать, кто они и чего тут ходят. У наших же один оказался нелегальным, увидав жандармов, он бросился на утек; у других же не оказалось документов. Вот их потому-то и заперли. Ковальский совсем не умел ориентироваться в мало знакомой местности и это доказал еще один раз. Ему поручили в Николаеве спрятать тючок с нелегальной литературой. Он пошел в ближайший лесок, зарыл тючок в землю и ушел. Вскоре тюк понадобился. Пошли с Ковальским за ним, но тючка не могли найти. Ковальский не нашел того места, где зарыл. Вот ряд таких промахов с его стороны, а с другой стороны все его странности и были причиной, что на него и на его некоторые предложения смотрели несколько с усмешкой, хотя его уменье логически мыслить и говорить всегда ценили. Что же касается до того, что будто он первый стал проводить мысль о необходимости защищаться при арестах, то это опять-таки не точно. В 1875 г., когда мы возились с мирными штундистами, никто еще не помышлял заводить оружие и вопрос о сопротивлении не поднимался еще — это было летом. Но вот в Герцеговине, Черногории поднимается восстание, наши заграничные товарищи, как Кравчинский, Клеменц и др. шлют воззвание в Россию и присылают даже нарочно в Николаев Аксельрода звать меня и других на помощь восставшим. Но в это же время в России поднимается Чигиринская история. Решая, куда лучше направить свои силы, большинство из нас в Николаеве предпочло остаться в России, лишь один выразил согласие отправиться на Балканы, но не поехал; и только позднее Дзвонкевич, Волошенко и Бальзам отправились спасать братушек (Бальзам был убит, Волошенко и Дзвонкевич вернулись), то же сделали еще несколько человек, но главное то, что как только проявилось бунтарское направление, люди стали запасаться оружием, принялись за

обучение стрельбе. Юрковский в Николаеве, пристроив кузнечный мех (осень 75 г. и зима 76 г.) в обыкновенной хате, выковывает с Бальзамом ножи-кинжалы. Попко с компанией, ведя сношения с контрабандистами и перевозя нелегальщину и типографию, тоже вооружается, — словом вопрос об оружии выдвигается на первое место, а рядом с этим, конечно, является не у одного кого-либо, а у всех мысль о том, что раз у тебя есть в кармане оружие, то при аресте ты его должен будешь пустить в ход, хотя бы и без ясно формулированного решения непременно оказать сопротивление. Я помню такой случай. Мне приходилось несколько раз ходить из Николаева в Одессу и обратно, и вот когда наконец у меня оказался в кармане маленький, плохонький револьвер, данный мне на дорогу Мокриевичем, и я пошел из Одессы в Николаев, то мне казалось, что я иду не один, а с каким-то другом, товарищем, который не даст уж меня в обиду, наверно защитит, поэтому я чувствовал себя удивительно хорошо, покойно, между тем никто из нас тогда и не поднимал вопроса о самозащите. Это было ясно, конечно, для каждого, кто брал в руки оружие и начинал его носить с собой постоянно. Ковальский потом в своих беседах, конечно, мог говорить и на тему о необходимости самозащиты и относительно отпора жандармам, но сказать, что ему первому пришла эта мысль — нельзя. Время и наступление новой стадии в способах революционной борьбы — создало и выдвинуло на первое место эту мысль, а не отдельные лица. Не то Юрковский скажет — я первый, Киевские бунтари скажут — нет, это мы, Попко в свою очередь уже в наше же время говорил, что они, т.-е. он и его компания, лучше умеют выбирать револьвер, а потому, мол, и раньше у них явилась мысль о самозащите. Брат Владимира Мокриевича Иван еще за границей стал обучаться стрельбе и, когда вернулся в Россию, попадал, говорят, в ворону, — и таких наверно много было, так что говорить о первенстве нет нужды, и притом это не столь уж важно. Ковальский характерен не этим, а тем, что в нем сказался революционер того времени, ищущий и нащупывающий новые пути, новые способы к осуществлению революции, бросая одно, он брался за другое, потом за третье. Его остановили на устройстве типографии, не будь этого, он пошел бы дальше и, я уверен, не остановился бы, не пошел вспять, а также, как и другие, прошел бы последовательно и через другие этапы.

Логически думать он умел и обладал довольно выдающимся умом, мог толково передавать другим свои мысли и из него наверное бы получился выдающийся теоретик-писатель (в Николаеве он работал при местной газете), но непроизвольный, чисто автоматический толчок жандарма, сбив его с ног, лишил революцию видного деятеля. И что досаднее всего — жандарм

этот был из сочувствующих. Их целую команду распропагандировал Щербина, сидевший в заключении вместо тюрьмы у них в казармах. Это был наилучший из жандармов, и его поставили у выхода из дверей на улице, когда производили обыск в типографии. Ковальский, выстрелив и напугав вошедших с обыском, воспользовался переполохом, — это ведь была первая у нас подобная встреча жандармов — выскочил и бросился на утек, но когда он выбегал уже на улицу, тут жандарм совершенно инстинктивно, не думая, подставил ему ногу. Ковальский упал и был арестован. Жандарм только после этого сообразил, что он наделал, и в тот же день ночью, прибежав к Златопольскому, раскаивался и хотел даже бросить службу, бежать за границу, но его уговорили остаться, и потом он носил письма заключенных, но Ковальский погиб.

М. Фроленко.

Ипполит Никитич Мышкин *)

(По воспоминаниям каторжанина 70—80 годов).

Мценская пересыльная политическая тюрьма.

I.

Когда я начинаю вспоминать подробности жизни в Мценской тюрьме, мне особенно часто приходится испытывать чувство горькой досады, какое испытывает человек, разбирающийся в старом архиве, попорченном пожаром или сильно изъеденном сыростью и плесенью, когда рядом с хорошо сохранившимися, но неинтересными страницами, ему попадаются места, судя по контексту, очень интересные, но совсем стершиеся. Такие пробелы, свидетельствующие о беспорядке в кладовой моей памяти, встречаются во всех периодах моей жизни, но особенно они многочисленны именно в период пребывания в Мценской тюрьме. Отчетливо вспоминаются ненужные и никому не интересные пустяки и совершенно стерлись очень важные и нужные мне в настоящее время подробности, которые, быть может, могли бы ярко осветить прошлое.

Хорошо, например, помню, что чуть ли не на второй же день по прибытии в Мценск, «Порфиша» (Порфирий Иванович Войнаральский, избранный нашим старостой), приняв бразды правления в свои руки, за обедом угостил нас великолепным рассольником с почками и гусиными потрохами. После центральной кашицы, густо приправленной мышиным пометом, вышеназванный кулинарный деликатес произвел на меня такое неизгладимое впечатление, что сорок лет спустя, в 1920 году, когда я жил в Саратове, — и прескверно жил (хуже, чем впроголодь), — этот проклятый рассольник с почками и гусиными потрохами преследовал меня неотступно, грезился мне и на яву, и во сне.

В то же время я не могу припомнить очень важного для меня в данный момент обстоятельства: я не знаю, сразу ли по прибытии в Мценскую тюрьму я попал с Мышкиным в одну

*) Начало воспоминаний М. М. Чернавского было помещено в № 1 (8) «Каторги и Ссылки». *Ред.*

камеру, в которой и прожил с ним до отправки в Сибирь в мае 1881 года, или это произошло после каких-нибудь изменений в размещении партии по камерам; не знаю также, произошло ли такое размещение совершенно случайно или тут была чья-либо инициатива. Тюремная администрация в размещение по камерам не вмешивалась. Как бы то ни было, я совершенно уверен, что если я и жил в Мценске в другой камере и с другими товарищами, то это могло быть только в первую, много в две первые недели мценского сидения. Камера, в которой мы помещались, была небольшая на две койки. Были камеры одиночки, куда переселялись заключенные, искавшие уединения. Были камеры на три-четыре человека и была одна большая камера, в которой поселились 8 или 9 человек. Здесь поместились Долгушин, Дмоховский, Сажин, Войнаральский, Ковалик, Рогачев, Свитыч и др. Группировки заключенных по камерам изредка менялись, но большая камера, мне кажется, сконструировалась сразу, и состав ее как будто не менялся. Ни днем, ни ночью камеры не запирались, сообщение между ними было совершенно свободное.

Хорошо помню, что первое время пребывания в Мценске, я испытывал нечто вроде разочарования. Мои ожидания не оправдались. Мне казалось, что Мышкин должен был выдвинуться на первый план, что именно вокруг него должна была группироваться вся партия. На деле же вышло, что он оставался и даже, как будто, сам держался в тени... На первый же план выдвинулась большая камера. Она задавала тон всей тюрьме. Мало-по-малу это чувство разочарования рассеялось. С одной стороны, я скоро убедился, что в большой камере подобрались, пожалуй, самые крупные величины партии, которым так и по штату полагается задавать тон. С другой, присмотревшись к Мышкину, я увидел, что это человек совсем особенный, что ему вполне естественно держаться особняком. Но и стоя как будто в стороне от товарищей, Мышкин в то же время жил общей со всей тюрьмой жизнью, был невероятно чуток ко всему, вокруг него происходящему, и готов был во всякую минуту вмешаться там, где, по его мнению, было необходимо или где требовались его помощь и содействие. Кажется, в один из первых же месяцев мценского сидения Мышкин, вернувшись с прогулки во дворе тюрьмы, где он поговорил немного с Быдариным, сказал: «Быдарин плохо настроен, кажется, чувствует себя одиноким, сильно хандрит... надо бы как-нибудь помочь ему». Я принял это за намек, что мне следует попытаться сойтись с Быдариным. Попробовал, но у меня ничего не вышло. Мышкин же довольно скоро стал почти постоянным собеседником Быдарина и на прогулке, и в столовой (камера, служившая нам общей столовой и местом собраний). Мало-по-малу Быдарин, повидимому, успо-

конился, втянулся в общую жизнь, а Мышкин тогда прекратил свое преимущественное к нему внимание.

Позвольте мне не описывать подробно условий нашего существования в Мценской тюрьме и нашего быта. Это уже сделано в общем довольно правильно Н. А. Виташевским в его статье, носящей характерное и по-моему весьма удачное заглавие: «В Мценской гостинице» («Былое», 1907 г., № 4). Должен впрочем тут же исправить одну ошибку, вводящую читателей в заблуждение. Рассказывая о сумасшедшем Соколовском, Виташевский упорно называет его Александровым. Александров с ума не сходил. В Иркутской тюрьме он будет играть главную роль в инциденте между Мышкиным и Короленко. По одному заглавию названной статьи читатель может уже судить, что условия нашей жизни были самые льготные, в сущности совсем не тюремные. Смотритель на многое происходящее в тюрьме смотрел сквозь пальцы, иногда даже сам разрешая много такого, чего по инструкции не имел права разрешать. Установилось как бы взаимное бережение. Смотритель оберегал заключенных, а заключенные берегли смотрителя, стараясь при наездах в тюрьму орловских жандармов не обнаружить как-нибудь в их присутствии слишком льготных порядков тюрьмы. Должен заметить, что Мышкин в «лояльности» отношений к тюремной администрации нисколько не отставал от своих товарищей. В общем жизнь протекала тихо и мирно.

Мелкие инциденты изредка бывали. Случалось иногда, что кто-нибудь из заключенных снервничает, у него произойдет ничтожная стычка с надзирателем или с солдатами во дворе тюрьмы на прогулке. Инциденты очень быстро ликвидировались. С Мышкиным таких инцидентов ни разу не было. Он был одним из самых «благонамеренных» заключенных. В. Г. Короленко, на основании рассказов иркутских жандармов о том, сколько беспокойств и неприятностей Мышкин причинял им в пути, когда они везли его после ареста в Якутской области в Россию, составил свое представление о Мышкине, как о человеке, который с представителями власти был не в состоянии относиться просто как к людям, который, так сказать по долгу службы, непременно должен был вступать с администрацией в резкие столкновения. Такой взгляд на Мышкина опровергается его поведением в Мценской тюрьме. Смею утверждать, что присутствие Мышкина в Мценске было совершенно незаметно для тюремной администрации.

Неприложима в данном случае и теория «Старика», утверждающего в своей статье, что Мышкин затихал только тогда, когда подготовлял побег. В Мценске Мышкин никакого побега не подготовлял. Правда, можно догадываться, что он заранее обдумывал побег из Сибири. Повидимому, уже тогда у него

роились планы побега через Америку. По прибытии в Мценск Мышкин принялся за английский язык. Изучение велось по тюремному методу, к какому прибегают большинство заключенных при изучении иностранного языка. Перелистовав очень бегло какой-нибудь коротенький учебник, берут книгу на изучаемом языке и, вооружившись соответствующим словарем, начинают ее читать. Вначале дело идет чрезвычайно медленно, потому что за каждым словом приходится лазить в словарь, но по мере накопления знакомых слов чтение мало-по-малу ускоряется. Узнав, что я два года в централе изучал английский язык, Мышкин, чтобы не обращаться постоянно к словарю, стал прибегать к моей помощи. Он подсаживался ко мне с романом Диккенса, спрашивал значение незнакомых ему слов и тут же на полях книги записывал своими стенографическими знаками. Поставит какой-нибудь странный крючок и значение слова записано, поставит более сложную привулю — записана целая фраза. Обработав таким образом целую страницу, Мышкин отходил и самостоятельно штудировал ее, пока вся страница не становилась ему совершенно ясной в лексическом, этимологическом и синтаксическом отношениях и пока он не почувствует, что в состоянии написать ее точный и правильный перевод. Тогда он переходил к следующей странице. Когда встречались трудные для понимания места, проникнутые характерным как для самого Диккенса, так и для английского языка мягким юмором, мы переводили общими силами. Мышкин работал с обычною своею порывистою страстностью, с какою делал все, за что бы ни взялся. Успехи он делал поразительно быстрые. К концу мценского сидения мой запас английских слов совершенно истощился, Мышкин далеко меня опередил, и я уже не мог заменить ему словаря. Интересно, что он часто угадывал, какое из известных ему слов я не знаю, и в веселую минуту пользовался этим, чтобы меня подразнить. Подойдет с лукаво-серьезным лицом и, показывая в английской книжке какое-нибудь слово, спросит:

— Как по-русски?

— Не знаю.

— Ага, а я знаю — и скажет значение слова.

— Да ведь я стал уже забывать, давно не читаю по-английски. Вы же знаете, что я теперь изучаю русский народ по Глебу Успенскому, и знаете, что это по вашей же вине.

— Ладно, ладно... Не знаете — и баста. А почему — это уж дело десятое.

II.

Занятия английским языком повели к одному маленькому инциденту, имевшему для меня большое значение. Помню, раз-

говор начался с особенностей английского языка и Диккенсовского юмора, потом перешли к характеру английского народа. Нам казалось, что ходячее мнение о холодности, чопорности и черствости всей английской нации вообще едва ли можно признать правильным. Самой характерной чертой произведений Диккенса приходится признать чувство нежной, чуткой симпатии ко всем слабым, несчастным, придавленным жизнью и чувство вражды и отвращения к черствости и чопорности. А ведь Диккенс был в свое время самым любимым писателем у себя на родине. От английского народа незаметно перешли к характеру русского народа. Не знаю, какая муха меня укусила, но только я, обычно сдержанный и робкий, дал полную волю своему языку и начал подробно излагать свое мнение о русском народе, стал расписывать, какой он распрекрасный и сколько в нем солидных задатков будущего социалистического строя, коснулся, конечно, общинного строя русской деревни. Мышкин слушал очень внимательно, но когда я, споткнувшись на какой-то чересчур высокопарной фразе, замолчал, он положил мне на плечо руку и мягко произнес:

— Какой вы еще романтик!

С облаков я сразу шлепнулся на землю. Кажется, я ничего не ответил на его восклицание, но должно быть выражение моего лица было достаточно красноречиво. Ипполит Никитич тотчас же сообразил, какую глубокую занозу он нечаянно всадил мне в самое сердце. Пробовал как-нибудь затушевать, смягчить свой отзыв. Да, где уж там! «Слово не воробей, выскочит — не поймаешь».

Романтик!

А я-то думал... а я-то ведь хотел, чтобы меня считали р е а л и с т о м, да еще к р и т и ч е с к и м ы с л я щ и м, в том стиле, в каком этот тип обрисован в известной статье Д. И. Писарева. Кажется мне, что я вообще излишним самомнением не страдал, а в первые годы каторги я относился к самому себе особенно критически. Сидение в одиночке естественно располагало к самоуглублению, а у меня оно очень часто переходило в жестокое самоугрызение. Хорошо помню, что там, в одиночке, даже в минуты сравнительно спокойного настроения я называл себя «скороспелым» или «недозрелым» революционером, так как находил, что мое революционное мировоззрение недостаточно разработано и продумано, между различными его частями еще нет строгой согласованности. А когда я был почему-либо особенно зол на себя, я лишал себя звания революционера и тогда давал себе неуклюже длинную кличку «наскоро испеченный государственный преступник». Но даже и в те времена наибольшего пессимизма и жесточайшего самоугрызения мне казалось, что у меня все-таки есть твердая почва под ногами, есть проч-

ный фундамент, на котором я со временем, когда разберусь в своем внутреннем хозяйстве, построю будущую революционную деятельность. Мне казалось, что я, хотя и плохонький, недозрелый, а все-таки **народник**, т.-е. выражаясь в высоком стиле — носитель народных идеалов и защитник народных интересов, что идеалы народа совпадают с моими идеалами. Мне казалось, что стоит только мне научиться народному языку, т.-е. излагать свои мысли так, чтобы народ меня легко понимал, и я сумею столковаться с любым дядей Пахомом, и он с радостью будет согласовать свои личные интересы, т.-е. интересы своего огорода, конюшни и коровника, с интересами не только его однодеревенцев, но и всех граждан земли русской, и с такою же радостью согласится на необходимые перестройки русского государства вплоть до учреждения социалистической республики; стоит только своевременно и умело напомнить ему о древне-русском вечевом укладе и т. п. Все шло в моих представлениях гладко и просто. Так мне казалось.

И вот сын солдата и крепостной крестьянки, человек вышедший из народа, собственными силами пробивший себе дорогу, прошедший суровую жизненную школу, знающий народ несомненно гораздо лучше меня, человек, на которого я уже привык смотреть снизу-вверх, — называет мои представления о народе романтизмом, т. е. — в вольном переводе на русский язык — просто ребячеством. Сюрприз получился довольно-таки тяжеловесный. Приходилось основательно перебрать свои «фундаменты».

В тот злополучный день, когда было произнесено слово «романтик», разговор, конечно, оборвался и не возобновлялся, но позднее, когда я немножко оправился от своих ушибов, я сам возобновил разговор о русском народе, и Мышкин, видя, что теперь уже можно свободно высказываться по этому вопросу, не уклонялся от разговоров. В моем умственном обиходе появилось подразделение писателей народников на две категории: романтиков и реалистов. Началось изучение русского народа по Глебу Успенскому. Эта полу-шутка имела под собой фактическое основание. Сейчас в моей памяти всплывает чья-то фраза (вероятно, она принадлежит Мышкину): «Глеб Успенский смело, не страшась никаких идейных рогаток, ищет подлинной, неприкрашенной правды о народе». Я принялся за перечитывание прежних произведений Глеба Успенского и с жадностью набрасывался на его новые очерки, появлявшиеся в «Отечественных Записках». В Мценске мы имели возможность получать новые журналы и газеты. Мало-по-малу под влиянием разговоров и чтения прежнее ребяческое представление о народе, как о чем-то окончательно сложившемся, устойчивом, почти неизменном, о возможности при умелом подходе в какой-нибудь

год хорошо с ним ознакомиться, изучить так, как можно изучить любой многотомный ученый трактат, рассеялось и отпало. Взамен появилось сознание, что народ — это прежде всего колоссально большая величина, которую трудно охватить, что это нечто живое, подвижное, изменчивое в своих настроениях, навыках и стремлениях, что изучение народа живого — работа бесконечная, что изучить до конца, исчерпывающе, можно только народ мертвый, сошедший с исторической арены, что характеристики народа, даваемые писателями-романтиками, как бы заманчиво и красиво они ни были изложены, — не больше, как набор ходячих, захватанных фраз. В самых произведениях Глеба Успенского, в которых я раньше замечал только диссонанс между идеалами писателя и самодержавной российской действительностью, теперь для меня стали ясно вырисовываться диссонансы между теми же идеалами и некоторыми действительными чертами народного характера, как они проявляются в обрисованных автором типах. В памяти встает жуткое впечатление, оставленное чтением ряда очерков, носивших общее заглавие «Власть земли». Эти очерки показали, какие поистине звериные лики могут возникать в среде «народа-богоносца», под тяжелым давлением экономических факторов.

Должен оговориться. Возможно, что только что изложенная, слишком схематичная формулировка изменений в моем «народничестве», происшедших под влиянием разговоров с Мышкиным, страдает некоторым анахронизмом. Возможно, что она не вполне совпадает с Мышкинским влиянием. В частности, очерки «Власть земли» Глеба Успенского, на которые я ссылаюсь, появились, кажется, позднее 1881 г. Но я все-таки оставляю эту формулировку в том виде, как она написалась, так как она достаточно точно указывает тенденцию, направление, в каком стали изменяться мои взгляды под влиянием Мышкина. Разговоров было много, но все они основательно забыты. Осталось их общее впечатление, да запечатлелись кое-где отрывочные мысли Мышкина, почему-либо производившие на меня в то время особенно сильное впечатление. Хорошо помню его резкие выпады против всякой идеализации народа. По его мнению, она особенно опасна тем, что, приписывая кому-нибудь или чему-либо мнимые достоинства, мы часто не замечаем действительных весьма крупных качеств объекта идеализации, что и практически [illegible]. Задача народника-реалиста очень трудная: он должен видеть все недостатки народа и знать его достоинства, [illegible] не переоценивая. Как древние греки приписывали богам свои собственные добродетели и пороки, так, по его мнению, и русская интеллигенция наделяет народ своими добродетелями и пороками и очень удивляется вытекающим [illegible], тогда Мышкин был настроен

особенно сумрачно, он сказал: «А все-таки главная беда не в том, что мы не знаем народа, а в том, что народ не знает нас, да кажется, пока что и... не хочет нас знать». На вопрос, что же нужно делать, чтобы он заинтересовался нами, Мышкин ответил: «нужны жертвы». Эта мысль о необходимости и пользе жертв повторялась часто. Как-то в разговоре о «Народной Воле» Мышкин сказал: «Народовольцы делают два очень больших, одинаково нужных и одинаково полезных дела: во-первых, они наносят правительству такие тяжелые, такие звонкие удары, что эхо разносится по всему земному шару, во-вторых, сами ложатся костьми за дело народного освобождения».

III.

Мне кажется, что без преувеличения можно сказать, что в лице партии «централистов» летом 1881 года по сибирским этапам проследовал на Кару один из этапов русского революционного движения 70-х и 80-х годов. Этап в то время уже пройденный, закончившийся и больше в истории русского движения не повторявшийся. Я говорю о так называемом «движении в народ» для пропаганды социально-революционных идей. Нельзя сказать, чтобы отличительной чертой этого этапа или стадии была пропаганда сама по себе. Пропаганда всегда была и будет нужна, пока будет существовать потребность в каких бы то ни было изменениях в организации человеческого общества. Пропаганду вели и народовольцы, насколько хватало у них сил, вели ее, конечно, и чернопередельцы. С пропаганды начало свою революционную деятельность в конце 90-х годов новое поколение, делившееся на марксистов и народников. Да и в настоящее время пропаганда является одной из важнейших отраслей деятельности советского правительства (Политпросвет и т. п.). Характерным признаком первой стадии движения 70-х годов были отчасти приемы и методы пропаганды, а главное то особое настроение пропагандистов, то своеобразное чувство пиетета в отношении к народу, тот порыв к трудящимся массам, который как-то стихийно, почти эпидемически охватил учащуюся молодежь России. К концу 70-х годов этот первый этап движения был уже изжит. Он изживался с двух концов. Субъективно изживание началось, повидимому, с первых же шагов в деревне. Пропагандисты быстро почувствовали, что дело идет не так, как они ожидали, что намеченные ими на сходках приемы и методы пропаганды не совсем пригодны, что предстоит длительная работа как по усовершенствованию этих приемов, так и по выработке практически пригодных организационных форм для пропагандистских кружков и групп. Жизнь оказалась сложнее, чем думалось после прочтения хороших книжек, да и

сам народ не совсем таков, каким его себе рисовали. Мне кажется, что такое раздумье, пересмотр своих прежних представлений о революционной работе, постепенно охватывало огромное большинство пропагандистов. У одних оно являлось раньше, у других позже, но у всех оно шло в одном направлении: надо присматриваться к реальной действительности.

Невозможно определить, на какое время растянулся бы этот внутренний процесс в психике пропагандистов и в какие формы в конце концов вылилось бы движение, если бы не объективные условия русской действительности, иначе говоря — если бы не изживание его с другого конца. С другого конца первый этап изживало правительство и — нужно отдать ему справедливость — изживало весьма энергично и быстро. Кружки и группы в огромном большинстве скоро очутились за решеткой, и началась обработка и сортировка их с правительственной точки зрения. Пока правительство было занято этой работой и к тому времени, как оно закончило расправу с «крамольниками» первой стадии революционного движения, на воле в среде ускользнувших от ареста и освобожденных за недостатком улик уже назрела вторая стадия. «Земля и Воля» распалась на две группы народовольцев и чернопередельцев. «Народная Воля», не отказываясь от обходных, фланговых движений (т.-е. от пропаганды и агитации в трудовых массах и войсках), предприняла на свой страх и риск фронтальную атаку позиции правительства.

В Харьковские центральные тюрьмы попали представители всех крупных процессов первой стадии: долгушинцы, дьяковцы, дело Заславского, процесс 50-ти и процесс 193-х. Кроме того, было несколько одиночек, принадлежавших к той же стадии, но судившихся отдельно, так как жандармы не могли пристегнуть их ни к одному из перечисленных процессов. Малиновский, Осипов, Быдарин, Ионов, Донецкий (я опускаю здесь фамилии Елецкого и Соколовского, так как все мои попытки отыскать точные сведения, когда и каким судом они судились и на какой срок были приговорены, не увенчались успехом). Помимо указанных выше процессов в централке были представители еще двух процессов, которых нельзя безоговорочно отнести к первой стадии. Хотя все участники этих процессов были увлечены в революционную деятельность тем же течением, каким была захвачена вся первая стадия, хотя все они были проникнуты тем же настроением по отношению к народу и также были более или менее повинны в пропаганде, тем не менее некоторые особенности этих процессов вынуждают считать их промежуточными, переходными ко второй стадии движения. Процесс демонстрантов 6-го декабря 1876 года приходится рассматривать как смутное искание новых путей, а в деле Ковальского в Одессе (вооруженное сопротивление) уже намечаются новые приемы

борьбы с правительством. Но эта примесь была незначительна по числу ее представителей, а по их настроению и взглядам в общем не отличалась от остальной массы «централистов» (см. в приложении список каторжан, содержавшихся в централках).

Все «централисты» с половины октября 1880 г. до мая 1881 г. отдыхают и поправляются в Мценске в необычайно льготных условиях: газеты, журналы, даже подпольные издания, почти ежедневное общение с волей через свидания с родными. Между прочим, здесь побывал на короткое время и несколько раз виделся с братом Дмитрием Николай Михайлович Рогачев, член военной организации «Народной Воли», впоследствии казненный. Словом, условия давали полную возможность непрерывно следить за всем происходящим на воле. Возникает вопрос: каким образом крупные события того времени отражались, переломляясь в революционном сознании «централистов». Этот вопрос я стал себе задавать очень давно, когда мне и во сне еще не снилось, что я когда-нибудь буду писать воспоминания. Ответ мне нужен был для своего личного обихода. Я старательно рылся в кладовой своей памяти и к великому огорчению и негодованию не находил определенного ответа. Казалось, мы, переживая и наблюдая из-за стен Мценской тюрьмы самый критический момент схватки «Народной Воли» с правительством, должны были бы в разговорах и споре проявить определенное отношение к происходившим на воле событиям. Разговоров и споров было много, но к сожалению, в моей памяти не осталось от них цельного впечатления. Ярко вспоминаются внешние картины споров, манеры спорящих, а содержание как будто испарилось бесследно. Я объяснял это отчасти недостатками памяти, но главным образом моей незрелостью в то время. Мне казалось, что я по своей незрелости просто не умел извлекать из слышанных разговоров и споров их сути. Очень долго этот вопрос был самым досадным пунктом в моих думах о прошлом.

Недавно я прочел в № 18 «Былого» за 1922 г. статью О. В. Аптекмана «Флеровский-Берви и кружок Долгушина». Автор статьи догнал нас и присоединился к нашей партии в Красноярске в конце июня 1881 г. и прошел с нею весь путь до Иркутска. Аптекман с самого начала движения 70-х годов был, можно сказать, в центре его, знал почти всех выдающихся деятелей того времени, состоял членом «Земли и Воли» и в данное время, т. е. в 1881 г., занимал определенную позицию, считался членом «Черного Передела». Во всяком случае это был человек вполне установившийся и зрелый, он должен был легко разбираться в людях и в настроениях. Вот его отзыв о «централистах» в названной статье (стр. 74): «Вообще же «централисты»

так [illegible] бывших в заключенных в централках произвели на меня впечатление, если не совсем уставших людей, то во всяком случае выжидающих, присматривающихся, не разобравшихся еще. Эта характеристика снимает как будто с моей памяти упрек в слишком большой несправедливости, но она меня не совсем удовлетворяет. Я бы на первый план выдвинул настроение ожидания и центр тяжести этого настроения перенес бы на события на воле. В самом деле, в чем суть тогдашнего момента? На воле был поставлен вопрос об ограничении самодержавного произвола, о завоевании хотя бы минимальных прав, т. е., иначе говоря, о завоевании для той же пропаганды, с которой началось движение, некоторого простора, хотя бы минимальных гарантий. Вопрос был поставлен не в теоретических дебатах на студенческих сходках, не в литературе, а в самой жизни. Борьба за гражданские права уже началась и была в полном разгаре. На очереди стояли не вопросы завтрашней стратегии, не оценка уже сделанных тактических передвижений, а вопрос об исходе сегодняшнего сражения, так как этим исходом определятся и завтрашняя стратегия и будут даны материалы и основания для оценки сделанных передвижений. Вопрос был в том, хватит ли у борющихся на воле товарищей сил довести сражение до благополучного конца? Жгучий вопрос! Есть ли еще у них порох в пороховницах и много ли его там осталось? Централка с замиранием сердца следила за развертывающимися событиями, жадно ловили все, [illegible] к ним весточки. А весточек этих было необычайно много, и они очень часто противоречили друг другу. Тюрьма непрерывно пополнялась новыми [illegible], приходили вести, нередко вырванные из [illegible], еще полные воодушевлением борьбы. Помню, в таком настроении прибыл в Мценск Бушинский, народоволец, только что приговоренный к 20-летней каторге. Он был уверен, что Россия накануне введения конституционного строя, что реформа неизбежна в ближайшем будущем. Однажды в тюрьму был передан слух, что едва ли «централистам» придется увидеть Сибирь, нам сулили ссылку в северные губернии Европейской России. Никто, конечно, не относился серьезно к таким слухам: [illegible] их смена и противоречивость многих будоражила. К толкам о конституции Мышкин относился с каким-то сердитым равнодушием. Помню, что все мои старания вызвать его на серьезный разговор о значении предстоящей реформы, оканчивались неудачей. Всегда он отделывался шуточками:

— Да, да, вот говорят, а вы слушайте, да наматывайте себе покрепче на ус, авось, что-нибудь из этого и выйдет.

Эта шутка была особенно язвительна, потому что [illegible] в то время еще не могли ничего поймать на верхней губе. Наматывать было не на что.

IV.

Я должен коснуться здесь факта, который в то время в Мценской тюрьме я проворонил и о котором узнал только из вышеупомянутой статьи Н. А. Виташевского. Дело вот в чем. В Мценской тюрьме в среде каторжан централистов выделилась полуконспиративная группа или кружок из людей наибольшего удельного веса, наиболее зрелых, активных. Группа имела целью взаимопомощь, содействие побегам и вообще возвращение к активной революционной деятельности. Не могу теперь припомнить, как я узнал о существовании группы. Вероятно, конспирация не была особенно строгая и существование группы обнаружилось из каких нибудь мелочей, неосторожно оброненных и нечаянно услышанных фраз и т. п. Меня в группу не приглашали. К ее возникновению я относился, как к явлению вполне нормальному, так как считал, что расслоение и подбор в партии неизбежны и желательны, то, что меня не пригласили, считал совершенно правильным: нельзя делать серьезных предложений человеку, который еще возится с переборкой своего «фундамента». Кроме того у меня не был решен вопрос, не торчат ли как нибудь уши моего двойника, не замечаются ли со стороны в моем поведении какие либо странности. Однажды я пробовал рассеять свои сомнения на этот счет, рассказал Дюховскому, как в одиночке надзиратель отрекомендовал меня офицерам, как сумасшедшего, но Левушка, обычно прямой и откровенный, в ответ на мой рассказ начал плести такие зилы, что после того я не решался уже затрагивать эту щекотливую тему с кем-либо из товарищей. И до сих пор временами мне в голову забредает предположение, что я попал с Мышкиным в одну камеру не случайно, а по чьей-то инициативе и что инициатива эта была вызвана торчащими ушами моего двойника. Но никаких фактических данных, подтверждающих это **предположение, в моей памяти не сохранилось.**

Личного состава группы я, конечно, не знал, но был уверен, что в нее вошли все выдающиеся люди в партии. Само собой разумеется, что относительно Мышкина у меня не возникало даже и вопроса, я был твердо уверен, что он состоит в группе. Хорошо помню, как я в разговорах с Мышкиным, думая, что он состоит в группе и от меня конспирирует, старательно избегал малейшего намека на то, что я знаю о существовании группы. В таком заблуждении я пребывал десятки лет, вплоть до того времени, когда в мои руки попала книжка «Былого» (№ 4, за 1907 г.) со статьей Виташевского, из которой я узнал, что Мышкина в группу не пригласили. На стр. 183 говорится: «Критерием для организаторов кружка служило представление

о большей или меньшей способности того или другого лица к кружковой дисциплине. С этой-то именно точки зрения, очевидно, Мышкин и оказался забракованным для кружка». Черным по белому так и напечатано «оказался забракованным». Признаюсь, я должен был несколько раз перечитать это место, прежде чем поверил своим глазам. Я не в силах выразить, как тяжело поразило меня это открытие. Было больно не столько за Мышкина, сколько за возможность таких недоразумений и ошибок в среде людей, несомненно выдающихся, несомненно честных, беззаветно преданных идеалам, за которые им уже пришлось жестоко поплатиться. Позже аналогичное сообщение я нашел в цитированной уже статье О. В. Аптекмана, который в Красноярске был приглашен в группу, и которому Зданович объяснял «забракование» Мышкина в сущности теми же мотивами, как и Виташевский: «По своей индивидуальности Мышкин не укладывался ни в какие организации, и его звали лишь тогда, когда требовалось какое-либо выступление, как выдающегося агитатора» (стр. 73). Мотивировка с первого взгляда, как будто даже льстит Мышкину: такой он большой, что не может уложиться в рамки организации. Боюсь, что Виташевский и Зданович в данном случае сделали такую же крупную ошибку, как и В. Г. Короленко в своем объяснении обреченности Мышкина. Они забыли, что крупные индивидуалисты умеют гораздо лучше укладывать себя в узкие рамки, диктуемые интересами дела, чем люди мелкие. Они забыли также или, может, совсем не понимали, что чрезвычайная сдержанность в поведении Мышкина в Мценской тюрьме, обычно ему несвойственная, обусловливалась, главным образом, соображениями пользы для всего товарищеского коллектива. Большинству выходцев из централки необходимо было оправиться, отдохнуть, нужны были тишина и спокойствие. Вот почему «неуравновешенный» Мышкин стушевался, ушел в изучение английского языка.

Ниже мне еще придется указывать факты, когда Мышкин подчинялся требованиям товарищеской дисциплины. Здесь же интересно для сопоставления привести восторженную оценку личности Мышкина из той же статьи Виташевского. Желая отметить наличность в партии «централистов» крупных представителей тогдашнего революционного движения, Виташевский пишет: «Я не говорю о такой личности, как Мышкин. Это прямо-таки чудесное явление. Его всякий замечал издалека, благодаря особому отпечатку индивидуальности, благодаря сектантскому исканию истины, благодаря оригинальности каждого его суждения и замечания». Это напечатано на 182 стр. указанной книги, а на 183 стр. сообщается о забраковании Мышкина — правда, с оговоркой, что, бросая теперь ретроспективный

взгляд, он «готов признать, что были допущены некоторые ошибки». Очень характерно, что Короленко, начиная свой отзыв с заявления, что Мышкин «быть может, был самым ярким представителем не только народнического периода, но пожалуй и всех напластований революционного времени», тотчас же после этого заявления цитирует Брандесовского психопата-француза и находит у него черты сходства с Мышкиным.

Все время, пока я путаюсь в этих противоречиях, мне в голову назойливо лезет одна поговорка, которая была в большом ходу в смоленской семинарии, где я получил свое «среднее» образование: «С одной стороны — «Блажен муж», а с другой — «Вскую шаташеся языцы». Для читателя, незнакомого с семинарской премудростью, разъясню. «Блажен муж» — первые слова первой песни (псалма) древне-еврейского поэта царя Давида, а «Вскую шаташеся языцы» — первые слова второй его песни. Песни эти совершенно различного содержания, — что называется из разных опер.

V.

Заканчивая воспоминания о Мценской тюрьме, я ставлю себе вопрос, с каким представлением о Мышкине я уходил из Мценска? Почему на него, как на бедного Макара шишки, — со всех сторон сыпались прозвища: нервный, несдержанный, взвинченный, неуравновешенный и т. д.? Не было ли у него какой-нибудь особенности, которая хоть отчасти объясняла бы происходившие с ним недоразумения?

Особенностей у Мышкина много, но главная, основная была, по-моему, в том, что он страдал избытком энергии. Я не обмолвился, слово с т р а д а л употребил сознательно. Избыток энергии при наличии достаточно широкого поля деятельности и подходящих внешних условий — «благословенный дар», но в тюрьме, где жизнь проходит в вынужденной праздности, это очень тяжелая ноша: человек постоянно томится жаждой деятельности и не может ее утолить. В Мышкине чувствовалось присутствие постоянно бурлящей и рвущейся наружу энергии. Это сказывалось во всем: в манерах, в порывистых движениях, в дикции, в металлически звенящем тембре его голоса. В его присутствии вы чувствовали себя вблизи кипящего парового котла, который того и гляди, брызнет на вас кипятком или обдаст горячим паром. Но не нужно было обладать особенной, чрезвычайной наблюдательностью, чтобы заметить, что у этого котла все предохранительные клапаны и краны пригнаны великолепно, а центральное управление механизмом образцовое. Правда, случалось нередко, что котел-таки брызгал кипятком и обдавал паром, но это бывало только тогда, когда центральное управление находило, что нужно ошпарить какое-нибудь непри-

гладное явление или видеть какую-нибудь несправедливость. Выпады были всегда чрезвычайно бурны и резки.

Прибавлю здесь маленькую подробность. Приехала мать Мышкина. Она прожила в Мценске недели две, дольше жить не могла, так как жизнь в чужом городе обходилась не дешево. Они виделись, конечно, каждый день. В это время я целыми днями работал в столярной мастерской. Однажды, придя зачем-то в камеру, я увидел, что Мышкин лежит на своей койке, уткнувшись лицом в подушку. Присмотревшись, я заметил, что его плечи вздрагивают от молчаливых придавленных рыданий. Я вспомнил, что сегодня старушка перед отъездом прощалась с сыном, и поспешил уйти из камеры... Одним из главных моментов в трагедии Мышкина была его необыкновенно глубокая привязанность к матери.

(*Продолжение следует*).

М. Чернавский.

Приложение.

Список политических каторжан, содержавшихся в Харьковских центральных каторжных тюрьмах в 1874—1880 годах.

По делу Долгушина (процесс в июле 1874 г.).

1. ***Долгушин***, Александр Васильевич, дворянин, родился в 1849 г., привлекался раньше по Нечаевскому делу, но был оправдан, осужден за составление, печатание и распространение прокламаций и революционных брошюр на 10 лет, отбывал в Новобелгородской централке, потом на Каре, откуда в конце 1883 г. увезен в Шлиссельбург, где и умер в 1885 г.

2. ***Дмоховский***, Лев Адольфович, дворянин, технолог 1-го разряда, родился в 185[illegible] г., осужден на 10 лет, содержался в Новобелгородской централке, откуда вместе с другими отправлен на Кару, но по дороге в Иркутской тюрьме умер в конце 1881 г.

3. *Гамов*, Дмитрий Иванович, дворянин, состоял учителем в фабричной школе, родился в 1848 г., осужден на 8 лет, в тюрьме сошел с ума и умер в Новобелгородской централке до моего прибытия туда, значит, раньше августа 1877 г.

4. *Папин*, Иван Иванович, дворянин, студент многих высших учебных заведений, родился в 1849 г., осужден на 5 лет, отбывал в Новобелгородской централке, откуда непосредственно отправлен на поселение в Якутскую область летом 1880 г.

5. *Плотников*, Николай Александрович, также студент многих уч. заведений, родился в 1850 г., осужден на [illegible] лет, в Новобелгородской централке сошел с ума, в конце 1880 г. перевезен в Мценскую тюрьму, а оттуда в больницу

По делу Дьякова (процесс в июне 1875 г.).

6. *Дьяков*, Вячеслав Михайлович, сын дьякона, студент Петербургского университета, родился в 1854 г., за пропаганду среди рабочих и солдат осужден на 10 лет, умер в Новобелгородской централке в 1880 г.

7. ***Сиряков***, Алексей Иванович, сын священника, родился в 1855 г., студент Медико-хирургической академии, осужден на 6 лет, содержался в Новобелгородской централке, потом на Каре, поселен в Якутской обл.

8. *Александров*, Диомид Александрович, питомец воспитательного дома, Петербургский мещанин, рабочий, род. в 1850 г., осужден на 9 лет, отбывал в той же централке и на Каре, поселен в Якутской обл.

9. *Герасимов*, Василий Герасимович, питомец воспитательного дома, Петербургский мещанин, рабочий, род. в 1853 г., осужден на 9 лет, отбывал в той же централке и на Каре, поселен в Якутской области.

По делу о демонстрации 6-го декабря 1876 г. (процесс с 18 по 25 января 1877 г.).

10. *Боголюбов*, Архип Петрович (настоящая фамилия Емельянов) род. в 1852 г., осужден на 15 лет, в Новобелгородской централке сошел с ума, в октябре 1880 г. перевезен в Мценск, а оттуда в больницу.

11. *Бочаров*, Евгений Константинович, студент Технологического института, род. в 1856 г., осужден на 10 лет, в Новобелгородской централке сошел с ума, летом 1880 г. перевезен в Новоборисоглебскую централку и там умер.

12. *Чернавский*, Михаил Михайлович, сын протодьякона, род. в 1855 г., осужден на 15 лет, отбывал в Новобелгородской централке, потом на Каре, поселен в Забайкальской обл.

ПРИМЕЧАНИЕ. Кроме вышепоименованных трех лиц по делу о демонстрации к каторге были приговорены еще двое: Иван Антонович *Герасин* на 10 лет и Александр Николаевич *Бибергаль* на 15 лет. Первый, по ходатайству родных, был сослан на поселение, а второй отправлен на Кару, так как его жена Александра Александровна Бибергаль подала заявление, что она желает следовать за мужем на каторгу.

Процесс 50-ти (процесс с 7 февраля по 14 марта 1877 г.).

13. *Алексеев*, Петр Алексеевич, крестьянин Смоленской губ., род. в 1849 г., осужден на 10 лет, отбывал в Новобелгородской централке и на Каре, поселен в Якутской обл. В конце 80-х годов убит якутами с целью грабежа.

14. *Цицианов*, Александр Константинович, князь, род. в 1850 г., осужден на 10 лет, отбывал в Новобелгородской централке и на Каре, умер в 1885 г. на поселении.

15. *Джабадари*, Иван Спиридонович, дворянин, род. в 1852 г., осужден на 5 лет, отбывал в Новобелгородской централке и на Каре, поселен в Якутской области.

16. *Кардашев*, Степан Мартынович, дворянин, род. в 1853 г., осужден на 5 лет, отбывал в той же централке и на Каре, поселен в Якутской области.

По делу Ионова и Павлова.

17. *Ионов*, Всеволод Михайлович, сын чиновника, род. в 1855 г., осужден в 1877 г. на 5 лет, отбывал в той же централке и на Каре, поселен в Якутской обл.

По делу Южно-русского союза рабочих (иначе: дело Заславского: процесс с 23 по 29 мая 1877 г.).

18. *Кравченко*, Федор Иванович, рабочий кузнец, род. в 1859 г., осужден на 5 лет, отбывал в Новобелгородской централке и на Каре, поселен в Якутской обл.

19. *Рыбицкий*, Ян (в обвинительном акте именовался так: «неизвестного происхождения и звания, именующий себя турецким подданным Христофором Яном-Рыбицким»), осужден на 5 лет, отбывал в той же централке и на Каре, поселен в Якутской обл.

По делу 193-х (процесс с 18 октября 1877 г. по 23 января 1878 г.).

20. *Муравский*, Митрофан Данилович, дворянин, род. в 1835 г., принадлежал к старшему поколению 60-х годов, в каторге был дважды, в первый раз осужден в 1863 г. на 6 лет, отбывал в Александровском заводе Забайкальской обл. вместе с Чернышевским, второй раз по настоящему процессу осужден на 10 лет, отбывал в Новоборисоглебской централке, где и умер в 1880 г.

21. *Мышкин*, Ипполит Никитич, сын солдата и крепостной крестьянки, род. в 1848 г., осужден на 10 лет, отбывал в Новобелгородской и Новоборисоглебской централках, потом на Каре, в 1883 г. увезен в Шлиссельбург и там 26 января 1885 г. казнен.

22. *Сажин*, Михаил Петрович, купеческий сын, род. в 1845 г., осужден на 5 лет, отбывал в Новоборисоглебской тюрьме, сослан на поселение.

23. *Ковалик*, Сергей Филиппович, дворянин, кандидат математических наук, мировой судья, род. в 1846 г., осужден на 10 лет, отбывал в Новоборисоглебской тюрьме и на Каре, поселен в Якутской обл.

24. *Войнаральский*, Порфирий Иванович, мировой судья, род. в 1844 г., осужден на 10 лет, отбывал в Новоборисоглебской централке и на Каре, поселен в Якутской области.

25. *Рогачев*, Дмитрий Михайлович, дворянин, артиллерийский офицер, род. в 1851 г., осужден на 10 лет, отбывал в той же централке и на Каре, где и умер.

ПРИМЕЧАНИЕ. Кроме поименованных шести лиц по большому процессу были приговорены на каторгу: Екатерина Константиновна *Брешковская* на 5 лет, Сергей Силыч *Синегуб* на 9 лет, Леонид Эммануилович *Шишко* на 9 лет, Николай Аполлонович *Чарушин* на 9 лет, Тимофей Александрович *Квятковский* на 9 лет, Иван Осипович *Союзов* на 9 лет и Иван Иванович *Добровольский* на 9 лет. Все они, за исключением Добровольского, были отправлены на Кару. Последний же, в виду его болезни и ходатайства суда о значительном смягчении ему наказания, в ожидании конфирмации был освобожден. Когда же царь не уважил ходатайства суда о смягчении участи многих подсудимых, Добровольский бежал за границу.

По делу Ковальского в Одессе (вооруженное сопротивление; процесс в начале 1878 г.).

26. *Иллич-Свитыч*, Владислав Станиславович, дворянин, род. в 1852 г., осужден на 8 лет, отбывал в Новобелгородской централке и на Каре, поселен в Якутской обл.

27. *Студзинский*, Эдмунд Иванович, дворянин, род. в 1853 г., осужден на 4 года, отбывал в Новобелгородской централке и на Каре, поселен в Якутской обл.

28. *Виташевский*, Николай Алексеевич, дворянин, студент-юрист, род. в 1857 г., осужден на 4 года, отбывал в той же централке и на Каре, поселен в Якутской обл.

29. *Кленов*, Василий Дмитриевич, рабочий-наборщик, род. в 1855 г., осужден на 4 года, отбывал в той же централке и на Каре, поселен в Якутской обл.

По одиночным процессам:

30. *Малиновский*, Марк Прохорович, рабочий-слесарь из крестьян, род. в 1850 г., осужден в октябре 1874 г. за дерзкие слова против особы

жизнь императора на 7 лет, умер в Новобелгородской централке до моего туда прибытия.

31. *[illegible]*, Василий Федосеевич, сын священника, род. в 1851 г., в 1874 г. арестован на границе с тюком прокламаций, в 1875 г. осужден на 5 лет, в Новобелгородской централке сошел с ума, в конце 1880 г. отправлен в больницу.

32. *Осипов*, Александр Осипович, рабочий из крестьян Петербургск. губ., род. [illegible], осужден в 1876 г. на 9 лет, отбывал в Новобелгородской централке и на Каре, поселен в Якутской обл.

33. *[illegible]*, Алексей Александрович, сельский учитель, род. в 1852 г., осужден на 5 лет, отбывал в Новобелгородской тюрьме и на Каре, поселен в Забайкальской обл.

34. *Соколовский*, поляк рабочий, привлекался за восстание 1863 года, побывал в Сибири, [illegible] возвращен; после нескольких лет мирной жизни на родине, снова арестован и отправлен в Новобелгородскую централку, сошел с ума, в конце 1880 г. отправлен в больницу.

35. *[illegible]* умер в Новобелгородской централке до моего туда прибытия, как и М[illegible], [illegible] старым, пожилым [illegible] [illegible] мне, что он [illegible] участие в Парижской Коммуне 1871 г.

Где судились и насколько приговорены были последние двое — не знаю *).

*) Думаю, что список этот полный, что я здесь никого из «централистов» не пропустил.

Заметки о воспоминаниях Б. В. Савинкова *).

1) Несколько предварительных замечаний.

Эпоха борьбы с самодержавием в России очень бедна мемуарной литературой самих непосредственных ее участников. К тому же, чем активнее участвовал в ней деятель, тем беднее, к сожалению, и его литературное наследство.

Мемуары же, которые велись бы во время самого процесса борьбы или вскоре после выбытия из строя деятеля, когда впечатления у автора еще живы и не утрачено общественное настроение только что пережитого и перечувствованного, совершенно отсутствуют в русской литературе.

Большинство наиболее активных и выдающихся революционных деятелей «Земли и Воли» и «Народной Воли» не оставили никаких записок. Очень многие из них погибли в самом процессе борьбы, другие оказались замурованными на долгие годы в различных тюрьмах, и лишь немногие, пережившие и Алексеевский равелин, и Шлиссельбург, и Сибирскую каторгу, выйдя на волю уже с грузом многих лет за плечами, дали ряд очень ценных, правда, воспоминаний, но написанных уже после 1905 года,

*) Очерки Н. С. Тютчева о «Воспоминаниях» Б. В. Савинкова остались в черновых набросках в его бумагах, где и были найдены после его смерти. Ник. Серг. писал их по мере выхода книжек «Былого» за 1917—1918 гг. и по мере помещения там воспоминаний Савинкова. Он предполагал сначала ограничиться несколькими фактическими поправками к ним в виде «письма в редакцию». Но чем дальше воспоминания Савинкова печатались, тем больше и больше накоплялись эти поправки. В результате их оказалось так много, что они переросли рамки для письма в редакцию, и «Былое» не смогло их поместить. Так они и остались ненапечатанными. В настоящее время эти наброски Н. С. Тютчева приведены в порядок для отдельного издания его статей, которое предпринято Об-вом политкаторжан и сс.-поселенцев, и, так как они имеют несомненно самостоятельный интерес, а также представляют крупное значение для освещения личности самого Савинкова, на котором теперь сосредоточивается такое внимание, то мы сочли не лишним напечатать их предварительно в нашем журнале, не откладывая до отдельного издания. *Ред.*

двадцать и двадцать пять лет спустя, после того, как разыгрались описываемые в них события.

Все такие, оставшиеся нам воспоминания, набросанные их авторами много лет спустя, когда многое из пережитого и передуманного освещалось ими уже через призму иного житейского опыта, конечно, тоже очень ценны, но лишены свежести непосредственного первоисточника. Кроме того, написанные по памяти, часто уже изменяющей авторам, без возможности проверить фактическую точность сообщаемого другими материалами, они нередко изобилуют невольными фактическими погрешностями. Это то неизбежное зло времени, всегда сглаживающего детали, особенно иной раз ценные для уразумения *психологии* эпохи, и дающего лишь синтез событий в ущерб анализа их злободневности, и составляет главный недостаток большинства «Воспоминаний».

Другая часть землевольцев и народовольцев, хотя и избегла такой жестокой кары, как вышеупоминавшиеся их товарищи, была тем не менее поставлена тоже в крайне неблагоприятные условия для мемуарной работы. Попав в долголетнюю сибирскую ссылку и находясь под непрестанной угрозой обысков и арестов, она находилась в невозможности писать мемуары о только что пережитых событиях, не подвергая риску остававшихся еще не открытыми участников только что минувшей борьбы или даже самих себя. Как общее правило сибирская ссылка 1880—90-х гг. «воспоминаний» не писала за весьма редкими исключениями (оставили воспоминания каракозовец В. Н. Шаганов, землеволец О. В. Аптекман и, кажется, — только).

Помимо этого бесследно для истории пропала почти вся обширная конспиративная корреспонденция ссыльных, по тем же мотивам беспощадно уничтожаемая сейчас же по ее прочтении. А как часто она имела несомненно ценное историческое значение! Мне самому, например, с болью в сердце пришлось уничтожить обширное письмо моего друга А. А. Квятковского, написанное им до его ареста, но полученное мной (в Баргузине, в ссылке) уже когда он был в заключении, письмо, в котором он, описывая положение партии «Нар. Воли», ее победы и потери, настоятельно звал меня и других товарищей в Россию, чтобы пополнить редеющие ряды революционных борцов. Он писал между прочим: «положение такого, что или нас раздавят, или мы победим, если у нас хватит сил». Приходилось очень часто предавать аутодафе и многое другое, весьма ценное, и уже не восстанавливаемое, имевшее характер отличающее, как отдельных товарищей, так и общую революционную тогдашнюю ссылку.

Период сибирской ссылки 1880—84 гг., по справедливости следует назвать и охарактеризовать как «бесписьменный». То же следует сказать и о ссылке 1890-х гг.

Несколько в ином положении оказались революционеры, выброшенные волнами борьбы «на тот берег», в Западную Европу, и некоторые из них оставили нам истинно-художественные произведения автобиографического или исторического значения. Достаточно назвать имена П. А. Кропоткина или Степняка-Кравчинского. Другие недостаток художественного таланта возмещали известным богатством содержания. Таковы, например, «Воспоминания» Вл. К. Дебагория-Мокриевича, хотя и требующие временами больших поправок.

К этой же литературной категории отчасти следует отнести и помещенные в нескольких №№ «Былого» за 1917 и 1918 года воспоминания Б. В. Савинкова. Они обнимают весь период деятельности «Боевой Организации», начиная с 1904 года и до конца, и представляют выдающийся интерес. «Воспоминания» Савинкова читаются даже с захватывающим интересом и это объясняется не только характером описываемых событий, полных большого драматизма, но и тем, как они изображены. Тем более, что они писаны, можно сказать, по свежей памяти.

Но при этом нельзя не заметить и в данном случае, что некоторые места «Воспоминаний» невольно вызывают сомнения, даже и у партийных работников и, вероятно, вызовут еще большие сомнения у читателей среди широкой публики. Это именно те места, где автор-историк платит известную дань автору-художнику или, иначе, мемуарист — беллетристу.

С этой точки зрения мне и хотелось бы сделать ряд замечаний о «Воспоминаниях» Б. В. Савинкова, причем я и начну их с характеристики тех «беллетристических погрешностей», которые бросаются в этом случае в глаза даже и плохо осведомленному читателю, не говоря уже о тех, кто вместе с автором переживал ту же эпоху и был свидетелем, а временами и участником описываемых у него событий.

2) Беллетристические погрешности „Воспоминаний" Б. В. Савинкова.

Партийные товарищи знают Б. В. Савинкова в двух лицах, как революционера-боевика и как художника-беллетриста *). Большинство интеллигентной публики знает его только как беллетриста, смутно рисуя себе его образ революционера и обычно отождествляя последний с одним из персонажей, выведенных в «Коне Бледном» и в «Том, чего не было»!

*) Наши современники знают еще Б. В. Савинкова, как человека, который несколько лет активно боролся против Советской власти в стане контр-революции.

Ред.

Я не поклонник беллетриста-Савинкова и не вижу в образах революционеров, которыми он подарил русскую литературу, живых людей. Мне всегда казались они ходульными, для чего то измышленными автором, и до сих пор я продолжаю недоумевать: для чего это ему нужно было? Но для меня ясно, во-первых, что образам революционеров, созданным беллетристом Савинковым, не суждено остаться в русской литературе, как типам революционеров периода расцвета «Б. О.», и, во-вторых, что беллетрист Савинков всюду и везде вредит образу Савинкова-революционера.

«Воспоминания» Б. В. Савинкова, по моему мнению, в некоторых своих местах не лишены тоже «беллетристического вдохновения», а потому они вредят репутации самого автора-революционера и в этих местах теряют значение строго исторического материала. Исключительно благодаря этому последнему обстоятельству я и коснусь «беллетристики» Б. В. Савинкова, кое-где вкрапленной им в «Воспоминаниях».

Приведу примеры.

Вот как описывает Е. Сазонов два момента события 15-го июля: момент, непосредственно предшествовавший взрыву кареты Плеве, и момент, непосредственно следовавший за взрывом, когда Сазонов, оглушенный и сбитый с ног и на мгновение потерявший сознание, пришел в себя.

«Быстро... пошел наперерез карете... подошел к ней почти вплотную... Я увидел, как Плеве быстро переменил положение, наклонился и прилип к стеклу... Я был убежден в успехе и не знал, что происходит за моей спиной: может быть, меня уже ловят... Я плавно раскачал бомбу и бросил... Все исчезло из моего сознания. Но уже в следующий момент сознание вернулось. Я лежал на мостовой. Первая мысль — это удивление, что я жив еще. Я встрепенулся, чтобы подняться, но не почувствовал тела: как будто, кроме мысли, у меня ничего не осталось. Мне страстно хотелось узнать о последствиях. Кое-как приподнялся на локоть и огляделся. Сквозь туман я увидел валявшуюся красную шинель и еще что-то, но ни кареты, ни лошадей... По показаниям свидетелей я крикнул: «Да здравствует свобода»... Я пытался достать из кармана тужурки револьвер, но руки не повиновались мне, на мой крик подбежал агент-велосипедист, всегда сопровождавший карету Плеве. Он упал на меня... и началась обычная в таких случаях сцена...».

Из этого вполне ясного описания самого Сазонова мы видим, что между взрывом и моментом, когда на него навалился агент-охранник, прошло много-много несколько секунд, пока охранник успел подбежать к лежащему Сазонову. А с этого момента уже началось избиение Сазонова. Очень характерны слова Сазонова. До взрыва он имеет в виду только свою

цель, он спешит, зная, что сзади его, может быть, уже ловят... Наконец, он бросает бомбу. Как только он очнулся, его первой мыслью было убедиться, что цель достигнута. Он убедился в этом. В каждом слове, в каждом мельчайшем штрихе мы видим революционера, человека долга, до конца не изменившего себе, даже в полусознательном состоянии, ибо, несомненно, попав в сферу действия взрыва, причинившего ему разрыв барабанных перепонок («глаза вышли из орбит» и пр.), Сазонов физиологически не мог быть в первые моменты после взрыва в полном сознании; но, несмотря на это и на то, что он был совершенно физически разбит, силою воли ему удалось все таки приподняться, чтобы увидеть результаты взрыва и убедиться в своем успехе. Это объективное описание Сазонова вполне подтверждается и показаниями свидетелей происшествия.

В «Воспоминаниях» Б. В. Савинкова мы читаем (цитирую с сокращениями): «когда я подошел к 7-й роте Измайловского полка, на мосту через Обводный канал я заметил Сазонова... И сейчас сзади меня раздалась крупная рысь, и мимо промчалась карета с вороными конями... у левого заднего колеса ехал сыщик» (Велосипедист — Фридрих Гартман, навалившийся на Сазонова. *Мое примечание*).

Прошло несколько секунд. Сазонов исчез в толпе, но я знал, что он идет теперь... параллельно Варшавской гостинице... Вдруг в однообразный шум улицы ворвался тяжелый, грузный, странный звук... от земли узкой воронкой взвился столб серо-желтого, почти черного дыма... Мне показалось, что я видел в дыму какие-то черные обломки... Я побежал наискось через улицу к Варшавской гостинице».

«Когда я подбежал к месту взрыва... прямо передо мной шагах в четырех от тротуара, на запыленной мостовой, я увидел Сазонова. Он полулежал на спине, опираясь левой рукой о камни (*курсив мой*) и склонив голову на правый бок... Глаза были мутны и полузакрыты»...

«Я наклонился над ним и долго всматривался в его лицо. Вдруг в голове мелькнула мысль, что он убит, и тотчас же сзади себя я услыхал чей-то голос:

«А министр, министр, говорят, проехал». Тогда я решил (*курсив мой*), что Плеве жив, а Сазонов убит».

«Я все еще стоял над Сазоновым. Ко мне подошел бледный, с трясущейся челюстью, полицейский офицер (как я узнал потом, лично мне знакомый пристав Перепелицын). Слабо махая руками в белых перчатках, он растерянно и быстро заговорил:

«Уходите, господин, уходите».

«Я повернулся и пошел прямо по мостовой к Варшавскому вокзалу (т.-е. как раз туда, где лежали обломки кареты и труп

Плеве. *Прим. мое*). 'Уходя, я не заметил, что в нескольких шагах от Сазонова лежал изуродованный труп Плеве и валялись обломки кареты...

«Я шел и помнил одно:

«Плеве жив, Сазонов убит».

«Я долго бродил по городу, пока машинально (*курсив мои*) не вышел к технологическому институту. Там все еще ждал меня Дулебов» и т. д.

Я привел эту длинную выписку, чтобы читатель убедился, как много в написанном автором невероятного. Это наглядный пример, когда беллетрист, подробно описывая все детали виденного («белые перчатки» у пристава), завладевает революционером-мемуаристом и... буквально душит его.

Возможно ли было Савинкову, находившемуся саженях в 50—60, скорее подбежать к Сазонову, чем сыщику Гофману (не раненому и не оглушенному взрывом), который в момент взрыва находился у левого заднего колеса кареты, т.-е. всего шагах в 8—12 от Сазонова?

Когда же Гофман подбежал к Сазонову — мы знаем что началось...

Затем, Б. В. Савинков, говоря, что Сазонов «полулежал на земле, опираясь левой рукой о камни», говорит, конечно, о живом человеке: не может же мертвый полулежать на гладкой мостовой и опираться на руку! А, между тем, у автора, «после долгого всматривания в лицо» Сазонова, вдруг мелькает мысль, что последний убит... А так как кто-то при этом проговорил, что министр проехал, то он и решает. «Плеве жив, Сазонов убит»...

Полуживой Сазонов видит, что Плеве убит, а вполне здоровый его товарищ не только не видит этого, но даже и не старается узнать, каковы результаты их общего дела, не исполняет, следовательно, своего прямого долга революционера и организатора.

Беллетрист, как мы видим, убивает революционера. Он клевещет на него!

Если допустить правильность собственного описания Савинковым своего поведения после взрыва кареты Плеве, то, я уверен, боевая его карьера делом Плеве и закончилась бы...

Таково же, конечно, и мое отношение к следующей неправдоподобной странице его «Воспоминаний» о подготовлении им нового покушения на Плеве, при его, будто бы, предполагавшемся автором, возвращении из Царского Села...

Для чего потребовалось беллетристу оклеветать революционера?

Такого же рода беллетристика вкраплена автором и в других местах его «Воспоминаний».

Возьмем несколько примеров.

При обсуждении, после 17 октября 1905 года, в Ц. К. вопроса о «Б. О.», Азеф, вопреки будто бы большинству Ц. К., действует диктаторски, и все ему подчиняются. Автор говорит: «Тогда Азеф поднялся и сказал:

«Держать под ружьем» (боевую организацию) невозможно. Это — слова. Я беру на свою ответственность: боевая организация распущена».

В другом месте по тому же вопросу автор говорит «Азеф понял, что предложение Чернова сводилось к тому, что «Б. О.» неизбежно отдавалась в руки полиции, и **потому высказался** (*курсив мой*) за полное прекращение террористической деятельности».

Можно ли **теперь** утверждать, что Азеф **из этих соображений** высказался тогда за прекращение террора?

После этого заседания Ц. К., на другой день, к автору зашла Дора Бриллиант и, по обыкновению «опустив глаза» (зачем это нужно автору?), спросила, правда ли, что террор хотят прекратить и боевую организацию распустить? — Правда! «И вы **позволили** это?» будто бы спросила она.

Зачем приписывать Доре Бриллиант такую степень наивности?

Я понимаю истеричный припадок, случившийся с Дорой после убийства Сергея. Она, действительно, была в это время настолько нервна, что в начале марта, например, из Петербурга послано было даже требование за границу заменить ее другим техником из опасения повторения инцидента с Швейцером. Но нервность — не наивность: наивной Дора Бриллиант отнюдь **не была**.

Автор приехал в Пензу к Вноровскому пригласить его вступить в «Б. О.» и спросил его, почему он хочет работать в боевой организации?

«Он дал ответ, удививший меня тогда своей простотой», продолжает автор. «Я социалист-революционер, признаю террор, значит должен делать его».

Что в этих словах могло поразить революционера? Для «беллетриста» - да: — это был чересчур простой, естественный ответ; чересчур **прямой ответ**, без всяких ходульностей, т.-е. обыденный и мало интересный для темы «гамлетиков от революции».

3) Об Азефе и азефовщине.

Разбирать подробно, шаг за шагом отдельные места «Воспоминаний» Б. В. Савинкова, с которыми нельзя согласиться, было бы, конечно, весьма желательно и не лишне, как это показывает пример с приведенными «беллетристическими погрешно-

стями», слишком яркими, чтобы их нужно было еще комментировать. Но делать такой подробный критический разбор мы не станем, так как он рисковал бы чересчур разрастись. Я поэтому предпочту другой путь для характеристики фактической стороны данных воспоминаний. Так как в них есть достаточное количество чисто фактических неточностей и просто ошибок, то на них я и сосредоточу свое внимание. При этом я коснусь в дальнейшем только такого рода неточностей и тех обстоятельств, которые мне были лично известны, и не стану отмечать всего того, с чем мне случилось ознакомиться со слов других. Вероятно и у остальных товарищей найдутся свои замечания, которыми они со временем, быть может, и поделятся с читателями.

Приступая к своим замечаниям я прежде всего не могу не остановить внимания на том, что автор говорит о таком крупном явлении тогдашней революционной жизни, как Азеф и вообще азефовщина. Начну с одного обстоятельства, слишком глухо освещенного у Савинкова.

В № 1 «Былого» за 1918 г. (стр. 78) Савинков рассказывает о характерном эпизоде, имевшем место в Гельсингфорсе, в начале 1906 г. К сожалению, автор не указал более точно даты этого «заявления» Азефа. Во время одного делового разговора Азеф вдруг заявил, что он устал, не может больше работать и уйдет от работы, что он убежден, что «на этот раз у нас ничего не выйдет» (организовались покушения на П. Н. Дурново и адмир. Дубасова).

После этого, немного поломавшись, Азеф согласился, впрочем, не уходить, но при этом заявил вновь: «мое мнение, — ничего из нашей работы не выйдет».

Я думаю, что этим настойчивым подчеркиванием уверенности в неудаче организуемых покушений Азеф имел ввиду уже тогда предупредить будущие неизбежные разговоры о причинах этих неудач и провалов боевиков, т.-е. гарантировать свою безопасность и со стороны «не очень умных» *) революционеров, как он, повидимому, только что гарантировал ее и со стороны ген. Герасимова, арестовавшего его именно в это время или, по меткому замечанию самих б. охранников, взявшего его «мертвой хваткой...» Такого рода «предусмотрительность» этого гениального провокатора красной нитью проходит в течение всей его деятельности и в его заявлениях и разговорах с революционерами и в его донесениях по начальству.

*) Ср. его фразу: «Не очень-то вы умны, чтоб нельзя было нас обмануть.» Стр. 47 «Был.» № 9.

Будущему исследователю «Азефщины» следует иметь в виду эту предусмотрительную осторожность Азефа, объясняющую весьма многое в его двусторонней деятельности.

Эпизод с арестом Азефа, в начале марта 1906 г., после которого, по всей вероятности, произошел описываемый Б. В. Савинковым разговор и после которого Азеф уже не доводил ни одного задуманного дела до успешного конца, еще совершенно не освещен, и мне думается нелишним будет рассказать некоторые подробности этого эпизода, которые мне удалось узнать от лица, близко стоящего в то время, по своему положению, к делам политической полиции.

Когда «Филипповский» (Азеф), — проживавший по паспорту Черкасова, попал в сферу наружного наблюдения агентов Герасимова (а Азеф был вообще непростительно неконспиративен, слоняясь, не обращая внимания на слежку, по Петрограду, в чем и мне лично, и другим товарищам случалось убеждаться не раз), совместно с группой извощиков-боевиков и Зотом Сазоновым, Герасимов по поводу Азефа сделал запрос и в Департамент Полиции и за границу: не является ли он секретным сотрудником? Сделано это было им, повидимому, так умело-наивно, что обе эти инстанции могли отказаться от своего сотрудника (чтобы его не выдавать постороннему ведомству, вероятно), и тогда у Герасимова и явилась возможность арестовать его и приструнить. Конечно, Герасимов уже давно понял двойную игру Азефа, знал он, понятно, также и то, что Черкасов это Азеф. Будучи арестован в охранке (она помещалась тогда на Мойке, в доме, где умер А. С. Пушкин), Азеф упорно молчал, требуя свидания с П. И. Рачковским... На третий день Герасимов, видя такое упорство арестованного и потеряв надежду сломить его, вынужден был вызвать Рачковского, и когда они встретились, то, по словам Герасимова, взаимно так набросились друг на друга (обоюдно употребляя оскорбительные эпитеты), что Герасимов, убедившись что они, очевидно, вполне «свои люди», счел даже за лучшее на некоторое время удалиться... В результате этого эпизода Азеф был передан ему, как сотрудник, а он поставил ему ультиматум, служить *только* охранке или... веревка... Через три дня (после ареста) Азеф был уже освобожден и, как мы знаем, свято исполнил свое обязательство Герасимову... Если бы не слепая вера Ц. К. в Азефа, то, конечно, тогда же возможно было установить, где именно провел эти дни Азеф? Он, сам, конечно, предусматривая эту возможность, рассказывал тогда же о себе, что его проследили, он должен был спасаться при помощи лихачей и, наконец, ему удалось, войдя в ресторан «Медведь», скрыться, выйдя из него задними ходами на Мойку. Об этом Азеф говорил, между прочим, и мне.

Рассказанный Савинковым разговор с Азефом, полагаю, и относится ко времени, непосредственно следовавшему за этим арестом Азефа, уехавшего вскоре после него в Финляндию. Не упоминая же об этом случае договора Азефа с Герасимовым после ареста его, Савинков всем последующим событиям, у него излагаемым, придает не тот характер, какой они на деле имели.

Требуют значительных оговорок и другие места воспоминаний Савинкова, связанные с тем же вопросом о роли и поведении Азефа в партии. Так, напр., в том же №-ре «Былого» (стр. 62) автор «Воспоминаний» рассказывает, что «после роспуска военной организации, по настоянию Азефа, был учрежден особый «боевой комитет»... и членами его были Азеф и я» (*т.-е. автор, Н. Т.*).

Это не совсем точно.

Н. Д. Авксентьев («свид. т. Д.») так изложил этот эпизод в своем показании Суд.-Следств. Комиссии («Заключение», стр. 49—50): «Ц. К. постановил, — и Азеф не протестовал, когда это постановляли, — что образуется боевой центр, и в него избираются трое, чтобы составить коллегию. Затем были намечены кандидаты, наметили В. С. Панкратова, Азефа и Савинкова. Тогда Азеф заявил, что, если так, то он отказывается и не желает участвовать в этом самом боевом центре. Савинков присоединился к нему. Они заявили, что их условие вступления в боевой центр такое, что они желают, чтоб им двоим поручили все дело, чтобы им уже предоставлено было право пригласить третьего, кого они захотят, что они, конечно, могут пригласить третьим того же В. С. Панкратова, но им нужно, чтобы это уже зависело от них, а не от Ц. К. В конце концов... потому, что Азеф был, так сказать, безусловно необходим в этом деле, Ц. К. должен был взять свое решение назад и предложить образовать комитет Азефу и Савинкову, а они проделали комедию и пригласили тут же В. С. Панкратова»...

Инцидент этот рисует и отношения автора «Воспоминаний» к Азефу. Очевидно он всецело находился в это время под его влиянием и обаянием. И это обаяние было настолько захватывающее, что даже ясные указания на существование центральной провокации в партии не обращали на себя его обычно направлявшегося в эту сторону внимания. Это тем более странно, что сам по себе факт центральной провокации не указывал еще на провокацию именно Азефа, а мог относиться и к другому лицу. Если только перечислить факты, приводимые самим Б. В. Савинковым, то такое игнорирование вопроса о провокации представляется прямо непонятным. Автор, ведь, не принадлежал к числу наивных людей, тогда же (в 1905 г.) вообразивших, что возврата к старому быть не может... Перечислим эти примеры, приводимые самим автором «Воспоминаний».

Попытки взрывов мостов, Охранного Отделения, электрических и телефонных проводов, попытка ареста гр. Витте — «не могли быть приведены в исполнение», говорит Савинков, и «отчасти потому, что в некоторых пунктах намеченные места охранялись так строго, как будто полиция была заранее предупреждена о покушении» (стр. 67).

Выйдя на улицу из квартиры инж. П. И. Преображенского, автор заметил, как один филер сделал движение руками, «как будто желая схватить его», но при этом Савинков тотчас же услышал голос, вероятно околодочного надзирателя:

«Никаких мер не принимать!»

Савинков беспрепятственно ушел... (Там же).

Две конспиративные квартиры (динамитные мастерския и для транспорта оружия) были арестованы немедленно, еще до приступа к работе, и одновременно, «когда, следовательно, не было повода к подозрению», говорит автор.

Слежка в Москве до покушения на Дубасова, в конце марта 1906 г., инциденты, Севастопольский и по дороге туда, с Сулятицким (стр. 29, «Былое» — февраль), наконец с самим автором, в Копенгагене, «доказывающий наличность центральной провокации», как характеризирует его сам автор.

Я не привожу многих других примеров, указывавших на ту же систематическую провокацию; все они скользят, как мимолетные впечатления, и не заставляют автора даже задуматься над вопросом: где же их источник?

Как могла не обратить на себя внимание, например, посылка Азефом «Медведя» — Соколова на работу в Москву, где его, после Московского восстания, буквально «вся Москва» знала? *).

Как не возбуждали сомнения такие, например, заявления Азефа: «Разве самые честные люди не становились провокаторами. Мало ли таких примеров?» (По поводу ареста Сулятицкого на Дворцовом мосту. Стр. 29, «Былое», № 2.) Автор не поинтересовался узнать, какие же это «честные» люди и какие это примеры? Я, например, таких примеров не знаю и о них никогда не слыхал.

Не возбудило сомнения и такое утверждение Азефа, подрывавшее возможность вообще всякой партийной организации. «При организации в 50 — 60 человек, как не допустить провокации» (стр. 42).

Между тем все эти факты проходили как-то мимо сознания Б. В. Савинкова. Он на них не задерживался своею мыслью, хотя сделать это было так легко.

*) Когда я скрылся из Петербурга в 1905 г. и приехал за границу, Азеф тоже предлагал мне поехать в Петербург... Мне показалось это весьма странным: я отказался. И первые сомнения относительно Азефа возникли у меня тогда же.

Много неразъясненного представляют и те части воспоминаний Савинкова, в которых говорится уже о разоблачении Азефа и об обстоятельствах, связанных с его столь благополучным исчезновением из Парижа после разоблачения.

В окончании дела Азефа решающую роль сыграли три эпизода, до сих пор еще недостаточно выясненные: кто мог передать Азефу о показании Лопухина, вопреки слову, данному всеми, знавшими о его заявлении, хранить его втайне? Кто постановил или решил, чтобы три лица, отправившиеся на допрос к Азефу, не имели при себе оружия? Интересно было бы знать имена членов Ц. К., практически решивших так просто вопрос об отсрочке убийства провокатора.

Кто распорядился снять наружное наблюдение за квартирой Азефа, что дало ему возможность бежать в ту же ночь?

Эти три пункта не освещены совершенно или очень слабо освещены в «Воспоминаниях», а между тем автор является одним из тех немногих лиц (он, Викт. М. Чернов, М. А. Натансон), которые только и могли бы пролить свет на эти эпизоды...

По поводу заявления Лопухина с Азефом вели разговоры, насколько это, по крайней мере, пока стало известным, только два лица: автор и В. М. Чернов. Оба они настолько владеют уменьем излагать свои мысли в желательной форме, что допустить с их стороны невольный оборот речи, случайно открывший глаза Азефу, представляется невероятным. Кто же открыл ему глаза? Дано, ведь, было слово молчать, а при подобном категорическом запрещении субъективная степень доверия собеседника к Азефу должна была бы быть подавлена во всяком случае. Что в данном случае кто-либо вновь нарушил дисциплину — не подлежит сомнению.

Пора бы уже не скрывать имени виновника. Такие умолчания, как мы видим теперь, после второй революции, чреваты трагическими последствиями и не могут быть допускаемы объективными описаниями прошлой истории партии социалистов-революционеров.

По второму вопросу, фактически исключившему возможность убийства уже уличенного провокатора в Париже, автор «Воспоминаний» тоже очень лаконичен.

Вообще вопрос о «совещании» по делу Азефа «приглашенных Ц. К. товарищей» (числом 12 — 15 чел.) и решение, вынесенное им, убить Азефа «вне пределов Франции» — по нашему мнению — требует более подробного анализа.

В этом решении, за флером общих соображений и мнений, ясно проскальзывает простая трусость за свое спокойное существование некоторых лиц, обжившихся на территории республики, которым «инцидент Азефа», конечно, грозил некоторыми неприятностями...

Серьезно же говорить и думать о том, что убийство Азефа на территории республики могло закрыть границы Франции для всей партии с.-р., мог бы лишь весьма наивный человек...

К той же категории решений Ц. К., или мнений отдельных его членов, принадлежат и другие эпизоды партийной жизни, не вполне еще выясненные до сего времени.

Например протест против убийства провокатора Г. Гапона на Финляндской территории (Ц. К. находился в это время в г. Гельсингфорсе). «Не полная уверенность» одного из членов Ц. К. в виновности того же Азефа, даже после разоблачений Лопухина, несомненно сыгравшая решающее значение в постановлении отсрочить его убийство (Ц. К. находился тогда в Париже, где и должно было произойти убийство Азефа) *), отказ Ц. К. от солидарности с делом Никитенко.

Все это недостаточно, по нашему мнению, освещено автором.

Инцидент снятия наблюдателей за домом Азефа, которые, как мне говорили, по приезде моем в Париж в апреле 1909 г., — сначала были поставлены из товарищей-боевиков, тоже требует разъяснения, т. к. только благодаря этому снятию наблюдения Азефу удалось бежать... что, может быть, и было желательно некоторым дипломатам — деятелям партии, так как всякие осложнения с властями Франции благодаря этому бегству отдалялись, а внутри партии острота «азефщины» притуплялась, но являлось непоправимым ударом для всего будущего партии **).

Автор «Воспоминаний», как главный руководитель в то время наличного состава в Париже боевиков, должен был бы детально знать подробности этого невыясненного до сих пор обстоятельства.

4) Боевая Организация в 1905 году.

Еще более замечаний и уже чисто фактических поправок вызывает рассказ Савинкова о событиях 1905—1906 г.г. в жизни «Боевой Организации». Останавливаюсь на них подробнее, потому что во многом я тут принимал личное участие.

Дело Плеве произошло, когда я был еще в Сибири, а потому я его не касаюсь. Вернулся я в Россию в августе 1904 г. Рас-

*) «В самом Ц. К. есть люди, напр., Натансон, не вполне уверенные в виновности Азефа» («Был.», № 9, в конце «Воспоминаний»).

**) Ср. слова. В очерке В. К. Агафонова «Заграничная охранка» (Изд. «Книга» 1918 г., ц. 10 р.) автор говорит (стр. 274), что Парижская группа с.-р. предложила Ц. К. убить Азефа, после того, как Ц. К. убедился наконец в его предательстве, но ей было последним заявлено, что «он сам это сделает». Было заявлено: «Вы нам его только спугнете» и «сказано, что приняты все меры (и внутренняя и наружная слежка), чтобы Азеф не мог бежать» (стр. 274).

сказывая («Былое», № 2, стр. 78), что в Париже состоялся ряд совещаний (в сентябре или октябре 1904 г.) о дальнейшем образе действии «Б. О.», автор утверждает, что решено было предпринять одновременно три дела: «В Петербурге на Петербургского генерал-губернатора, генерала Трепова, в Москве на Московского генерал-губернатора, великого князя Сергея Александровича, и в Киеве на Киевского генерал-губернатора, генерала Клейгельса».

Одним словом на трех генерал-губернаторов, из которых один был великим князем. Этот lapsus памяти автора повторяется, как мы увидим, и в дальнейшем его изложении. В действительности же отряд М. Швейцера направлен был в Петербург, имея в виду великого князя Владимира, а не Трепова, который в это время был еще только московским градоначальником, и еще настолько ничем особенно реакционным не выделялся, что даже 2 января 1905 г. Московский комитет П. С.-Р. считал возможным санкционировать покушение на него юноши Полторацкого, снабдив его только одним револьвером. Покушение это, как известно, неудачное, произошло на Курском вокзале, когда Трепов садился в поезд, чтобы ехать в Петербург. Произведено оно было потому, что Трепов жестоко подавил московские демонстрации 5 и 6 ноября 1904 г. Петербургским генерал-губернатором Д. Ф. Трепов был назначен, как известно, уже после 9 января 1905 г., а именно 11 января.

Далее автор утверждает («Былое» № 2, стр. 88—89), что во время его приезда в Петербург (по смыслу рассказа это было после 12 января 1905 г.). Швейцер рассказал ему, что, наблюдая за Треповым (тот же lapsus — за великим князем Владимиром), удалось установить время и маршрут выездов министра юстиции Муравьева в Царское Село. «Кроме члена Ц. К. Тютчева — говорит автор — в Петербурге находилась в то время и Ивановская... Швейцер сообщил им, что наблюдение за Муравьевым закончено и что 12 января, в среду, возможно приступить к покушению. Он просил их совета. И Тютчев, и Ивановская решительно высказались против убийства министра юстиции. Они доказывали, что смерть его не может иметь серьезного влияния на ход общей политики и что «Б. О.» не должна тратить силы на такие, второстепенной важности, акты. Швейцер на свой страх не решился убить Муравьева, «и 12 января министр, не потревоженный никем, по обыкновению проехал в Царское Село, к царю. Я и до сих пор думаю», прибавляет автор, «что этот совет Ивановской и Тютчева был ошибкой».

Автору, очевидно, и тут память изменила: инцидент этот рассказан им совершенно неверно.

Вторую половину декабря и начало января я провел на юге. Известие о 9-м января застало меня в Киеве, т.-е. не ранее 10-го января, и я тотчас же направился в Петербург, но по

партийным делам обязан был заехать по пути в Москву, что я и сделал. Таким образом, так как в Москве я пробыл сутки, в Петербург я не мог никак приехать ранее утра 12-го января и, следовательно, помешать покушению на Муравьева я фактически не мог.

В действительности же в деле Муравьева я сыграл как раз обратную роль. Правда, когда Швейцер в день или на другой день после моего приезда сообщил мне о возможности покончить и с Муравьевым, я прежде всего задал ему вопрос не помешает ли это покушению на Владимира и на Трепова, роль которого в кровавой бане 9-го января была уже известна. Я сказал, что общественное значение казни этих столпов царизма неизмеримо большее, особенно после 9-го января, чем Муравьева, который, хотя и осужден Ц. К., но главным образом за его прошлую политическую деятельность и представляет собою в данное время лишь одного из многих — не более. И не его, а казни Владимира и Трепова ожидаются буквально всеми.

Швейцер объяснил, что акт этот возможно исполнить параллельно, не отнимая ни одного человека от подготовления главного удара царизму. В виду такого заявления Швейцера положение представлялось мне следующим.

После дела Плеве в обществе укоренилась почти всеобщая уверенность в неотразимости ударов «Б. О.». Всюду приходилось слышать, что именно она устранит Трепова и Владимира. Не могли не знать об этом, понятно, как охранка, так и сами заинтересованные лица. Таким образом, покушение на Муравьева само по себе не только не могло заставить их принять какие либо особые меры к охране своих личностей (все они и без того были уже приняты), но могло, напротив, несколько даже успокоить, так как естественно было предположить, что партия, затратив свои силы на организацию убийства Муравьева, должна употребить некоторое время для организации других покушений. Не надо забывать, что в то время еще не бывало случаев одновременного совершения сразу нескольких террористических актов.

С другой стороны, двойной или даже тройной, и притом почти одновременный удар в Петербурге, удары в Москве и в Киеве должны были оказать ошеломляющее влияние на правительство и на общество. Все это в совокупности заставило меня тотчас же согласиться с предложением «Леопольда» (Швейцера), и я передал ему тогда же запас динамита, хранившийся у меня, как резервный. Могу с уверенностью утверждать, что точно так же отнеслась к этому вопросу и Прасковья Семеновна Ивановская.

Муравьев настолько, как нам с Швейцером показалось (это так и было в действительности), небрежно охранялся, что на

него вполне достаточно было одного только металыщика. Случайная неудача покушения 19-го января ничем не помешала бы его повторению и в следующую среду, но еще до ее наступления Муравьев вышел в отставку.

По рассказу же Б. В. Савинкова выходит, что покушение 19-го января произошло вопреки запрещению наличных членов Ц. К.; повторяю, это совершенно неверно; но для меня вне всякого сомнения, что Швейцер, бывший человеком долга и раз принятых на себя обязательств, неуклонно исполнявший партийную дисциплину, не совершил бы, во всяком случае, ее нарушения сознательно. Кроме того, у него был ведь и иной выход: не надо было даже «сноситься с Женевой», а лишь с Одессой. Но, как я уже сказал, и этого Швейцеру делать совсем не требовалось, и мы оба даже встречали металыщика, когда он шел на Муравьева.

Автор передает и другой свой разговор с Швейцером, в котором тоже затрагивается вопрос о праве нарушения партийным работником партийной дисциплины (стр. 88), притом в связи с таким серьезным для партии вопросом, как цареубийство.

В это время тактически этот вопрос не был еще решен Ц. К. в положительном смысле, хотя, понятно, принципиально П. С.-Р., как преемница «Народной Воли» и не могла решить его иначе, как только положительно. Но постановка цареубийства, как практической задачи момента, логически должна была бы повести и к перегруппировке всех активных сил партии, к видоизменениям в приемах агитации и пропаганды, к переработке и переизданию наличной агитационной литературы, к изданию новой, и к очень многому еще иному, как нас учил предшествующий опыт «Народной Воли».

Поэтому решение о моменте практической постановки этого вопроса могло принадлежать только одной партии в ее целом, т.-е. в то время только пленарному заседанию Ц. К. Поэтому всякое действие отдельного партийного работника, вынудившего партию своими действиями, без ее ведома, может быть, неизбежно вступить на этот путь борьбы, к которому она могла быть еще не готова, явилось бы даже не простым нарушением дисциплины а небывалым еще в истории партии, ни с чем не считающимся, авантюризмом. Кроме того, такого рода авантюризм мог быть чреват и другими опасными для партии последствиями.

По предыдущим историческим европейским и нашим примерам нам известно, от каких непредусматриваемых заранее случайностей зависели иной раз удачи или, в большинстве случаев, неудачи покушений на коронованных особ. Первоначальная же неудача неизбежно вызывала необходимость затраты на то же нелого массы сил, средств и энергии, притом уже без результата...

Как легко было бы Каракозову, а через 13 лет после него Соловьеву, иметь успех, при более осмотрительной организации покушения, и как чудовищно трудно оказалось для «Н. В.» довести это дело до 1 марта 1881 г.

В виду этих соображений, при организации цареубийства, должны были быть приняты в расчет по крайней мере все предусматриваемые заранее случайности, и если успех его и после этого все же казался сомнительным, то его непременно следовало бы из тактических соображений отложить до более благоприятного случая, чтобы, выражаясь вульгарным охотничьим термином, «не напугать дичи».

На эту тему я имел подробный разговор с Швейцером и тоже могу утверждать, что мы с ним сошлись во мнениях во *всем решительно*. Разговор этот вызван был, кажется, по аналогичному, с рассказанным Б. В. Савинковым, поводу. Я не припоминаю теперь деталей его, так как серьезного значения полученному нами предложению не придавалось. О предложении же Леонтьевой мне ничего неизвестно; не передавал об этом Швейцер и члену Ц. К. А. И. Потапову, когда мы одновременно с ним были в Одессе, поэтому я полагаю, что Б. В. Савинкову он рассказал это предложение Леонтьевой, может быть для характеристики ее, как человека, рвущегося к активному выступлению, а возможно, что с целью просто вызвать и самого автора на разговор на эту тему, но сам-то Швейцер, я уверен, практического значения этому предложению Леонтьевой не придавал: не мог придавать, как практический и осмотрительный человек, хладнокровно анализировавший и события, и обстановку их, и людей.

Я вполне согласен с характеристикой Швейцера, данной Б. В. Савинковым; прибавлю только, что, к несчастью, так рано погибший, дорогой для дела и близкий ему, Леопольд по своему типу напоминал мне «семидесятника»: это был *человек долга* прежде всего, не увлекающийся и осмотрительный в своих словах и поступках. Такой человек не способен был сознательно нарушить дисциплину, а для крайне серьезного акта никогда бы не решился остановиться своим выбором на человеке, не испытавшем еще на практике ни своих способностей, ни своих нервов, каким в то время была Леонтьева. Как известно, нервы ее не выдержали даже самого обычного и притом всего полугодового крепостного режима одиночки, а последующее убийство ею ни в чем неповинного человека, вместо П. Н. Дурново, показало ее крайне легкомысленное отношение к человеческой жизни вообще и к самому революционному делу — в частности.

Не в обиду будь сказано Б. В. Савинкову, но отношение его к партийной дисциплине напомнило мне неоднократные мои разговоры с Азефом на ту же тему. Последний ни в грош не

ставил «директивы» Ц. К., прямо, с глазу на глаз цинично заявляя, что все дело ведь только в М. Р. Гоце, а с ним «можно всегда поладить». Все же остальные — не в счет [1]). Такое же отношение к Центру мне случалось встречать и среди других членов «Б. О.», несомненно, как результат развращающего влияния того же Азефа; случалось слышать нечто подобное и в среде впоследствии откololовшихся максималистов, но среди рядовых членов партии — не приходилось и, полагаю, в то время такого отношения и не было.

В дальнейшем мне уже не придется возвращаться к личности Швейцера, и потому теперь же укажу на неточности «Воспоминаний», касающихся его иерархической, так сказать, роли в «Б. О.» в конце 1904 и в начале 1905 г. Эта сторона дела, т.-е. иерархические отношения между собою членов «Б. О.», меня не интересовала и не касалась, не знаком я был тогда и с Уставом «Б. О.», который стал мне известным лишь позже — за границей. Но я случайно однажды присутствовал при разговоре Швейцера и Савинкова, когда последний затронул именно эту сторону вопроса, утверждая, что в отсутствии «Ивана Николаевича» (Азефа) ему принадлежит решающее слово в делах «Б. О.», поставленных в данный момент в России. Швейцер весьма спокойным тоном протестовал, и из дальнейших его слов для меня обнаружилось, что такие полномочия предоставлены именно ему, Швейцеру, а не Савинкову. Он, как я помню, сослался на факты, на порученный ему как бы инспекторский надзор за делом Клейгельса и предоставленное ему право неограниченной кооптации новых членов.

По вынесенному мною впечатлению Савинков с доводами Швейцера в конце концов согласился. Обмен мнений, само собой разумеется, носил чисто дружественный характер.

По поводу кооптации я должен сказать несколько слов о принятии Б. Маркова. Совершенно верно, что он кооптирован был Швейцером по моей рекомендации, причем я охарактеризовал Маркова как смелого надежного товарища, но как работника почти еще без партийной практики и без шлифовки, так сказать, эту «шлифовку» и надлежало придать ему перед переводом его на нелегальное положение. К сожалению, повидимому, этого исполнено не было. Марков вскоре арестован был вследствие элементарнейших нарушений основных правил конспирации. Его внешность и багаж совершенно не соответствовали облику и вещам обычных посетителей Сестрорецкого курорта, что и обратило на него внимание прислуги. А в довершение — его нелепо хвастливое письмо к кому-то из знакомых, перехва-

[1]) Впрочем [illegible] Н. В. Чайковского [illegible] ного самостоятельного человека за границей.

ченное жандармами, окончательно погубило этого юношу, на многие годы похоронив в тюрьмах. Не сомневаюсь, что Маркову ничего не было сказано об обязательствах членов «Б. О.», «ни с кем не переписываться». В противном случае он, тоже человек дисциплины, никогда не нарушил бы, понятно, этого обязательства.

Такое же упущение было сделано, очевидно, и по отношению к Сикорскому; несомненно, если бы с достаточной ясностью ему было объяснено, как, где и почему необходимо уничтожить снаряд, то он и исполнил бы это как следует. В противном случае у читателя остается недоуменное впечатление, как возможно вообще доверять роль метальщика человеку, который вызывает сомнение в таком пустяке, как его способность избавиться, не губя себя, от уже ненужного снаряда.

Не сомневаюсь, конечно, что с Сикорским велись предварительные разговоры и на эту тему, как рассказывает Б. В. Савинков, я хочу лишь сказать, что они были недостаточны, т.-е. не были им усвоены.

—

Перехожу к другим неточностям «Воспоминаний». Автор, рассказав, как приняв большие предосторожности, он встретился с членом Московского комитета В. М. Зензиновым, чтобы условиться с ним о прекращении наблюдения за великим князем Сергеем, которое велось московским комитетом, не знавшим, конечно, об однородной деятельности «Б. О.».

Б. В. Савинков пишет: «Через день Зензинов был арестован по комитетскому делу, и я имел случай лишний раз убедиться, как важно для успеха террористического предприятия полное его обособление. За Зензиновым, конечно, следили уже в день моего с ним свидания, при большей наблюдательности филеры могли проследить и меня, а через меня и весь наш немногочисленный отдел». В общем я, конечно, согласен с автором, что «обособление» боевика обязательно и не вызывает никаких возражений.

Я сообщил Б. В. Савинкову об этом предприятии Московского комитета и свидание его с членом Московского комитета устроено было тоже мною, я же приготовил и место свидания. Кто из комитетчиков должен был явиться на место свидания заранее не было установлено, но явился на это свидание не В. М. Зензинов, а А. Р. Гоц, с которым и вел переговоры Б. В. Савинков наедине, в особой комнате. Я имею полное основание утверждать, что это свидание не было прослежено.

Зачем автору нужно было после этого свидания еще видеться и говорить с другим комитетчиком, с В. М. Зензиновым — мне неизвестно. Конечно, это было и излишне и крайне неосторожно.

Но не изменяет ли автору память и в этом случае. Может быть он смешал А. Гоца с В. Зензиновым?

Автор «Воспоминаний» («Былое», № 3, стр. 80) говорит, что «после смерти Швейцера... во главе «Б. О.» стоял коллектив из Ивановской, Леонтьевой, недавно приехавшего в Петербург Барыкова и др. Не говоря уже о том, что коллективное начало в терроре нужно признать вредным, ибо оно предполагает многочисленные и долгие совещания — коллектив состоял из людей для руководства организацией недостаточно опытных и, кроме того, сносившихся еще с Тютчевым, тоже не знакомым с техникой боевых дел».

Это не совсем или, вернее, совсем не точно. Прежде всего неверно известие об участии в руководстве организацией Леонтьевой, которую даже странно представлять в ответственной роли руководительницы «Б. О.», при ее полной неопытности как в боевой, так даже и в партийной деятельности. Сносилась с организацией по необходимости сначала, действительно, П. С. Ивановская, а затем С. Н. Барыков, не недавно приехавший, а вернувшийся в Петроград после своей поездки по делам «Б. О.», и, наконец, руководство перешло к приехавшему Б. Н. Моисеенко. До приезда Б. Н. Моисеенко и смерти Швейцера прошло всего 5—6 дней. Никаких многочисленных, а тем более долгих совещаний не происходило, да они были и излишни, так как только продолжалось уже ранее налаженное Швейцером дело наблюдения за Треповым. Не доставало организации после смерти Швейцера техника, и потому вызвана была Дора Бриллиант. Это обстоятельство действительно вынудило на время отложить покушение на Владимира. Лично я сносился, как и ранее, только с Ивановской, Барыковым и с Моисеенко (вместо Швейцера), не принимая непосредственного участия в руководительстве, т. к. на мне одном лежали все смежные с ними общепартийные дела.

Что же касается неопытности и незнакомства с техникой боевых предприятий, то ведь не боги горшки обжигают, а затем и сам автор в деле Плеве, так и почти все остальные его товарищи были новички, в то время еще поразительно неопытными, что не помешало им, однако, [illegible] довести в конце концов, что дело до [illegible]. Наоборот, у перечисленных автором лиц [illegible] вполне достаточно (кроме Леонтьевой), при которой же к несложным приемам боевой техники долгого времени не требовалось.

Все же, относительно будто бы «новых» приемов техники, [illegible] в «Б. О.» под руководством Азефа, не меньше [illegible] автор [illegible] сильно ошибается, преувеличивая в [illegible] [illegible] заслуги и изобретательность

Азефа. Большинство этих приемов практиковалось революционерами и ранее, да еще до «Народной Воли»[1]) и в ее период, а другие — копированы были Азефом с приемов филерского наблюдения, созданных охранкой, и не могли быть, следовательно, ей неизвестными («Извозчики», «уличные разносчики»).

С другой стороны, весьма неконспиративное обыкновение, принятое по указанию Азефа, и ему самому, конечно, для его охранных целей весьма удобное, а именно свидания в общественных местах, где нет возможности определить, наблюдают ли за вами или за лицом, с которым вы имеете свидание, тоже не говорило в пользу правильности постановки техники «Б. О.» После смерти Швейцера предполагалось совершенно отменить такие приемы, тем более что одновременно замечены были и первые указания на начавшуюся слежку (за Барыковым и Ивановской). Но видоизменить ничего не удалось, не успели: было уже поздно. Заметив за собою слежку, я, хотя и приписывал ее своему общепартийному положению, стал все же с крайней осторожностью сноситься с членами «Б. О.», никогда не соглашаясь на свидания в тех общественных местах, которыми мы пользовались до смерти Швейцера.

Результаты оказались хорошими. Передо мною лежит официальный «Список лиц, упоминаемых в дневнике наблюдений по гор. Петербургу за членами «Центрального Комитета» и «Боевой Организации» партии социалистов-революционеров с 11 февраля по 16 марта 1905 г.». Из этого «списка» видно, что ни одно мое свидание с членами «Б. О.» прослежено не было. Прослежены были лишь официальные мои, и притом вполне легальные, сношения по литературным делам, родственным связям и прежним знакомствам, т.-е. свидания не конспиративные. Могу подтвердить, что все «наблюдения» верны, за исключением будто бы моего свидания с Ник. Петр. Ашешовым, с которым в то время я еще не был знаком и которого даже никогда и не встречал. Ошибки филеров, повидимому, объясняются тем, что я, может быть, заходил не в № 11, а в соседний дом по Литейному пр., к стариннейшему моему знакомому А. И. Иванчину-Писареву.

---

[1]) Еще с 1877—78 гг. землевольцы пользовались знаменитым Варваром для необходимых наблюдений. Пользовались и разносчиками, торгующими по улицам разной мелочью; под видом торгующей ларочки производились тоже нужные наблюдения. Перед 1 марта 1881 г. Желябовым были куплены две лошади и пара саней, и легковыми извозчиками сделались Макар Тетерка и некто Михайлов. Они должны были принимать также участие в нападении с метательными снарядами. Таким образом мы видим, что... schon alles da gewesen! Только пользуясь тем, что революционная публика была весьма мало знакома с историей русской революции, Азеф мог морочить ей глаза своими будто бы новаторскими приемами...

Относительно «наблюдений» за другими членами «Б. О.» дело обстояло хуже, частью они были прослежены уже и ранее (Барыков), вследствие доноса Н. Ю. Татарова на меня и П. С. Ивановскую, большинство установлены были, очевидно, после их свиданий в Народном Доме с упомянутыми лицами, числа 10—11 марта, и с этого момента за всеми ими установлено было уже ежедневное неослабное наблюдение.

Таким образом, общий провал организации, как я уверен, обусловлен был двумя причинами: доносом Татарова и свиданиями в общественных местах, без чего некоторые члены организации продержались бы дольше, а, может быть, и совсем не были бы открыты.

5) Снова «беллетристика».

В заключение моих заметок, невольно превысивших намечавшийся их размер, следует указать еще и те места в последних главах «Воспоминаний», которые вызывают сомнение благодаря уже упомянутой выше субъективности автора.

В этом отношении характерен его разговор с Соколовым «Медведем» о желательности слияния деятельности максималистов и «Б. О.» («Былое», январь, 1918 г., стр. 81). Выслушав такое предложение Б. В. Савинкова, Соколов задумался и сказал

«Нет, конечно, я, лично я, ничего не могу иметь против. Нет сомнения, для террора такое соединение выгодно и полезно. Но захотят ли товарищи, ваши и мои?»

«Я ответил ему, что за своих товарищей я ручаюсь (*курсив мой. Н. Т.*), что разумеется, придется установить известное техническое соглашение, но что программные разногласия нас не могут смущать,—что мы, террористы, не можем расходиться из-за вопроса о социализации фабрик и заводов.

«Соколов махнул рукой.

«—Мои не согласятся ни за что»...

Конечно, Соколов стоял на верной принципиальной позиции и был прав, а автор «Воспоминаний» не мог ручаться за громадное большинство своих товарищей-боевиков, бывших, конечно, не профессионалами «красного цеха», а идейными работниками партии. Да и фактически соглашение с максималистами, практиковавшими недопускаемые партией технические приемы борьбы (с чем согласен и сам автор!), было, конечно, даже и лично для него неосуществимо...

Говоря о Сулятицком («Малютке»), автор тоже вновь впадает в беллетристический тон—из «Коня Бледного».

«В нем (в Сулятицком), говорит автор, гармонично сочетались две черты, основные черты каждого террориста два

желания: желание победы и желание смерти во имя революции». Мы вновь встречаемся здесь с ходульным «искуплением», так как убийство является «все-таки греховным» и пр., и пр.

Сулятицкого лично я не знал, почему и не могу судить, насколько прав автор, приписывая ему эти две, будто бы гармоничные, черты каждого террориста.

Но, что они не свойственны и даже противоречат умственнно-моральной физиономии громадного большинства террористов, как народовольцев, так и социалистов-революционеров, это вне сомнения для всякого, объективно исследующего историю русского революционного движения. Взгляд автора настолько же неправилен, как и противоположный взгляд, который «Судебно-Следств. Комиссия по делу Азефа» решилась даже печатно высказать в своем «Заключении», взгляд о «кавалергардской» будто бы психологии, развивающейся у боевиков.

Конечно, это клевета, высказанная притом лицами, некомпетентными и в этой области в партии вполне неавторитетными. Но еще большее зло происходит вследствие того, что тяжелый подвиг революционера-террориста окутывается вполне компетентным товарищем каким-то флером мистического толстовства, превращающего мемуарь в «беллетристику», да еще плохого качества.

Убежденный террорист-революционер так же свободен от мистицизма, как не может заразиться и казарменным профессионализмом или «кавалергардской» психологией.

Некоторая доля «беллетристики» прорывается у автора и там, где он оставляет свой мистицизм и начинает снова трактовать о повседневной прозе в жизни террористов. Так, между прочим, он рассказывает, что наблюдательному боевому отряду никак не удавалось установить маршрут министра внутренних дел П. Н. Дурново, а затем за него боевики приняли министра юстиции Акимова, похожего несколько лицом на Дурново. На Акимова и решено было тогда произвести покушение. При этом автор передает любопытный эпизод, случившийся с Всев. Мих. Смирновым, следившим за выездами Дурново, как газетчик. «Однажды на Загородном пр. к нему подошел никто иной, как Дурново, и купил у него «Новое Время», говорит Б. В. Савинков.

В другой раз «Адмирал» (извощик) тоже «заметил министра на Морской. Дурново стоял на углу, разговаривая с каким-то чиновником».

Автор прибавляет, что у наблюдавших оружия при себе не было, а потому Дурново мог спокойно удалиться. Но не в этом дело.

Автор забыл упомянуть характерную подробность, неизменно повторявшуюся и подмеченную наблюдавшими за Дурново. На

пути предполагаемого маршрута министра к Царскосельскому вокзалу всегда находились филеры, которые внезапно улетучивались после печального для боевиков проезда Дурново, а однажды кому-то из них (кажется В. М. Смирнову) даже удалось слышать, как один филер сказал другому: «ну, что же ты? проехал [illegible]». С другой стороны мы теперь знаем, что охранкой для введения в заблуждение революционеров, даже еще ранее, в 1890-х гг. практиковалась фиктивная инсценировка наблюдения. Об этом писал, например, в своем докладе д-ру Деп. Полиции о деятельности заграничной агентуры известный Зволянский:

«Устройство контр-наблюдения со стороны эмиграции вызвало необходимость найма нескольких (хотя и дешевых) подставных агентов для введения в заблуждение контр-наблюдателей» (В. К. **Агафонов**. «**Заграничная охранка**», стр. 29).

Прием этот изобретен был в те времена Рачковским, который стоял во главе розыскного дела и в 1906 г., когда боевики выслеживали П. Н. Дурново. Я думал и ранее, что нечто подобное было применено Рачковским при охране Дурново и тогда же говорил об этом товарищам, а подтвердило мою догадку уже после революции одно компетентное в этой области лицо, объяснившее мне, что революционное наблюдение за министром не давало результатов потому, что на Загородном пр. и других улицах охрана проезда министра была лишь инсценирована, а ездил он в обычной наемной карете по параллельным улицам, где ставилась разве лишь специальная охрана. Но он ездил, а не ходил, и последнее было все же более рискованным, не гарантируя Дурново от случайных встреч.

Поэтому я думаю, что Смирнов и «Адмирал» были введены в заблуждение случайным сходством с Дурново лица, замеченного ими в экипаже, подъезжал к полотну Царскосельской линии где-либо за вокзалом, почему и не попадал в сферу их наблюдения. Когда Дурново был уже в поезде, инсценированной охране давался сигнал сниматься с постов... Несомненно вся эта махинация производилась Рачковским с ведома Азефа, заставлявшим боевиков разыгрывать простую комедию.

В заключение я должен еще раз повторить, что весьма ценные для истории революции «Воспоминания» Б. В. Савинкова нуждаются в особо вдумчивых исправлениях и дополнениях, без которых пользоваться ими, как историческим документом, а не как своего рода беллетристическим произведением, положительно невозможно.

Н. Тютчев.

([illegible])

Заметка о рабочем движении в Одессе в 1880—1881 г.г.

В официальном отчете «Хроника социалистического движения в России. 1878—1887 г.г.» (Изд. Саблина, Москва. 1907 г.) в главе «1881 г.», на стр. 196, напечатано. «Расследования политических процессов последних лет доказали во многих случаях, что губернии южные и юго-западные являлись теми местностями, в которых наиболее легко образовывались анархистские кружки, главным образом составлявшиеся из учащейся молодежи. Последние факты, собранные администрацией по вопросу о положении вещей на юге, так же, как и существование нового «Союза южных рабочих» только что организовавшегося, доказали необходимость вверить все ведение дела управлению лица, специально для этого назначенного. Таковым лицом явился генерал-майор Стрельников, прокурор военного суда Киевского военного округа; назначение последовало 5 августа, все политические следствия в губерниях, входивших в район управления киевского и одесского генерал-губернаторов, были вверены Стрельникову и его помощнику, товарищу прокурора судебной палаты Кучукову.

«До сведения полиции дошло, что в это самое время в Одессе функционировало 2 социалистических кружка. Один из них, разделенный на 4 секции, имел в качестве главарей Николая Давоикевича и Василия Голикова. Члены его были арестованы в апреле месяце. К концу того же месяца был открыт другой кружок, состоявший из евреев, кружок был устроен в 1880 г., некиим Горнштейном; главарем его был мещанин Вениамин Греч. С весны 1881 года он соединился с кружком русских рабочих и образовал одну ассоциацию, которая организовала слесарную мастерскую, кассу взаимопомощи, выработала устав и редактировала прокламации, которые должны были быть распространены по городу. Следствие генерала Стрельникова охватывало 92 членов этой ассоциации, между которыми было 20 евреев и 64 рабочих; в это дело было замешано около 300 рабочих. Многие из скомпрометированных лиц в это же самое время фигурировали в киевских революционных организациях; между ними некто

Яков Петлицкий, сообщивший подробности об организации союза, заключавшего в себе тогда до 70 человек...»

Так рассказывает о рабочем движении 1880—81 г.г. в Одессе официальный отчет *).

Я летом 1880 г. вошел в одесскую народовольческую группу. В течение почти полутора лет, протекших до моего ареста, я все время был в общении с рабочими и ни разу ни от кого не слыхал о рабочем кружке, имевшем главарями Дзвонкевича и Голикова, о четырех секциях, о соединении кружка русских рабочих с еврейским кружком и о других вещах, о которых говорит официальный отчет.

В 1883 г. Дзвонкевич и Голиков были осуждены в каторгу по Стрельниковскому процессу, но осуждены они были не за организацию рабочих кружков в Одессе, а по другим делам, да и жили они оба и арестованы были в Крыму. Откуда официальный отчет взял сведения, которые он сообщает, трудно понять. Я обратился за разъяснением своих недоумений по этому поводу к Вере Николаевне Фигнер. Но и она — человек очень хорошо осведомленный в революционных делах Одессы того времени — никогда не слыхала о кружках рабочих, возглавлявшихся Дзвонкевичем и Голиковым.

Между тем в это самое время (80—81 г.г.) в Одессе действительно существовала народовольческая организация, которая вела пропаганду среди одесских рабочих.

Начало ей положил Тригони, который летом 80 года собрал и объединил обломки прежних рабочих организаций. В группу, организованную им, вошли рабочие из кружков Заславского, Лиона, Фомичева и др. Здесь были старые рабочие революционеры. Моисей Попов, Петр Клименко, Галактион Батагов, Петр Валуев, Орест Костюрин, Карл Иванаин. Этот последний, впрочем, был в Одессе человеком новым — он только в 80-м году приехал из Петербурга.

Все они были люди разных профессий и работали в разных местах. Моисей Попов был резчиком по дереву, работал в столярной мастерской Мерклинга. Галактион Батагов — столяр. Петр Валуев — маляр. Орест Костюрин (брат Виктора Костюрина) — молотобоец. Петр Клименко — маляр. В то время ему было уже около 40 лет. Он много вращался в революционных кружках. Арестован был по оговору Меркулова уже совершенно больным в последнем градусе чахотки. Запуганный Стрельниковым на допросах, раскаялся. Умер по дороге в ссылку в Томской тюрьме.

*) Кульчицкий в своей «Истории русского революции» (часть II, стр. 422, [illegible] издания), говоря о революционном движении в Одессе в 80—81 ссылается на вышеприведенное место официального отчета.

Карл Иванаин — механический рабочий. До приезда в Одессу работал в Петербурге на разных заводах. Успел побывать за границей и в ссылке в Сибири.

Таков был состав одесской народовольческой рабочей группы. Каждый из названных рабочих вел пропаганду на своем заводе или мастерской. В 1881 г. все они, по оговору Меркулова, были арестованы.

Кроме того, велась пропаганда в предместьях — Молдаванке, Пересыпи и вообще на окраинах Одессы, где обыкновенно селились артели пришлых из деревень рабочих. Одесса в то время быстро росла и застраивалась и из внутренних губерний на время строительного периода толпами приходили плотники, штукатуры, каменщики, печники и др. строительные рабочие. Вот среди них и велась пропаганда. Этими рабочими мы очень дорожили, так как они были еще тесно связаны с деревней и могли там быть хорошими проводниками наших идей.

Но кроме обычной в то время пропаганды — на ушко и с глазу на глаз — мы в предместьях вели еще, так сказать, летучую пропаганду.

С весны 1881 г. я по воскресеньям отправлялся с кем-нибудь из своих друзей рабочих в предместье на заранее условленную квартиру, которую ее хозяин соглашался предоставить нам для собеседования. Сюда собирались знакомые хозяина, и мы за чаем вели совершенно непринужденно беседу на разные крамольные темы. Полиции в те времена еще никакой в предместьях не было; дверь на улицу обыкновенно не была заперта; одни уходили, другие приходили, и так продолжалось в течение нескольких часов.

Впрочем эти «хождения в народ» скоро пришлось прекратить. В Одессе начались аресты и нужно было думать не о пропаганде, а о спасении того, что еще уцелело.

Этих затронутых нашей пропагандой рабочих Стрельников арестовал множество. Мне говорили, что было арестовано человек до 200—250. Не знаю, сколько среди них было спропагандированных нами, но я думаю, что их было не мало.

В предместьях же мы вели и более интенсивную пропаганду.

В течение нескольких месяцев я вел занятия с кружком молодых плотников. Кружок был небольшой и составлен с таким расчетом, чтобы ему можно было собираться по вечерам, не обращая на себя внимания, на квартире одного из своих членов.

Фамилии я и тогда не знал, а теперь успел уже забыть и имена некоторых. Помню, что был Николай, было два Павла («два Павлушки», как их называли плотники) и Антон. Остальных не помню, хотя их и теперь вполне ясно вижу перед собой.

К этим плотникам я два или три раза в неделю приходил по вечерам на Молдаванку и вел с ними занятия и собеседования.

О чем мы беседовали, чем занимались? Конечно, в наших беседах много места занимали разговоры о земле, об общине, о будущем строе, о революции. Я им рассказывал о французской революции, об ассоциациях, об Оуэне, о Лассале. Давал читать нелегальные книжки: Хитрую Механику, Сказку о четырех братьях и др. Читали они и кое-что из наших легальных писателей: Наумова, Нефедова, Решетникова, Златовратского, Успенского.

Одно обстоятельство, одна особенность наших бесед долго занимала меня, и я долго не мог ее себе уяснить.

Когда я говорил с ними о социализме, об общине, о будущем строе, они очень кстати подавали реплики и с интересом слушали.

Но особенно они оживлялись, как только наши беседы касались вопросов о происхождении видов, о фазах луны, о солнечных затмениях, о происхождении мира и т. д.

Тут внимание сразу становилось напряженным, они старались не пропустить ни одного слова, задавали вопросы, намечали темы, о которых хотелось бы побеседовать.

Сначала я думал, что в данном случае я имею перед собою то, что Гете называет «бескорыстное любопытство», что моих плотников просто интересуют чудеса мира и что эти наши беседы не имеют никакого отношения к политике и социализму.

Потом я убедился, что это не так. Весь общественный строй с царем на своей вершине так тесно связан в голове крестьянина с его суевериями, что одно совершенно не поддается критике, пока другое не расшатано. Три кита, на которых стоит мир, и царь со всеми его порядками — это один монолит, и нельзя разрушить политические и общественные взгляды крестьян и рабочих, оставив в неприкосновенности их веру в трех китов. И рабочие с напряженным вниманием слушали мое популярное изложение Дарвина. Это им не только разъясняло мировые загадки, это для них была и политика.

К концу 1881 г. все эти плотники были арестованы при общем погроме, который учинил Стрельников в Одессе. Всех их по прошествии некоторого времени выпустили, кроме Антона Филюкова.

Филюкова притянули к суду только за то, что он на допросах у Стрельникова держал себя очень независимо и даже вызывающе. Он был приговорен к поселению в Восточной

Сибири и, кажется, отбывал свой срок в Киренском округе Иркутской губернии.

До Томска я с ним шел в одной партии. Все время пути он был так же бодр, как и раньше на воле. Всю дорогу вел пропаганду. Пропагандировал солдат конвоиров, тюремных надзирателей, арестантов.

Филюков был прирожденный агитатор. Еще в Одессе, во время существования кружка плотников, он на время уехал домой в деревню. Оттуда он нам написал письмо. Там каракулями и с своеобразной орфографией было изложено, что у них «народ начал входить в разум», и «скрозь туман пробивается свет»; это означало, в переводе на обыкновенный язык, что он ведет пропаганду и она идет успешно. По приезде он мне рассказал о своих успехах. Особенно его радовало, что его *«баба»* с ним «согласна». По приезде в деревню он снял со стены икону, изрубил ее в щепки и велел «бабе» испечь на этих щепках блины.

Совсем другим человеком оказался другой член кружка — Павел Федулов. Он на допросе у Стрельникова, в противоположность Филюкову, очень перепугался и выдал решительно все, что знал. Но так как он знал очень мало, а Стрельников грозил ему сильно и нажимал на него, он давал совершенно фантастические, вымышленные показания.

По этому же процессу, по которому судился Филюков, осуждены были в каторгу рабочие, о которых я говорил выше: Багатов, Попов, Иванаин и Валуев, а Клименко — на поселение. Итак, из арестованных в 1881 г. рабочих народовольцев четверо сосланы в каторгу, а двое на поселение. Всего этого официальный отчет не заметил и, говоря о рабочем движении в Одессе, рассказал какие-то небылицы о кружке, возглавляемом Двонкевичем и Голиковым, о еврейском кружке, четырех секциях и т. д.

Так пишется история!

М. Дрей.

Хорошевка, Моск. губ.
июль 1923 г.

Ветеран Народной Воли

(М. П. Овчинников).

I.

В лице Михаила Павловича Овчинникова наука потеряла крупного археолога, наблюдательного этнографа, неутомимого и бескорыстного охранителя сибирских архивов. Ему же, как активному народовольцу, заплатившему за свои политические мечтания и попытки провести их в жизнь дорогою ценою многолетней ссылки, должно быть отведено почетное место и в истории политической борьбы 70—80 годов прошлого века.

О первых шагах своей политической деятельности М. П. мало говорил даже своим друзьям. Когда в пряже дней время заканчивало нить его полной тревог и волнений жизни, в сознании старика стали выплывать картины прошлого, явилось непреодолимое желание познакомить с ним своих ближайших друзей. Тогда же он взялся за перо.

Часть воспоминаний М. П. поместил на страницах сибирских журналов, другая, находившаяся в редакциях, в моменты переворотов бесследно погибла и лишь немногое, написанное уже ослабевшей рукой на смертном одре, сохранилось среди его бумаг. В этих рукописях, любезно предоставленных в мое распоряжение вдовою М. П., не так-то легко разобраться.

Находясь в последнее время в тяжелых жизненных условиях с ослабевшим зрением, он писал их при свете лучины или жалкой плошки; немудрено, что старик, не видя написанного, нагромождал строчку на строчку.

Все воспоминания М. П. написаны наскоро, без системы, отрывочно с большими хронологическими пробелами и небольшими фактическими промахами. Воспоминания свои он больше посвящает деятельности своих друзей-народовольцев, а о себе самом, о той роли, какую ему пришлось играть в политической борьбе 70—80-х годов, он со свойственной ему скромностью, говорит очень мало *).

*) Воспоминания М. П. [illegible] исторический источник для [illegible] революционной борьбы 70—80-х годов. Они написаны [illegible]

В литературе, посвященной революционному движению в России, имя М. П. упоминается редко, да и то мимоходом.

Все это не дает возможности яркими мазками набросать облик М. П., как активного народовольца, проследить зарождение в нем революционных идей, их эволюцию и воскресить, хотя бы главные моменты из его борьбы за грядущее счастье людей с его солнцем правды, свободой и братством.

Однако близость моя к М. П., скрепленная совместной десятилетней работой в архивах Сибири, обязывает меня превозмочь указанные затруднения и попытаться воскресить его образ, как активного народовольца.

Михаил Павлович Овчинников был сыном протопопа крепостной Усть-Двинской церкви. Воспитание получил в Архангельской духовной семинарии. То была, достаточно освещенная в литературе, старого типа бурса, с ее тремя классами и шестилетним в ней пребыванием.

Тяжелый школьный режим, притеснение и гнет начальства возмущали юного семинариста. То было время общественного подъема 60-х годов. Одновременно раздавшийся набат Герценовского «Колокола» с призывом итти в народ, стать сыном его в тот момент, когда «растет стон — рев морской волны, которая закипает, чреватая бурями», заставили М. П. принять определенное решение: оставить учебу в бурсе и пробраться в Петербург, где только и можно получить реальные знания.

М. П. был того мнения, что итти в народ надо не с пустыми руками, а с солидным запасом знаний. Медико-Хирургическая Академия казалась той высшей школой, которая облегчит работу среди народа.

С одним из своих друзей, без гроша в кармане, полные веры в юношеские силы, с жаждой света новой жизни М. П. в конце 60-х годов оставил Архангельск.

Действительно, счастье на первых порах улыбнулось друзьям: они стали студентами Медико-Хирургической Академии.

В Петербурге уже существовали радикальные студенческие кружки, там получались печатные издания, велась оживленная беседа по затронутым литературой вопросам новой жизни.

самохвальства, [illegible] М. П. пишет бесхитростно о том, чему сам был свидетелем и в чем принимал непосредственное участие.

Память не изменила старику до последних дней его жизни, и картины революционной борьбы он воспроизводил точно, ясно и без всяких прикрас.

Целый ряд фактов, описанных в его тетрадях, совпадает с тем, что нам известно из литературы по данному вопросу, но встречаются описания и таких моментов из истории революционной борьбы 70—80-х гг., о которых или совсем не упоминается в литературе или сказано лишь несколько слов (напр., организация покушений на Д. Толстого, Тотлебена и т. п.).

Особенно много толков вызвала проповедь М. А. Бакунина. Студент Овчинников жадно воспринял идеологию основоположника анархизма, он был убежденным сторонником той мысли, что полное развитие личности и воплощение в общественной жизни справедливости и истины могут быть достигнуты лишь при полном разрушении государственного порядка.

Бакунин, как в свое время и Герцен, обратился к молодежи с призывом идти в народ, но не для того, чтобы узнать его нужды, потребности или испить чашу его страданий, а с тем, чтобы вывести народную массу из состояния покоя, пробудить в ней революционные страсти и поднять на бунт против существующего порядка, ибо до тех пор, пока этот порядок не будет опрокинут, невозможно, как думал Бакунин, никакое правильное общественное развитие.

Чтобы молодежь, увлеченная идеями Бакунина, могла с легким сердцем порвать нити, связывающие ее со школой, и немедленно двинуться в народ с указанной им целью, Бакунин проводит еще ту мысль, что старая «наука должна погибнуть вместе с миром, которого она есть выразитель» *), что при существующем положении вещей всякая наука, всякое учение есть только трата народных средств, что передача знаний ни к чему, пока народ не будет освобожден.

М. П., усвоивший точку зрения Бакунина, не сожалел оставить Академию после годичного в ней пребывания, тем более, что и борьба за существование, становившаяся с каждым днем все тяжелее и обостреннее, наводила на мысль оставить школу. Подкошенный голодным тифом ушел в вечность школьный товарищ М. П., с которым он вышел из Архангельска, а перед ним самим носился уж призрак голодной смерти.

Часть студентов, покинувших в 1873 г. стены Академии, поступила писарями в главный штаб, туда же определился и М. П.

Вот что говорит об этой молодежи кариец С. В. Богданов: «Это были юноши, свободное время по большей части проводившие в чтении и спорах об общественных вопросах. Споры моих товарищей меня заинтересовали, но я стоял ниже их по своему развитию и не мог принимать участия в дебатах. Я стал искать, чтобы мне помог разобраться, что надо читать и чего не надо. Этому помог один из моих сослуживцев Михаил Павлович Овчинников» **).

В это время М. П. поддерживал связь с Плехановым, Каблицем (Юзовым), Емельяновым (А. П. Боголюбовым), Кравчинским

*) Обращение Бакунина помещено у Богучарского. «Активное народничество 70-х годов». М. 1912 г., стр. 137.

**) «Помощн. присяжного поверенного Е. С. Семяновский — один из первых карийцев». «Былое» 1906 г., № 11, стр. 100.

(последний, например, снабжал его литературой для агитации среди рабочих).

В феврале 1874 г. в среде революционных деятелей, резко обнаружилось расхождение и разделение на постепеновцев и бунтарей. К последней группе наравне с Кравчинским и Клеменцом, примкнул и М. П., официально объявив себя сторонником «апостола всемирного разрушения».

Весною того же года, в самый разгар хождения в народ молодежи, М. П. оставляет службу в главном штабе и, заражаясь духом времени, идет в народную толщу, поступает на механический завод Федосьева, где молодыми сильными руками производит нарезку болтов и гаек.

Тогда же М. П. знакомится с Мышкиным. Мышкин, спасаясь от ареста, обращается по совету Войнаральского и Богушевича к М. П. с просьбой достать для него какой-либо паспорт.

Действительно, при содействии Емельянова, М. П. добыл паспорт и вручил его Мышкину. Последний не считал себя в безопасности и решил пробраться за границу. Но если не легко было достать фальшивый паспорт для проживания внутри России, то получить заграничный казалось делом невероятным.

М. П. и здесь нашел выход. Получив заграничный паспорт на свое имя, он вместе с Мышкиным отправился в Вержболово. Там они остановились в гостинице Фуксмана, где между контрабандистами обычно заключались различного рода сделки. С одним из таких дельцов Мышкин ночью перешел границу, а по утру М. П., как было установлено, прошел таможенную заставу, визировал паспорт и прибыл в Эйдкунен, где нашел Мышкина.

В тот же день Мышкин, под именем М. П. Овчинникова, уехал в Швейцарию, а подлинный М. П. возвратился в Петербург. Получив разрешение на выезд за границу, М. П. не считал удобным оставаться в Петербурге, где он имел уже обширный круг знакомых. Вот почему, заручившись фальшивым паспортом на имя Николая Федорова, крестьянина Архангельской губернии, М. П. переехал в Москву, где радушно был принят в бакунинских кружках. Но там он оставался недолго. Народник-революционер, он не довольствовался работой на фабрике, его тянуло в народ, на простор полей широких, туда, где был силен общинный дух, ибо там, а не на фабрике, думалось ему, можно познать «все миросозерцание народа, его инстинкты, его стремления». Летом 1874 г. мы видим М. П. с котомкой за плечами среди сел и деревень Московской, Калужской, Тверской, Тульской губерний, где он, изучая крестьянский быт, ведет попутно пропаганду. В Орловской губернии, М. П. нечаянно столкнулся с представителями секты бегунов, отрицавших священство, не признававших начальство, паспорта и т. п. Хотя анархическое

проповедь М. П. и пришлась им по сердцу, однако, по многим вопросам они сойтись не могли *).

К осени М. П. возвратился в Петербург и вместе с Грачевским работал на заводе Струбинского, а позже, в качестве смазчика, в так называемом круглом здании Николаевской железной дороги.

Агитатор по призванию, полный юношеского задора, непочатой энергии, М. П. рвался к работе. Между тем в Петербурге трудно было вести систематическую пропаганду. Несмотря на все старания М. П. скрыть свое звание, рабочие все же в его лице видели не их брата мастерового, а человека «полированного», как они его называли.

Вот почему М. П. потянуло снова в Москву.

В этот период своей деятельности он был твердо убежден в том, что рабочему, как производителю всех богатств, должны принадлежать не только продукты производства, но и орудия производства, земля же должна отойти к тем, кто обрабатывает ее. Выступая пред рабочими в качестве агитатора, он рисовал пред ними заманчивые картины грядущего жизненного уклада, рисовал по тем образцам и приемам, которые даны были его кумиром-учителем Бакуниным.

Сам М. П. говорит, что на фабрике Либиша, по окончании работ он читал рабочим евангелие и, доказывая необходимость построить идеальную жизнь на основе евангелия, направлял свою речь против Либиша, платившего гроши рабочим и высасывавшего из них все силы **).

Присматриваясь к рабочим, сближаясь с ними, М. П. останавливал свое внимание на тех, в ком замечал проблески протеста против тяжелого их положения и, как умелый агитатор, возбуждая в них недовольство, подливал масло в огонь. Оставалось такого рабочего «детально обработать», как тогда говорилось. С этой целью М. П. приглашал таких людей по воскресным и праздничным дням на квартиру к студенту Козельскому, умелому пропагандисту социалистических идей. Сам же М. П. в таких случаях редко здесь оставался, а большею частью отправлялся в мастерские, напр., в сапожную мастерскую Смиттен (в д. Кигнера, на Почтамтской) и там рабочим-финляндцам читал монографии Костомарова, знакомил их с географией; социалистической пропагандой здесь занимались технолог Ионов и путеец Оглоблин ***).

*) Овчинников. «Из моих народовольческих воспоминаний». Сибирская Летопись 1917 г. № 1 — 2, стр. 13.

**) Овчинников. «Из моих народовольческих воспоминаний». Сибирская Летопись. 1916 г. № 6 — 8, стр. 280.

***) Там же, стр. 272.

К статье Б. Кубалова: «Ветеран Народной Воли».

М. П. Овчинников.

К статье М. И. Дрея: «Заметка о рабочем движении в Одессе».

А. Филюков

К статье С. И. Мартыновского: «На каторжном положении».

С. И. Мартыновский.

К статье Седого: «Убийство капитана Гинкдеу и Мария Калюжная».

М. В. Калюжная.

В том же 1874 г. происходили в Петербурге массовые аресты среди революционных кружков. В силу этого М. П. оставляет Петербург и переносит свою деятельности в Москву, где ряды революционеров сильно поредели не только в связи с арестами, но и с перемещением центра тяжести всей партийной работы на фабрики Иваново-Вознесенска.

Деятельность М. П. в Москве протекала в том же духе и направлении, как и раньше. Он работает рука об руку с Евг. Субботиной, Гамкрелидзе,

«Зная одной лишь думы власть,
Одну, но пламенную страсть» —

разрушение старого мира, во имя грядущей новой, светлой жизни. Однако, М. П., как революционеру, не удалось в этот период проявить свои способности в полном блеске и занять видное положение в партии. Работать ему в этом направлении пришлось не долго. Когда арестованные в Иваново-Вознесенске Лидия Фигнер, Туманова, В. Александрова и др. препровождались по железной дороге в Шую, то на станции был задержан какой-то мужчина, который, стукнув в окно вагона, стал переговариваться знаками с одной из арестованных женщин. Будучи задержан, он назвался Гамкрелидзе, проживающим в Москве в номере 12-м гостиницы «Украина».

В номере был произведен обыск. По окончании обыска были приняты меры наблюдения за появлением в номере новых лиц, вот тогда то и был задержан М. П. Овчинников, явившийся сюда вместе с Е. Субботиной и Рождественским *).

После ареста М. П. был вскоре освобожден. Однако же арест его самого и арест его друзей нисколько не повлияли на завзятого бакуниста.

Напротив, он еще с большей энергией принимается за работу и выступает не только как агитатор, но и как пропагандист. Вместе с Бариновым, Сбромирским он пытается вербовать пропагандистов среди рабочих. Так некоего Корнюхина они убеждают отправиться для пропаганды в Тулу. По показанию Корнюхина Сбромирский повел его в квартиру Овчинникова. Здесь Корнюхину была вручена М. П. нелегальная литература. Вторичное свидание с Корнюхиным было назначено на пути у Смоленского вокзала, где названные лица снова убеждали Корнюхина отправиться в Тулу. Придя к соглашению с Корнюхиным, они обязались доставить ему паспорт и деньги. Обещанное обусловились вручить на следующий день в одном из трактиров у Сухаревой башни. Корнюхин в последний момент решил выдать своих друзей. По его указанию в трактире были арестованы М. П., Баринов и др.

*) «Процесс 50-ти», изд. Саблина. М. 1906 г., стр. 20.

Властям стало ясно, что М. П. не случайно был арестован в номере 12-м «Украины», а что он является членом тайного общества наравне со всеми ранее арестованными, тем более, что дознанием и вещественными доказательствами, взятыми при аресте знакомых М. П. лиц, была установлена его близость к Любатович, Финнер, Чикоидзе и др., т. е. к тем, кои стояли во главе московских пропагандистов.

Вот почему М. П. был привлечен к суду. О поведении его во время процесса 50-ти нам почти ничего не известно. По-видимому, отказавшись иметь защитника, он занял там самую крайнюю позицию. Когда всем обвиняемым было предоставлено последнее слово, М. П., не бывший в тот день в зале суда по болезни, прислал заявление об отказе своем от защиты и от права последнего слова.

По резолюции правительствующего сената М. П. был признан виновным в принадлежности к сообществу, имевшему своею целью в более или менее отдаленном будущем ниспровержение существующего правительства в государстве с знанием цели этого общества. По определению сената М. П. Овчинников по лишении всех особенных прав и преимуществ ссылался на житье в Енисейскую губернию с воспрещением отлучки из названного места в течение 4-х лет и выезда потом в другие губернии и области Сибири в течение 12-ти лет.

II.

Пять лет М. П. томился в тюрьмах России. Лишь в 1879 г. он был препровожден в Канск к месту своей ссылки. На новом месте М. П. не изменяет себе. Он остается все тем же бунтарем, недовольным существующим строем, все тем же агитатором, умело разжигающим в населении недовольство современным политико-социальным укладом. Немудрено, что как-то раз полицейский надзиратель говорил М. П.: «Пока вас не было, у нас все было тихо. Явились вы — с виду как будто бы все по-старому, а на деле-то иначе, я это чувствую, но выразить только не могу. Прежде мещанишка пикнуть не смел, когда я его по морде бил в полиции или в кабаке, где он буянил, а теперь огрызается и даже обещает, при случае, отплатить. Одним словом, народ ныне почище стал, никакого почтения и уважения от него нет» *).

Кроме того, в отношении населения к местной власти сказывался дух времени, присутствие в том же Канске в большом числе ссыльного элемента, хотя бы польских повстанцев, но все же и влияния М. П. в этом вопросе не приходится замалчивать.

*) Овчинников, М. П. Из моих народовольческих воспоминаний. (Сибирская Летопись. 1916 г. № 6 — 8, стр. 285.

так как с непреклонным революционером считались не только обыватели захолустного городка, но и колония политических ссыльных.

Находясь в ссылке, М. П. не порывал связей с бывшими на свободе своими единомышленниками, успевшими сорганизоваться и выступить как партия с широкой программой и определенной тактикой.

Когда Владислав Избицкий, осужденный по Киевскому процессу, должен был отправиться на Кару, то Валериан Осинский и Павел Орлов указали ему на М. П., как на человека, у которого тот, в случае побега, может найти приют и поддержку. Не доходя до Канска, Избицкий поменялся документами с находившимся с ним в одной партии уголовным Степановым, назначенным на поселение в Ирбейскую волость (Канского уезда) и, прибыв в Канск, прямо отправился на квартиру к М. П. Избицкий задался целью во что бы то ни стало из той партии, в которой он шел, освободить товарищей, отправляемых на Кару. Он условился, что будет следовать за партией с тремя распропагандированными им молодцами, согласившимися принять участие в деле освобождения политических. По условленному сигналу они должны были напасть на конвойных в том месте, где будет это удобно.

Чтобы следовать за партией, необходимо было приобрести лошадь, добыть провиант. М. П., видя всю несуразность задуманного Избицким предприятия, отговаривал его, а когда доводы не подействовали, когда Избицкий настаивал на своем, М. П. должен был принять живейшее участие в подготовке к нападению на конвой. План этот, к счастью, Избицкий оставил, встретив целый ряд препятствий при его осуществлении.

После 1 марта стал чувствоваться среди революционных кругов недостаток в опытных и энергичных руководителях. Исполнительный Комитет партии Народной Воли должен был так или иначе, но пополнить свои поредевшие ряды. Для этой цели решено было организовать самое широкое освобождение партийных работников из мест заключения.

Летом 1881 г. отправлялась на Кару большая партия, ядро которой составляли осужденные по процессу 50-ти и 193-х. В ней были Мышкин, Джабадари, Здановичч, Дмоховский, Виташевский, Сажин, Ионов и др.

Исполнительный Комитет, воспользовавшись массовой отправкой на каторгу, поручил Ю. Богдановичу и Калюжному организовать освобождение их в одном из глухих углов Сибири.

С этой целью Богданович и Калюжный и прибыли в Сибирь. На совещании, происходившем в Томске, постановлено было организовать побег из Красноярской тюрьмы. Без М. П. и это

дело не могло обойтись. Ему было отправлено приглашение явиться в Красноярск.

Начальник тюрьмы Островский, благоволивший М. П., разрешил ему свидание с прибывшими по этапу друзьями, при чем свидание происходило в квартире самого начальника тюрьмы.

Здесь был выработан шифр для переписки, условились, что освобождение должно состояться за Канском во время остановки на Бирюсинском этапе. М. П. было поручено, помимо прямого участия в освобождении, зарыть под определенным верстовым столбом, не доходя до Канска, принадлежности для распиловки кандалов: подпильники, соляную и азотную кислоты.

Летом 1881 г. Ю. Богданович прибыл в Канск, имея на руках паспорт на имя старшего советника Михаленича, командированного в Сибирь министерством внутренних дел по особо важным делам. М. П. не замедлил явиться к приезжему начальству с жалобой на представителей местной власти, якобы притесняющих ссыльных. Обсудив же с глазу на глаз задуманное в Бирюсе освобождение, старые друзья пришли к заключению, что по чисто местным условиям освобождение осужденных немыслимо осуществить на Бирюсинском этапе и что вообще массовое освобождение осужденных потребует слишком много участников, вызовет необходимость обратиться за содействием к уголовному элементу, а на него надежда плохая. К тому же в условиях сибирской жизни, освобожденные по их плану революционеры будут переловлены самим населением.

При вторичном свидании с М. П. Богданович передал ему около трех десятков экземпляров программы Народной Воли, несколько экземпляров письма Исполнительного Комитета к Александру III и последние номера органа партии. В тот же день, будучи на вечеринке у купца Орлика, М. П., войдя в переднюю, вложил по одному экземпляру программы и письма за обшлага шинелей бывших здесь полицейского надзирателя и секретаря полиции. Часть полученной литературы была роздана им знакомым волостным старшинам и писарям, прибывшим из деревень проводить оставлявшего службу исправника Гомулецкого.

В связи с таинственным появлением в городе листовок, был поднят переполох.

Полицейский надзиратель, встретив М. П., прямо заявил ему, что «это дело» его, М. П., рук и что он, полицейский надзиратель, как блюститель порядка, должен начать следствие.

Когда в тот же день М. П. поведал Богдановичу о встрече с надзирателем и о беседе с ним, то опытный революционер дал дружеский совет М. П. бежать *).

*) Мысль о побеге из Сибири назревала у М. П. давно. Ему, как и его сопроцесснику В. Георгиевскому, воспрещена была отлучка из места жительства в продолжение 4 лет. Срок запрещения оканчивался 19 апр.

Богданович снабдил М. П. деньгами, дал ему паспорт, по которому сам жил в Казани, Екатеринбурге, Перми, а также подорожную от Красноярска до Томска.

После этого и Богданович не имел нужды оставаться далее в Канске и в тот же день выехал из города. Через сутки покинул место своей ссылки и Михаил Павлович.

С этого момента в жизни его наступил третий и самый важный момент его деятельности, как активного народовольца.

В Екатеринбурге М. П. встретился с Богдановичем, а осенью они оба были уже в Москве.

III.

В Москве в квартире секретаря земской управы Ткаченко, Михаила Павловича уже давно ожидал Калюжный. На другой день по прибытии М. П. в Москву Калюжный свел его с Халтуриным и Грачевским — членами Исполнительного Комитета партии.

Надо сказать, что в то время, когда М. П. был под судом и следствием, а затем в ссылке, в обществе «Земля и Воля» назревал раскол. Неотвратимость его уже чувствовалась на Воронежском съезде (июнь 1879 г.), где резко по вопросу о тактике разошлись Плеханов и Морозов, вдохновители двух групп. К октябрю 1879 г. с присоединением к Плеханову Стефановича, Дейча и Веры Засулич взаимные недоразумения дошли до такой

1881 г. Уже 5-го марта этого года М. П., а 12-го Георгиевский, бывшие в Андиферовской волости, просят губернатора разрешить им разъезды по Енисейской губернии.

Губернатор, делая по поводу этой просьбы представление генерал-губернатору Вост. Сибири, пишет, что он со своей стороны в виду поднадзорности Георгиевского и Овчинникова, полагал бы в разрешении разъездов им отказать (Центральный Архив Вост. Сибири. Карт. 2218 оп. № 23, л. 1, 4). Однако ген.-губернатор, в виду отзыва м-ства внутр. дел от 14 июня за № 315 относительно предоставления государственному ссыльному Илларионову Кропочеву отлучки с места жительства, после истечения срока безотлучного пребывания, признал возможным разрешить и Георгиевскому с Овчинниковым разъезды в пределах Енисейской губернии, с тем, чтобы они каждый раз были снабжаемы видами в заранее указанные ими пункты. На основании этого распоряжения Красноярский полицеймейстер и Канский исправник в августе 1881 г. выдали Георгиевскому и Овчинникову виды на проживание в Минусинске.

В конце августа Овчинников и Георгиевский бежали в сторону, противоположную Минусинску. Лишь спустя пол года местная власть вспомнила об Овчинникове и Георгиевском и убедилась, что их в Сибири нет. Начались поиски. М. П. найти не удалось. Георгиевский же был задержан в Одессе под именем Неведомского и привлечен в феврале 1882 г. в качестве обвиняемого к дознанию, производившемуся Стрельниковым. Он обвинялся в хранении у себя склада изданий революционного содержания, подложных паспортов и фальшивых печатей ([illegible], Карт. 2248, оп. № 23, л. 19). По высочайшему повелению был выслан на 5 л. в Вост. Сибирь и водворен в [illegible] округе (Ирк. губ.). Дело № 44 по описи 1882 г.

пели, что не оставалось ничего другого, как назначить уполномоченных для осуществления раздела. Обе группы были объявлены независимыми обществами, действующими вполне самостоятельно *), ни одна из них не имела права присваивать себе названия «Земли и Воли», материальные средства общества предполагалось разделить пополам, обе партии обязались оказывать одна другой всевозможную поддержку. Группа, ставившая целью своей деятельности замену существующего самодержавного режима представительным строем, основанным на проявлении воли всего народа, назвала себя партией Народной Воли. Средством к достижению свержения самодержавия эта группа признавала террор.

Их идейные противники поддерживали старую народническую точку зрения, в силу которой освобождение народа должно быть делом самого народа.

Основная цель их начерно произвести передел всех земель России между общинниками крестьянами. Вот почему свое общество они назвали Черным Переделом, а себя народниками. Враги политического террора, полагавшие, что кровавый посев не даст желанных всходов, они лучшим средством достижения своей цели считали социалистическую пропаганду среди рабочих и крестьян.

Понятно, что, решив снова вступить в борьбу за выстраданные идеалы, М. П. должен был определенно заявить, к какому лагерю он примыкает. Бунтарь в душе, бакунист по убеждению, он решительно стал под знамя Народной Воли. «Я так и знал, что ты примкнешь к нам»... сказал ему Грачевский **).

В тот момент, когда М. П. прибыл в Москву, партия Народной Воли переживала тяжелые дни. Не успела она оправиться после разгромов 1879—1880 гг., как вслед за событием 1-го марта над нею нависли грозовые тучи. То один за другим арестовывались ее видные члены, то перехватывались шифры, открывались ее типографии, конспиративные квартиры. Кто мог спастись от ареста — бежал за границу.

Таким образом после 1-го марта на свободе оставались лишь осколки прежней партии, составлявшие Исполнительный Комитет ее. Бежавший из ссылки М. П., как человек идеи, неисчерпаемой энергии и революционного опыта был желательным и ценным приобретением для партии.

После 74—75 гг. связь партийных работников Москвы с рабочими фабрик и заводов была прервана. На обязанности М. П. лежало возобновить эту связь, найти старых знакомых среди рабочих Москвы. М. П. удачно выполнил данную ему задачу и

*) Н. Морозов. Возникновение Народной Воли. Былое 1906 г. № 12, стр. 20.

**) Рукопись М. П. Овчинникова.

народовольцы снова повели агитацию среди столичных рабочих. Организаторами рабочих кружков кроме самого М. П. здесь были Калюжный и Стефанович. Халтурин, как член Исполнительного Комитета, интересуясь делом организации рабочих масс, частенько бывал у М. П. и подолгу вел с ним беседу.

Во время одного из таких посещений, Халтурин передал М. П. предложение Исполнительного Комитета принять участие вместе с Халтуриным в организации покушения на жизнь прокурора военного суда Стрельникова, державшего в своих руках все нити южной группы партии Народной Воли. М. П. дал свое согласие. Назначен был и день отъезда в Одессу, где жил Стрельников. Поутру, когда М. П. еще был в постели, явился к нему Халтурин «Я пришел с вами проститься — сказал он. Наверное вы видите меня в последний раз. В Одессу вы не поедете. В течение этой ночи Исполнительный Комитет изменил свое решение и вместо вас назначил другого».

Михаилу Павловичу Исполнительный Комитет дал другое не менее важное поручение. Он был командирован в Минск для пропаганды и агитации среди семинаристов духовной семинарии и расположенных в Минске солдат 4-х полков. Исполнительный Комитет предполагал вызвать всеобщую семинарскую забастовку. В центре движения должна была стать Минская семинария. Одновременно партия Народной Воли пришла к необходимости в своей деятельности искать опоры в войске, где уже стали создаваться военные организации. В Минске среди солдат и семинаристов были уже революционные кружки. Здесь, как и в других крупных революционных центрах, одни стояли за Черный Передел, другие были сторонниками Народной Воли. Чернопередельцы стремились проникнуть в неокрепшие кружки народовольцев и перетянуть их на свою сторону, в свою очередь, и народовольцы, по образному выражению Г. Лопатина «косили траву под ногами чернопередельцев». Эта борьба распыляла и без того незначительные боевые силы революционных групп. «Во взаимных спорах, говорит М. П., мы отлично сознавали весь вред этой борьбы и тем не менее жили недружно. Только крупная опасность заставляла обе стороны, забыв разногласия, сплотиться во имя общего дела» *). Так напр. когда чернопередельцам стало известно, что их типография, где печатались газеты «Зерно» и «Черный Передел» открыта и что туда тотчас же нагрянет полиция, М. П. и Даманский, работавший в Минске, немедленно с распропагандированными ими рабочими и семинаристами явились на помощь чернопередельцам и в несколько минут очистили всю квартиру от станков, шрифта, бумаги.

*) «Сибирская Летопись», 1916 г., № 11 — 12, стр. 516.

Всеобщее забастовочное семинарское движение, начатое М. П., было остановлено в самом начале. Когда один из забастовочных циркуляров с подробным планом организации забастовки, отправленный из Минска в Калужскую семинарию, попал в руки полиции, то в Минской семинарии был произведен обыск. В результате этого некоторые семинаристы, в их числе и Новицкий, руководивший забастовкой в Минске, были уволены.

В это время жандармерия должна была усилить наблюдения за подозрительными элементами, началась слежка и за М. П., жившим в Минске по паспорту П. И. Витковского. Оставаться в этом городе для Мих. Павл. было небезопасно, и летом 1881 г. он переносит свою деятельность в другие города сев.-западного края.

В начале января или февраля 1882 г. Исполнительный Комитет вызывает его в Москву и поручает подготовить покушение на Тотлебена. Тотлебен ценою своей жизни должен был, по решению Комитета, заплатить за казнь Ковальского, за массовые высылки из Одессы (при содействии своего соратника Панютина) в Восточную Сибирь лиц не только причастных к революции, но и совершенно невинных.

М. Ф. Грачевский, передавая М. П. решение Комитета, сказал: — Организацию дела Комитет поручает тебе. Завтра в 12 час. дня ты получишь от одного лица инструкцию в том ресторане, где мы были сегодня. Грачевский описал приметы лица, сообщил пароль, с которым тот подойдет к М. П. и фразу, которой М. П. должен ему ответить. Посредником оказался не кто иной, как революционер Златопольский *).

Инструкция была несложна, но выполнение оказалось далеко нелегким. Оно заключалось в наблюдении за образом жизни Тотлебена, за тем, когда он гуляет, куда ездит, не ходит ли пешком, не бывает ли в общественных собраниях. Причем М. П. было поставлено условием, чтобы он ни в коем случае лично не занимался слежкой за Тотлебеном, а поручил бы это людям нейтральным. Но обо всех сведениях, какие окажутся в распоряжении М. П., он должен лично доложить Исполнительному Комитету.

С подложным паспортом на имя А. И. Каченовского М. П. прибыл в Вильно. Оказалось, что Тотлебен был неуязвим. На прогулках он бывал в неопределенное время и очень редко, правильных выездов у него не было, в иные дни совершенно нигде не показывался. М. П. стал предполагать, что Тотлебен, если и выходит из дому, то только по вечерам, да и то никогда [illegible] не ездит в карете. За все время М. П. [illegible] его

*) Из рукописи М. П.

два раза, да и то мельком, один раз на улице, окруженного свитой, другой во время большого пожара.

Исполнительный Комитет предвидел, что Тотлебена, осторожного старика, не так-то легко убить, однако от первоначального своего решения не отказался и после доклада М. П. о результате его работы, вторично отправил его в Вильно с прежним поручением.

Исполнительному Комитету был крайне необходим успех в Тотлебеновском деле: убийством популярного генерала предполагалось доказать правительству, что партия Народной Воли, несмотря на ее видимый разгром, после мартовского цареубийства, жива и деятельна.

«Я понимал это, говорил М. П., но опасался, что в связи с многочисленными арестами членов нашей партии, произведенными во всей России, едва ли удастся при осторожности Тотлебена, ликвидировать его».

Когда же Грачевский уехал в Петербург для организации новых революционных кружков, а Златопольский был арестован, то западные организации, руководимые М. П., лишились твердой связи с Исполнительным Комитетом, а вместе с тем лишились и материальной поддержки, без которой сделать что-либо в деле, порученном М. П., было немыслимо.

А между тем деньги были необходимы, потому что вследствие усиленных арестов, на западе скопилось большое число нелегальных народовольцев, нуждавшихся в материальной помощи. Местные же средства были очень скудны.

Вот те причины, в силу которых не могло состояться покушение на Тотлебена *).

После же ареста Грачевского, Богдановича и др. положение М. П. в Вильно было весьма тяжелое. На его руках находился склад типографского шрифта, секретные документы партии, договор Исполнительного Комитета с западными революционными организациями. За квартиру платить уже нечем было. К тому же нелегальные все прибывали и прибывали. Из них упомяну Даманского, Лисовскую А. И., Янчевскую, Квятковскую. Домовладелец Калиновский, не получая три месяца денег за квартиру, грозил подать ко взысканию. Решено было делегировать Лисовскую в Петербург и привезти оттуда средства.

Явившись в Петербург, по секретному адресу, данному Грачевским, уже арестованным в то время, о чем Лисовская не знала, она, попав в западню, была арестована. Ее арест отразился в Вильно, Минске, где были арестованы Одоховская Я. А., Зендлиц и др. Тогда М. П. спешит поправить положение и лично едет в Петербург.

*) «Сибирская Летопись», 1916 г., № 11—12, стр. 457.

Хотя с 74 г. у него были потеряны там все связи, однако это не остановило М. П. По приезде в Петербург, он отправился к тому дому (уг. Исаакиевской площади и Почтамтской улицы), где помещалась сапожная мастерская Смиттен, в которой он занимался с рабочими финляндцами. Оказалось, что Смиттен свою мастерскую передала другим лицам, а сама, как сообщили здесь М. П., открыла новую во 2-м Парголове *).

Смиттен указала М. П. на Бартеневу, жену издателя и редактора «Русского Архива», как на человека, знакомого со многими народовольцами.

Бартенева дала М. П. адрес Е. И. Конради, которая, хотя и не состояла членом партии, однако сочувствовала ей, собирая средства для Красного Креста Народной Воли.

Конради приняла участие в М. П. Отправившись в редакцию «Дело», она встретила там К. М. Станюковича, снабдившего М. П. 30 рублями из того фонда, который образовался из отчислений литераторами «Отечественных Записок» и «Дело» 10% с гонорара, получаемого ими за статьи.

Это свидание помогло М. П. установить связь с народовольцами. На следующий день он был уже у Комарницкого, от которого узнал, что центральный студенческий кружок почти целиком «вырван из обращения». Из студенческой организации на свободе были пока П. Ф. Якубович, да В. А. Караулов.

В этот приезд в Петербург М. П. суждено было встретиться с Дегаевым и попасть в искусно расставленные этим предателем сети.

При той исключительной энергии и настойчивости, которая была отличительной чертой М. П., ему удалось найти в Петербурге средства для оживления деятельности западных организаций. Возвратившись в Вильно, он отправляется в Минск, Оршу, Могилев и др. города западного края, где Исполнительным Комитетом ему предложено было стать во главе организации народовольческих кружков и быть посредником между Исполнительным Комитетом и военными организациями края.

С 1882 года, вернее с того момента, как М. П. познакомился с Дегаевым, он не выходил из поля зрения сыщиков. Лишь только М. П. прибыл в Минск, как полиция окружила тот двор, где он остановился. Квартирная хозяйка успела, однако, во-время сообщить М. П. о том, что усадьбу окружает полиция. М. П., набросив на плечи пальто, перескакивает через забор соседнего двора и благополучно избегает ареста.

В ноябре 1882 г. М. П. снова в Петербурге и принимает живейшее участие в делах центральной группы. В этот момент

*) Во время арестов 1874 г. у многих из арестованных нашли адрес Смиттен, этого было достаточно, чтобы взять ее под надзор полиции и в течение пяти лет время от времени производить у нее обыски.

партией был поднят вопрос о тех мерах, какие следовало бы принять для того, чтобы оживить, расшевелить спящее русское общество, пробудить в нем интерес к Народной Воле и этим, быть может, усилить приток новых свежих сил в партию.

На совещании по данному вопросу, происходившем в квартире литератора Протопопова, присутствовали, кроме М. П., Якубович, Караулов, Дегаев. Последний доказывал, что только путем террора можно расшевелить общество, необходимо с этой целью организовать покушение на жизнь Судейкина, Д. И. Толстого и других. Протопопов резко возражал против такого предложения, говоря, что у партии нет средств на террор, нет исполнителей, нет руководителей.

— «А мы на что существуем, — возразил Дегаев. — Силы найдутся»...

«Не верю в ваши силы, — ответил ему Протопопов, — их слишком мало. Тратить же последние силы и средства — безумие».

М. П., зная по опыту, что партия Народной Воли по существу неорганизована, вернее разбита, энергично поддерживал Протопопова. Единственное средство всколыхнуть общество 80-х годов он видел лишь в легальной и нелегальной печати *). В лице Михаила Павловича Дегаев встретил человека, стойко защищавшего свои мнения и не способного итти ни на какие компромиссы. Предложение Дегаева было отвергнуто.

Когда Дегаев, вместе с Карауловым, ушел из заседания, Протопопов сказал оставшимся «Знаете, не верю я вашему Петру Алексеевичу (кличка Дегаева), в его глазах я подметил нехороший огонек. Он человек лукавый» **). Но трудно было поколебать уверенность М. П. и Якубовича в порядочности Дегаева. Они оба были настолько «чистые сердцем», что при встрече с людьми видели в них прежде всего одни лишь хорошие стороны и не хотели видеть в заведомом негодяе его дурных качеств, если он умело маскировал их. Эту черту характера, веру в порядочность людей М. П. сохранил до гробовой доски.

Когда М. П., выйдя от Протопопова, подходил к своей квартире, он увидел, что выходившие в коридор окна его комнаты были освещены и в них мелькали синие мундиры с белыми пуговицами. Поняв, в чем дело, М. П. поспешил скрыться.

На следующее утро, встретив Якубовича, Караулова и Дегаева, он рассказал им о случившемся. Дегаев отнесся к рассказу весьма хладнокровно, однако пообещал М. П. дать новую очень хорошую квартиру.

*) Из записной тетради М. П.
**) Там же.

Квартира действительно оказалась «очень хорошей». Дегаев привел М. П. к Рачковскому. Кто такой Рачковский М. П., конечно, узнал, но только слишком поздно *).

Устанавливая связи с различными революционными организациями, и, укрепляя свое влияние в сев.-зап. России, партия Народной Воли не могла пройти мимо латышской организации, возникнувшей в конце 70-х и начале 80-х годов. При своем возникновении организация латышей на первом плане ставила борьбу с баронами в Прибалтийском крае и была почти чужда политической окраски.

Но под влиянием совершавшихся событий в центре России, с одной стороны, с другой — при сознании латышей, что экономическая борьба с баронами при современных политических условиях не может быть успешна, латышская организация принимает характер политической партии, сочувственно относящейся к Народной Воле и Черному Переделу.

В начале 1881 года Грачевскому удалось завязать сношения с латышами, но после его ареста латышская организация оставалась оторванной от Народной Воли, так как Грачевский был единственной связью между ними.

Дегаев все это учел и, во время одной из бесед с М. П., высказался за необходимость для Народной Воли установить связи с латышской организацией.

«По моему, вы единственный человек в нашей организации, которому, как старому пропагандисту, к тому же обладающему большим революционным опытом, можно поручить дело возобновления сношения с латышами и основания, если удастся, новых кружков среди других национальностей Прибалтийского Края» **).

Связь с латышской революционной организацией бы дала возможность получать из Лондона или Германии разные нелегальные издания. У латышей Дегаев надеялся устроить и типографию, где печаталась бы «Народная Воля».

Михаил Павлович согласился взять на себя эту ответственную работу. Получив от Дегаева на дорогу деньги и уверение, что необходимые средства будут дополнительно высланы почтой, М. П. отправился в Ригу.

Действительно, ему удалось завязать сношения с латышской организацией. Латыши, по словам М. П., несмотря на свою скрытность, были, за исключением Кауляна, весьма неосторожны. Они объявили ему о существовании кружка рабочих на Динамюндской дороге, проходящей из Риги в крепость. Начиная от рабочих и кончая начальником станции, все состояли членами организации.

*) Из записной тетради М. П.
**) Из записной тетради М. П.

М. П. и Блинов, студент Горного института, прибывший с М. П., очень скоро были поставлены в тяжелые условия существования, так как Дегаев обещанных денег не высылал, а обращаться за помощью к латышам и тем подрывать престиж партии они не хотели. Тогда М. П. решил напомнить о себе Дегаеву, потребовал от него как можно скорее присылки денег на имя гимназиста 8-го класса Ивана Внукова. Деньги 40 рублей действительно были высланы, но в тот же день был арестован ст. Подбельский, относивший их на почту, а в Риге были арестованы Внуков, кондуктор Бауман и несколько рабочих из латышской организации.

Во время этого провала М. П. пришлось пережить много тяжелых минут и душевных страданий.

Латыши после ареста членов их партии стали враждебно относиться к М. П., другие при встрече старались его не замечать.

Когда после ареста Внукова М. П. отыскал в Дюнамюнде рабочего Антона, арестованного одновременно с Внуковым, но тотчас же освобожденного, и стал задавать ему вопросы в связи с арестом, то Антон отвечал довольно сдержанно и просил со своей стороны М. П. вечером притти на вокзал.

Придя на вокзал, М. П. своим опытным глазом заметил, что за ним установлена слежка. Выбрав удобный момент, он оставляет Антона и без оглядки бежит с вокзала. Подле Политехникума, встретив члена латышской организации, Сырмайса, М. П. остановился.

— «Ладно же вы дела свои делаете, — сказал ему Сырмайс, — мы приняли вас как народовольцев, а вы что наделали. Без вас мы свои дела вели спокойно несколько лет, явились вы и среди нас пошли аресты. Что это значит?»

М. П. объяснил это случайным совпадением.

— «Хорошая случайность, — возразил Сырмайс и резким тоном продолжал, — из Риги вы не уедете, всех нас не арестуют, а ваше место в Двине, помните это!»...

Другой член организации Иогансон, встретивший здесь же М. П., прямо сказал ему — «наши латыши считают вас шпионом, если они ошибаются, то уезжайте как можно скорее. Одно нас смущает, что за вами следят, а это служит доказательством, что вас или оберегают, или хотят арестовать».

Латыши следили уже за М. П. и за полицией.

Когда М. П. зашел к Каулину, главе партии, чтобы объясниться с ним, тот принял его очень сухо и процедил сквозь зубы. — «кто бы вы ни были, но за вами следят, уезжайте скорее, вы развяжете нам руки. — Антон оказался форменным шпионом» *).

*) Из записной тетради М. П.

После этого М. П. все стало ясным. Немедленно заложив часы и пальто, он выехал в Минск, а затем в Вильно. Однако Дегаев и там не оставил в покое М. П. В конце июля 1883 года он отправил в Вильно письмо, в котором просил М. П. немедленно прибыть в Петербург. Адрес для явки указан был в квартире Усевой (Невский проспект, городское училище), где Дегаев устроил типографию.

«Посмотрите на нашу типографию, как прекрасно она оборудована и никому в голову не придет, что она находится на Невском, под носом у Судейкина, — сказал Дегаев прибывшему в Петербург М. П. — Худо только одно, что у нас ощущается недостаток в шрифте, нет петита».

В силу этого Дегаев просил М. П. прислать из оборудованного им Виленского склада пудов пять петита и столько же цицеро.

М. П. охотно пошел навстречу его желанию, уверил, что через пять — шесть дней накладная на шрифт будет в руках Дегаева. На вопрос Дегаева, кто же отправит из Вильно шрифт, М. П. назвал фамилию Баудера. В тот же день М. П. написал Баудеру о высылке необходимого шрифта. Лишь только Баудер явился с ящиками на вокзал, как был арестован жандармами, ибо Судейкин, получив от Дегаева сведения о данном Баудеру поручении, успел обо всем сообщить Виленскому жандармскому управлению. Усова же, на имя которой отправился шрифт, по тактическим соображениям Судейкина и Дегаева, оставалась на свободе.

Таким образом, доверчивый М. П., не зная, что в лице Дегаева партия имеет крупного шпиона и отъявленного предателя, продолжал питать к нему неограниченное доверие и все более и более, того не замечая, опутывался паутиной предательства, столь искусно вытканной Дегаевым.

Дегаевщина — кошмарные страницы в жизни партии Народной Воли. Не было почти ни одного активного народовольца, который смело мог бы сказать, что он не скомпрометирован работою с Дегаевым. М. П. же, как активный народоволец, принимавший самое живое участие в делах партии в момент 1882—83 г.г. в годы бурного увядания партии — более, чем кто-либо другой, в силу обстоятельств, был втянут в омут дегаевщины.

Дегаев, зная, что М. П. поручено вести революционную пропаганду в войсках Виленского военного округа, и, что он в то же время является связующим звеном между партией и вновь организующимися офицерскими группами, решил, пользуясь доверием М. П., провалить военные организации.

Такие офицерские организации существовали в Вильно, Гродно, Минске, Динабурге, Риге, Бобруйске, Орше, Могилеве — все они сносились с Народной Волей только через М. П. Связь эта

была скреплена договором, в силу которого М. П., в случае его ареста, никому не имел права передавать связей с военной организацией, не исключая и членов центральной организации партии Народной Воли.

Так как старая военная организация была уже предана, то Дегаев убеждал М. П. организовать новую, особенно в Петербурге, где необходимо было сплотить в одну группу одиноко стоящих офицеров.

Вот почему он рекомендовал М. П. отправиться по указанному им адресу на Пески и там, зайдя к офицеру Котову, сказать ему, что он прислан Петром Алексеевичем для совместной с ним работы.

По указанному адресу М. П. не нашел не только Котова, но даже и дома, годного для жилья, ибо по 4-ой ул. в д. № 24, на который указал Дегаев, помещался склад извести. Думая, что Дегаев ошибся номером улицы, М. П. исходил все улицы Песков, ища на каждой в д. № 24 Котова и в одной из таких квартир налетел на жандармского офицера... Усталый, возвращаясь домой, М. П. встречает Дегаева, условившегося с ним встретиться у Котова.

Кто знал М. П., тот может представить, как бурно проявлялось у него негодование при виде недобросовестных людских поступков, и как оно не соответствовало тем сравнительно мягким выражениям, в которые облекала их возмущенная совесть идеалиста-народовольца.

«В эту минуту, — говорит в своих записках М. П., — я готов был побить Дегаева и начал, почти не помня себя от злобы, ругать его во всеуслышание, ругать за неправильное сообщение адреса».

М. П. обзывал Дегаева «бестолковым революционным генералом», «самонадеянным выскочкой», «паркетным шаркуном» и другими в том же духе «ругательскими словами».

Дегаев, смеясь в душе над искренним негодованием М. П., успокаивал его, объясняя все недоразумением, ошибкой лица, сообщившего ему самому указанный адрес. Успокаивая М. П., Дегаев шел к определенной цели — выдаче своего друга жандармам.

Подойдя к Воскресенскому трактиру, Дегаев предложил М. П. зайти туда выпить стакан чаю.

«Войдя в ресторан, я начал подыскивать свободный столик, — сообщает в своих записках М. П., — буфетчик же, заискивающе обратясь к Дегаеву, сказал: — «пожалуйте на чистую половину, высокородие».

Войдя в комнату, М. П. увидел жандарма, стоящего в стороне, и хотел было уже идти обратно, но Дегаев шепнул ему: «видите, это ничего».

Во время чаепития М. П. стал присматриваться к купцам-посетителям. Особенное внимание он обратил на белого плешивого купца, у которого из-под чуйки выглядывали синие брюки, а также на рыжего и черного его собеседников. Инстинктивно почуяв неладное, М. П. шепнул Дегаеву: «пойдем отсюда, здесь дело нечистое... видите, как меня внимательно рассматривают купцы; по-моему, это не купцы, а шпионы»...

Сердце не обмануло М. П. В трактире Дегаев выдавал головой своего товарища Судейкину, Страхову и Оноприенко.

С этого момента, в течение 8-ми месяцев за М. П. безостановочно следовал «хвост».

Будучи членом Исполнительного Комитета, Дегаев обещал Судейкину выдать военную организацию. Успех его зависел от действий Мих. Павл., как посредника между организацией и Исполнительным Комитетом. Вот почему он обхаживает М. П., расточает по его адресу, как активного работника Народной Воли, похвалы, плетет тонкое кружево лести.

— Вы знаете, — сказал ему однажды Дегаев, — что в Кронштадте арестована группа офицеров-артиллеристов, надо полагать, что предстоят аресты в других местах, без сомнения, будет арестован лейтенант Серебряков.

Серебрякова в Кронштадте многие знали, как завзятого социалиста. В этот момент он находился в плавании, недалеко от Ревеля.

«Необходимо, — доказывал Дегаев, — передать ему о предстоящей опасности.

— Вы единственный человек, который может это дело выполнить аккуратно. Беда, — продолжал Дегаев, — если арестуют Серебрякова, ему грозит смертная казнь, так как над ним висит обвинение в намерении взорвать в пути яхту, на которой Александр отправится в Данию» *).

М. П., не задумываясь, берет на себя это поручение с условием, что Дегаев достанет Серебрякову заграничный паспорт. М. П. увидел Серебрякова, предупредил его об опасности, вручил ему вид на жительство в пределах России и предложил ему ехать в Вильно и остановиться там у Баудера, об аресте которого он ничего еще не знал, а это-то как раз и входило в планы Дегаева, так как по аресте Баудера в его доме была устроена засада, и всех, кто входил туда, задерживали. В Вильно М. П. должен был доставить Серебрякову заграничный паспорт и оказать содействие в выезде за границу. При чем М. П. условился встретиться с Серебряковым в определенный день при скрещении поездов в пути между Вильно и Динабургом.

*) Из записной тетради М. П.

В Петербурге за каждым шагом М. П. зорко следят, он это чувствует, нервничает, переживает тяжелые минуты. Получив от Дегаева заграничный паспорт для Серебрякова, выданный на имя Трусевича, он едет в Вильно.

В вагоне, в котором поместился М. П., кроме сыщика, садится еще и жандарм. Наступил момент встречи с Серебряковым. М. П. видит лейтенанта на платформе, но выйти из вагона не может не только для передачи паспорта, но и для простой беседы, из боязни провалить доверившегося ему видного члена военной организации.

«Помню, говорит М. П., что на лице Серебрякова выразилось недоумение и грусть, когда я, глядя на него из окна вагона, отказался выйти на перрон».

В Вильно М. П. смело отправляется в дом Баудера и только благодаря простой случайности избегает ареста. Жена Баудера, увидав М. П. в своей квартире, тотчас же сообщила ему об аресте мужа и засаде. Усадьба Баудера с одной стороны примыкала к берегу р. Виленки. Пользуясь тем, что полицейский, стоявший в засаде в момент прихода М. П., куда-то отлучился, М. П. бежит в сторону Виленки и переходит ее в брод.

Душевное состояние М. П. в этот момент не поддается описанию, он никак не мог объяснить всего того, что вокруг него происходит. Особенно непонятным был для него арест Баудера.

Тотчас же возвратившись в Петербург, он отправляется к Дегаеву, который первым делом спрашивает его о том, почему до сих пор нет из Вильно обещенного шрифта.

«И не получите, — отвечал М. П., так как Баудер арестован на вокзале при отправке груза».

«Ах как жаль! Как жаль!.. — произнес Дегаев, — а где же Серебряков?»

«Не знаю».

«Заграничный паспорт передали ему?..»

«Нет, — ответил М. П. и рассказал подробно обо всем случившемся в пути и в Вильно».

Беря паспорт от М. П., Дегаев сообщил, что паспорт теперь не нужен, потому что сам Трусевич арестован и о намерении его выехать за границу было известно. По всей вероятности на границе, беззастенчиво лгал Дегаев, если бы появился кто-либо с паспортом на имя Трусевича, то наверное был бы арестован.

В такую искусно сотканную сеть предполагал Дегаев поймать Серебрякова и, быть может, заодно отделаться от М. П., которого он в достаточной мере уже использовал. К тому же Дегаеву вообще нужно было устранить М. П., так как подозрение о том, что в партии, особенно в Исполнительном Комитете ее не все обстоит благополучно, все чаще стало высказываться народовольцами и первый, со свойственной ему прямотою и

твердостью, высказался на заседании Комитета М. П., и вот после какого факта.

В начале января 1883 года, бежав из Сибири, прибыли в Петербург Серг. Иванов, Н. Паули и Л. Чемоданова, от Петербургской организации Народн. Воли они потребовали паспортов и денег.

По предложению Дегаева мужчин отправили в Оршу, где они должны были заняться пропагандой среди железнодорожников а Чемоданова должна была поселиться в Могилеве.

В связи с целым рядом арестов среди членов Народной Воли нелегальных становилось все больше и больше. В Исполнительном Комитете для них не хватало паспортов. Тогда К-т, по предложению Дегаева, поручает М. П. оборудовать бюро паспортов. Получив от Дегаева значительную сумму денег, М. П. едет в Могилев, где кружок еврейских революционеров, пользуясь связями в городе, помог ему приобрести бланки разных паспортов, необходимые печати. Закупив все нужное в достаточном количестве, М. П. вместе с Чемодановой едет в Оршу. В Шклове дилижанс, в котором они ехали, был задержан становым, под предлогом поверки паспортов у всех пассажиров.

Пробежав паспорт, представленный М. П., в котором значилось «князь Александр Петрович Любомирский», и расспросив о цели путешествия князя, пристав достал из кармана телеграмму и прочел про себя: «среднего роста, темнорусые волосы, голубые глаза, черные густые брови, прямой нос».

«Это ваши приметы, — обратился он к М. П., — вы из числа тех троих, которых велено задержать, но где остальные? Их нет. Телеграфирую в Оршу, что таких в дилижансе не оказалось».

Почему старик-становой не арестовал «князя», было понятно. В Шклове только находилось всего навсего три представителя власти: становой, урядник и почтовый смотритель. Арестовав М. П., становой должен был его отправить в Оршу, но за неимением жандармов, принужден был бы вместе с урядником везти арестованного, во избежание излишних хлопот, становой решил просто, по своему: «пусть, мол, едет сам в Оршу, все равно его там арестуют».

После такой сцены М. П. отказался следовать в дилижансе и, вопреки желанию Чемодановой, принудил ее ехать с ним на почтовых. Из Орши Чемоданова выехала в Минск, а М. П. остановился в той гостинице, где проживали Паули и Иванов. Не прошло и часа по приезде М. П. в гостиницу, как в номер ворвались жандармы. Арестовав мнимого князя, они на время оставили его под наблюдением городового, а сами отправились в тот номер, где жили Иванов и Паули.

Пока производили у последних обыск, М. П. пустил в ход свое красноречие и убедил городового сбегать за закуской к пивом, а сам, изорвав в его отсутствии, бланки паспортов, снимки печатей, бросил все в намыленную воду в ведро умывальника, которое по его звонку тотчас же вынес служитель гостиницы.

Ни у кого из троих народовольцев не нашли ничего компрометирующего. С. Иванова и Паули была взята подписка о невыезде из Орши, а М. П. лишь спросили, куда он едет, на что тот ответил, что — в Минск и Гомель по делам службы. Отправившись на вокзал, М. П. сел в отходящий товарный поезд и прибыл в Петербург.

Так как о выезде М. П. и о месте проживания Иванова и Паули знали лишь члены Исполнительного Комитета, то М. П. пришел к выводу, что только от кого-либо из членов К-та жандармы могли знать не только место их пребывания, но и приметы каждого из них.

Об этом он счел нужным заявить Центральной группе.

О роли Дегаева смутно догадывался друг и единомышленник М. П. — П. Ф. Якубович. По словам М. П., Якубович отправился в Париж и там сообщил о подозрительном поведении Дегаева. Под благовидным предлогом Дегаева вызвали в Париж, где ему был предъявлен целый ряд подозрительных провалов. Однако Дегаев с большим самообладанием отрицал все, что ему ставилось в вину. Наконец он сознался, но лишь в незначительной части провалов.

Эмигранты обязали всех приезжающих из России членов Народной Воли молчать о роли Дегаева и о том решении К-та, которое было вынесено после допроса предателя.

В силу этого постановления Дегаев должен был к ноябрю 1883 г. организовать убийство Судейкина.

16 декабря 1883 г. Судейкин был убит, и о роли Дегаева заговорила вся Россия. Только тогда стало очевидным, что в центральном органе партии в течение двух лет находился предатель. Среди членов партии началось брожение, не скрываемое возмущение деятельностью Парижского К-та, знавшего об истинной роли Дегаева и своевременно не сообщившего о ней Центральной группе. С другой стороны недолгие годы существования партии Н. В. показали, что ни ее программа, ни ее тактика не соответствуют духу времени и далеко не гарантируют достижения поставленных партией целей.

Кампанию против Исполнительного К-та повели П. Ф. Якубович и Мих. Павл. У них явилась мысль совершенно отделиться от И. К-та и, предоставив местным группам большую свободу действий, избрать на иных началах новый Комитет. Главные усилия партии, которая получила наименование Молодой Народной

Воли, предполагалось направить на пропаганду социалистических идей в рабочей среде и на осуществление террористических актов чисто экономического порядка.

Этим путем организаторы новой партии рассчитывали привлечь симпатии народной массы и, при ее содействии, обеспечить благоприятный исход революционному движению в России.

В состав К-та Молодой Народной Воли, кроме М. П., вошли Якубович, Олесинов, Емельянов, Мануилов. Число сторонников М. Н. В. росло за счет членов Народной Воли, окончательный распад которой чувствовался многими.

Весною 1884 года намечался съезд представителей партии Народной Воли. Молодая Народная Воля, сторонников которой с легкой руки Лопатина окрестили «красными петухами», делегировала туда М. П., который должен был защищать на съезде основные положения молодой партии и в то же время предложить целый ряд вопросов заграничным руководителям партии Тихомирову и др. «г.г. приезжим».

Главные вопросы были связаны с ролью заграничных руководителей в дегаевской истории *).

Начавшийся раскол партии и ее разложение пытался остановить прибывший из Парижа Г. Лопатин. В Петербург он явился с планом реорганизации управления партией; во главе ее ставилась распорядительная комиссия в составе самого Лопатина, Сухомлина и Саловой, коим заграничный Комитет делегировал свои права.

Атаку против проекта Лопатина, подвергая его, в связи с действиями заграничников, резкой критике, повел ветеран Народной Воли — М. П. Он доказывал Лопатину, что партии Н. В. почти не существует. Если ее воскрешать, то нужно организовать вновь, а пока всякие выступления партии следует прекратить, иначе революционное движение затормозится на несколько лет.

Г. Лопатин упрекал М. П. в том, что тот разрушает партию, внося в ряды ее членов раздор, который сказывается не только в группах, наиболее близких Лопатину, но и в самых широких слоях партии. Лопатин рассчитывал, что в силу своего авторитета он заставит М. П. быть уступчивым, но, встретив с его стороны упорное сопротивление, он разгорячился настолько, что спорившие стали один против другого в угрожающие позы с приподнятыми кулаками. Все присутствовавшие в тот момент растерялись, кроме Якубовича, который стал между Лопатиным и Овчинниковым.

*) [illegible] П. Ф. Якубовича «Голос Минувшего», 1914 г., № 7, стр. 233.

С этих пор, несмотря на приглашения, посылаемые Лопатиным, М. П. перестал ходить на заседания Центральн. Исполнит. Комиссии, которая должна была заменить в России Исполнительный Комитет.

Так как члены Исполн. К-та партии Молодой Народной Воли были слишком молоды (Якубовичу, наприм., было 24 г.), что могло умалить авторитет партии, то в качестве руководителя ее был избран Мих. Павлович, за которым давно установилось прозвище «Дед» *).

С первых же дней своего существования молодая партия, чтобы чем-либо проявить себя, постановила организовать покушение на графа Д. Толстого. На М. П. выпал жребий быть исполнителем приговора. Убийство Толстого должно было произойти по пути следования его во дворец для доклада, куда министр обычно ездил в 11 час. утра три раза в неделю. В эти часы М. П. разгуливал по Б. Морской, следя за выездом министра.

«Должен сознаться, вспоминает М. П., что я, как опытный в то время революционер, отлично понимал, что задуманное по такому плану покушение не удастся. В момент выезда министра Морская улица, на которой жил министр, кишела департаментскими чиновниками, жандармами, филерами. Достаточно было при таких условиях, хотя немного приблизиться к карете министра, чтобы оказаться в руках охранителей» **). Об этом М. П. докладывал К-ту, но тот настаивал на выполнении плана.

Толстой, однако, вскоре выехал из Петербурга, а по возвращении заболел и не выходил из дому. К тому же и сам М. П. был вызван в Москву для организации ячеек Молодой Народной Воли. В этот короткий промежуток времени М. П. удалось в новой роли руководителя партии блеснуть всеми цветами радуги своих недюжинных способностей, но очень скоро, помимо воли мятежного деда, наступили дни заката его народовольческой деятельности.

*) Якубович в показаниях, данных на дознании, конечно, не с целью выгородить себя и свалить всю вину на «Деда», утверждает, что сам он «со всем жаром кабинетного убеждения» стал помогать молодой партии в теоретической (литературной) ее борьбе с революционными группами и кружками, и что «молодую партию составлял, собственно говоря, Овчинников. Этим он определенно указывает на первую роль М. П. в партии Молодой Народной Воли и не считает себя в праве оспаривать ее. «Обзор важнейших дознаний, производившихся в жандармских управлениях империи, за время с 1-го июля 1884 г. по 1-е января 1885 г., по делам о государственных преступлениях». IX, стр. 53. Там же «программа организации молодой партии Народной Воли». Приложение III, стр. 97—100.

**) Из записной тетради М. П.

Когда в Москве ему стало известно, что студент старшего курса Петровской Академии Палладин (позже профессор той же Академии) поступил в охранку, М. П. пожелал с ним повидаться. На вопрос, предложенный М. П. при свидании, Палладин, зная, что имеет дело со старым народовольцем, сразу ответил, что действительно служит в охранке, но с тою целью, чтобы сообщать партии секретные сведения охранного отделения. В доказательство правоты своих слов Палладин сообщил М. П., что через три дня он будет вызван телеграммой в С.-Петербург, через три же дня по приезде туда его вызовут в Москву, где и арестуют. Палладин говорит это старому народовольцу для того, чтобы тот был готов ко всякого рода случайностям.

Действительно М. П. был вызван в Петербург в тот момент, когда выяснилась невозможность соглашения Молодой Воли со старым Исполнительным К-том. Тогда же в типографии Молодой Воли (в Дерпте) была отпечатана прокламация, извещавшая о разделении партии Народной Воли на две самостоятельных организаци и излагавшая программу Молодой Воли.

Через несколько дней по приезде в Петербург М. П. вызывают в Москву. Не придавая значения сообщению Палладина, М. П. не принял нужных мер предосторожности и под самой Москвой был снят с поезда жандармами. Это было в апреле 1884 г. *).

С арестом М. П. Молодая Воля [illegible] через полгода был арестован и П. Ф. Якубович, партия была почти смята, ибо в ее рядах остались молодые и маловлиятельные революционеры, которым не под силу было в междоусобной партийной борьбе высоко держать знамя Молодой Воли, и они пошли на уступки.

О тюремной жизни «Деда» за этот период мало сведений. В тюрьме он встретился с одним из видных деятелей Молодой Народной Воли И. И. Поповым.

«С [illegible], пишет в своих воспоминаниях И. И. Попов, у меня было не мало общих дел, и мы могли свободно [illegible] не [illegible] пере[illegible], и наши беседы происходили в «Клубе». В этих беседах М. П. изливал свою душу, сетовал на партийных [illegible] Исполнительному Комитету [illegible], что мы не [illegible] Молодой Народной Воли [illegible] Фигнер [illegible]

*) «Москва имела, как и Петроград, своего предателя в лице «рево[illegible] Московской А[illegible] М. П. [illegible] называя, однако, фамилии этого предателя.

таких бед партии, что никакие Судейкины и их убийства не могут компенсировать этих бед»... *).

Деятельность М. П. не была вскрыта следственной властью. Он, как и некоторые из его соратников, отделался административной ссылкой.

Вся деятельность М. П. говорит за то, что он был горячо предан революционному делу, на служение которому отдал себя. М. П. не был заговорщиком в полном смысле этого слова. Вся борьба его с центром и делегацией Исполнительного К-та, защищаемые им основы партии Молодой Народной Воли показывают, что он был общественник и сторонник участия народных масс в революционном движении, а не исключительно боевых действий отдельных групп, тайной организации. Он весь был во власти одной идеи, его жизнь была жизнью энтузиаста, для которого в мире не существовало ничего выше и важнее интересов той партии, ради торжества которой он готов был жертвовать собою. Вот почему деятельность М. П., как активного народовольца, не отделима от деятельности партии.

С 1887 г. М. П. высылается на поселение в далекую Олекму. Там, среди дикой тайги и поселений якутов, для него были отрезаны пути к революционной деятельности.

Кипучая энергия, пытливый ум, живая натура побежденного в борьбе роковой звали его в новом краю невзгод и ссылки к неустанной работе, к труду. Отдавшись изучению нового края, его обитателей, общества, М. П. обнаружил многогранность своей натуры, в нем проснулся недюжинный археолог и талантливый этнограф **).

Правда, на досуге, вдали от продолжавшейся борьбы за лучшее будущее, М. П., проанализировав факты своей полной тревог и опасностей жизни, спокойно взвесив условия, среди которых приходилось вести политическую борьбу в 70—80 г.г., во многом разочаровался, нашел детски-наивным, но все же можно смело сказать, что ветеран Народной Воли до гробовой доски сохранил полностью мировоззрение революционного народничества 70-х годов и веру в осуществление тех идеалов, увлечение которыми он искупил ценою тяжелой жизни в таежном Сибирском захолустье.

Б. Кубалов.

*) И. И. Попов: «Минувшее и пережитое», воспоминания за 50 лет. Петербург, «Колос», 1924, стр. 147.

**) Об этом смотри пр. Петри: «М. П. Овчинников как археолог» („Сибирские Огни“, 1922 г., кн. IV); П. Хороших, «Овчинников как краевед» („Сибирская Живая Старина“, 1924 г., вып. II); пр. Огородников „М. П. Овчинников“, «Дальне-Восточный Телеграф», 1921 г., № 7.

Воспоминания *).

IV.

Пребывание в Цюрихе.

Перейдя русскую границу, Гольденберг направился в Цюрих. Кружок Чайковского организовал в этом городе типографию. Гольденберг имел рекомендацию к Александрову, заведывающему ею. Он остановился в его доме и принялся помогать в работе по брошюровке, сшиванию и переплету. Гольденберг привез с собою памфлет на русском языке, озаглавленный «Русская литература и строгости цензуры», который он хотел перевести на французский язык и издать. Для этого он пошел к Бакунину, бывшему в то время в Цюрихе, и попросил его помочь перевести памфлет и пустить в французскую прессу.

«Бакунин принял меня очень сердечно, — рассказывал Гольденберг, — но раньше, чем ответить мне на мою просьбу, спросил: — С кем вы работали? — С Александровым, — ответил я. Бакунин немедленно разразился целым потоком обвинений по адресу Александрова и кончил тем, что сказал: «Никогда моя рука не прикоснется к тому, что имеет отношение к Александрову **).

«Несколько дней спустя после приезда Гольденберга в Цюрих был арестован известный русский революционер Нечаев. Русское правительство требовало выдачи его, как убийцы студента Иванова. Он жил в Швейцарии под чужим именем и зарабатывал себе на пропитание писанием вывесок. Было известно, что Нечаев и Гольденберг встречались в Петербурге, и, так как арест Нечаева совпал с приездом Гольденберга в Цюрих, некоторые из политических эмигрантов заподозрили Гольденберга в том, что он выдал Нечаева. Появился слух о том, что Гольденберг — сотрудник охранки.

*) Начало воспоминаний Л. Б. Гольденберга помещено в №№ 3 (10) и 4 (11).

**) Об Александрове и о причинах отрицательного отношения к нему эмигрантов см. в примечании Ш. М. Левина к Воспоминаниям И. Е. Деникера в № 4 (11) «Каторги и Ссылки». *Ред.*

Гольденбергу не трудно было доказать неосновательность этих слухов. Товарищи, знавшие его в России, посмеялись над этой мыслью, и настоящий предатель был скоро найден. Это был Стемпковский. Он был также живописец и работал там же, где и Нечаев. Так как подозрение, падавшее на Стемпковского, имело веские основания, было образовано интернациональное жюри из 18 человек под председательством швейцарского социалиста и члена Интернационала Грейлиха. Назначение международного жюри было узаконенным обычаем, и его постановления принимались во внимание властями.

Грейлих послал письмо Стемпковскому с предложением явиться перед интернациональным жюри в такое-то время и место. Ему предоставлялось доказать свою невиновность в предательстве Нечаева швейцарскому правительству. Стемпковский имел право заявить отвод шести избранным членам жюри, как могущим иметь нерасположение к нему на личной почве.

В то же время был организован митинг для заявления протеста против ареста и возможной выдачи русскому правительству Нечаева, который был политическим эмигрантом и имел право на гостеприимство Швейцарии. Гольденберг говорил на митинге, на котором около 800 человек приняли его сторону и требовали, чтобы швейцарские граждане не отдавали политических эмигрантов в когти русского правительства.

«Страна Вильгельма Телля не станет прислужницей русского правительства»,— говорил Гольденберг на митинге.

Несколько дней спустя Гольденберг пошел к начальнику полиции с просьбой выдать ему permit de séjour (вид на жительство).

«Ваша профессия?» — спросил его начальник полиции.

«Металлист», — отвечал Гольденберг, который работал в этой промышленности лассальянского кооперативного общества.

«Вы знаете слишком много для рабочего металлиста, — отвечал начальник полиции. — Я не могу вам выдать permit de séjour».

Два дня спустя Гольденберг уехал в Женеву, чтобы повидаться с политическим эмигрантом Жуковским по поводу помещения статьи «Русская литература и строгости цензуры» в французской прессе, так как Жуковский хотел заняться этим. Гольденберг рассказал Жуковскому о том, что ему не удалось раздобыть permit de sejour в Цюрихе. Жуковский нашел двух швейцарских граждан, которые согласились поручиться за Гольденберга. Они пошли в Hotel de Ville и полиция за их поручительством выдала Гольденбергу желанный документ, который однако надо было обменять на вид на жительство в кантоне Цюриха. Там он снова явился к начальнику полиции и заявил.

— «У меня есть permit de séjour».

«Они слишком доверчивы там в Женеве. Нет, вы не останетесь здесь»,—отвечал начальник.

— «Посмотрим»—сказал Гольденберг.

Однако надо вернуться к рассказу о Стемпковском.

Вместо того, чтобы явиться перед интернациональным жюри, Стемпковский написал начальнику полиции заявление о том, что жизнь его находится в опасности. Начальник полиции потребовал от председателя жюри Грейлиха, чтобы полиция была допущена на заседание суда, при этом он ссылался на то, что когда подобный суд происходил в Швейцарии в 1848 г., то после него судимый шпион был найден мертвым.

Грейлих написал Стемпковскому: «Мы уверяем вас, что ваша жизнь не будет подвергаться никакой опасности». На это он получил ответ от начальника полиции такого содержания: «Ваше заявление о том, что жизнь Стемпковского не будет в опасности, уже указывает на то, что она в опасности».

Так как среди полицейских могли быть шпионы, члены жюри решили следующее:

Они назначили время и место заседания и в назначенный день собрались в зале, нанятом для этого случая. Стемпковскому было предложено явиться перед жюри. На входной двери было повешено объявление, которое гласило:

«Полицейским агентам всех наций вход разрешен».

Так как каждый раньше, чем войти, читал это объявление, то можно было видеть, судя по впечатлению от прочитанного, является ли пришедший полицейским шпионом или нет. Несколько полицейских в полной амуниции явились, но сам Стемпковский не пришел. Прождав достаточное время, Грейлих поднялся и объявил заседание открытым. Рассмотрев показания за и против Стемпковского, интернациональное жюри нашло обвиняемого виновным, и его единогласный приговор был напечатан в местных газетах вместе с именами судей. По законам Цюрихского кантона, если чужестранец уличен интернациональным жюри в том, что он является шпионом на службе иностранного государства, он должен быть изгнан из кантона. Согласно этому закону Стемпковский был выслан.

Два дня спустя после этого, когда Гольденберг направлялся в типографию, его остановили на улице два полицейских и хотели арестовать. Он не пожелал покорно сдаться в плен и решил устроить из этого инцидент, слух о котором мог бы дойти до ушей его товарищей для того, чтобы они предприняли что-нибудь для его освобождения. С этой целью он ударил одного из полицейских, высвободился из их рук и пустился бежать.

Но, [illegible] рассказывал Гольденберг, через [illegible] налетевших неизвестно откуда про-

хожих, меня схватили и отвели в полицию. В полиции я принялся читать объявления, повешенные на стене, но полицейский остановил меня, сказав: «Что вы здесь делаете, проходите».

Меня отвели в одиночку и велели лечь на койку, на которой не было матраца. Конец койки оказался устроенным так, что ноги соскользнули в две дыры. Полицейский протянул нечто вроде деревянной крышки на мои колени и запер их, как будто это были палки. Таким образом я оказался привожденным к койке и мог лежать только вытянувшись на спине. На следующий день на меня надели ручные кандалы и повели к судье. Приговор этот был таков:

«Гольденберг подлежит высылке из кантона Цюриха».

«Полицейский проводил меня до самой границы кантона и выпустил на свободу. Я взял билет до Женевы».

V.

Пребывание в Женеве.

Время с 1872 по 1875 год было важным периодом в жизни Гольденберга. Находясь в Женеве, он поддерживал теснейшие сношения с членами русской колонии, которая в это время всецело была занята заговорами и подготовкой уничтожения царского правительства. В то же время в рядах Международной Рабочей Ассоциации происходили острые разногласия, а иногда и настоящие конфликты, доходившие до драки между федералистами и социалистами-централистами. Федералисты, руководимые знаменитым русским анархистом Бакуниным, настаивали на самостоятельности национальных групп Интернационала и даже допускали, чтобы в одном государстве действовали сразу несколько групп, имеющих право независимо друг от друга формулировать свою политику и проводить в жизнь ее. Централисты, руководимые Карлом Марксом, хотели подчинить национальные социалистические организации центру, управляющему движением пролетариата всего мира. Гольденберг, Степняк и другие русские революционеры, хотя и симпатизировали Интернационалу, однако, продолжали оставаться настоящими русскими нигилистами. Название «нигилист» происходит от латинского слова «nihil», что значит «ничто». Нигилисты, видя неправильности русской жизни в жестокостях правительства, в грубом обращении помещиков с крепостными, в притеснениях чиновников всякого рода, в испорченности православной церкви, возмущались против всего установившегося порядка и хотели ниспровергнуть его. Они проповедывали уничтожение всего: правительства, государства, церкви, даже закона, порядка, морали

поскольку это все было связано с государственным строем. Одним словом, нигилисты были чистейшими анархистами.

Александров со своей типографией также переселился в Женеву, и здесь печатание революционной литературы продолжалось.

Однако, Гольденберг не мог поладить с Александровым, который работал очень медленно. Гольденберг написал в главный штаб в Петербург: «я не могу работать с Александровым. Мы здесь бездельничаем, и я хочу, чтобы меня сняли с моего поста».

В ответ на это из Петербурга приехал делегат, рассмотрел дело и отобрал типографию у Александрова. Гольденберга просили взять на себя заведывание типографией и начать печатание целой серии революционных книг и прокламаций для народа.

Гольденберг оставался в Женеве до 1875 года. За это время он напечатал 16 или 17 книг и прокламаций на различные темы по революционному движению в России. По выходе из типографии книги направлялись в известные места на русской границе, и товарищи уславливались с контрабандистами о переправе их через границу за условленную плату с фунта. Все напечатанные книги направлялись контрабандой в Россию, ни одна не продавалась за границей.

Так как партия не высылала средств регулярно, Гольденберг подрабатывал себе на жизнь уроками. Он учил детей баронессы Корф, которая жила в это время в Женеве. Он давал также уроки в школе, которая была устроена для слабых русских детей.

Русское правительство недоброжелательно смотрело на Гольденберга и его типографию. Швейцарскому правительству был сделан запрос, и настало время, когда кантональные власти отказались возобновить Гольденбергу его permit de séjour.

Приблизительно около этого времени Гольденберг пошел однажды купаться в озеро с Дебагорием-Мокриевичем и д-ром Русселем, — две фигуры, хорошо известные в русском революционном движении, — и вдруг услышал крик:

«Noyé, noyé!» (Тону, тону!).

Гольденберг живо снял одежду и кинулся к тому месту, откуда раздавался крик.

«Ici, ici!» (Сюда, сюда!).

«Скоро я увидел человека, скорчившегося на дне озера, — рассказывал Гольденберг. Я нырнул, схватил его за волосы и вытащил его на поверхность. Он начал барахтаться, и я положил его плашмя на воду, поддерживая его голову над поверхностью. Кто-то вскоре подплыл в лодке, тонувший и я были доставлены на берег и, пока я лежал на берегу, запыхавшийся от сделанного напряжения, тонувшего оживили, и он пошел своей дорогой».

Полиция услышала о мужественном поступке Гольденберга и вскоре полицейский подошел к нему и сказал: «Согласно заявлению русского правительства у нас имеется специальная инструкция наблюдать за вами, мы знаем, что вы живете в Eaux vives *). Мы поискали вас на другом берегу озера и донесли, что не нашли вас».

В это время много русских приезжало в Женеву по разным секретным делам: Степняк, Саблин, Ткачев, Лопатин, Морозов, Павел Аксельрод и другие, и таким образом в Женеве образовалась целая колония русских. Были там также и сербы, которые привозили новости о борьбе против турок, притеснявших сербов и других балканских славян.

Степняк был артиллерийский офицер, и сербы убедили его отправиться на Балканы и помогать им в войне против турок. Он поехал, но несколько дней спустя Гольденберг получил следующую телеграмму откуда-то из Баварии. «Потерял деньги, пожалуйста вышлите немного. Степняк».

У Гольденберга не было своих денег, он пошел к баронессе Корф, которая любезно предложила 300 франков. Эта сумма была послана Степняку и он доехал до Балкан без приключений. Оттуда он посылал Гольденбергу письма о своих впечатлениях. В одном из писем он писал. «Когда я добрался до места, где сербы дрались с турками, я составил свой план кампании и предложил его инсургентам. Они сразу же избрали меня своим генералом и дали мне пушку, которой надлежало разбить турок. Мы подошли к подножию крутой горы. Нужно было орудие втащить на вершину, но как мы ни старались поднять его, это нам не удалось, и мы закопали его. Я хотел сам взбираться на гору, но также не мог. Сербы опытные горцы, и один из их вождей Пеко Павлович внес меня на верхушку горы на своей спине. Там мы легли в ожидании, но турки не наступали. Время от времени сербы спускались в долину и приносили корову, барана или свинью, похищенную у турецких обывателей. Турки платили им той же монетой, таская сербский скот».

Это продолжалось до тех пор, пока наконец Степняк не почувствовал себя утомленным таким восточным способом ведения войны и не вернулся в Женеву. Вскоре после этого он отправился в Россию.

VI.

Пребывание в Лондоне.

Кружок Чайковского и группа Лаврова решили соединить свои силы. Лавров начал печатать в типографии чайковцев свой

*) Предместье на южном берегу озера.

«Вперед!». Вскоре типография, вместе с редакцией журнала Лаврова была перевезена из Женевы в Лондон.

Лавров, бывший русский офицер, был по рождению и по воспитанию аристократом и по манерам представлял полную противоположность Бакунину, который был прост и непосредственен в обращении. Бакунин был настоящий товарищ, который сразу располагал к себе. Он был выдающейся личностью и обладал той необъяснимой особенностью, которая называется обаянием личности. В его присутствии каждый чувствовал, что он рожден быть вождем, и в то же время каждый считал его товарищем и не чувствовал себя стесненным. Его речь была сильна, выразительна, часто даже граничила с тем, что мы в Лондоне называем «Billingsgate» *).

Лавров был утонченный аристократ, корректный в манерах и в обращении, также как и в манере говорить и в своих поступках. Но его холодная, отшлифованная внешность производила меньшее впечатление, чем простая непосредственная товарищеская манера Бакунина.

В Лондоне Гольденберг жил в том же доме, где жили Лавров и Смирнов, издатели «Вперед». Типография помещалась там же. Все они жили, как говорили русские, коммуной, т.-е. приготовляли свою еду и все делали вместе и делили все поровну и издатели и наборщики. Никто из них не получал вознаграждения, только на самые насущные нужды бралось из денег, высылаемых из России товарищами, для которых они печатали книги. Газета «Вперед» выпускалась каждые две недели. После каждого выпуска маленькая группа издателей устраивала себе нечто вроде праздника, состоявшего в посещении театра, в прогулке в окрестности Лондона или поездке в лодке по Темзе.

Так как русские эмигранты плохо знали английский язык, они не имели возможности принимать участие в общественной жизни англичан. В Швейцарии Гольденберг имел обыкновение присутствовать на митингах, в Лондоне он чувствовал себя одиноким.

Многие из эмигрантов были связаны с «коммуной». Генерал Врублевский, бывший офицер русской армии, был одним из ее посетителей. Это был маленький пылкий поляк с бурным темпераментом. Сначала он сражался в польском восстании против русского правительства в 1863 г. Когда восстание было затоплено морем крови, Врублевский бежал за границу. Затем он сражался в Дижоне во время франко-прусской войны под начальством сына Гарибальди. Врублевский рассказывал Гольденбергу, что гарибальдийцы были прекрасными борцами, но только пока одерживали верх над неприятелем как [illegible] их посылала [illegible]

*) Язык ломовых извозчиков.

удача, они падали духом, их охватывал панический страх. Однажды в момент такой паники Врублевский, который был на лошади, выхватил свой револьвер и крикнул: «Первый, кто покажет спину, будет убит».

И французы предпочли продолжить сражение.

Генерал Врублевский ездил также в Южную Америку попытать там счастья. Приехав туда, он услышал, что идет борьба между Урагваем и Парагваем.

«Которая сторона побеждает?» спросил он. «Парагвай все приготовил заранее». «Тогда дайте мне шпагу и винтовку; я хочу сражаться за Урагвай», воскликнул Врублевский.

«Было забавно слушать разговоры Врублевского с Лавровым говорил Гольденберг,— Лавров такой вежливый и употребляющий только изысканные выражения и Врублевский грубоватый и с сильной склонностью к ругательствам».

Лиссагарэ, француз, написавший «Историю Парижской Коммуны», и Фридрих Энгельс были частыми посетителями «Коммуны». Часто можно было встретить там и Карла Маркса, основателя научного социализма. Он был небольшого роста с длинной густой бородой, что придавало ему львиный вид.

Около этого времени Энгельс, Лиссагарэ и другие основали интернациональное общество эмигрантов. Гольденберг стал членом этого общества и регулярно посещал его собрания. Французы, немцы, поляки и лица других национальностей, бывшие членами этого общества, представляли собой людей, изгнанных из своих стран реакционными правительствами. Лиссагарэ был секретарем общества, но кроме того каждая национальная секция избирала своего секретаря. Гольденберг, хотя он был и еврей, был избран секретарем славянской секции. Дебаты в обществе велись на французском языке. Поляки, бывшие членами общества, легко возбуждались, и дебаты часто переходили в открытый поединок между ними, при чем они кричали друг другу: «Вы русский шпион», что являлось самым грубым оскорблением, какое только можно было нанести поляку. После таких историй Гольденберг, как секретарь славянской секции, получал длинные письменные жалобы, содержавшие взаимные обвинения.

В таких случаях вмешательство генерала Врублевского бывало самым подходящим. Спорщики обращались к нему:

«Пане генералу, такой то сделал то-то».

«Ах вы......! Я вас всех палкой! Материны вы дети».

И на некоторое время это действовало успокоительно.

Интернациональное общество существовало только шесть месяцев и затем распалось.

В 1876 г. в Лондон приехал Петр Кропоткин после знаменитого побега из Петропавловской крепости в Петербурге. Боль-

шей частью эмигранты, бежавшие из России, приезжали в Западную Европу с расстроенными нервами. Также было и с Кропоткиным. Его нервы были не в порядке, и он мучился мыслью, что его преследуют шпионы. Со временем, однако, он отделался от этого. Он сам рассказывал, как он посетил издательство «Природа», которому он посылал свои статьи из России. Он мог читать и писать по английски, но не мог говорить и сам не понимал, когда говорили на этом языке. Он писал свои вопросы на бумаге и ему отвечали таким же способом. Кропоткин был частым посетителем «коммуны», и Гольденберг находился с ним в дружеских отношениях.

Лавров отличался от других нигилистов того времени тем, что был против политических убийств. Он говорил: «Убийство одного лица не может изменить строя в стране».

«Вперед» издавался до 1876 года, потом было решено прекратить его издание и выпустить в России подпольную газету «Начало».

VII.

Во Франции.

Таким образом Гольденберг снова остался без работы; тогда он уехал в Путо, возле Парижа, где и стал работать в какой-то красильне. Там он проработал 6—8 месяцев, зарабатывая 7 су в час, работая по 16 часов в день в летние месяцы. Такой длинный рабочий день считался необходимым на том основании, что зимой дни коротки, а при дневном свете удобнее различать цвета. Рабочие носили sabots (деревянные башмаки), и Гольденберг тоже приобрел себе пару, чтобы ходить в них по лужам краски и кислоты на полу красильни. Сначала он очень уставал от sabots, но со временем привык к ним. Он мог даже танцевать в них и проходил в них целые мили, когда отправлялся в Париж, чтобы повидаться с товарищами. Квартирные хозяйки его товарищей, относившиеся весьма неодобрительно к этим sabots, так как они производили шум и оставляли на полу следы от гвоздей, поставили им ультиматум. «Или ваш друг перестанет приходить в sabots, или вы оставите квартиру».

Судя по следующим инцидентам видно, что работы не во всех странах производятся в одинаковых условиях.

Как-то лассальянцы нашли для Гольденберга работу в Цюрихе в мастерской, где производились изделия из листового железа. Однако он не долго оставался там. Однажды он разговаривал с одним из товарищей по работе. Подошел старший мастер и сказал: «Разговоры не разрешаются в рабочие часы», и Гольденберг был уволен.

Когда же Гольденберг работал в красильне в Путо, его компанион по работе пожаловался старшему, что Гольденберг не разговаривает с ним и просил поместить его на работе с другим.

В то время как Гольденберг работал в Путо, Яблочков, русский инженер, изобретший свечи, известные под его фамилией, жил в Париже. Он как раз закончил свое изобретение и собирал компанию, чтобы эксплоатировать его.

Яблочков предложил Гольденбергу работать на его фабрике за плату в 7 су за час, и тот согласился. Вскоре Гольденберг изобрел способ улучшить свечу. Ему предложили 180 франков в месяц вместо того, чтобы оплачивать по часам. Но там не придавали значения ни его работе, ни его изобретению. Гольденберг обиделся и ушел от Яблочкова.

Один американец изобрел машину для высушивания жидкого удобрения, которое обычно вывозилось из скотобойни. Он приехал в Париж, чтобы образовать компанию для эксплоатации изобретения.

Гольденберг, который был в это время без работы, был представлен американцу, как переводчик.

«Вы нигилист, я думаю», сказал американец. «Совершенно верно», отвечал Гольденберг. «Нигилизм и коммерция не могут быть совместимы. Вы знаете, что такое коммерция»? «Покупать за пенни и продавать за шиллинг», отвечал Гольденберг.

«Это коммерция мелкого лавочника. В шестьдесят лет он может заработать семьдесят фунтов или около того. Если я вхожу в контору сегодня и вижу там на столе деньги и если завтра они будут в моем кармане, — я коммерсант. Если мне это не удается, значит не я, а другой коммерсант». — «Что вы хотите сказать?» — спросил Гольденберг. «Я отправляюсь в контору с клочком бумаги. Если мне везет, я оставляю на столе бумагу и беру деньги. Вот это коммерция» — объяснил американец.

Он нанял Гольденберга за 1 фунт стерлингов в день, и они принялись за работу, но их сотрудничество было непродолжительным, так как Гольденберг был арестован в связи с делом Гартмана.

В 1880 г. революционная партия в России сделала попытку взорвать поезд, в котором царь Александр II возвращался из своей поездки в Крым. Софья Перовская, Гартман, Арончик и другие задумали и разработали план. Они наняли дом на окраине Москвы, прорыли подкоп под железно-дорожную линию, положили взрывчатые вещества на линию и предполагали произвести взрыв с помощью электрического тока. Этот план, хотя и хорошо обдуманный, не удался. Исполнители плана вынуждены были бежать и искать тайного убежища, так как властям

удалось узнать, кто были преступники. Гартман бежал в Париж под чужим именем, но русское правительство скоро обнаружило его там и потребовало его выдачи. Он был арестован.

Лидеры французского рабочего класса немедленно начали агитацию в пользу Гартмана, убеждая французское правительство не обращать внимания на требования русского правительства на том основании, что Гартман был политический изгнанник и, следовательно, мог пользоваться правом убежища.

Повсюду были устроены митинги. Была выбрана депутация из 92-х человек, которая должна была отправиться к президенту Гамбетте и настаивать на освобождении Гартмана. Лавров и Гольденберг были в числе депутатов. Гамбетта принял депутацию очень вежливо, но был очень осторожен в выражениях. Он боялся оскорбить демократические чувства французского народа и в то же время не осмеливался игнорировать желания русского правительства.

В результате Гамбетта дал приказ о высылке из Франции Гартмана и шести или семи человек из депутатов, которые явились к нему. Одним из них был Гольденберг. Его спросили, какую границу он хочет выбрать.

«Швейцарскую» — ответил Гольденберг.

VIII.

Пребывание в Румынии и возвращение в Лондон.

Заковав в поручни, Гольденберга отправили на Швейцарскую границу. Вскоре он приехал в Женеву. Пока он там искал работу, к нему пришло письмо от приятеля, в котором тот приглашал его в Румынию. Гольденберг поехал, но работа ему не понравилась. Случилось так, что как раз в это время он получил письмо от доктора Русселя (Судзиловского) из Галаца, который писал: «Мы собираемся здесь образовать румынскую социалистическую партию. Приезжайте, пожалуйста, и организуйте нам типографию».

Гольденберг был рад воспользоваться удобным случаем. Он поехал в Галац, организовал работу типографии; первой выпущенной из нее книжкой была: «Программа работников» Фердинанда Лассаля. Это была первая книжка, изданная вновь народившейся румынской социалистической партией, и Гольденберг может считаться одним из основателей этой партии.

После убийства Александра II русские эмигранты устроили в Галаце 18 марта 1881 г. маленькое пиршество в честь Коммуны 1871 г. и удачного покушения нигилистов. Это достигло до ушей русского консула, который обратился с протестом против такого чествования к румынским властям.

Следствием этого было то, что Гольденберг, доктор Руссель и другие были арестованы румынским правительством. Русское правительство требовало их выдачи, но, в виду волнения в стране, румынское правительство решило не выдавать эмигрантов России, а выслать их тихонько из Румынии. На этот раз эмигрантам предстояла трудная задача при выборе границы. Если они поедут в Австрию, она не постесняется отдать их в руки русского правительства, как это она сделала с Бакуниным. Вновь образованные государства, Болгария и Греция были под русским контролем. Таким образом оставалась только Турция, которая им могла казаться более или менее безопасной. Пароходы ходили разные: австрийские, германские и французские. Эмигранты выбрали французский пароход, так как в то время пароход рассматривался в Турции как иностранная территория и подчинялся законам той нации, под флагом которой он плавал.

Предполагалось выслать пять эмигрантов: Гольденберга, д-ра Русселя, его жену, польского полковника, принимавшего участие в польском восстании 1863 года, и его жену. Билетами их снабдил жандармский офицер, который сопровождал их на французском пароходе. Д-ру Русселю была дана каюта первого класса, а все остальные были помещены на палубе.

Румынский офицер объяснил причину этой разницы в обращении.

«Этот вор и негодяй жандарм взял вам билеты на палубе, а разницу положил себе в карман», сказал он. Все же офицер достал высылаемым каюты первого класса, и таким образом все они устроились с комфортом. Капитан французского парохода сказал им: «На пароходе есть агент русской полиции, который должен следить за вами». И он не ошибся. Там был один высокий, великолепного вида господин, который проявил необыкновенный интерес к высылаемым.

Сам Гольденберг рассказывал следующее:

«Путешествие продолжалось два дня. Так как в Константинополе не было мола, судно стало в Босфоре. Турецкие жандармы в лодках со всех сторон устремились к пароходу. Было очевидно, что русское правительство предупредило их о нашем прибытии и требовало нашего изгнания. Видя, как турецкая полиция собирается встретить нас, мы решили, что польскому полковнику и женщинам нужно сойти первым. Когда они дошли до конца сходен полицейский сказал: «Teskire» (паспорт).

— «Паспортов нет»

— «Арестуйте их».

«Польский полковник был уведен, и мы таким образом уже знали, что ожидает нас. Я читал в одном русском журнале, как Гарибальди, высаживаясь в Италии, чтобы вступить в борьбу

за независимость, употребил хитрость. Пароход был окружен войсками и полицией. Гарибальди одел форму капитана, и два матроса свезли его на берег. Таким образом он ускользнул от полиции. Капитан согласился одолжить мне офицерскую фуражку и попросил двух матросов свезти меня в лодке на берег. Когда мы достигли берега, один из матросов вынул из кармана турецкую феску, а я вернул ему фуражку. Он свел меня в армянскую столовую, где я мог поесть. Подкрепившись бараниной с рисом, я отправился к румынскому консулу.

«Пять человек привезены из Румынии, а полиция не дает им высадиться», сказал я консулу.

«Это не наше дело. Мы ничего здесь не можем сделать», отвечал он.

«Тогда я отправился к американскому консулу (Доктор Руссель жил в Америке и принял американское подданство).

«Доктор Руссель, его жена и ребенок и еще одна дама находятся на французском пароходе в Босфоре и полиция не дает им высадиться», сказал я.

«Мы знаем д-ра Русселя и ничего для него делать не станем», отвечал американский консул, — «но мы сделаем, что можем, чтобы помочь дамам».

«Консул отправился на пароход и благополучно высадил на берег дам. На другой день я проходил по улице в своей феске, стараясь быть похожим на турка, и вдруг заметил одного господина тоже в красной феске и тоже поглядывавшего украдкой по сторонам. Несмотря на красную феску я узнал д-ра Русселя. Я страшно обрадовался ему и кинулся через улицу, чтобы поздороваться с ним. Ему тоже удалось ускользнуть от полиции.

«Полька была в слезах, так как ее мужа посадили в турецкую тюрьму. Я посоветовал ей пойти в католический монастырь и просить ее единоверцев употребить их влияние, помочь ей освободить мужа. Я сказал ей также, что здесь есть польские генералы на турецкой службе, и власти побоятся не освободить его.

«Полька поступила так, как я ей советовал, и скоро ее муж был освобожден из когтей полиции».

Положение Гольденберга было ненадежно, так как каждую минуту его могли выследить и арестовать. В английской газете издававшейся в Константинополе, он прочел о том, что пять русских нигилистов отправились в Турцию, но, не получив разрешения там сойти на берег, уехали обратно в Румынию.

Денежный запас приходил к концу и не было возможности заработать какой-нибудь работой. К счастью, в Константинополе было несколько еврейских учреждений. Гольденберг отправился в общество, называвшееся «Emancipation des Israélites», и повел разговор с человеком, находившимся в конторе. «Меня при-

вез из Лондона агент, как преподавателя английского языка. Но он скрылся, захватив все мои книги и документы. Что мне делать, чтобы вернуться в Лондон?» Гольденберга послали к директору большой еврейской школы. Директор принял его очень любезно и пригласил к себе на обед. Он также находил, что самое лучшее для Гольденберга вернуться в Лондон. Он упомянул о том, что здесь имеется английский грузовой пароход, который должен скоро отправиться в Англию.

«У вас есть деньги?» спросил директор. «Да, немножко», ответил Гольденберг. «Отлично. Дайте капитану 20 шиллингов и возьмите с собою бутылку виски». Гольденберг сделал так, как ему посоветовали, и ему позволили остаться на пароходе.

Когда пароход был у Мальты, капитан спросил у Гольденберга, что он намерен делать. «Я хочу ехать в Лондон», отвечал Гольденберг.

«Деньги у вас есть». — «Только двадцать шиллингов».

«Этого мало, чтобы довести вас до Лондона. Я вас высажу на Мальте», заключил капитан. Гольденберг вынул тогда бутылку водки и протянул ее капитану. «Выбросьте ее за борт», — сказал сурово капитан. — «Я не пью».

Гольденберг все же не выбросил бутылку за борт, так как заметил, что матросы с завистью поглядывали на нее, хотя официально считались преданными членами общества трезвости. Когда капитан скрылся, он отдал бутылку матросам, и те оценили ее по достоинству.

Когда пароход подошел к Мальте, два офицера вошли на него. Капитан доложил им: «У меня есть груз — индийская кукуруза и пассажир, который высадится здесь». Гольденберг объяснил офицерам, что он русский эмигрант и спросил, может ли он считать себя в безопасности в Ирландии.

«О да, это британская территория». Тогда он рассказал, что хочет ехать в Лондон, но у него не хватает денег и он не знает, что ему делать.

Офицеры посоветовали ему сходить к адмиралу порта.

Гольденберг отправился к адмиралу и рассказал ему о своем положении. Адмирал сказал ему, что если кто-нибудь из служащих на пароходе останется в Мальте по болезни или по какой-нибудь другой причине, его можно будет отправить со всяким другим возвращающимся пароходом, идущим без груза, и тут же прибавил: «У вас есть полкроны». «Да», сказал Гольденберг. «Тогда подите в ту комнату и подпишите договор». Гольденберг расписался как матрос, заплатил полкроны за удостоверение, и секретарь повел его на тот же самый пароход, на котором он приехал из Константинополя. Секретарь сказал капитану: «Иностранец-матрос, возвращающийся в Лон-

дон». «Но он сказал мне, что у него только двадцать шиллингов».

«Да у меня они есть», сказал Гольденберг, протягивая деньги капитану. «Где вы желаете высадиться»? спросил капитан. «В Лондоне». «Но я не знаю, пойдем ли мы в Лондон. Груз может быть продан еще по дороге и мне придется выгружать его в каком-нибудь другом порту».

Пароход делал немного узлов в час. Он останавливался в некоторых портах и наконец пришел в Роттердам. Капитан послал за мной и сказал. «Выгрузка задержит меня здесь на некоторое время. Хотите теперь же отправиться в Лондон. Если да, то вот вам двадцать шиллингов и еще немного. С этим вы доедете до Гарвича, а оттуда в Лондон, и еще немного вам останется. Я напишу в рапорте, что вы оставили судно».

Гольденберг сделал так, как советовал капитан, и на следующий день был уже в Лондоне, имея десять шиллингов в кармане. Он пошел на почту, чтобы узнать новый адрес Чайковского, но ему сказали, что почтовыми правилами не разрешается давать адреса, но что если он напишет по старому адресу, то это письмо будет отправлено. Гольденберг так и сделал, написав в письме адрес комнаты, которую нанял, и на следующий день к нему явился Чайковский.

(*Окончание следует*).

Л. Гольденберг.

Мелочи прошлого.

I.

Юношеские годы И. Н. Мышкина.

Ипполит Никитич Мышкин, сын военного фельдшера, служившего в г. Пскове, начал учение в Псковском военном училище, которое подготовляло писарей для военной службы. В 1861 г., как выдающийся по успехам, он был переведен, вместе со старшим своим братом Григорием, в Петербург в Петербургское военное училище; оба они были назначены в средний учительский класс *). Ипполиту было 15 лет, а Григорию 16 лет. Это училище приготовляло: учителей для таких же училищ, инженерных кондукторов и топографов на военную службу. Образование давало среднее. Оба брата учились отлично и были по баллам выше всех учеников. С товарищами держали добрые отношения и охотно помогали слабым в науке, когда их просили. Оба были молчаливы, постоянно занимались, готовя уроки или читая какие-нибудь книги. Григорий редко сердился на кого-нибудь и был очень спокойным, а Ипполит, хотя тоже был спокойный, но порой очень вспыльчив и резок в выражениях, особенно со старшими себя (начальники), за что и был подвергаем наказаниям: оставлениям без отпуска, аресту, временному снятию погон, лишению записи на красную доску в классе за выдающиеся занятия. Оба были высокой честности и нравственности, причем и самолюбивы. Прислужничество начальству у них отсутствовало, напротив на каждое какое-нибудь неуместное замечание начальника всегда возражали в резкой форме, в особенности Ипполит.

В 1863 г. была основана в Москве военная учительская семинария, из которой предполагалось выпускать учителями в классном чине; туда были переведены воспитанники 1-го верхнего учительского класса, но лишь принадлежащие к привилегированному сословию, из остальных же воспитанников низших со-

---

*) Всех классов было 4: нижний, средний, верхний 1-й и верхний 2-й (выпускной).

словий *), в числе коих находились и оба брата Мышкины, составили выпускной топографический класс. Это вызвало у всех оставшихся большое неудовольствие, так как они хотели быть учителями, и особенно братья Мышкины протестовали против такого несправедливого распоряжения правительства. Правительство, конечно, мотивировало свое распоряжение тем, чтобы не дать возможности воспитанникам низших сословий получить классный чин, ранее как прослужив 4 года в нижнем звании. Григорий Мышкин так возмутился, что ушел из училища на службу военным писарем в Главное инженерное управление и впоследствии, выдержав экзамен на инженерного кондуктора, а затем и на местного инженера, служил в Пскове. Ипполит Мышкин, оставшись в выпускном топографическом классе, стал нервничать и сосредоточился в самом себе, грубо отвечал командиру роты и фельдфебелю, если они обращались к нему с какими-либо замечаниями, за что и лишился привилегированного звания вице-фельдфебеля и даже ефрейтора, подобавших ему как первому ученику. С товарищами же попрежнему был хорош. По окончании курса в 1864 г. первым, был выпущен на военную службу (в роту топографов № 1) топографом унтер-офицерского звания 2-го класса в штаб войск гвардии Петербургского военного округа. Здесь Ипполит Мышкин усердно принялся за самообразование, читал кроме известных писателей, журналы, всех русских критиков и очень любил произведения Чернышевского и социальные науки. Я помню, как он возмущался при чтении приговора Чернышевскому в Петербурге на Мытнинской площади Петербургской стороны. Почти ежедневно по вечерам Мышкин куда-то уходил и поздно возвращался, но о его знакомых и где он бывал, мне неизвестно. Зимой 1865 г. он перешел по своему желанию на службу при Академии Генерального Штаба для топографических работ. Он умел прекрасно стенографировать по системе генерала Иванина и однажды записывал в Зимнем дворце разговор императора Александра II со свитой. Государь остался очень доволен точной записью Мышкина и быстрой расшифровкой ее. Еще в 1864 г. военный министр генерал-адъютант Милютин предложил воспитанникам училища заниматься стенографией по системе генерала Иванина под руководством некоего Артоболевского, для предполагавшихся должностей стенографов при военно-окружных судах, но это не осуществилось. Несколько воспитанников изъявили желание заниматься, в этом числе был и Мышкин, который и здесь выдался среди других. В 1866 г. военный министр Милютин, желая ознакомить государя с этим делом, представил ему двух топографов, знающих стенографию

*) В училище было дети крестьян, мещан, купцов, почетных граждан и дворян.

Мышкина и Шпарберга при генерале Ивашине и руководителе Артоболевском. В 1868 г. Ипполит Мышкин, прослужа за воспитание 4 года, по своему желанию был уволен от службы со званием свободного художника, и с той поры началась его стенографическая деятельность в разных местах России.

Я уехал из Петербурга в 1867 г. и больше его никогда не видел и только в 1872 г. узнал о его принадлежности к партии революционеров.

Я с Ипполитом Мышкиным учился 3 года в училище, в среднем учительском классе и в верхнем и в выпускном топографическом. Затем вместе вышли на военную службу топографами унт.-офиц. звания 2 класса в штаб гвардейского корпуса Петербургского военного округа, где и прослужили вместе 1½ года.

М. Бельских.

II.

Заметка о Г. А. Лопатине.

В книге «Герман Александрович Лопатин», составленной А. Шиловым, помещены автобиография, статьи и заметки знаменитого революционера и почти исчерпывающая библиография о нем. Но эти, весьма ценные, материалы недостаточны для полной биографии такого выдающегося человека и крупного революционного деятеля, каким, бесспорно, следует признать Г. А. Лопатина. Для будущего биографа будут ценны не только его письма и воспоминания о нем близко знавших его, но и впечатления лиц, вынесенные при встречах с ним, даже мелкие факты из его жизни и деятельности. Мне кажется, поэтому, не будет лишено интереса и то немногое, что я могу сказать о нем.

Я познакомился с Г. А. летом 1884 г. в г. Ростове-на-Дону, где была поставлена тайная типография для напечатания № 10 «Народной Воли», о выпуске которого он хлопотал.

В этом номере «Н. В.» была помещена его статья о прогремевшей тогда Дегаевской истории под заглавием «Ошибки революционера и преступления предателя».

В то лето многие из ростовской революционной молодежи часто собирались у деятельнейшего члена местной подпольной организации Рафаила Чернышева, жившего на даче близ Армянского Крестовоздвиженского монастыря, в 7 верстах от Ростова. В одно из моих посещений Чернышева, я встретил у него солидного представительного человека, хорошо одетого, который отрекомендовался мне, не помню, какой фамилией. Это был Г. А. Лопатин.

После недолгой беседы Лопатин очаровал меня, как и других присутствовавших, своей непринужденной общительностью, своей

живостью и остроумием, выказав при этом разносторонность своих знаний, широту своего образования. По всему складу своей личности Г. А. резко отличался от тех народовольцев, которые в конце 70-х и в начале 80-х годов приезжали в Ростов и с которыми мне пришлось познакомиться; из них хорошо помню Брандтнера, Желвакова, Антонова и Сергея Иванова.

Это были типичные революционеры-террористы.

В Лопатине не было ничего заговорческого, но виден был конспиратор, сосредоточенный и серьезный. В нем счастливо сочетались черты «доброго русского молодца», как его назвал Г. И. Успенский, и политического деятеля западно-европейского типа.

Он очень живо и интересно рассказывал нам о новых социально-политических течениях в разных странах Европы, о своих встречах за границей с выдающимися деятелями: Лавровым, Марксом, Лафаргом и др.

Для нас, молодых людей, было огромным счастием слушать его, любоваться этой яркой красочной фигурой. Он оставил по себе неизгладимую память.

Во второй раз я встретился с ним в зале суда в июле 1887 г. на его процессе (21-го), по которому мы оба привлекались.

В зале военно-окружного суда, соединенной с Домом предварительного заключения, куда нас незадолго до суда перевели из Трубецкого бастиона, публики совершенно не было. За креслами судей сидели какие-то важные сановники, за обвинителем два-три эксперта, а перед скамьями подсудимых наши защитники — видные представители питерской адвокатуры.

Г. А. от защитника отказался и в своей речи говорил в защиту не себя, а своих товарищей-сопроцессников. В своих выступлениях на суде он обнаружил огромный ораторский талант.

В последнем слове Г. Лопатин говорил так пламенно и искренно, с таким глубоким чувством, что сильно взволновал всех товарищей-обвиняемых и некоторые из них впали в истерику.

Суд вынужден был объявить перерыв заседания и распорядиться об уводе подсудимых по камерам.

Г. А. закончил свое последнее слово так: «Если моя жизнь была бесславна, то еще несколько дней, и я сумею где-нибудь в застенках с достоинством умереть...»

По возвращении из ссылки в начале 1900-х годов я поселился в г. Ставрополе Кавказск., где когда-то жили родные Г. А. и где он кончил гимназию, куда был сослан к родным под надзор полиции и откуда бежал из-под ареста в военной гауптвахте. Отец Г. А. в 70-х годах был управляющим Ставропольской казенной палаты и умер в Ставрополе, где у него был дом на Барятинской улице и дача на речке Чее (впоследствии Ртищевская дача).

В Ставрополе из родственников Г. А. я познакомился с А. М. Лопатиным и его семьей и с некоторыми лицами, близко знакомыми с ним.

Состоя под надзором полиции в течение 1868—1869 гг., Г. А. занимал должность чиновника особых поручений при Ставропольском губернаторе, заведуя в то же время Ставропольской городской библиотекой. В письме к Негрескулу, отобранном у Г. А. при обыске и послужившем основанием для высылки его в Ставрополь, он описывает свою жизнь в Ставрополе, делает характеристику тогдашнего ставропольского общества и сообщает кое-какие сведения о своей революционной работе среди читателей библиотеки — гимназистов и семинаристов. С некоторыми из них я познакомился и от них узнал, что Г. А. организовал в Ставрополе кружок из числа посещавших библиотеку молодых людей. Из членов этого кружка я застал в живых частного поверенного А. А. Сурина и отставного чиновника Бурнаковского.

Сурин помнил хорошо не только Г. А., но и М. Ф. Фроленко, которого я, в бытность его перед началом мировой войны в Ставрополе, свел на квартиру к тяжело больному Сурину. Увидев М. Ф. и узнав его, Сурин прослезился и воскликнул:

«Великий мученик...»

Потом он вспоминал, как Г. А. в их кружке знакомил с революционной литературой, вел систематические беседы и проч. Сурин заметил, что все время собирался написать свои воспоминания о Г. А., но не успел этого исполнить и очень об этом жалеет. Вскоре после нашего визита он умер.

Со слов Сурина и Бурнаковского я знаю, что, состоя чиновником особых поручений, Г. А. ездил верхом по делам службы в г. Пятигорск, по дороге побывал в с. Канглы Ставр. губ. и знакомился с условиями жизни инородцев этого селения. Описание жизни канглыкцев, составленное Г. А., было напечатано в одном из обзоров 1869 г. Ставропольской губ. или в приложении к нему.

К сожалению, мне не удалось разыскать это официальное издание, в котором напечатан очерк Г. А. Подробности побега Г. А. из военной гауптвахты имеются в деле о нем, которое хранилось в Ставропольском губернаторском архиве.

Этот архив после февральской революции был сдан архивной комиссии для хранения в общем архивном помещении. Члены комиссии, работающие в настоящее время в архиве, оказали бы содействие делу собирания материалов о Г. А. Лопатине, если бы разыскали это дело.

Мак. Попов.

III.

Из встреч с первомартовцами.

Всякий раз как приближается 1-е марта по старому стилю, годовщина «казни» Александра II, в моем воображении встают образы деятелей 1-го марта 1881 года: с некоторыми из них я встречалась в течение зимы 1880—1881 гг.

Я тогда была студенткой медичкой, жили мы — я и еще две подруги — в квартирке, состоящей из двух комнат с передней и кухней на Конногвардейской ул. (теперь она называется Слоновой ул.) недалеко от Военно-Николаевского госпиталя, где находились тогда первые медицинские курсы.

К нам часто захаживали Геся Гельфман, которую я знала еще из Киева, и Саблин. Геся Гельфман с первого взгляда производила впечатление невзрачной еврейской мещанки полуинтеллигентки: небольшого роста, плотного сложения, с темным цветом лица, с большими темно-карими глазами, но при ближайшем знакомстве все внешнее уходило в Лету и она очаровывала добротой, мягкостью и лаской, сквозившими из всего ее облика. Мы видели в ней воплощение всего высокого, прекрасного, альтруистического и идейного, она была самоотверженной в великих и малых делах. Вечно о ком-нибудь или о чем-нибудь пекущаяся, вечно озабоченная, занятая, деловая, она никогда не приходила к нам бесцельно, посидеть, поговорить, то ей нужно было позаимть деньжонок, то нужно получить платье для кого-нибудь, то оставить какой-нибудь пакетик, который нужно было спрятать, то предложить устроить вечеринку для сбора денег в пользу революционного красного креста и т. д. Мы знали, что она народоволка, террористка, но не подозревали ее участия в убийстве Александра II. Мы, конечно, шли ей навстречу, так как все были сочувствующие. Она снабжала нас нелегальной литературой — «Народной Волей» и другими изданиями, книжками для народа. По ее просьбе мы отдали в ее распоряжение нашу кухню, нам она была не нужна, так как мы обедали в кухмистерской. В кухне что-то мастерили, работали, стучали как-будто молотками, что-то затевалось, но в чем дело мы не знали и считали нескромным спрашивать, понимали, что это лишнее. Я не предполагала тогда, что в нашей кухне готовилось смертоносное орудие для террористического акта 1-го марта.

В день первого марта вечером Геся прибежала к нам запыхавшаяся, взволнованная и сообщила об убийстве Александра II и о необходимости убрать все компрометирующее из квартиры, в первую очередь из кухни, очистить ее от оставшегося материала, который [illegible]. Мои подруги прин-

лись выбрасывать куски свинца подальше от квартиры в снег; тогда была снежная зима и в эту пору было много снегу, они рассказывали потом, что с поспеху выбрасывали даже на лестницу. Я же, больная ногой, должна была уничтожать все компрометирующее в наших комнатах: затопить печку и сжечь нелегальную литературу, некоторые письма и т. д. В этот вечер мы видели Гесю Гельфман в последний раз.

Саблин приходил к нам как будто без определенной цели, просто посидеть, поболтать, чаю напиться, отдохнуть. Это был человек среднего роста, крепкого сложения, красивой внешности, лет под тридцать, с правильными чертами лица, окладистой русой бородой, большими серыми глазами, несколько на выкате. Он тоже часто приносил нам нелегальную подпольную литературу. Раз как-то он спросил у меня, как понравилось мне одно стихотворение в какой-то книжке для народа. Со свойственной молодости откровенностью и безапелляционностью я ответила быстро и резко: «совсем не нравится»; он удивленно и недоуменно посмотрел на меня и сказал улыбаясь: «я прочитаю его вам». Я, конечно, выразила согласие. Он прочитал стихотворение с уменьем и выразительно и в его чтении оно значительно выиграло, оно показалось мне иным и лучшим. Окончив чтение, он спросил меня опять с улыбкой: «а теперь понравилось вам?» — я ответила утвердительно. Потом только я узнала, что он был автором этих стихов, и вообще считался поэтом и пописывал стихи. После этого он часто декламировал нам свои и чужие стихи. Одно его стихотворение врезалось мне в память. Это «Малюта Скуратов»; не знаю было ли оно напечатано, нам он читал его наизусть: Малюта Скуратов вошел и просит разрешения показать ему тюрьмы и узников; его проводят по камерам: тут идет ряд описаний жутких картин томящихся и мучимых в тюрьмах мужчин, женщин, стариков, юношей, девушек; страдания их разрывают сердце. По выходе из тюрьмы Малюта делает следующий вывод: настоящие пытки сильнее и жесточе пыток времен Грозного, потому что тогда мучили только тело, теперь мучают и тело, и душу. Это стихотворение он продекламировал нам по настоятельной нашей просьбе. Он любил декламировать в полуосвещенной комнате, чтобы быть самому в тени. Читал он совершенно ровным, как будто однотонным голосом, без повышения и понижения, без пафоса, конечно, но тем не менее так выразительно и проникновенно и производил такое сильное впечатление, что помню еще и теперь, как у меня мороз пробегал по коже.

Мы знали, что в конце концов их ожидает, чему они себя посвятили и, понятно, окружали их ореолом уважения и поклонения. Они сами тоже знали, каков будет их удел. Саблин говаривал, что он в руки полиции живым не отдастся. И это, как

мы знаем, не было с его стороны фразы. Когда после 1-го марта полиция нагрянула на конспиративную квартиру по Тележной ул., где жили Саблин с Гесей Гельфман, дверь их квартиры долго не открывалась, затем послышался выстрел. Когда открылась дверь и вошла полиция, она нашла Саблина мертвым, плавающим в своей собственной крови.

Желябова я видела только два раза в своей жизни в 1880 г., приблизительно за полгода до 1-го марта. Я тогда жила в семейной квартире у своих подруг. У нас скрывался бежавший из Сольвычегодска сосланный туда в ссылку из Киева В. Серпинский, друг моего детства, теперь покойный. К нему собственно и приходил Желябов. Я помню его сидящим в нейтральной комнате, в столовой, где стояло пианино; одна из подруг играла, а он под шумок этой музыки вел конспиративную беседу с Серпинским. Ни одно его изображение, ни одна фотография не дает верного представления о его внешности. Это был крепкий, хорошо сложенный, осанистый мужчина, высокого роста, с широким лицом, а не овальным и худым, каким он всюду рисуется, с темно-каштановыми волосами и такого же цвета окладистой бородой, с небольшими глубоко сидящими искрящими карими глазами, а может быть и серыми, показавшимися вечером темными, одним словом одно из славных русских лиц. На устах его была добродушная, снисходительная улыбка, и он обдавал нас ласковым взглядом. Потом от Серпинского я узнала, что он был вождем народовольцев.

Такими-то мягкими и сердечными казались мне эти люди высшего порядка, которые обывателям представлялись воплощением всего грубого, жестокого и зверского.

М. Эльцина-Зак.

IV.

Убийство капитана Гиждеу и Мария Калюжная.

(По архивным данным).

В июне месяце 1884 года в квартире своей, на углу Гулевой и Дегтярной, в д. Посохова, обнаружен был убитый адъютант Одесского жандармского управления капитан Гиждеу. Случай этот чрезвычайно всполошил местные административные верхи и породил в обществе довольно сенсационные слухи и толки. Капитан Гиждеу заведывал агентурной частью жандармского управления, за два или три месяца до своего убийства заместив на этом посту капитана Вельдинского, переведенного в столицу на место убитого Судейкина. Естественно, что в первую минуту и в администрации и в кругах общественных возникло предполо

жение, что умерщвление Гиждеу является актом политической мести со стороны революционеров.

Но уже ближайшее ознакомление с обстановкой преступления не замедлило убедить следственную власть в его чисто уголовной природе. Путем сопоставления целого ряда прямых и косвенных улик следователи пришли к прочному убеждению, что капитан Гиждеу пал жертвой своего слуги Тимофея Повальского, который совместно с сожительницей своей Агафьей Королевич, прикончив спящего жандармского офицера, нанеся ему две безусловно смертельные раны сперва кинжалом в переднюю часть левой подмышки, а затем выстрелом из револьвера в левый висок. Предположение же о политическом характере этого убийства отброшено было следственной властью не только в силу конкретных данных, добытых по свежим следам предварительным следствием, но и потому также, что в личности убитого капитана Гиждеу, как она это уяснила себе из опроса его друзей и знакомых, совершенно отсутствовали черты, свойственные воинствующей ищейке из жандармской корпорации и могущие направить на него мстящий удар революционного лагеря. Этот «заведующий агентурной частью» жандармский капитан отличался жизнерадостной беззаботностью, гораздо больше увлекался ухаживанием за молодыми девицами и танцами, чем служебными занятиями, и хотя в иные минуты и мечтал, по словам его жены, с которой он разошелся, о карьере Судейкина, но никаких решительно подвигов в этом направлении не совершил, а томительно и серо отбывал служебную барщину в жандармском управлении. Да и самый пост «заведывающего агентурной частью» он занял вовсе не потому, чтобы он чувствовал особое призвание к этому роду деятельности, но исключительно из тех соображений, что новая должность принесет ему некоторые материальные выгоды.

Но могли ли Лекоки из жандармского управления столь просто отнестись к факту убийства своего сослуживца, представлявшему такой соблазн для использования в их специфических «розыскных» целях. И 31-го июля и. д. врем. Одесский генер.-губерн. ген.-лейт. Роон сообщает прокурору Одесской судебной палаты, что им «в виду ходатайства начальника жандармского управления г. Одессы» сделано распоряжение, «чтобы, по окончании предварительного следствия по делу об убийстве капитана Гиждеу, привлеченные к сему делу мещанин Повальский и дочь священнического сына Королевич были бы перемещены в тюрьму при казарме № 5 *), для большего удобства и обособления при

*) Насколько известно, в 80-х г.г. в тюрьме при казарме № 5 содержались одни только политические заключенные, и она находилась в исключительном ведении жандармского ведомства.

опросе их для проверки агентурных сведений». Озадаченный прокурор палаты обратился повидимому к прокурору окружного суда с запросом по сему поводу, потому что в папке секретной переписки прокурора палаты мы находим представление прокурора окружного суда Чернявского, в котором этот последний сообщает, что начальник жандармского управления не обращался к нему с просьбой о переводе Повальского и Королевич для содержания под стражей в казарме № 5, но что ему известно однако, что «в объяснениях с судебным следователем г. Матковским полковник Катанский (начальник жандармского управления) высказывался в том смысле, что содержание означенных лиц под стражею в казарме № 5 представлялось бы для дела более удобным», так как, по утверждению его, «убийство капитана Гиждеу имеет характер политического преступления». Хотя при этом полковник Катанский «воздерживался мотивировать какими либо фактами свои предположения». И посему Чернявский «при таком отношении жандармской полиции к делу и очевидном недоверии к органам судебной власти» полагает, что «было бы весьма неудобным содержание под стражей обвиняемых подчинить исключительному надзору чинов жандармского управления, которые всегда поставлены в возможность получить все необходимые им сведения из производящегося следствия».

Забегая несколько вперед, укажем, что этот маленький междуведомственный конфликт завершился победой прокурорской тоги над жандармским мундиром. Отношением от 27/II 1885 г. министр юстиции Д. Набоков уведомил прокурора Одесской судебной палаты, что он снесся по сему поводу с сенатором ген. Оржевским, и последний, не усматривая в деле Повальского и Королевич оснований «к предположению о политической цели вышеописанного преступления», находит, что перевод Повальского и Королевич из одесского тюремного замка в политическую тюрьму «не представляется необходимым».

Но к этому благополучному умозаключению шеф жандармского ведомства пришел лишь после восьмимесячных тщетных, хотя и настойчивых усилий его подчиненных сплести вокруг дела об убийстве кап. Гиждеу интригу «политического преступления». Так как все служебные бумаги кап. Гиждеу были препровождены судебным следствием полк. Катанскому без рассмотрения, то к этому последнему была обращена следственной властью просьба произвести расследование о том, не обнаруживается ли участие в преступлении лиц, «с которыми Гиждеу входил в столкновение по своим служебным делам». На это обращение со стороны полк. Катанского последовал ответ, что неоспоримых фактических доказательств того у него не имеется, что же касается «агентурных сведений», то таковые

он не считает себя вправе сообщить судебному следователю. Сообщая об этом прокурору палаты, прокурор окружного суда указывает, что предположением о политическом характере преступления не замедлила воспользоваться обвиняемая Королевич, вошедшая в тайные сношения с двумя уголовными арестантами, писавшими ей, по ее просьбе, записки якобы от имени Повальского, «в которых заключались самые неопределенные указания на сношения Повальского с лицами политически неблагонадежными». Интрига эта была однако тотчас же разоблачена следствием. Тогда Королевич настойчиво ухватилась за новую версию, не то ею самою сочиненную, не то ей кем-то внушенную. А именно, что в день смерти кап. Гиждеу в его спальне находилась молодая женщина. Что, в связи с одним последовавшим вскоре за убийством кап. Гиждеу событием политического характера, вызвало новый прилив энергии в рядах жандармских следопытов.

8-го августа 1884 г. явившаяся на прием к полк. Катанскому молодая девушка Мария Калюжная произвела в него выстрел из револьвера, слегка его контузившим. Тогда фантазия перепуганного Катанского не преминула разыграться, что называется, во всю и вдохновить его на целый ряд соблазнительных догадок и сопоставлений.

Как видно из отношения прокурора Одесского окр. суда начальнику Одесского жандарм. управления, последний 20-го августа сообщил ему свои предположения об участии Марии Калюжной в убийстве Гиждеу. В своем ответе прокурор окр. суда осведомляет полк. Катанского, что им произведено было по сему поводу негласное дознание, которое ни с какой стороны не подтвердило жандармских подозрений. Дознанием этим установлено было, что Мария Калюжная в ночь убийства капитана Гиждеу была дома и, узнав утром о смерти жандармского капитана, сочтенной было в первую минуту за самоубийство, высказала было даже по сему случаю свое сожаление, предполагая, что он покончил с собой «под влиянием раскаяния в своей служебной профессии». А посему прокурор не усмотрел «достаточных оснований» к производству судебных осмотров и исследований через сведущих людей платья и рубахи, снятых с Калюжной в день ее арестования. Тем более, что, содержась под стражей в казарме № 5, Калюжная «сначала догадывалась, а потом и убедилась в том, что ее заподозревают в убийстве Гиждеу», и поспешила потому указать, что в день убийства Гиждеу она была вовсе не в том костюме, в каком ее задержали после покушения на Катанского.

Решительный образ действий прокурора Одесского окр. суда не встретил, впрочем, одобрения свыше, и 12-го декабря министр юстиции Д. Набоков преподал ему через прокурора палаты

назидательное указание в том смысле, что «отсутствие достаточных оснований для привлечения Калюжной в качестве обвиняемой по делу об убийстве капитана Гиждеу не исключает, в видах всестороннего исследования преступления, права судебного следователя на производство химического исследования пятен на платье и белье Калюжной, в видах предварительной проверки упадавшего на нее подозрения».

Получив этот министерский выговор, прокурор палаты поспешил забить отбой и послал Катанскому отношение с просьбой препроводить платье и белье Калюжной во врачебное управление для исследования имеющихся на нем пятен и о результате произведенной экспертизы сообщить прокуратуре для доклада министру. Но министерству не терпелось, не выждав, пока шла переписка между прокурором палаты и начальником жандармского управления, меньше чем через месяц, оно запросило прокурора палаты «о скорейшем доставлении сведений относительно результатов химического исследования пятен на платье и белье Марии Калюжной». Запрос этот прокурор палаты Аристов переадресовал полк. Катанскому, который ответил ему, что вещи Калюжной отправлены им уже во врачебное управление для исследования, но оттуда обратно еще не получены. И лишь 6-го февраля 1885 г. Аристов получил возможность победоносно уведомить министра юстиции, что полк. Катанским присланы ему сведения о результатах исследования пятен на платье и белье Марии Калюжной, «не только не приведшего к обнаружению присутствия в них крови, но и прямо отвергающего всякую возможность предположения о существовании на этих вещах кровавых пятен и удаления их затем мытьем или иным подобным способом»...

Так ничем и не кончилась попытка стремительного жандармского полковника «пришить», выражаясь арестантским термином, к делу об убийстве кап. Гиждеу стрелявшую в него юную революционерку или хотя бы кого-нибудь другого из революционной среды. А что для него в этом случае не все обстояло безнадежно, подтверждает сообщение, адресованное 2-ым департ. мин. юстиции прокурору Одесской судебной палаты об откомандировании в Одессу товар. прокурора Петербургской судебной палаты Котляревского для личного ознакомления с содержанием и ходом следствия по делам об Александре Кашинцове и об убийстве капитана Гиждеу, «так как имеются основания к предположению о некоторой связи совершенного в Одессе убийства адъютанта жандармского управления Гиждеу с деятельностью местного революционного кружка, образование которого приписывается помянутому Кашинцеву».

Само собой разумеется, что как только выяснилось окончательное фиаско этого «покушения с заведомо негодными сред-

ствами, дело об убийстве Гиддеу потеряло в глазах всей местной администрации всякий специальный интерес, и 23-го марта 1885 г. времен. Одесский ген.-губернатор Рооп уведомил прокурора судебной палаты, что, рассмотрев следственное производство по этому делу, он «не нашел оснований для предания военному суду» обвиняемых по нем Повальского и Королевич и препровождает его обратно «для дальнейшего направления в общем порядке»...

Седой.

V.

Неопубликованные письма П. Ф. Якубовича.

Перед нами ряд писем П. Ф. Якубовича, которые он писал из Кургана одному из томичей — ныне покойному журналисту и общественному деятелю дореволюционного времени.

Письма эти представляют несомненный интерес, как для биографии поэта, так и для ознакомления с жизнью томской ссылки 90-х годов и с печатью того времени.

Приводим выдержки из них, отмечая попутно, что письма эти написаны тогда, когда у П. Ф. особенно обострился процесс нервного заболевания.

I.

15 мая 1898 г.

Очень жалею, что раньше ни мне, ни вам не пришло в голову вспомнить о близком юбилее Белинского. Теперь же ничего не успеть написать, тем более, что на этих днях я переезжаю на дачу (за 18 верст от города), и суматоха, как всегда это бывает, в полном разгаре.

Простите же. Крепко жму руку.

Ваш *П. Якубович.*

II.

6 декабря 1898 г.

Спешу ответить вам.

Прежде всего о Мерхалеве *), это был исключительный по кристалльной совести ссыльный в Сибири.

Я думал, что т о м с к и е товарищи давно уже кое-что собрали в пользу его семьи; если нет еще, то надо поскорее это сделать. Ведь положение этой семьи, действительно, ужасное.

*) Николай Аркст. Мерхалев был в административном порядке выслан в 1880 г. в Сибирь за принадлежность к харьковскому революционному кружку.

И, кроме того, надо помнить, что покойный Н. А. был не просто товарищ и не просто даже хороший товарищ, а редкой души человек.

Кто же не слышал о его доброте, сердечности и самоотверженности, даже из тех, кто не имел счастия знать этого удивительного человека.

Во всей нашей ссылке разве один только покойный Чикоидзе *), мог быть соперником его в этом отношении...

Итак, постарайтесь, и немедленно постарайтесь, сделать что-нибудь в Томске для семьи **Мерхалева**.

Говорят, будто бывшие ссыльные, живущие в Томске, не отличаются большой отзывчивостью на нужды и горе товарищей, и во всяком случае живут слишком изолированно один от другого, но я думаю, что это злое преувеличение, да и случай-то совершенно выходящий из ряда дюжинных.

Получив письмо из Красноярска о смерти Н. А., я лично мог сделать, к сожалению, очень мало: послал от себя двадцать рублей, да написал омским товарищам, которые, надеюсь, тоже соберут посильную лепту.

Что же касается некролога, то, право, недоумеваю, кто и на каком основании мог писать вам, будто за это дело взялся Мельшин.

Никто мне не предлагал ничего подобного, и я в первый раз об этом слышу. Впрочем уже не впервые слышу, что меня считают почему-то близким приятелем покойного. Это неверно. Один только раз в жизни я его видел в Кургане (часа 2—3), когда ехал из Сибири в Курган, и мне совершенно неизвестны подробности его скорбной жизни.

Таким образом, я меньше, чем кто-либо, мог бы взяться за написание некролога.

Теперь о сотрудничестве в «Сибирской Жизни».

Как ни хотелось бы мне сделать приятное и для вас лично, и для редакции — увы должен сказать правду: не имею давно уже ни настроения подходящего, ни времени что-либо написать специально для «С. Ж.».

В еще большем нравственном долгу нахожусь я перед «Восточным Обозрением» и тоже не могу даже предвидеть, когда расквитаюсь с И. И. Поповым **).

К своему несчастью я почти не умею писать маленьких беллетристических вещей, а некоторые большие работы, затеянные мною для «Русского Богатства» и необходимые мне даже

*) Мих. Ник. Чикоидзе, участник процесса 50-ти, умерший в 1897 г. в Кургане.

**) Иван Иванович Попов, редактор-издатель Иркутского «Восточного Обозрения».

для материального существования, поглощая меня всего, подвигаются вперед тоже очень туго, благодаря тому настроению, о котором я выше упомянул.

Ваш *П. Якубович.*

III.

17 февраля 1899 г.

Посланную мною корреспонденцию из Благовещенска вам, повидимому, не удалось пристроить в «Сибирской Жизни», по крайней мере до сегодняшнего дня я не видал ее в газете.

Не будете ли, в таком случае, добры переслать ее в редакцию «Сибирского Листка» *), с припиской о том, что я очень прошу ее напечатать.

Я теперь только, к сожалению, вспомнил, что П. И. Макушин **) не любит писать в своей газете ***) что-либо дурное по адресу школ, гимназий и прочее...

Очень жаль будет, если самая корреспонденция пропала у вас.

Ваш *П. Якубович.*

Сообщил *В. Бантов.*

*) Издавался в Тобольске.
**) Основатель книжного дела в Сибири.
***) Макушин тогда редактировал «Сиб. Жизнь».

Отдел II

КАТОРГА, ТЮРЬМА И ССЫЛКА.

Из истории якутской ссылки 1870-х годов *).

(Неизданные материалы).

Письма издалека.

I.

(От ссыльного). 20 апреля 1881 года [51]).

Пишу вам из весьма и весьма отдаленных мест (по счету 3-е в моей ссылке), из Якутской области. Новая тысяча верст (и это уже десятая) отделяет меня от вас и Питера. Для вас, питерцев, Якутская область и улусы в ней представляют своего рода «terra incognita». Следовательно сведения, какие я могу вам сообщить о ней, будут для вас небезынтересны [52]).

Итак, я очутился в одном из «наслегов» одного из «улусов» Якутской области. Вы, по всей вероятности, встречая слова: «улус», «наслег», изображаете на своем лице недоумение. «что это за штуки такие — улус, наслег?» Извольте, я вам объясню. В административном отношении Якутская область делится на округи, управляемые исправниками; округи — на улусы, управляемые выборными старостами или, как их у нас называют, «князьями», наслеги — на роды, управляемые родовыми старшинами. В этом делении области вы найдете полную аналогию делениям российских губерний — губерния, уезд, волость, село и деревня. наслег, след., уподобляется селу, так как в каждом наслеге обязательно существует церковь. Вся разница только в пространствах. напр., наслег, где живу я, тянется верст на 300 в обе стороны, юрта от юрты верстах в 5—10 и более. Есть даже в моем наслеге такие места, где на протяжении 60 верст вы не встретите ни одного жилья. От ближайшего товарища я в 23 верстах. По водворении нас в улусе, еще до получения правительственного пособия в количестве 5 руб. в

*) Начало работы Б. Федорова помещено в № 4 (11) «Каторги и Ссылки».

месяц и до получения поселенческого надела, мы довольствуемся на счет общества, с каковою целью нас водворяют в юрте именитого якута, который нас кормит, кормит, разумеется, по-якутски: кониной, вареной слегка, зачастую без соли, и, если твой желудок переваривает, пресной ячменной лепешкой, засушенной на голом огне; кашей из кислого молока (по-якутски «сра») из той же ячменной муки с примесью небольшого количества сосновой коры (заболони). Питьем служит кирпичный чай, о котором вы в Питере и понятия не имеете. Изредка дают коровье или бычачье мясо. В случае нежелания твоего довольствоваться готовым якутским содержанием предоставляется получать таковое натурою, т.-е. выдают мясо, муку, чай, масло и соль на руки, а уже ты стряпай, как сам знаешь. Мы так и делаем. Само собою разумеется, что содержание наше на счет общества является налогом на него; ни в каких статьях закона вы не найдете оправдания этому налогу. Не принимать этой помощи мы не можем, так как на 6 рублей казенных существовать нельзя, потому что у якутов вы ничего не купите на деньги, а если и доведется купить, то в 10 раз дороже городских цен. Черкасский табак (махорка) продается в улусе по 1 р. 20 к. за фунт, в городе же по 40 коп. Кирпич чая, в ярмарку, в городе, купите за 95 коп., в улусе — 2 рубля. Якуты все без исключения занимаются скотоводством (быки, коровы и кони). Тунгусы, кочующие по улусу, занимаются почти только оленеводством. Подобным к скотоводству первым служит хлебопашество; в очень незначительном количестве сеется здесь единственный вид хлеба — ячмень; разве богач какой-нибудь посеет фунтов 20 пшеницы, другого хлеба якуты не знают. Тунгусы занимаются, кроме оленеводства, еще звериными промыслами: белка, лисица, кабарга, железки которой доставляют ценимую дороже, чем на вес золота, струю, употребляемую на косметики для дам. О, если бы только они знали, из какого места добываются эти благовония! Якуты, кроме скотоводства и земледелия, смотря по месту нахождения, занимаются еще рыболовством и добычею мамонтовой кости. Промышляют они и сохатою (лось), и именно в марте и апреле месяцах. По отношению к богатству в естественных произведениях наш улус, и в нем наш же наслег, занимают чуть ли не первое место. Каменный уголь, железо, мамонтовая кость находятся в громадном количестве; но все это не разрабатывается и ожидает умелых рук. Наш наслег расположен по обоим берегам Алдана, притока Лены. Кроме того, что сам Алдан изобилует рыбой, мелкие реки, впадающие в него, судя по признакам, должны неминуемо заключать в себе золото. Ходят, правда, слухи, что в последнее время несколько приисковых партий занялись разведками и одна даже нашла надежное золото. Если

так, то край значительно оживится, появятся грабежи, разбои, убийства и т. п. аксессуары приисковой и около-приисковой жизни.

Так вот, видите ли, в какой благодатный край поселены мы! Ну-с, будем жить в нем!

Каждому водворяемому в улус поселенцу, как уголовному, так и государственному, по закону полагается 15 десятин земли, из которых 10 дес. покоса и 5 — пахотной. Затем, общество обязано оказать помощь при постройке дома, снабдить заимообразно необходимым скотом; правительственная помощь, из поселенческого капитала, на обзаведение хозяйственными орудиями состоит в 57 р. 44 копейках. Но близость приисков (Олекминская и Витимская системы) изменяет положение дел таким образом, что русскому поселенцу, водворяемому в улусе, с целью русифицирования края, ничего не остается делать, как тотчас же по прибытии к месту причисления взять билет и идти на прииски. Дело в том, что якутское областное управление распорядилось «разъяснить» закон о поселенческом наделе таким образом: 11⅓ дес. пахотной земли (здесь новина дает сам 40—50), 600 сажен покоса, а остальное — лес. Затем никакой иной помощи не полагается. Само собою разумеется, поселенцу с голыми руками взять надел не приходится: прежде всего ему нужен дом, затем скот и, наконец, хотя какие-нибудь деньги на первоначальное обзаведение. Такое странное «разъяснение» старого, всем известного, закона объясняется очень просто, если вспомнить, что частным золотопромышленникам нужны рабочие; невозможность, в силу этого разъяснения, заняться земледельческим трудом ставит поселенцев в необходимость идти, очень часто и против собственного желания, на прииски. С другой стороны, якуты, занимаясь скотоводством и нуждаясь, в силу этого, в больших луговых пространствах, с своей стороны употребляют все зависящие от них меры, чтобы избавиться от непрошенных общественников, и даже не останавливаются перед затратами денег, в количестве 10—25 р., выдаваемых на дорогу взявшему билет поселенцу.

Уже из самого распределения частей поселенческого надела вы видите какой-то абсурд. 11⅓ дес. пахотной и 600 саж. покосной земли! Владельцу 11-ти с третью дес. пахотной земли необходимо иметь по меньшей мере 10 штук скота, если принять во внимание мелкую породу его (здешний бык, самый большой, весит не более 10, 11 пудов, отличная корова — 7 пудов). По расчету якутов на 8 зимних месяцев потребно сена на каждую скотину 5 якутских возов, а с одной десятины снимают обыкновенно до 30 возов. Следовательно, только на 6 штук скота уже необходима 1 десятина, а по разъяснению областного управления в состав поселенческого надела входит не

более 600 кв. саж. (1/4 казенной десятины), которыми удовлетворится только 1½ скотины.

Не останавливаясь на этой частности, скажу только, что руссифицирование инородческого края является чистейшей фикцией: по спискам в каждом наслеге числится более ста человек русских поселенцев, на самом же деле их в моем наслеге всего 5, в числе которых нас двое. Списки эти год от году увеличиваются и отправляются из Якутска в Иркутск и далее. По этим отчетам составляются отрадные для сердца русского заключения об успехах колонизации русских в инородческих землях далекого Севера... А никто ведь и не догадывается, что большинство этих поселенцев и в глаза-то не видали места своего причисления, наслега. По почте пришлют пятишницу, по почте же получат годовой билет и т. д. Остаются же в улусе такие поселенцы, которых уже и на прииски не принимают — самые подонки из подонков. Эти, если поэнергичнее, садятся на шею якутам; земли они не берут, да ее и не дадут им под разными предлогами, а ведут бродячую жизнь из юрты в юрту, где их кормят, одевают и обувают. Словом, ничего не делая, они барствуют напропалую, наводя страх и трепет на всех якутов, которых они просто таки ловят, как дичину какую. Который же потрусливее, тот, уступая давлению якутов, ведет самую жалкую жизнь: живет впроголодь и впрохолодь, и ездят же на нем якуты, — и, боже мой! Другое дело — мы. В силу условий надзора отделаться от нас билетом нельзя, волей-неволей приходится выдать нам надел, так как дармоедами жить не хочется, и мы, по примеру прежних государственных ссыльных, поселенных до нас в улусе, получив надел и устроив свое хозяйство, надеемся уплатить обществу все до копейки за наш прокорм до получения надела и первой уборки с него. Но эта же самая необходимость уступки нам надела, а главное покоса, заставляет якутов ненавидеть нас чуть ли не более остальных русских, а русских они вообще ненавидят, да и есть за что. Ведь руссификаторами являются выкидыши российского общества. Русский культ, внесенный в улус, ограничивается мошенничествами, грабежом, водкой, табаком, карточной игрой и обрядами православия, до которых они, как вообще все дети, превеликие охотники. Если русский мужик, в большинстве случаев, молится так: «Матушка, Никола-угодник! спаси нас, заступница!», то что же сказать о якуте, ни слова не понимающем по-русски и твердящем со слов молитвы?!.. Горячая преданность обрядовой стороне православия не мешает им в особенных случаях прибегать и к шаманам. Следы этого шаманства вы найдете на каждом дереве, близ жилья якута: лоскутки цветной материи, связка ребер, а то и несколько черепов скота и т. п. Но особенно под влиянием русских, пристра-

стились мои сограждане-якуты к карточной игре со всеми ее аксессуарами: плутовством, мошенничеством и т. п. Они не только усвоили употребительнейшие игры русских, но и сами изобрели несколько своих карточных игр [53]).

Итак, якуты ненавидят всех русских и нас, в частности. Предпринимать против нас что-либо серьезное они боятся по своей врожденной трусости. Кроме того самая таинственность, которою облекается форма надзора за нами, благодаря разным секретным внушениям, делает нас в их глазах какими-то страшными людьми, бояться которых им бог повелевает... Боязнь и ненависть! — вот та обстановка, в которой приходится нам жить. За всем тем, я, побывавший уже в ссылках по городам, положа руку на сердце, скажу прямо, что улус для нашего брата — самое лучшее место, если, разумеется, не принять во внимание отдаленности его и долговременного неполучения писем. Здесь я вдали от начальства, работаю себе свободно и никого знать не хочу. Якуты надоедят, — я запрусь от них, нужды в них я никакой иметь не буду, — ем я только то, что произвожу сам: хлеб свой, огородная овощь своя. Говядины хотя нет, но есть масса дичи и зимой, и летом, а так как иметь ружье не полагается, то приходится ловить ее первобытными способами, ставя на следах зверей луки или на озерах — петли. Смотришь, — попадет заяц, куропатка или летом утка. Кругом у нас озера, в озерах — рыба; поставишь морды, караси будут. Изредка видимся с товарищем; сойдемся, — начнем основы сокрушать, заспорим, он их так хочет, а я — эдак. И никто не мешает. Чудно таково!

P. S. На днях у нас собрание общественников, и мы выйдем с петицией об отводе нам земли. Ах, поговорим же мы всласть!

II.

14 мая 1881 г.

Прошлое письмо, написанное 20 апреля, до сих пор все не идет в город: распута, дорог нет; продолжится она еще без малого с месяц. Половина мая, а снег на полях; приступать к запашке нельзя. Скука, тоска смертная. Читать положительно нечего: газеты все перечитаны; книги, какие есть, — тоже. А знаете ли вы, какой способ изобрели мы убивать время? Боже вас сохрани подумать, что мы, по-арестантски, вшивыми скачками занимаемся! Нет, не то: способ этот чисто интеллигентный. Иногда скука, благодаря ему, разрешается таким смехом, что якуты, мои сожители, даже глаза пучат: с ума, дескать, сошел. Ну-с, слушайте. Перечитав все газеты, не исключая и объявлений в них, я возвращаюсь к ним снова, начинаю перечитывать эти объявления уже иным образом: прочитав строку

в одном столбце, я продолжаю ее в другом, читаю затем вторую строку в первом столбце и опять продолжаю ее во втором и т. д. И прекомичные же выходят иногда вещи! Но все-таки и это душеполезное чтение надоест, как и случилось со мною теперь. Думал, думал, что бы такое предпринять? Наконец, нашел: дай, думаю, поболтаю с вами.

Я закончил прошлое письмо post scriptum'ом с извещением о предстоящем собрании общественников моего наслега. Собрание состоялось на фоминой неделе. Кроме улусного головы, старосты или «князя» и родовых старшин, на собрании присутствовала целая масса общественников; но последние не принимали никакого участия в прениях по вопросам схода. Обстановка этих собраний буквально такая же, как и российских мирских сходок, разница только та, что голытьбе, составляющей в России подавляющее большинство, здесь не дано в утешение даже и пошалдеть немного. В этом отношении якутская выборная власть, как голова и «князь», отличается крайним деспотизмом. Судьбы двух, трех тысяч населения наслега решаются безапелляционно головою, «князем» и двумя-тремя богатейшими общественниками. Прочие члены принимают в делах совершенно пассивное участие безропотным внесением денег, следуемых с них по общей раскладке.

Из всего вышесказанного вы должны были уже уяснить себе всю важность для общественников вопроса об отводе нам двоим 30 дес. земли, из которых 20 д. покоса. Три дня и три ночи обсуждался этот вопрос собравшимся сходом, прежде чем решено было пригласить нас на место собрания, отстоящее от места моего жительства на 10 верст. На четвертый день за мною, товарищем моим и двумя уголовными присланы были верховые лошади, и мы отправились. В виду того, что мы, русские, по-якутски говорили ровно настолько, чтобы уметь, в случае надобности, объяснить свои самые насущные потребности, собранием был привезен из управы писарь, говорящий свободно по-русски. Ни голова, ни «князь», ни старшины по-русски не говорят и ни слова не понимают. Собранием, еще прежде нашего прибытия, было постановлено двойное решение: один приговор гласный, уже написанный на бумаге, основанный на вышеизложенном «разъяснении» областного управления и относящийся ко всем нам, русским, без различия категории поселенцев; другой — тайный, словесный, относящийся исключительно ко мне и товарищу моему. По предъявлении нам первого приговора, я сразу заявил о его несостоятельности и невозможности принять его к руководству, как составленного на незаконных основаниях, затем привел известную нам статью поселенческого устава и продолжал поддерживать свои требования, опираясь только на нее. Как статья, так и все изложенное

мною, очевидно, было уже давно известно обществу так же, как и неправильность разъяснения этой статьи Областным Управлением. Но вожаки схода уперлись и знать не хотят никакой иной статьи, кроме известного «разъяснения». Видя такое упорство и нежелание согласиться с нашими доводами, вполне законными по смыслу статьи, и, кроме того, видя в этом упорстве неуважение к нам, русским, победившим некогда их, якутов, я объявил им, что, не принимая отведенного мне надела, я перебираюсь прямо к голове (владеющему чуть ни целой третью наслега: у него 600 штук рогатого скота и до 200 коней и кобылиц), развожу около его дома огород, скошу десять десятин его лугов и сниму хлеб с его десятины, так как более одной десятины я сеять хлеба нынче не предполагал. Затем, по приезде моей жены, я занимаю русский дом, построенный им (головою) для приема начальства; а товарищ мой заявил, что он то же самое сделает с общественником С. Мы, действительно, готовы были сделать это на другой же день; это они видели и верили. Они предложили было нам ехать в город с жалобой на них. Мы отказались, предоставив им самим жаловаться на наше самоуправство. Затем с нашей стороны был предложен им и еще один компромисс: потребовали от головы и от С. расписки в том, что они готовы уплатить нам все те убытки, какие мы понесли от потери этого лета, т.-е. требовали себе по 700 рублей каждому. Голова и С. не согласились, разумеется, на это, и мы вышли, предоставив собранию обсудить наше предложение и изменить приговор. Прошло еще три дня, мы не показываемся, наконец, за нами посылают опять. Целый день продолжались прения и совещания, пока, наконец, общество согласилось с нами и решило отвести нам землю в требуемом количестве и построить юрты *).

Я нарочно привожу эти подробности, чтобы показать вам всю неприглядность той обстановки, в которой приходится жить нам, людям более или менее нравственным, и указать на ту печальную необходимость, которая заставляет нас опираться на закон, в основании которого лежит, как там ни спорь, принцип захвата земли у людей, владеющих ею целые тысячелетия... В самом деле! Люди живут себе тихо, спокойно; пасут свой скот, стреляют дичину из луков, в рукопашную схватываются с медведями и сохатыми. Вдруг являются какие-то цивилизаторы, хватают их жен, детей; захватывают добытую ими

*) Решение это было составлено еще до первого приглашения нас в собрание, но оставалось, как мы узнали позже, в тайне с той целью, чтобы, во-первых, возможно больше выторговать у нас по добровольному соглашению и, во-вторых, чтобы двое уголовных поселенцев не вздумали настаивать на том же. Эти, впрочем, удовлетворятся незначительными суммами денег на дорогу и билетом для работы на приисках.

пушнину и объявляют их отныне завоеванными и принадлежащими вместе с землею им. цивилизаторам. Затем начинается колонизация края: все, что есть гадкого, скверного; все, что наболело и изъязвило тело русского народа, все струпья с этого зараженного тела сваливают кучами в эту девственную страну. Размеры письма и условия переписки не позволяют мне увлечься изображениями тех картин, полных такого безнадежного гнета и насилия, такого реального, неподкрашенного ничем цинизма, какие развертываются передо мною, по мере ознакомления с языком и жизненной обстановкой якутов. Во всяком случае, всякие описания ниже действительности.

Оглянемся назад, попытаемся реализировать конечные результаты всех этих стремлений к руссификации края за 200 слишком лет со времени появления русских в Якутской области. Начнем хотя бы с усвоения якутами русского языка. Якуты, живущие по городам, составляя минимальную часть их населения, говорят по-русски ничуть не лучше китайца. С другой стороны, русские поселенцы или казаки, прожив в Якутской области 10—15 лет, начинают забывать русский язык. Дети их говорят уже первоначально по-якутски, а потом только начинают усваивать постепенно и русский язык. Внуки первых поселенцев говорят в массе только по-якутски, меньшинство — по-русски, и т. д., пока, наконец, вы не встретитесь в улусе с таким субъектом, о котором якуты говорят, как бы в порицание ему, «он ведь русской породы» и который на ваш вопрос, говорит ли он по-русски, ответит: «нолкуй сох» или «кылчах сох», что в переводе значит: «не понимаю» или «слуха нет». Единственными признаками русского происхождения таких субъектов служат значительные бороды и усы, так как у настоящих якутов, кроме как на голове, нигде волос нет. Наряду с этим и самый образ жизни поселенцев изменяется в том смысле, что приближается к якутскому, начиная с построек жилья и кончая способом приготовления пищи. Последнее, впрочем, можно объяснить тем, что русские, придя к якутам, не нашли у них, как у племен палеоазиатских, обстановки прочной оседлости, огородов с овощами, хлеба и т. п. Хлеб стал известен якутам только со времени поселения здесь скопцов, первых и почти единственных земледельцев в области. Вслед за скопцами начали сеять хлеб и разводить огороды проживающие по городам казаки и оседлые поселенцы.

Все это — результаты влияния русских со стороны материальной, о нравственном же влиянии русских на якутов и говорить нечего, если вспомнить, что руссификаторами были торговцы, пьющее священство, перевезенные сюда по неспособности из ближайших к России губерний чиновники, или же [illegible] из России [illegible] в [illegible]

жалованья и сокращенным сроком службы. А если человек прельстился повышением жалованья, то что же может удержать его в стремлении округлять это жалованье посторонними доходами?..

Доходам же этим несть числа. Затем следуют уголовные поселенцы. Надобно вам сказать, что Якутская область заселяется или сосланными административным порядком конокрадами, татарами и евреями, или окончившими срок работ каторжниками, или же провинившимися вторично преступниками, поселенными первоначально в губерниях Западной и Восточной Сибири. Водка и табак весьма скоро стали знакомы якутам; затем чай (кирпичный, разумеется). Что же касается одежды, то все влияние русских с этой стороны ограничилось для мужчин добовой безобразной рубахой и такими же штанами. Перемена эта отразилась только на людях из достаточной среды; беднота, по прежнему, одевается в коровьи или оленьи шкуры с головы до ног. Богачи употребляют и сукно на верхнее платье, тоже своеобразного, якутского покроя. Одеяние женщин отличается от мужского только головным убором: мужчины носят шапку с наушниками, плотно облегающими голову, а женщины носят такие же шапки, только с выдающимся верхом, наподобие тех наконечников, какие носят питерские чухонки. Шапки тех и других составляют предмет особенного щегольства: есть шапки ценою в 300 рублей из соболей или лапок черной лисицы.

Поборы всякие пушниной скоро открыли глаза якутам на ее настоящую ценность. Богатейшие из них скоро захватили в свои руки бедноту и тунгусов, главнейших зверопромышленников. Началось страшное кулачество и мироедство. Последствием этого явились скрытность, замкнутость, халуйство бедноты и барство богачей; общая всем якутам лживость, наклонность к воровству и мошенничеству. Ваши вещи, как бы они ни были малоценны, всегда подвержены риску расхищения. Добавьте к этому сифилис, успешнее всего прививаемый русскими, — единственный положительный результат стремлений русских внести свое к якутам, — добавьте еще, для полноты картины, боязнь и ненависть к русским, которым якуты — и вполне заслуженно — готовы учинить всякую пакость, — и вы получаете приблизительное понятие об успехах этой колонизации.

Грязь, царствующая в жилищах якутов, как бедных, так и богатых, — единственная вещь, на которую русские обращали серьезное внимание, стараясь искоренить ее, — осталась такою же, какою была до прихода русских. Мыла большинство якутов и в глаза не видало; раза два всплеснул лицо и руки холодной водой, — и мытье кончилось. Бань у них нет, и тела вообще они не моют, так же как и рубахи, которую якут носит в

тех пор, пока она сама не свалится с плеч от ветхости. Дабовые штаны они носят только летом, зимою же коровьи, шерстью вниз. Вошь, насекомые всех родов и величин носятся ими всюду за собой. Посуды они никогда не моют, а ограничивают чистку ее тщательным вылизыванием всяких следов на ней. Целые дни зимой мужчины просиживают у каминка, спиной к огню, с задранной на голову рубахой, и греют эту грязную спину до тех пор, пока она не покраснеет, как свекла. Изредка отец прикажет малолетнему сыну ножом поскоблить ему спину, и тогда грязь струпьями валится с нее на землю. Вот еще интересное явление, наблюдаемое нами у якутов: милая привычка наших неудобозабываемых помещиков, чесание пяток, нашла себе убежище в глубине якутского улуса; какой-нибудь богач не уснет до тех пор, пока работник или работница не почешут ему ног и пяток! Как вам это понравится?

Но довольно о них.

III.

Я уже говорил, что после долгих споров собрание общественников решило, наконец, нас удовлетворить, т.-е. отвести нам землю в количестве 5 дес. пахотной и 10 дес. покоса и построить юрты.

И вот мне, не бравшему в руки никогда ни косы, ни сохи, пришлось вооружиться и тем, и другим; еще неделя и я начинаю пахать и сеять.

С физическим трудом я успел уже освоиться в О. [54]) (прежнем моем местопребывании) в два лета занятий смоляным и дегтярным производством [2]). Гнал я смолу не из сырого леса, а исключительно только из старых пней, оставшихся в лесу после рубки строевого леса. Когда такой пень был найден (обыкновенно в глухой чаще тайги), то требовалось его окопать кругом тяпкой, затем подрубить лапы, идущие в разные стороны от главного корня (матки), — работа тяжелая и крайне утомительная: часто лапы попадаются шириною в $^{2}/_{4}$, и таких лап несколько. Подрубив их, начинаешь расшатывать пень вагой, если все лапы подрублены, пень поддается ваге скоро, но в большинстве случаев бывают такие оказии, что от матки глубоко вниз идут еще одна или две лапы; их надо найти и подрубить, а это очень трудно, нужно много и глубоко окапывать, пока найдешь удобное место для рубки. Наконец, пень свален с помощью одной или двух ваг, требуется перевести его на дорогу — новая тяжелая работа. С дороги и до печи его тащит бык или конь. Затем нужно его (пень) распилить и расколоть на части (попробуйте, читатель, когда-нибудь, потехи ради, побаловаться, поколоть смолевой пень [1]), чтобы накладывать в печь. Наконец, печка наполнена, заложена и замурована на-

глухо; топить надо, а дров нет. Дрова нужно сплавить с противоположного берега Лены, выше О. верст на семь. А Лена в том месте имеет ширину в 3 версты. На том берегу собрал, сколотил и связал плот; надо сплавить его вниз, к печи. Лена река быстрая и течение у нее на протяжении ее ширины не одно, а три-четыре, что обусловливается притоками ее и песком, ежегодно засоряющим ее русло новыми и новыми островами. А тут еще ветер подымается; не успел проплыть во-время выше песков, снесет тебя ниже города верст на 20 и более. На плоту устроены два весла, греби, сажени в две и более длины (такое же кормовое весло вы видите в Питере на дровяных барках). Греби тяжелые, — сбиваешься под этой тяжестью (движение греби в воде обратное, т.-е. закидываешь ее вперед себя, а волну откидываешь назад); вот где впервые узнаешь, что за штука такая кровавый пот! Плот сплавлен к месту, перепилен в поленья, если нужно, то и переколот; теперь уже работа спокойная: знай, не дремли, да подкладывай в печь, поддерживая равномерное горение. Самая гонка продолжалась часов 19, а иногда и более, смотря по погоде. Мне доводилось гнать и в ноябре месяце, под жестокой пургой... Чуть-чуть не ревешь, «маменька, не хочу!» Да что поделаешь? А дело это имело, благодаря близости приисков, хорошую будущность. Только нужно было расширить производство. И все-то это имелось в виду, да вот ссылка новая помешала...

Не страшит меня и предстоящий труд, трудненько будет только в это лето, пока дело не наладится; а там пойдет все, как по маслу. Буду и сыт, и одет, и обут; да и жена отдохнет у меня после всех передряг... А много их выпало на нашу долю в последние годы, особенно во время пребывания в О.! Так скверно, так скверно, что передать вам силу переиспытанных нами ощущений на бумаге, теперь, спустя $1\frac{1}{2}$ года, положительно немыслимо. Положение пария, положение прокаженного древних времен было неизмеримо выше нашего уже потому, что те волей-неволей, в силу традиций давности, должны были примириться с своим положением и остановиться на сознании безвыходности и непреоборимости его... [56]).

И вот я в улусе. Тихо, спокойно, и работа есть! Я счастлив. Счастлив, насколько можно быть счастливым в нашем положении.

Письмо Гамова.

Российскому человеку, живущему в Европейской России, привыкшему считать населенность городов тысячами, как-то трудно помириться, чтобы назвать местечко с 200-ми жителей городом. А между тем г. Олекминск был именно таким городом. Впрочем официальный Олекминск совсем не то, что предста-

ьячет неофициальный, так как последний включает в свою черту скопческое Спасское селение [17], вполне слившееся с городом, хотя в официальных бумагах Спасское селение считается в 10 верстах от Олекминска. Предание гласит, что такая аномалия географического и казенного расположения скопческого Спасского селения произошло в виду того, чтобы местные власти всегда имели под рукою податливых скопцов, всегда готовых к услугам начальства.

Г. Олекминск, расположенный на левом берегу р. Лены, в низменном и болотистом месте, представляет самые нездоровые условия в санитарном отношении. Не говоря уже о климатических условиях с 9-месячною зимою и коротким, как счастье человеческое, летом, трехмесячное летнее время отравляет вам жизнь нестерпимым зловонием никогда невысыхающих болотных луж или заражает вас лихорадкой, которою зачастую страдают местные жители. Собственно, жаркие дни, самое большее, продолжаются здесь какие-нибудь две недели июня месяца, а если выпадет дождливое лето, то вы не увидите теплых летних дней, а что-то похожее не то на весну, не то осень с холодными ночами. Словом, в климатических и гигиенических условиях г. Олекминск представляет довольно нездоровое место. К тому же р. Лена, протекая почти на всем своем протяжении, как в ущелье, между высокими гористыми берегами, иногда в весеннее половодье угрожает городу опасным наводнением, угрожающим когда-нибудь снести половину Олекминска.

Коренные жители, по преимуществу казаки, которые несут вместе с тем и внутреннюю полицейскую службу. Это жалкий, полузабитый, полуобъякутившийся народ; немногие из них занимаются хлебопашеством на своих казенных участках, большинство же отдает свои земли в аренду скопцам. Кроме казаков в городе живут башкиры и татары, под общим названием татар, занимающиеся по преимуществу мелочною торговлей, несколько семейств поляков, в руках которых находятся все питейные дома. Большинство поляков из бывших политических ссыльных, которым еще не предоставлено право возвращения на родину. Одним словом 400 человек жителей представляют собою сбор разных национальностей и верований. Тут и якут, русский, татарин, башкир, поляк, скопец и даже два-три семейства евреев.

Близость золотых приисков [18], пожирающих в громадных количествах продукты земледельческой промышленности, произвели за короткое время довольно солидную дороговизну жизни. Так, напр., цена хлеба ржаного здесь колеблется в продолжение года в пределах от 2 р. до 3 р. 80 к. пуд; пшеничный 10 р. и дороже. Мясо от 3 р. 50 к. до 6 р. пуд. Колониальные товары, как, напр., сахар от 50 до 70 коп. фунт, свечи сальные от

К статье А. П. Прибылевой-Корбы: «А. В. Желваков».

Алексей Васильевич Желваков.

К статье Б. Федорова: «Из истории Якутской ссылки 1870-х годов».

Семен Львович Геллер.

К статье А. Макаревского: «Рабочий-народоволец».

П. А. Антонов.

К статье Д. Д. Левина: «Памяти Р. А. Стеблин-Каменского».

Р. А. Стеблин-Каменский.

30—40 к. фунт, стеариновые от 50 до 70 к. и пр. Но зачастую случается, что, напр., свечей совсем нет (израсходовались), и если кто из торгашей имеет небольшой запас, то дерет сколько ему вздумается. Все товары обыкновенно закупаются здесь в ярмарку на целый год. Поэтому всякий норовит запастись в ярмарку всем необходимым, в противном случае жизнь обходится вдвое дороже.

В городе считается 50 дворов и как наружный, так и внутренний вид домов носит характер недостроенности и неоконченности. В действительности, домов, годных для более или менее сносной жизни, в смысле тепла (о гигиенических условиях и говорить нечего), не насчитаешь и четвертой части всех жилищ.

Такой-то город был назначен мне для коротания моей жизни в ссылке. Я приехал в Олекминск 12 января 1879 г., где уже проживали высланные сюда в конце 1878 г. трое государственных ссыльных: Бурнот [10]), Геллер [11]) и Коновалов [11]). Первый из них уже испытал в своей жизни несколько ссылок административного порядка и таким же порядком был выслан и в Олекминск. Второй, осужденный на поселение в З. Сибирь (по Казанскому делу) в г. Тюмень, был выслан оттуда тоже административным порядком, и, наконец, третий, сосланный по суду на поселение в отдаленнейшие места Сибири с лишением прав. Я был выслан из Москвы прямо с вами [12]) в то время, когда мне оставалось неделя или две до окончания курса в Техническом училище. На следующий день после приезда моего в Олекминск местный исправник попросил меня явиться к нему на дом. Но здесь я позволю себе остановиться на личности исправника подольше, так как едва ли выпадают даже на долю российских уездов такие исправники, достойные внимания, как бывший Олекминский исправник К. В. Плетнев [13]). Когда я встретил, проездом через Верхоленск, своих товарищей (по Красноярскому острогу, где мы долго ожидали пересылки), то они, узнавши, что я назначаюсь в Олекминск, позавидовали мне.

— Ну, счастлив же ты, что назначен в Олекму (местное название)! Вам будет не житье, — а масленица! У вас там прекрасный исправник, не глупый, из бывших иркутских жандармских офицеров.

Признаюсь, удивленный сначала перспективой масленицы, я был еще более удивлен при известии, что виновником этой масленицы будет бывший жандармский офицер, к которым обыкновенно все благомыслящие и неблагомыслящие россияне чувствуют недоверие, и в особенности, когда он устраивает «не житье, — а масленицу!» А между тем я убедился впоследствии, что верхоленские товарищи действительно были правы, хотя немного не вполне.

Приступая к описанию нашей жизни в ссылке в Олекминске, я для удобства разделю ее на три периода: 1) эпоха масляницы, т.-е. период, когда нам жилось довольно сносно, продолжавшийся для каждого из нас неодинаково. Для меня, напр., 8 месяцев. 2) Эпоха переходная, закончившаяся розовыми надеждами на освобождения, переводы и, в крайнем случае, права разъезда по Олекминскому округу для улучшения «жратвы» и человекоподобной жизни. 3) Эпоха вечного ожидания высылки в совершенно погибельные места Якутской области, с перспективой жизни якутского Робинзона.

Задолго до приезда первого из нас в г. Олекминск, исправник Плетнев поведал зажиточным обывателям, что к ним в город назначено несколько человек государственных преступников, известных более под именем «социалистов». «Люди эти большею частью получили высшее или среднее образование, если они дадут вам слово, то вы можете на него положиться даже более, чем на официальный документ, но... одно только обстоятельство, которое и было причиною их незавидной доли — это их заблуждения»... И на вопрос обывателей: должны ли они принимать «социалистов» в свою среду? — Плетнев заявил им, что не только должны, но обязательно им предписывает, так как по инструкциям, данным ему высшими властями, он, исправник, при содействии общества, обязан смягчить им суровую ссылку и гуманным обращением и содействием по части доставления занятий заставить их забыть свои заблуждения. Словом, когда мы появились в Олекминске, общество (понимай это слово в смысле 3-х или 4-х семейств) уже готово было к восприятию нас в свое «лоно».

Не стану описывать здесь, в чем заключалась та масляница, которую сулили мне верхоленские товарищи. Этот период нашей жизни вполне охарактеризуется в нескольких словах, если я скажу, что нам было весело, и не проходило дня, чтобы кто нибудь из местного общества не завернул к «нам» или мы к «ним». Ни один званый вечер не обходился без того, чтобы хозяин не приглашал на него «господ социалистов». Словом, первый год своей ссылки мы провели «безмятежно». Вспоминая теперь, по истечении 2½ лет моей жизни в Олекминске, эти дни, мне всегда кажется, что это безмятежное время было очень давно... Такое же чувство испытывают при воспоминании объ этих днях и другие мои товарищи. Причина этому усугублению времени будет ясна ниже, когда я перейду к последнему периоду — вечного ожидания высылки в совершенно погибельные места Якут. области. Теперь скажу несколько слов о прошлой биографии исправника Плетнева и о том, как он поставил себя к обществу вообще и к нам, в частности.

Плетнев воспитывался в каком-то петербургском военном училище и, будучи юнкером, с ним было что-то в роде «привлечения» по делу, после которого обыватель перестает быть обывателем; по крайней мере, он сам намекал некоторым из нас объ этом «привлечении». Потом он поступил куда-то на военную службу и затем прикомандировался жандармским офицером в г. Иркутск. Отсюда он был назначен исправником в Олекминск, в надежде современем получить место горного исправника на золотых приисках. В какие отношения он стал к местным обывателям, я охарактеризую его же словами; кто-то из нас при виде отменного раболепия к нему местных обывателей, выразил удивление. «Знаете, где они все у меня? - Вот где!» и он показал на зажатый кулак. «Все они, если бы поступить с ними по всей строгости закона, должны быть на каторге! Вы не поверите, когда я, приехавши сюда, начал пересматривать дела, то увидел... что они все у меня вот где!» закончил он, показывая два зажатых кулака.

Понятно, что, занявши такую позицию в среде обывателей, он приступил к управлению краем «без помехи».

Теперь перехожу к первому моему посещению его квартиры, когда он попросил притти меня к нему в дом. Привожу описание моего первого посещения исправника Плетнева потому, что оно прекрасно характеризует, в какие отношения он поставил себя к нам. Принявши меня очень любезно «по домашнему» (хотя и был в форме), он прямо без дальнейших рассуждений сказал: Вы меня не знаете, я вас тоже, если не считать мое знакомство с вашими бумагами, пришедшими еще до вашего приезда. Во всяком случае считаю себя обязанным быть с вами вполне откровенным. Я не буду говорить вам о тех условиях поднадзорной жизни, которым вы должны подчиняться, так как это разъяснят вам ваши товарищи, что собственно дело второстепенной важности. Главное же (о чем собственно я не имею права вам говорить), что предписывается мне инструкциями — это сделать вас безвредным для местных жителей, т. е. строго следить за тем, чтобы вы не могли пропагандировать своих идей. Значит, от вас самих зависит теперь ваше дальнейшее будущее. Предупреждаю также вас, что вы будете жить в такой среде, где все, что вы говорили сегодня - дословно будет известно мне завтра.

В заключение он обещал мне, как и остальным моим товарищам, доставить занятие и сделать все, что только будет возможно, для облегчения нашего материального существования. Действительно, впоследствии он до некоторой степени исполнил обещание. Одному из моих товарищей, женатому, он всегда давал работу или приискал частное место по части переписки.

Другому тоже давал часто работу по этой части. Мне, как более или менее регулярно получающему из России деньги, разумеется, не требовалось приискания занятия, к тому же по миниатюрности городка двое моих товарищей вполне исчерпывали все источники подобного рода работ и мне пришлось бы уже конкурировать с товарищами, хотя высылаемая мне из России сумма далеко не обеспечивала меня, так как по здешним ценам на 50 р. в месяц проживешь в таких условиях, в каких в Москве, напр., можно прожить на 25 р.; последнюю сумму я и получал приблизительно из дому.

Если я скажу, что Плетнев всегда поступал так, что строгие инструкции, предписываемые ему относительно нас, совсем не чувствовались нами, так как он не был формалистом и старался не заводить «дел» с нами из-за пустяков, как это делают большинство сибирских исправников и также поступивший, после смерти Плетнева, исправник Пашковский[1]. За исключением нескольких случаев «столкновений», мы вообще пожалели о преждевременной смерти Плетнева, так как он удовлетворял нас тем, что при нем по крайней мере можно было пользоваться «покоем» и чувствовать под ногами твердую почву. Ниже будет ясно, какого «покоя» и какой «почвы» нужно было нам в ссылке. Теперь же перейду к дальнейшему описанию.

Пока мы жили все вместе (4)[2] наше материальное положение хотя не было особенно хорошо, но к нашему удовольствию, не было и особенно дурно. Один из нас имел по рекомендации Плетнева ежемесячную переписку и получал 30 р. в месяц, другой тоже иногда получал такого рода работу, что вместе с получаемыми мною деньгами давало возможность существовать без особенных лишений. Но с приездом жены одного из моих товарищей и в ожидании приезда невесты другого[3] все мы разбрелись по отдельным квартирам и с этого времени начинается период, когда частенько приходилось «класть зубы на полку». Не стану описывать тех лишений, которые приходилось выносить каждому из нас, так как картины «вешанья зубов на полку» всякий может изобразить в своем воображении, мне же совсем нежелательно писать психо-физиологические очерки о своей особе, а тем более залезать в чужие души. Скажу только, что мне напр., однажды пришлось долго не получать денег от родственников (месяца 4). Совсем не приготовившись к такому пассажу и ведя отчаянную борьбу с моим организмом и еще кое с чем, застрявшим в моей душе, которое я не знаю, как назвать, так как не смыслю ничего в психологии, потому что по специальности готовился быть механиком, я не приготовлялся, говорю, к такой неожиданности. [illegible], что тогда-то дома, будучи гимназистом, научился практически прибивать подошвы к сапогам, не говоря уже о

латыни[1]. Из этого воспоминания я заключил, что могу шить сапоги, ободряя себя пословицей, что «не боги же горшки лепят, а люди!» Таким образом я начал «ковырять» сапоги и к моему удивлению они действительно выходили «сапогами», а я, высоко задравши нос, гордо кичился кличкою «чеботаря», разумеется, работа эта не дала мне никаких средств к существованию, но зато звание «чеботаря» давало мне кредит у торгашей до получения денег, а в конце концов с усовершенствованием в искусстве (в смысле скорости) дало мне возможность заработать себе хоть кусок хлеба. Из воспоминаний моих об этой «эпохе чеботарства» сохранилось только одно обстоятельство: как-то приходит ко мне Павел[66]) (один из моих товарищей, семейный) и говорит: «сейчас мне отказали в работе». Он был в роде письмоводителя в 2-х водочных подвалах и получал в месяц 30 р. — «Отказали?» — «Да». Молчание. Я знал, что на 6 р. пособия, которые он получал, нельзя прожить даже так, как я жил, а тем более с женою и ребенком. Зная, что о том же самом думает Павел, я молчу и он молчит. — «Скверно», — заключаю я и он соглашается. «А Плетнев?» — спросил я, ведь он же обещал содействовать в приискании работы?»... Но... во-первых, как же Павел пойдет к нему просить работы, когда тот может спросить его: «разве вам отказали в работе?» И выйдет что-то в роде жалобы на отказавших ему от работы обывателей. Впоследствии исправник Плетнев, действительно, принял преимущественное участие в Павле, как более всех из нас нуждающемся в этом, по семейному положению. — К борьбе за существование отнесу также и предпринимаемые нами предприятия, в числу которых привожу устройство смолокуренной печки, носившей у нас громкое название «завода», которая и поныне часто приводится в действие. Устройству этой печки мы обязаны не «Технической Энциклопедии» Менделеева и не другим подобного рода изданиям, а практическому знанию «русского мужика», который «молча» принял в нас участие, со вниманием слушал все, что писалось в «энциклопедиях» и, вполне соглашаясь со всем, что написано в них, устроил все-таки по-своему, как он гнал смолу «за морем», когда был еще «в работе» (на каторге). Местное общество никак не могло понять, с какой стати «кабатчик» Ш. ни с того, ни с сего строит «социалистам» печку для смолокурения, мы долгое время смотрели на него, как на «пайщика», затратившего капитал, так как он все делал «м о л ч а». Т.-е. собственно он говорил, но только для того, чтобы преподавать нам лекции по смолокурению, которые он нам читал, выслушавши внимательно от кого-нибудь из нас р а с с у ж д е н и я из «энциклопедии». — «Перьо-наперво место надо облюбовать, — говорил он, — чтобы, значит, вода была близко и пеньки неда

леко, да и дровец-то чтобы по Лене сплавить можно», делал он обыкновенно подобного рода заключения.

Словом, наш смолокуренный «завод» пошел успешно, благодаря случайному «русскому человеку», которого мы раскусили только впоследствии. Оказалось, что «на зло» олекминским жителям, в один голос предупреждавшим нас, что он «вас надует», он оказался одним из тех «русских людей», которые «молча» выражают свое желание помочь людям, поставленным в незавидное положение. Зато другое предприятие, за которое взялся Геллер, а именно подряд мяса на прииски (золотые) не удался, главным образом, потому, что якутский губернатор, по неизвестным причинам, не дозволил вступить в сношение по этому подряду с старым государственным ссыльным (Юрасовым), проживающим уже около 20 лет в якутских улусах и занимающимся торговыми предприятиями (¹). Пришлось воротить задаток, данный приисками Геллеру, назад, который успел к тому времени уменьшиться вследствие издержек по контракту, а также из оного задатка Геллер иногда ссужал деньги высылаемым нашим товарищам по участи в более отдаленные места Якутской области (Колымск, Верхоянск и др.). Словом, задаток пришлось пополнять. Впоследствии Геллер исключительно занялся смолокурением, но оно давало ему не особенно большой доход, так как за неимением возможности затратить свой капитал, пришлось вести дело на задаточные суммы, что обыкновенно заставляло получать меньший дивиденд.

Между тем газеты с каждым годом приносили из России все более и более мрачные известия. Правительственную тактику все менее и менее возможно было уловить и тем самым понять что-нибудь в совершавшихся на нашей далекой родине событиях. Такое же недоумение совершилось и в умах сибирских исправников и губернаторов. В нашей Якутке, напр., якутский губернатор вдруг, без видимой причины, предписал запретить нам переписываться с кем-либо из посторонних, кроме родственников, потом месяца через два или три разрешил эту переписку снова; Геллеру, напр., он разрешил вести переписку (в эпоху наложения veto на переписку с товарищами) и не разрешил раньше, когда это было особенно нужно, переписываться с Юрасовым. То же, в миниатюре, происходило и с исправником Плетневым: то он напрет на инструкции, то ослабит их влияние. Словом, в общем замечалось какое-то колебание администрации, которая не могла себе уяснить, какой политики держаться в отношении к нам. Подобное колебание отразилось и на олекминских жителях, которые, видя странное поведение своего принципата, «сбились с толку» и, держась мудрого правила россиян «лучше подальше», стали боязливо сторониться нас. К этому прибавилось еще следующее событие

в нашей жизни. Как и везде случается, без «врагов», имеющих против вас что-либо и желающих чем-нибудь вам напакостить, не обходится. Точно так же были и у нас враги. В обществе, которое приняло нас в свое «лоно», было несколько отъявленных мошенников, о которых даже сами жители отзывались, как о «темных»; мы, разумеется, зная, в чем состоит эта «темность», держали себя от них как можно дальше; в таком глухом и миниатюрном городишке с микроскопическими интересами, конечно, достаточно было этого «держания себя в стороне», чтобы нажить себе в них врагов. К этому присоединяется постоянный разлад между помощником исправника и Плетневым; первый по существу своему, представляя из себя бесконечно глупое существо, блистательно исполнял роль пословицы «услужливый дурак опаснее врага» и постоянно строчил на исправника Плетнева доносы губернатору, на которые последний редко обращал внимание, так как по всей вероятности они отзывались тем же, чем и сам автор их, т.-е. глупостью. Как-то раз Плетнев метко охарактеризовал его в нескольких словах. «Я согласился бы иметь своим помощником последнего подлеца, чем глупого человека!» Конечно, в доносах помощника большею частью фигурировали мы, как самый удобный и важный материал в управлении исправников. Видя, что ничего не достигается его доносами, помощник инстинктивно примкнул к нашим «врагам», так как у нас часто были с ним «столкновения», вследствие величайшей его глупости. Так, напр., он не выдавал писем по нескольку дней, задерживая их в отсутствии исправника, и как вы думаете, почему? Очень просто: желал показать свою власть, что он, мол, начальник, а о н и могут подождать. До какой степени глупость его была бесконечна, можно судить уже по тому, что он приходит, напр., к женатому товарищу Павлу на квартиру и тут же при нем читает письмо его жены в с л у х, делая свои держимордовские замечания. Из этого примера можно видеть, в состоянии ли кто-нибудь выдержать себя от подобных картин неподражаемой глупости и не поссориться (самое меньшее) с подобного рода ф и г у р а м и (людьми их назвать никак нельзя). К тому же ф и г у р ы эти ужасно бывают мстительны, чем более их ничтожество и фигурность. Но я отдалился. Так вот подобного рода субьект и устроил штуку (удивительно, как у него хватило ума!). В один прекрасный день, когда нас «убедительно» пригласила на именины хозяйка квартиры исправника Плетнева, в самый разгар именин ф и г у р а (сиречь помощник) заорала «Боже, царя храни» с очевидною целью напакостить заодно н а м и Плетневу. Нам потому, что фигура знала, что мы не встанем и, желая убедиться в этом, устроила репетицию; во-вторых, помощник мог воспользоваться этим, как случаем серьезного доноса, что вот,

мол, каких людей вводит в общество исправник! и пр. Так оно и случилось. Мы не встали, что собственно и не обязательно, так как в законах за такой поступок нет даже и ответственности, так как другой мог не встать и даже шикать из патриотизма дурному исполнению хором такого прекрасного гимна, как «боже, царя храни». Разумеется, мы не встали по другим причинам. Впрочем, почему мы тогда не встали, я не могу определенно сказать. Я, напр., помню только одно: ехидную рожу помощника, старавшегося перекричать всех, и этого достаточно мне было, чтобы я прилип к своему стулу. Плетнев и здесь был чрезвычайно тактичен: он заявил, после нашего ухода, что не в праве от нас требовать противного и от нас зависит: исправляться или остаться неисправимыми. «За свои заблуждения они несут наказание — отчуждение от родины, т.-е. ссылку в Олекминске; какое же я имею право на обязательное их исправление?» Удивительнее всего, что такого рода суждение мне пришлось слышать из уст простолюдина, до которого во всяком случае не могла дойти вышеупомянутая фраза Плетнева. Помощник сейчас же накатал донос, так и так, в день высокоторжественный и пр., и пр. А день между тем был самый обыкновенный, но надо же обстановочку! Плетнев, разумеется, донес об этом губернатору, о чем он через несколько дней заявил нам сам, и мы не видели в этом с его стороны ничего дурного, так как он обязан был сделать донесение. Только через 8 месяцев пришла резолюция по этому делу, но об этом — ниже.

Между тем газеты принесли нам известие об учреждении верховной распорядительной комиссии под председательством Лорис-Меликова [77]). Как ни безнадежно были мы настроены после вышеприведенной каверзы помощника исправника, но даже после этого Плетнев настолько усыпил нас надеждами на возвращение и переводы, что трудно было не поддаться его усыпительной тактике. К тому же мы и не думали, чтобы наш вышеупомянутый поступок имел большое значение, так как это случается весьма часто между обывателями земли русской. К тому же, как заманчивы эти надежды! В таком упоении «надеждами» томились мы несколько месяцев, жадно перечитывали газеты, которые, как нарочно, раздували своими «веяниями» и без того уже наши раздутые надежды! Славное было время! И во сне, и на яву только и мерещатся, что родные картины, родные места, дорогие лица. О! нет бесчеловечнее шутки, как шутить подобными светлыми надеждами! И... в конце концов оказалось, что это газеты раздули пигмея в великана, лягушку в вола! Злыми палачами нашими оказались газеты. В добрый час, пошехонские трубадуры! По вас работа!

Я [illegible] 2[illegible] [illegible] внезапной смерти Плетнева, убитого [illegible] в его квартире

с местными обывателями. Нужно ли говорить мне, что такое смелое преступление на первых порах было приписано «социалистам»! А между тем, несмотря на наши прекрасные отношения к Плетневу, известные всем обывателям, нисколько не подействовали на логику следователей образовавшейся впоследствии комиссии, и нас долгое время «подозревали». Дело в том, что на место Плетнева был назначен незабвенный для нас Пашковский. О нем можно сказать только, что не было печали, так черти накачали! Он избрал своею тактикою - во что бы то ни стало избавиться от нас, т.-е. чтобы все мы были высланы куда-нибудь подальше и избавили его иметь в своем ведении «государственных преступников!» «Ведь из-за них столько хлопот! Такая строгая ответственность!» И он строчил, строчит... доносы часто преуморительного сочинения, напр., «Государственные преступники такие-то отрицают всякие власти, не признают бога, в церковь не ходят» и пр., и пр. Пашковский поэтому из всех сил старался из нас сделать убийц Плетнева, хотя в конце концов не достиг этого, ибо был признан «негодным к управлению» и отставлен от должности. В самый разгар «подозрений» нас в убийстве Плетнева вдруг высылают по распоряжению генерал-губернатора В. Сибири двух наших товарищей Геллера и Петерсона [71]) (последний был прислан в Олекминск в феврале 80 г.) в якутские улусы. Нас как громом поразило это обстоятельство. Сначала мы думали, что это дело Пашковского, но оказалось, что это — наследие Плетнева, который сколько ни старался выгородить себя по поводу своего доноса о невставании при пении «боже, царя»... но кто же знал, что он писал в своем доносе «на самом деле»! Вот тебе и «масляница», устраиваемая бывшим жандармским офицером! Не даром же благоразумные и неблагоразумные россияне питают к нему инстинктивное недоверие!..

Письмо из Верхоянска.

Верхоянск [72]) 3-го марта 1881.

«Ждите и надейтесь на бога», говорит смотритель тюрьмы только что привезенному политическому арестанту, «ждите, пока выяснятся обстоятельства дела», - говорит ему на дознании прокурор. «Ждите» говорит все тому же субъекту, дождавшемуся, наконец, административной ссылки в Якутскую область, якутский губернатор, отправляя его в одну из прохладных, но, увы! далеко незлачных мест своей области. И человек сидит целые годы в тюрьме, сидит и воочию убеждается, что ему точно без бога никак невозможно. Чего только не проделывают с ним, какого только начальства нет над ним в

тюрьме. Вы жалуетесь смотрителю на грубое обращение с вами прислуги, а вам не замедлят объяснить, что прислуживающий вам унтер имеет право не церемониться с вами, потому что вы, во-первых, мещанин, а во-вторых, политический арестант, — он же — унтер и, следовательно, — чином выше вас, и, кроме того — не просто унтер, а унтер, зарекомендованный с хорошей стороны высшим начальством, следовательно — и почетнее вас. Сегодня вздумалось этому зарекомендованному высшим начальством унтеру пожаловаться смотрителю, что арестованный чересчур громко, по его мнению, запел, и арестованного тащат в темный и душный карцер, держат там в течение целого месяца, держат до тех пор, пока у него не разболятся глаза от полного отсутствия света, не заболит грудь от недостатка воздуха, и наконец, выпускают, не преминув объяснить при этом, что по инструкции в карцере имеют право держать только в течение недели и что его держали месяц в темной и вонючей конуре чисто из любезности, ибо, не просив об освобождении, он, тем самым, изъявлял желание оставаться в темноте и дышать воздухом ватер-клозета. Через неделю выведенный из терпения противозаконными поступками имущих власть и убедившись на опыте в бесполезности всякого легального протеста, арестованный, обезумев от горя и отчаяния, начинает ломать мебель и бить стекла. Судорожно сжимаются его руки, еще минута — и он разразится истерическими рыданиями. Какое дело начальству до состояния его духа! По распоряжению смотрителя, его избивают, избивают до полусмерти, объявляя, что если что-нибудь подобное повторится, то «мы вас и не в такой калачик согнем». В выражениях не стесняются; не одной политической арестантке довелось выслушать из начальнических уст сильные эпитеты, вроде «сволочь», «стерва», не одному политическому арестанту приходилось отвечать на самую бесстыдную, самую площадную ругань смотрителя. Что же касается кулачной расправы и свертывания в калачик, то защитник равенства полов — смотритель не делал никакого различия между мужчинами и женщинами. Капля по капле полнилась чаша, и, казалось, нечего уже было прибавлять к ней, но увы! это только казалось неумудренному житейскими опытами арестанту, не так думало умудренное начальство — нет! возвестив устами начальника ныне упраздненного учреждения, что русский политический арестант, раз он политический, лишен покровительства закона, оно воочию заставило его убедиться, что его не только можно осыпать руганью и ударами солдатских сапогов, оно доказало ему, что за ним не гарантировано право умереть до суда нормальной смертью. Вот факт, достаточно обрисовывающий положение дела. В грязной сырой камере Варшавской цитадели сидит юноша; более 6 месяцев провел он здесь, в этой келье,

в этом каменном гробу, настолько изолированном от внешнего мира, к вящшему удовольствию либералов Спасовического пошиба, что в нем, в этом мире, о существовании этого юноши знают только прокурор да жандармы. Полный жизни вошел он сюда, посмотрите же на него теперь бледный, худой, едва движущийся скелет, подходит он к окну, протягивает к нему руки и с неимоверным усилием взбирается на него для того, чтобы хоть на одну минуту вздохнуть свежим воздухом, что бы хоть раз услышать голоса товарищей; еще неделя и грозный . . . *) тюрьма сделает для него невозможным такое наслаждение. Голова его приникла к фортке, светлая радостная улыбка мелькнула на устах, восторгом блеснули очи, те очи, которые столько времени видели только одни потолки каземата...

- Слезай! раздается зычный голос часового. Слезай, а не то стрелять буду, и не успел юноша повернуть головы, как грянул выстрел, и окровавленный, с простреленною головою, труп падает на пол. Фамилия этого юноши Бент [73]). Фамилии часового мы не знаем. Возникло дело, военный суд вынес оправдательный приговор солдату и каторгу двум заключенным, осмелившимся сопротивляться кулачной расправе во время бунта, случившегося по этому поводу в той же Варшавской цитадели. Следствием этого приговора была паника между заключенными и еще большее нахальство сторожей. Через несколько дней другой угрожает за то же тем же, а через месяц готова новая жертва тюремный надзиратель, взобравшийся на окно, чтобы подслушать разговор между арестантами. Преступление снова не наказано. Вынесен труп, выскоблена кровь, и конура осталась тою же конурою, разве только сделалась немного почище; зато обращение сделалось вдвое грубее, вдвое нахальнее. Ждать стало еще тяжелее, а тюрьма переполнена, переполнена целою массою ни в чем неповинных, никогда ни в каких тайных сообществах не принимавших ни прямого ни косвенного участия людей.

Сидит николаевский чиновник, все государственное преступление состоит в том, что он снял на одесском бульваре давивший ему ногу ботинок; ждет опасный политический деятель, утверждающий, что до конституции нам далеко, потому что Щедрин ее не желает; дожидаются родители одного из повешенных, обвиняемые в том, что произвели подобное детище, ожидает 14-тилетний мальчик, брат Ивичевичей [74]), обвиняемый в кровном родстве с государственными преступниками. Ждут выяснения обстоятельств своих сложных дел, ждут целую вечность, ибо год в тюрьме тянется вдесятеро долее года на воле. Но вот, наконец, отворяются двери тюрьмы; для иных изрекается слово милости, которого так долго и так напрасно ждала

---

*) Неразобрано несколько слов. (*Ред.*).

ты, старуха-мать. Что же ты остановилась? Ты не узнаешь его? Это он, это твой сын, тот же самый, которого год тому назад вырвали из твоих объятий жандармы, его освобождают, он признан невинным, за ним признали право снимать ботинки и ждать, пока Щедрин пожелает конституции. Слабый и изможденный, выходит он к тебе, поезжай же с ним на юг, быть может это излечит в конец ослепшие глаза.. Ты сомневаешься?.. Других отправляют на Кару и виселицу, третьих — в административную ссылку. И вторые, и третьи, конечно, за исключением повешенных и высылаемых в пределы Европейской России, отправляются с юга в Мценскую, а с севера в Вышневолоцкую пересыльные тюрьмы. Северян предварительно завозят в Тверь, где ссыльный впервые узнает, что административная ссылка непосредственно связана с необходимостью ждать целыми часами в губернаторской передней и что губернаторская передняя есть тоже «в некотором роде присутственное место», как было объяснено мне делопроизводителем губернской канцелярии.

Получив эти необходимые, новые, не встречающиеся ни в каком юридическом учебнике сведения, ссыльный отправляется в Вышний-Волочек. Усталый и разбитый подъезжает он к тюрьме с единственным желанием отдохнуть. Не тут-то было! начинается процедура приемки и обычно тянется она час, иногда полтора. Книги отобраны с обещанием возвратить завтра, вещи запечатаны и унесены в кладовую без всякого обещания. Приемка окончена, — его обнимают, жмут ему руки совсем незнакомые ему люди, связанные с ним неразрывными узами одного и того же горя, одних и тех же страданий. Его усаживают, предлагают ему лучшие куски ужина. Он совершенно растерялся, почти бессознательно съедает он ужин и мало-по-малу начинает прислушиваться к разговору. Говорит юноша, почти мальчик, злобой искажено его молодое симпатичное личико, злобой сверкают черные, большие, полные энергии глаза.

«Меня высылают ни за что», — говорит он, — «так теперь же я заставлю страдать за дело». Новичку показалось, что сказали его мысль, в нем тоже пробуждается злоба — горькая, бессильная злоба, и вдруг сменяющаяся каким-то щемящим чувством отчаяния. Долго сидит он опустив голову, и, наконец, уснул, уснул тут же на табурете.

Завтра уходит партия. Ни сборов, ни тяжелого, ужасного этапного пути со всеми его безобразиями, которые проделываются над административными ссыльными, превращающимися почему-то, начиная с Тюмени, в государств. преступников, не буду описывать, т. к. читатели Вашей газеты могли познакомиться с ними, прочитав помещенное в ней письмо из Колымска. Перехожу прямо к описанию жизни ссыльных Якутской области.

Всех административных ссыльных здесь более 70 человек, из коих 7 в Олекминске, 10 в Якутске, 9 в Верхоянске и 9 в Колымске, трое в улусах Верхоянского округа, остальные разбросаны по улусам Якутского округа. Не будем много распространяться о прелестях жизни этих несчастных; достаточно будет сказать только, что брошенные в среду дикого кочевого племени якутов, принужденные перекочевывать вместе со своими неотступными аргусами, они с завистью смотрят на жизнь отправленных в каторгу уголовных преступников; там есть журналы и газеты, есть врач, который на случай болезни окажет необходимую помощь, здесь... Но пусть говорят они сами: — «Пишу к вам под влиянием самой тяжелой боли надкостной плевы, следствием которой — как физическая, так и нравственная беспомощность. Я обращался, куда следует, с просьбами и требованиями о помещении меня в больницу, но без успеха. — в больницу не принимают, так что я теряю всякую надежду на поправленье здоровья. Не знаю, долго ли придется мучиться, единственное желание, это — скорее отделаться от мучительной боли»... «Живу совершенно один, никого другого в этом наслеге нет; К. живет в другом, видеться нам не позволяют, хотя мы живем друг от друга не далее, как в 5 верстах». — «Пособия получаю всего 4 р. 50 к. в месяц».

Нет ничего удивительного, что при таких условиях ссыльный, не желающий путем уголовного преступления улучшить свою ужасную судьбу, начинает смотреть на нирвану, как на единственный исход своих непосильных, ничем не заслуженных страданий. Это — не упадок энергии, это — героизм.

Немногим лучше обставлена жизнь городского ссыльного: та же материальная необеспеченность, чтобы не сказать — хроническое голодание, то же отсутствие книг и журналов, а если такие и есть, то получаются они месяца через 4, через 5. О письмах и говорить нечего, у нас до сих пор сохраняется конверт с письма, шедшего ровно 10 месяцев из Олекминска до Верхоянска. Правильной почты даже и по закону не существует. Здесь также зачастую возникает вопрос где лучше? — и решается он, увы! всегда в пользу уголовного каторжника. Вот что нам пишут из Колымска — «Целую вечность тянется темная полярная ночь, живем в потемках, позволяется читать при свете 1½—2 часа в сутки, хлеба не едим, питаемся рыбою, — мяса достать невозможно». Не краснее и жизнь Верхоянцев, и если мы не говорим здесь о ней, так только потому, что не хотим говорить о себе. И в такую-то глушь брошено без следствия и суда около сотни людей... Комментарии излишни. Всего три года, как началась административным порядком колонизация Восточной Сибири; над причинами высылки не нужно было задумываться.

Деятельное в этом отношении покойное III отделение, с Мезенцевым [75]) и Дрентельном [76]) во главе, просуществуй оно несколько долее — и не таких бы чудес натворило; да и не мудрено. Нет ничего легче, как вырвать из общества, обращенного разыгравшейся до чортиков реакциею в стадо баранов, его членов и высылать их в страну, где цветет морошка и Макар пасет телят. Нет ничего легче, как впоследствии забыть о них; ведь большинство из них напоминают о себе прошениями, а между тем климат и голодовка разрушительно действуют на их и без того в конец подорванное тюрьмой здоровье; некоторые уже насчитывают три года пребывания в этой стране зверей; другие 6 лет скитаются из одной губернии в другую, от одного начальства к другому начальству; — результатом является кровохаркание. Цель достигнута — государство отделалось от могущих впасть в государственное преступление людей, убив их административным порядком... Ссылка в Якутскую область, это не просто ссылка, это — административный приговор к долгой мучительной смертной казни или, по меньшей мере, пытка, где в качестве палача фигурирует не какой-нибудь Фролов, одним взмахом руки оканчивающий все дело, а вся окружающая среда, все условия их жизни, расхищающие нервы ссыльного, по капельке высасывающие его кровь. Мы никогда не окончили бы, если бы могли сказать все и если бы нашлась хоть одна газета, решившаяся напечатать весь скорбный лист последнего 10-тилетия...

Б. Федоров.

Примечания.

[1]) Хотя это и следующие письма хронологически и предшествуют первому, но по своему содержанию являются удачным дополнением к нему, что и обусловило собою тот порядок, в котором мы приводим эти письма.

[52]) Следует пропуск описания причин высылки С. А. Геллера из Олекминска, почти дословно повторяющего соответствующее место из очерка «Из мест весьма отдаленных».

[53]) Пристрастие якутов к карточной игре вероятно было распространено не всюду. Так, напр., Вл. В. Беренштам, наоборот, свидетельствует, что в его присутствии «одна якутка нашла короля трефового и давай креститься, целовать крестила. Мол, икону нашла! Карт никогда не видала»! (Вл. Беренштам. Около политических. Птб. 1908, ст. 202).

[54]) Олекминск, см. примеч. 38-е.

[55]) Об этом же говорит в своем письме и Гамов.

[56]) Далее опущено подробное описание убийства исправника Пнетнева и следствия об этом убийстве, т. к. оно почти дословно повторяет соответствующее место очерка «Из мест весьма отдаленных».

[57]) Более подробное описание с. Спасского и быта его политического населения, см. Вл. Беренштам. Около политических. (Из путевых впечатлений по местам ссылки Якутской области). Птб., 1908, ст. 205—207.

[58]) Олекминский округ занимает первое место в России по количеству рассыпного золота.

[59]) См. примеч. 39-е.

[60]) Автор печатаемых нами «Из мест весьма отдаленных» и «Писем издалека».

[61]) См. примеч. 56-ое.

[62]) Т.-е. с Ф. Ф. Павленковым (см. примеч. 2-е).

[63]) См. примеч. 42-ое.

[64]) См. примеч. 47-ое.

[65]) Гамов, С. Л. Геллер, П. Буриот и Ф. А. Коновалов.

[66]) Буриота.

[67]) Вероятно Е. Ф. Ермолаевой — жене С. Л. Геллера.

[68]) Буриот.

[69]) Юрасов, Дмитр. Алекс., род. в 1843 г. «каракозовец». В 1864—65 гг. был членом Московского кружка «ишутинцев». С пропагандистскими целями кружок основал школу для мальчиков, в которой Д. А. Юрасов преподавал арифметику. А. А. Шилов в своем очерке «Каракозов и покушение 4 апр. 1866 г.» знакомит с этим периодом деятельности Д. А. Юрасова (Op. cit., ст. 26). В 1866 г. было выделено из кружка основное ядро с целью совершения цареубийства, получившее название «Ад», а участники его называли себя «мортусами», т.-е. обреченными на смерть; в числе «мортусов» был и Д. А. Юрасов. Привлеченный к суду над «каракозовцами» он обвинялся в знании и намерении Каракозова совершить покушение на жизнь его имп. вел. и в принадлежности к тайному о-ву «Ад» и 24 сент. 1866 г. был приговорен к лишению всех прав состояния и ссылке в каторжные работы в рудниках без срока, что было заменено 10-ю годами каторги. См. Гос. Пр. в Рос. под ред. В. Базилевского. Stuttgart, 1904, т. 1, 262, 271 и др.

[70]) Лорис-Меликов, Мих. Тариелович (1825—1888). 12 февр. 1880 г. был назначен главным начальником «верховной распорядительной комиссии по охранению государственного порядка и общественного спокойствия», учрежденной указом от того же числа «в целях прекращения покушений на государств. и обществ. строй России». Лор.-Мел. заявил при своем назначении, что в поддержке общества он видит главную силу, могущую содействовать власти в возобновлении правильного течения государственной жизни. Указами 3 и 4 марта ему временно были подчинены III отделение и жандармский корпус. 6 авг. 1880 г. комиссия была закрыта, а Лор.-Мел. назначен мин. вн. дел.

[71]) См. прим. 44-е.

[72]) Верхоянск — одно из жестоких мест ссылки, расположенное в 910 вер. к сев.-вост. от Якутска, под 67°34′ сев. шир. Состоит из 2-3 десятков домов, большею частью без кровель, и нескольких десятков юрт, разбросанных по обоим бер. р. Яна. Вода озерная и речная летом не годится к употреблению, а потому жители запасаются льдом на круглый год. Одно из озер носит название «Ибайгал», что значит «море воды». Жителей в конце 70-х годов было 244 чел., из них 127 якутов; по переписи 1897 г. — 354 чел. Поселок завоеван русскими в 1638 году, преобразован в город в 1822 г. Климат Верхоянского округа представляет крайний предел холода, наблюдаемый на материке Азии.

[73]) Автор, вероятно, допустил неточность: не Бент, а Бет, Иосиф, польский социалист, который будучи 17-ти лет заключен в Варшавскую цитадель, «сделал попытку к бегству», — как утверждало официальное донесение, — «несмотря на предупреждения часового, чем вызвал со стороны последнего действия, предусмотренные законом, часовой выстрелил, и Бет был смертельно ранен». См. «Хроника социалистическ. движения в России 1878—1887 г.», 1907, ст. 97.

[74]) Братья Иван и Игнатий Ивичевичи, уроженцы Херсонск. губ., видные деятели киевских революц. кружков. Игнатий был одним из организаторов покушения на харьковск. губернат. ген. Кропоткина, а Иван, вместе с В. Осинским, стрелял в тов. прокурора Котляревского в 1878 г. Оба брата были смертельно ранены полицией при вооруженном сопротивлении в 1879 году в Киеве на Жилянской ул. в д. Коссаровской, во время которого бр. Ивичевичи первые взялись за револьверы. От полученных ран Игнатий умер 16, а Иван 19 февраля. После их смерти среди киевской революцион. молодежи производился сбор денег на постановку на их могиле памятника. Ср. о них: Вл. Дебагорий-Мокриевич. Воспоминания. Птб. 1906, ст. 318, 329—330, 376—384 и др. «Хроника соц. движ. в России 1878—87 гг.». М. 1907, ст. 78. Е. Брешковская. Из воспоминаний. «Гол. Мин.» 1918. X—XII, ст. 193. «Свод указаний... о госуд. преступниках». «Былое» 1907. VI, ст. 135, 144—145; VII, ст. 153; VIII, ст. 94, 114. «Листок Народн. Воли» № 5 и № 6, 1879 г.

[75]) Мезенцов, Ник. Вл. — шеф жандармов, убитый С. М. Кравчинским (Степняком).

[76]) Дрентельн, Ал-др Романов. (1820—1888), ген.-ад., с 1878 г. — шеф жандармов и главн. нач. III-го отделения до 1880 г., когда была образована верховная распорядительная комиссия.

Романовский протест в прокламациях якутских политических ссыльных.

Романовский протест — крупный эпизод в жизни якутской политической ссылки. Его причины: сильный административный гнет и произвол, пытавшийся обойти все границы законности.

Если положение политических ссыльных было относительно «сносно» до 1903 года, то с этого времени — начала управления Восточной Сибирью иркутским ген.-губернатором графом Кутайсовым — оно стало невыносимым.

За отлучку из улуса в город без уведомления властей стали наказывать ссылкой в Колымск (небольшой населенный пункт на р. Колыме, за полярным кругом), за попытку видеться в дороге с товарищами по ссылке — прибавляли срок ссылки, а иногда просто расправлялись кулаками и прикладами «домашним» способом и, вообще, за каждый, хотя бы незначительный, «проступок» якутская администрация, основываясь на циркулярах Кутайсова, стала сурово наказывать ссыльных.

Неудивительно поэтому, что к началу 1904 года среди якутских ссыльных началось брожение, вылившееся вскоре в известный «романовский протест», длившийся с 18 февраля по 7 марта 1904 года.

Политические, приехавшие в Якутск из улусов и доставленные сюда из Иркутска для дальнейшей отправки к местам назначения, собравшись на одном из своих собраний в количестве до 80 человек, решили добиваться всеми силами отмены «кутайсовских» циркуляров, не останавливаясь и перед вооруженным протестом.

Засев в доме инородца Романова, куда предварительно было свезено имевшееся у них оружие, как браунинги, берданы, охотничьи ружья, топоры и ножи, а также съестные припасы, ссыльные послали губернатору письменный протест, в котором, указав на невыносимо тяжелые условия жизни, требовали 1) возвращения окончивших срок ссылки на казенный счет на родину, 2) отмены административных кар за самовольные отлучки, 3) отмены циркуляра, запрещавшего видеться с товарищами по дороге к ссылке, и 4) гарантии личной неприкосновенности лицам, подписавшимся под протестом.

Якутская администрация с требованиями не согласилась. Протестующие решили отсиживаться в «романовке»; тогда местные власти повели осаду дома по правилам «военного искусства», имея за собой превосходство вооруженной силы.

В то время, когда шла осада романовского дома, как сами протестующие (к 1-му марта их было 57 человек), так и их товарищи, оставшиеся вне стен осажденного «форта», выпустили по городу ряд прокламаций, разъясняя в них смысл протекавших событий. Прокламации эти следующие:

1. «От группы политических ссыльных».

Ссылка переживает тяжелые дни. Притеснения администрации становятся вызывающими. В Иркутске составляются циркуляры, посягающие на права, которые не отнимает у нас даже русский убогий закон; в Усть-Куте творится дикое избиение прикладами и шашками наших товарищей. В Киренске им связывают руки... Замечается общая тенденция подчинить жизнь ссыльных политических новому, более гнетущему режиму...

В настоящие дни в Якутске разыгрывается тяжелая драма: часть наших товарищей, *протестуя* против этих новых попыток нового административного гнета, ставит на карту все, в крайнем случае она не остановится перед смертью. Гибель стольких жизней, стольких сил — это слишком страшная, слишком дорогая цена. И мы предостерегаем тех, от кого зависит предотвратить возможную катастрофу, мы предостерегаем правительственные власти от новой «якутской бойни», ответственность за которую ляжет на них, ответ же за нее спросится с нас. Г. Якутск. 21 февраля 1904 г.».

2. «№ 1. Чего мы хотим (К Якутскому обществу).

Факт предъявления нами требований якутскому губернатору вызвал много толков среди местного населения, и мы считаем долгом объяснить, чего мы хотим и чего мы требуем. Мы не можем допустить, чтобы ссылка превращалась в руках правительства в способ медленного или быстрого убийства.

Нас держат под постоянной угрозой засылки в Колымск за каждую самовольную отлучку. Мы не можем допустить такого порядка вещей, так как очень часто, в виду экстренности отъезда, нет никакой возможности дожидаться завершения всей канцелярской волокиты. Мы не можем допустить, чтобы едущим без средств товарищам запрещали видеться с собратьями по ссылке в дороге и пользоваться их помощью. Мы не можем допустить, чтобы в случае попыток свидания с товарищами нас вязывали и избивали. Мы не можем допустить, чтобы из

ссылки для нас делали мышеловку и отказывали в возвращении на казенный счет товарищам, отбывшим срок ссылки и не имеющим собственных средств для возвращения на родину.

Мы предпочитаем лучше умереть защищаясь, чем позволять издеваться над нами и нашими товарищами. Мы не отступим ни перед какими средствами, в случае каких-либо насильственных против нас мер, и надеемся, что якутское общество отнесется к нам сочувственно и с его стороны мы встретим и понимание, и поддержку.

Группа протестующих».

3. «№ 2. К Якутскому обществу.

В виду того, что по городу носятся самые разнообразные слухи и предположения по поводу нашего протеста, мы считаем своим долгом еще раз напомнить о наших требованиях и объяснить те приемы борьбы, которые мы употребляем для их проведения.

Мы требуем:

1) Возвращения окончивших срок ссылки на казенный счет.

2) Отмены административных кар за самовольные отлучки.

3) Отмены циркуляра, запрещающего свидания с товарищами по ссылке.

4) Гарантии личной неприкосновенности лиц, подписавших этот протест.

Что же касается приема борьбы, то нельзя забывать, что мы живем в стране произвола, где на единичные акты протеста не обращают никакого внимания, а коллективное заявление не считают законным деянием. Решившись на коллективный протест, в виду его большей целесообразности, мы, благодаря существующему политическому режиму, вынуждены встать на нелегальную почву, хотя наши требования вполне законны. Мы боремся против административного произвола, выразившегося в последних циркулярах генерал-губернатора. Мы боремся за общие интересы ссылки, и в этой борьбе мы не остановимся ни перед чем. В опровержение распространившихся нелепых слухов считаем нужным подчеркнуть, что наши требования и наша борьба ни в коем случае не могут причинить какой-либо вред местному населению.

Протестующие политические ссыльные».

4. «№ 3. К Якутскому обществу. Что с нами могут сделать?

Уже целую неделю мы сидим забаррикадированными, и пока против нас предпринята только блокада. Нас хотят выморить голодом. Почему же «порядок» не восстановляется силой?

Ведь, нас так нетрудно взять приступом или, чтобы не было потерь со стороны правительства, просто расстрелять с дальнего расстояния, а еще проще взорвать. Очевидно, правительство боится и не хочет крови. Кровь слишком сильно действует на общество; и правительство боится, расстреливая нас, вызвать гнев и негодование во всех, в ком оно еще не успело вытравить способности возмущаться. Путь вероломства тише и вернее. И правительство ступило на этот путь, ведет тайную подпольную работу, хотя с виду все тихо и спокойно. Уже с месяц тому назад, когда толки о протесте только еще зарождались, по Якутску разнесся сенсационный слух, что на Чурапче государственные перебили 35 якутов. Мы постарались выяснить, откуда он идет, и убедились, что толки эти специально распространял по базару *городовой*. Теперь снова среди якутов распространяются слухи о предстоящем якобы избиении их государственными, организуются депутации к губернатору с просьбами о защите и т. п. И кто захочет добраться до источника этих слухов, опять найдет *городового*, а за ним тех, которые послали его.

Так подготовляются сцены народного негодования, так восстановляют против нас темную невежественную массу, а нас тем временем стараются уморить голодом, а в будущем поговаривают о поливании водой из пожарных рукавов. Замороженная кровь не так ярка, как выпущенная пулями или штыками.

Но как бы правительство не ошиблось.

Россия (и прочие страны) сумеют по достоинству оценить роль правительства в еврейских погромах и давно научились узнавать, сколько зверства скрывается за «мерами кротости», прелесть которых и нам быть может придется изведать. Мы во всяком случае постараемся лишить правительство удовольствия совершить над нами бескровное убийство, и на всякое насилие с его стороны, в какой бы форме оно ни проявлялось, ответим с оружием в руках. Наш лозунг — смерть или победа. И какой бы способ убийства ни применило к нам правительство, мы твердо верим, что лучшая часть общества заклеймит его презрением, что наша борьба и наша гибель найдут грозный отклик везде, где люди еще не окончательно превратились в безгласных рабов.

Группа протестующих. 2/III — 1904 г.».

5. «К солдатам Якутской местной команды.

Со дня на день, с минуты на минуту вы ждете приказа взять силой «политических», собравшихся в д. Романова, избить их, перестрелять. Но прежде, чем решиться на такой шаг, вы должны призадуматься, кто такие «политические» и чего они

требуют? Еще до поступления на военную службу каждый из вас знал горе и нужду. Мрет и изнывает крестьянин под тяжелым трудом и непосильными податями, чахнет и преждевременно сходит в могилу рабочий, надрываясь в непосильном труде на богатеющего и праздного хозяина. Куда ни посмотришь везде тебя давят и притесняют, вышибают последние силы, и для кого? Для небольшой кучки праздных людей-богатеев, для того, чтоб люди эти могли жить припеваючи, ничего не делая, ни о чем не заботясь. Вот против такого порядка борются «политические», не могут они допустить, чтобы миром правила горсть тунеядцев, а весь работящий люд находился бы в состоянии вьючных животных. Борются политические с правительством, которое становится на сторону богатых и вышибает из трудящегося последнюю копейку, а на собранные с народа кровные деньги содержит войско и полицию для защиты праздных людей, вспоенных потом и кровью народа. Высылает правительство войско против внутренних врагов, а знаете ли вы, что разумеют под внутренними врагами?

Друзей ваших, друзей всего трудящегося люда, готовых до последней капли крови защищать вас, ваших матерей, отцов, жен и детей. Таких людей приказывают вам убивать. У кого же подымется рука на своих лучших друзей и благожелателей? кто из вас прицелится в тех, кто несет свет и знание, кто поучает народ, как побороть и осилить тиранов-угнетателей? Нет, друзья, если вы не хотите прослыть убийцами и врагами народа, если вам дорога участь ваших братьев, сестер и детей, отказывайтесь стрелять в борцов за свободу и привольную жизнь рабочего люда, не стреляйте же в «политических», а коли уже нет исхода, берите мушку так, чтобы пуля летела над головами.

Но чего же требуют политики в д. Ф. Романова? Они ли виною тому, что вы лишены отпуска. Они требуют, чтобы за отлучки (приезд в город за покупками, медицинской помощью и т. д.) не ссылали в Колымск или Верхоянск, не запрещали видеться с товарищами в дороге и пользоваться их денежной помощью, возвращения на казенный счет окончивших срок ссылки.

Скажете ли вы после всего этого, что политические повинны в стеснении вашей свободы? Ясно для всех, что виновато правительство, которое не хочет выполнять наших справедливых требований и держит вас в боевой готовности. Ополчитесь на правительство, на него направьте вашу злобу, а не на тех, которые готовы лучше умереть, нежели допустить стеснения, над кем бы они ни производились.

Помните это, товарищи, и пусть ни приклад, ни штык, ни пуля не коснется тех, кто протягивает вам руку, чтобы нога

в ногу итти на общего врага, на русское правительство, на его приспешников, на всех кровопийц и тиранов политических ссыльных».

6. «**Политическим ссыльным.**

От начатого дела не отступайте. Ваше воззвание к якутскому обществу не останется без последствий. Мстителями, в случае вашей гибели от здешнего правительства (и др.) явимся мы, тайное пока, политическое якутское общество. Когда-нибудь да общество политических восторжествует над неправдой правительства.

Да здравствуют . . . . ., правда и свобода и борющиеся за правое дело».

7. «Г-ну Начальнику Якутской Местной Команды.

Группа политических ссыльных, возмущенных варварским режимом в ссылке, предъявила правительству ряд требований и в борьбе за эти требования решила итти до конца, вплоть до употребления оружия. Мы не сомневаемся в превосходстве вооруженной силы местной команды и, поставив девиз: смерть или нормальные условия жизни, мы тем самым выражаем непреклонную готовность погибнуть, но не допустить систематического насилия над нашей личностью и личностью наших товарищей. Перед вами, г. начальник, роковой вопрос, — сыграть ли главенствующую роль в деле «усмирения» лучших представителей современного общества в их борьбе с деспотией и насильничеством, или выполнить долг благородного гражданина своего отечества и стать на сторону борющихся... Куда призывают вас совесть и высшие пробуждения вашей личности: в застенок, к роли палача, убийцы или — в иной мир, на славный пост передового, общественного деятеля, поставившего на карту и благосостояние семьи и карьеру, лишь бы не обагрить рук в крови борцов за правое дело?.. Мы потребовали снятия блокады, отрезавшей нас от внешнего мира, предпочитая голодной смерти смерть в бою, мы заявили администрации, что если блокада не будет снята, мы сделаем ее недействительной. Кровавые дни надвигаются... Вам придется сыграть ту или иную роль. Куда пойдете вы? В ряды ли «ликующих, праздно болтающих, обагряющих руки в крови» или — в стан погибающих за великое дело любви?...

Группа политических ссыльных».

3 III — 1904 г.

Появление прокламаций, разбрасываемых по улицам и дворам, расклеиваемых по заборам и рассылаемых по почте разным лицам — обеспокоило администрацию.

И. об. полицмейстера Н. Березкину было поручено произвести дознание и найти распространителей прокламаций. Одним из первых, в качестве свидетеля, был допрошен полиц. надзиратель Якутска Н. Олесов. Он показал следующее:

«Прокламации, которые появились в городе во время беспорядков, когда политические ссыльные забаррикадировались в д. Романова с 18 февраля по 7 марта, частью разбрасывались по улицам и дворам, частью рассылались разным лицам по городской почте, а первая прокламация без №-а расклеивалась на заборах и разбрасывалась по дворам. Одна из прокламаций, первая по выпуску, без № а, кажется 22 февраля утром была найдена рабочим Валя, а последний передал ее мне; в это же утро однородную прокламацию я получил от служащего в магазине «Коковина и Басова» Словцова, который передал мне, когда я проезжал мимо магазина. Мне также известно, что один из работников Валя числа 2-3 марта утром нашел в канаве около двора Валя несколько прокламаций, обращенных к солдатам якутской местной команды.

В промежутках времени с 17 февраля по 7 марта из дома Романова, насколько мне известно, выходили в разное время политические: Логовский, Никифоров, Бодневский и Лурье Моисей; из них Логовский был задержан по улице возле двора Романова в ночь на 23 февраля и, будучи отпущен тогда же на свободу, 23 февраля под вечер снова проскочил во двор Романова верхом на лошади и больше оттуда не выходил. Где именно находился Логовский в течение ночи и дня, после его задержания, я сказать не могу. Никифоров 20 февраля, когда была поставлена возле дома Романова стража, выходил несколько раз и возвращался обратно. 28 февраля Никифоров вышел под вечер и направился, как и в предшествовавшие разы, прямо на квартиру к Ергиной и Зеликман, у которых имел главным образом пребывание до арестования его 1-го марта. Никифорова я также видел в кварт. Померанц, с которою квартирует семья политического Бройдо и Ракова. Политические Бодневский и Лурье, выйдя из дома Романова 1 марта утром, направились в квартиру Ергиной и Зеликман; побыв здесь не долго, они отправились в город, а затем из дома Чикунова, вместе с жившим там политическим Добромысловым и Дроновым на тройке и на паре лошадей проскочили в дом Романова. В д. Чикунова жила и теперь квартирует политическая Фокина, на той же квартире временно проживал политический Кац, который 20 февр. сделал попытку прорваться в д. Романова, и увенчалось успехом, благодаря тому, что выбежавшие из дома Романова политические отбили его, Каца, от полицейской стражи. Политическая Софья Померанц, насколько припоминаю, вечером 28 февр. пыталась прорваться в д. Романова вместе с проживавшим у

нее в то время политическим Дроздовым, —но была остановлена мною. Сожитель ее Померанц находился в то время в д. Романова.

Мне лично известно, что проживающая в г. Якутске мещанка Тамара Гольденбах — сестра которой замужем за политич. ссыльным Гориновичем, поддерживает самое тесное общение со всеми проживающими в городе политическими ссыльными, в особенности же с Зеликман и Ергиной. Кроме того мне известно, по частным сведениям, что она упрекала находящихся в больнице раненых из д. Романова политических за то, что они сдались».

На основании этого протокола было постановлено произвести обыски у ряда заподозренных лиц.

10 марта полиция сделала «налет» на квартиру М. Зеликман и Л. Ергиной, — нашли у них кое-какие рукописи и листок со стихотворением «К Лазарю», у Тамары Гольденбах найдены были конверты и чемодан, что и было опечатано, у К. Фриды — «подозрительные» конверты, у С. Померанц и Е. Бродо ничего не найдено; 11 марта у П. Фокиной — уральская бумага № 6.

За период времени с 11 марта по 26 апреля в качестве свидетелей по этому делу были допрошены: шт. капитан Кудельский, пол. сс. Л. В. Ергина, упр. аптекой (быв. пол. ссыльн.) А. Г. Ранц, солдат А. Гиничкин, фельдфебель Морозов, инородцы А. Портнягин, П. Ноговицин, И. Говоров и ряд других лиц разного общественного положения. Экспертами для сличения почерков ссыльных, заподозренных в выпуске прокламации, были приглашены учителя Аркуша и Сави, которые, однако, не могли притти к какому либо определенному заключению...

15 марта, после ликвидации «Романовки» ссыльными была выпущена последняя прокламация «К русскому обществу», самая большая по размеру и наиболее интересная по содержанию.

Вот эта прокламация *):

«К русскому обществу».

«Гнусность и подлость русского правительства никогда не составляли для нас секрета. Мы привыкли встречать с его стороны невероятнейшую смесь труслтвого зверства, наглой лжи и чисто азиатского коварства. Но то, что пришлось испытать нашим товарищам во время их сидения в доме Романова, даже нас повергло в изумление. Русское правительство не было бы

*) Эта прокламация была напечатана в книжке В. Колпенского «Якутская ссылка и дело романовцев» (Госиздат, Пет., 20[illegible]) В виду [illegible] неисправного воспроизведения [illegible] текста В. К[illegible] считает [illegible] воспроизвести ее полностью.

прославленным правительством «кнута и нагайки», если бы оно удовлетворило выставленные ими минимальные требования, чем дало бы возможность мирно вернуться по своим улусам. Но оно оказалось слишком трусливым, чтобы немедленно двинуть на них войска и победить силой. Решившись взять их измором, оно допустило неслыханное, не бывалое в России явление. Восемнадцать дней в областном городе безнаказанно стоял своего рода «форт», в котором засело 56 крамольников. Над ними гордо развевалось красное знамя, а кругом с бессильной злобой глядела на ненавистную эмблему бесчисленная толпа полицейских, казаков и солдат, облегших со всех сторон «форт» и прекративших сношения его с внешним миром. План взять их голодом не удался. Осажденные имели запас провизии и воды, сверх того им 1 марта удалось прорваться сквозь блокаду и усилить свои ресурсы. Тогда администрация изменила тактику. Полицейские были заменены сильным солдатским отрядом, занявшим все флигеля во дворе, весь двор и даже нижний этаж. Это была уже не блокада, а явное приготовление покончить так или иначе с крамолой. Солдатам была дана инструкция всеми средствами провоцировать осажденных и побуждать сделать первый выстрел, который развязал бы руки властям.

Храбрые воины, стоя перед окнами и дверями, осыпали наших товарищей площадной руганью, прицеливались в них из ружей, бросали камнями и, наконец, стали закрывать ставни окно за окном. Последнее имело целью лишить осажденных света, а главное скрыть от них приготовления к штурму через окна. Четыре раза предупреждали наши товарищи администрацию, что не станут терпеть этих действий, заявляли письменно губернатору, писали караульному начальнику, предостерегали солдат. Все оказалось тщетным. Солдаты продолжали закрывать ставни и бросать каменьями. Тогда раздались два выстрела, поразившие двух солдат. Это были со стороны осажденных первые и последние выстрелы. Мы не хотим солдатам зла, мы оплакиваем трагизм русских условий, при которых за преступления правительства расплачиваются бессловесные невежественные его орудия. Но сделанное было роковым образом неизбежно. Администрация только и ждала этих выстрелов. Но если бы таких и не последовало, дело ничуть бы не изменилось. Уже отдано было гнусное распоряжение казакам давать в условленные моменты выстрелы, якобы исходящие из «форта». Циничный обман уже готовился уступить место подлой провокации, но осажденные еще этого не знали.

Немедленно град выстрелов посыпался на деревянный форт, около 600 пуль было выпущено туда в какие нибудь четверть часа. Они пронизывали его насквозь через окна и стены. Ни один из осажденных не мог и не должен был уцелеть. Это был

хладнокровный расстрел, с заранее обдуманным намерением 56-ти человек, виноватых только в том, что они осмелились в необычайной форме потребовать элементарнейших прав. Они уцелели, кроме одного легко-раненого (Хацкелевича) и одного случайно убитого, Юрия Матлахова, но только потому, что чуть ли не накануне дошел до них слух о предполагаемом адском способе с ними разделаться, невероятным показался им этот слух, но они все-таки сочли нужным принять меры предосторожности. Как муравьи, работали они с утра до ночи, воздвигая блиндажи вдоль стен из дерева, кирпичей и земли, только блиндажи и спасли наших товарищей от неминуемой гибели.

4 марта в 3 часа дня они подверглись первому обстрелу, после которого прискакал губернатор и потребовал от них сдачи. Он заявил, что обстрел произошел для него совершенно неожиданно, как результат выстрелов осажденных, что больше он его не повторит, так как предпочитает взять их живыми. Однако, ровно через сутки вдруг раздался выстрел со стороны заднего проулка из казачьей винтовки, через вынутые из забора доски, и вслед за тем начался опять жестокий обстрел. Пули ложились еще ниже прежнего, но блиндажи и на этот раз спасли наших товарищей — ни один не был ранен.

Прошла еще ночь, и 6 марта в 11 час. дня внезапно раздался предательский выстрел в окно, ранивший товарища Мельника, а затем опять обстрел.

Терпение осажденных стало истощаться. Они потребовали губернатора, от которого с величайшим изумлением узнали, что вчерашний обстрел опять-таки был результатом выстрелов с их (осажденных) стороны, а 6 марта стреляли только осажденные. Ту же наглую ложь повторил и вызванный на очную ставку караульный начальник. Не успели наши товарищи хоть несколько опомниться от тяжелого кошмара лжи и гнусностей, которыми их окружали, как в тот же день через два часа опять раздался одиночный выстрел и вслед за тем начался жесточайший обстрел «форта» с 3-х сторон. Залпы следовали за залпами, и пули с треском ударялись об блиндажи. На этот раз был ранен тов. Костюшко. Осажденные ждали штурма, но его опять не последовало.

Тогда перед осажденными ребром стал вопрос о дальнейшем способе борьбы. Столкнуться с врагом грудь грудью не предвиделось возможности, так как он систематически уклонялся от штурма. Они были обречены пассивно переносить бесконечные обстрелы врага, держащегося на почтительном расстоянии. От русской администрации можно было ожидать всевозможных мер, напр., поджога, который был бы приписан «собственной неосторожности» осажденных, или обстрела нижнего этажа через

пищи и т. п., все это заставило наших товарищей изменить форму своей борьбы и покинуть «форт».

Всего было в них выпущено от 1500 до 2000 боевых патронов. Стены, окна и двери дома буквально изрешечены (по официальным сведениям выпущено 750—885 солдатских патронов, не считая казачьих бердан). Уже по выходе из «форта» узнали они некоторые новые позорные подробности в действиях администрации. На 7 марта предрешен был новый обстрел «форта» с высот крыш домов Кушнарева и Кандакова. От этого обстрела уже не могли бы спасти осажденных их низкие блиндажи. Узнали они также, что казаки всякий раз перед обстрелом давали, по приказанию начальства, несколько выстрелов на город, что то же самое они повторяли в промежутках между солдатскими залпами, что все эти выстрелы по направлению к мирным обывателям выдавались начальством за исходящие от осажденных, чем среди общества воспитывалось озлобление и ненависть к нашим товарищам. Позор якутским жителям, если они хоть на минуту могли поддаться на эту грубую уловку и поверить русской администрации, лживость которой известна младенцам. Стыд и позор якутскому обществу, если в героической неравной борьбе наших товарищей оно могло хоть на мгновение принять сторону правительства. «Форт» покинут и его обитатели пошли в тюрьму. Но они не считают себя побежденными. Это только первый акт протеста. Его развязка еще впереди. Громкий клич протеста пронесся волной по всей Сибири и России.

Наши товарищи показали, что не боятся солдатских пуль, не страшатся смерти, не пугаются крови.

Когда обыкновенные люди, действовавшие до того лишь путем мирной пропаганды, возвышаются до такой смелой борьбы, то это значит, что время общего кровавого боя с самодержавием уже недалеко, что час развязки с существующим строем уже бьет, что пора уличных баррикад и всенародного восстания уже близка.

Да здравствует революция!

Долой самодержавие!

Группа политических ссыльных г. Якутска».

5/III—1904 г.

Сыск, допросы, обыски и тайная слежка ни к чему не привели, и 23 сентября 1905 г. дело о «романовских» прокламациях было прекращено, так как — как сказано в постановлении, подписанном губернатором Булатовым, прокурором Гречневым и полицмейстером Березкиным:

«Несмотря на все предпринятые меры, лица, виновные в распространении и составлении этих воззваний, не обнаружены» *).

Уже во время суда над романовцами 26 августа группой политических ссыльных была выпущена прокламация «Ко всем», написанная на полулисте белой писчей бумаги буквами печатными и оттиснутая на гектографе фиолетовой краской.

Эта прокламация рассылалась по почте и была получена вице-губернатором Чаплиным, чиновником Обл. Упр. Андросовым, директором реальн. уч. Зверевым и др. лицами.

Содержание ее следующее:

«Ко всем»!

«Десять дней продолжался «суд» царских опричников над нашими товарищами. За это время для всех, у кого уши не перестали слышать, а сердце — чувствовать, для всех, повторяем мы, была очевидна роль, какую играли почти все свидетели — полиция, казаки и солдаты — в процессе «романовцев». Мы присутствовали в зале суда, нас охватывал трепет и душевное волнение, когда свидетели, трясясь от страха и возможных укоров совести, с искаженными лицами и дрожью в голосе, лжесвидетельствовали и клеветали.

Мы, революционеры, никогда не сомневались в истинной природе ставленников Романовского самодержавия; деспотическое правительство, создавая законы в оздоровление и упрочение разлагающегося организма, вносит в созданную им же атмосферу «законности» разврат, произвол и насилие. Если наши товарищи решили оставить д. Романова и сесть на скамью подсудимых, то исключительно с целью вскрыть истинный смысл событий, разыгравшихся около стен д. Романова: показать всему человечеству, всей мыслящей России, до каких непостижимых размеров доходит наглость царского правительства, не останавливающегося ни перед какими мерами для подавления растущего возмущения... Мошенническая и провокаторская роль полиции и солдат во главе с взяточником и шпионом Н. Олесовым дополняет галерею тех ужасов, какими российское самодержавие пытается предотвратить надвигающуюся грозу...

Мы уверены были (и мы не ошиблись), что наших товарищей постигнет драконовский приговор, заранее готовый и пред-

*) Все приведенные выше прокламации и описание хода следствия по делу отыскания виновных в выпуске их заимствованы из дела [illegible] Обл. Упр[illegible], стол I, делопроизв. [illegible] По об[illegible] полит. [illegible] преступления, предусмотренного 251 и [illegible] окончено 18 [illegible] на 78 л.), хранящегося в ист.-революц. отделе Центр. Архива ЯАССР.

посланный из Петербурга, но ознакомление с мотивированными приговорами по делу «романовцев» не оставляет сомнений в справедливости нашего предположения.

Целый ряд свидетелей утверждал, что 5 и 6 марта политические стреляли из д. Романова «пачками» и залпами, товарищи уверяли в противном, суд отверг легенду о стрельбе политических 5 и 6 марта, чем признал всю лживость показаний солдат, полиции и казаков. Но царские слуги, пресмыкающиеся в атмосфере раболепия, остались верны себе: они проявили покорность раба своему властелину, они не осмелились итти до конца... Пропитанные ложью и клеветой показания своры полицейских и солдат, отвергнутые судом в одном случае, восторжествовали в другом, когда вопрос коснулся рокового 4 марта: суд не поверил подсудимым в их утверждении, что, кроме двух выстрелов, вызванных наглой провокацией солдат и полиции, больше ни одного выстрела не было. Вчитайтесь в ту часть приговора, где говорится о 4 марта, и вы убедитесь, как творит правосудие «опричина» российского самодержавия. Лжесвидетельство на суде было вполне очевидно для самого суда, естественное стремление свидетелей обелить себя и избежать наказания за свои проделки придавало им особую злостность в искажении истины — все это факты, но они не в силах были поколебать суд настолько, чтоб он, забыв долг повиновения, выказал ту долю гражданского мужества, при котором признание истины становится неизбежным. Суд не внял призывам защиты, погрязший в духовной проституции суд царских чиновников, раболепный и пресмыкающийся, он свято и ненарушимо чтит заветы департамента полиции. Товарищ Бодневский высказал перед судом точку зрения подсудимых на ожидаемый приговор: «приговор ваш мне интересен лишь постольку, поскольку он станет приговором над условиями нынешней ссылки. И я знаю, что чем суровее осудите вы нас, тем ярче подчеркнете вы все безобразие, всю нелепость условий, доводящих людей десятками до гибели, и тем большим презрением заклеймит общество действительного виновника нашего процесса... Приговор, г.г. судьи, для меня безразличен. Я не жду и не хочу снисхождения. Но я знаю, я верю, что какой бы дорогой ценой ни пришлось мне платить за победу, я дождусь ее. Скажется правда, и петля, которую затянул над ссылкой граф Кутайсов, порвется».

Борьба в ссылке будет продолжаться, память «романовцев», этих славных пионеров и застрельщиков в деле организованного протеста против произвола в ссылке, будет наполнять сердца отвагой и вселять в сознание товарищей решительную готовность продолжать столь славное дело. «Скажется правда, и петля, которую затянул над ссылкой граф Кутайсов, порвется».

Мы ждали именно сурового приговора и мы не ошиблись. 55 наших товарищей получили 660 лет каторжных работ. Приговор этот уже облетел всю Россию — он крепнет и приумножает волны революционного подъема, он создает новые кадры борцов за грядущую революцию, наполняет всех верой, что близок час расплаты, момент крушения подгнившего здания российского самодержавия.

Да здравствуют «романовцы»! Долой циркуляры Кутайсова! Да погибнет царизм! Пусть пламя социалистической борьбы охватит всю Россию!

Группа политических ссыльных».

Г. Якутск. 26 августа 1904 г. *)

Никакого следствия по отысканию виновников в выпуске этой прокламации не производилось, и последние остались никому неизвестными.

Модест Кротов.

*) Дело Якут. Обл. Управл., отд. I, делопр-во 1 «О распространении в Якутске прокламации «К[illegible]» от группы политических ссыльных» (начато 6 октября 1905 г., окончено 18 ноября 1918 года). (Хранится ист. революц. отд. Центр. Архива ЯАССР).

На каторжном положении *)

I.

Суд окончился. 31 октября в час ночи, после 12-часового заседания, резолюция военного суда была объявлена и подсудимые узнали, что пять из них приговорены к смертной казни. В этот же день вечером предстояло выслушать приговор в окончательной форме **).

На просьбу А. Квятковского, обращенную к председателю суда, разрешить приговоренным провести последний день вместе, получен отказ.

Подсудимые были уведены в нижний этаж дома предварительного заключения, где перед камерами осужденных к смертной казни поставлены часовые. Им приказано было следить за приговоренными и не позволять тушить газ. Власти боялись, как бы они не кончили самоубийством до виселицы.

Происходивший суд был обычный для того времени. Два члена военного суда под председательством генерала Лейхта и пять полковников гвардейских полков. Все защитники назначены из кандидатов на военно-судные должности.

Посторонняя публика не допускалась, ее заменяли высшие военные и гражданские чины, да несколько судейских. Присутствовали будущие светила по искоренению крамолы. Фон-Плеве, начавший тогда быстро делать карьеру на политических делах, все время был на суде. Он стоял обыкновенно за креслами и внимательно следил за прениями. Высокая фигура его выделялась среди немногочисленной чиновной публики.

Представители русской печати совсем не были допущены на суд, на что жаловались даже Московские Ведомости. За корреспондентским столом одиноко сидел корреспондент, кажется,

*) Три первые главы воспоминаний С. А. Мартыновского были напечатаны в сб. «Культура». Одесса, 1923 г. Считаясь с малым распространением, полученным этим сборником, редакция воспроизводит эти главы полностью. Воспоминания С. А. Мартыновского были написаны в 1907 году.
Ред.

**) Дело 16-ти народовольцев Квятковского, Преснякова, Ширяева, Тихонова и др.

Times'a или New-York-Herald'a. Он во время перерывов рисовал портреты подсудимых.

На хорах все время присутствовали родственники подсудимых: сестра Квятковского, мать и младшая сестра Е. Н. Фигнер, отец Зунделевича, жена Тихонова и др.

Окруженные жандармами с обнаженными саблями подсудимые занимали определенные места. На верхней скамье, ближе к судьям: Квятковский, Ширяев, Тихонов, Цукерман, С. Иванова, внизу, на второй скамье, — Зунделевич, Зубковский, Кобылянский, Пресняков, Бух и др.

Почти годичное пребывание в казематах Петропавловской крепости уже сказалось на подсудимых. У многих заметна апатия, переменился цвет лица. Цукерман имел вид совсем больного, страшно худой, с воспаленными щеками, он непрерывно кашлял и производил впечатление чахоточного. Зунделевич в тюрьме заметно постарел и сильно поседел. От долгого вынужденного молчания голос у него почти пропал, и он говорил так тихо, что судьи часто не могли его расслышать.

Ширяев, Квятковский и Тихонов держались вызывающе и непринужденно, но были худы и бледны.

Главные обвиняемые сознавали, что их наверно казнят, да и остальные подсудимые могли опасаться смертной казни. Прокурор всех подводил под 249 ст., а время и тогда было такое, что казнили не только за покушения и приготовления к ним, но и за распространение прокламаций. Впрочем, подсудимые знали, что вопрос о жизни некоторых из них будет решен не здесь, в зале суда, а в кабинете Лорис-Меликова или, вернее, в покоях царского дворца в Ливадии.

Еще до суда Лорис-Меликов, вскоре после своего назначения председателем Верховной комиссии, был в Петропавловской крепости и в разговоре с заключенными сказал, что теперь даже таких людей, как Квятковский и Бух, не будут казнить, а будут навеки заточены в крепость. У судившихся поэтому оставалась все-таки надежда, что никто из них казнен не будет, хотя Лорис на вопрос Зунделевича: «Кто может быть казнен», ответил: «Всех не казнят, казнят, вероятно, Квятковского, Ширяева, Буха...»

Процесс прошел без крупных инцидентов. Только раз председатель прервал подсудимого Тихонова, когда последний в резких выражениях начал говорить о самодержавии.

Большинство подсудимых не отрицало взводимых на них обвинений. Только обвиняемые в деле убийства губернатора Кропоткина — Бух, Зубковский, а также Кобылянский и Дриго *)

*) Дриго, как стало известно позднее, заключил с III отделением условие, по которому он обязался предать известных ему революционеров, а III отделение обещало оставить ему состояние Д. Лизогуба.

упорно боролись и старались разбить показания Гольденберга и данные следствия.

Несмотря на страшную сложность дела, на массу отдельных обвинений, суд шел быстро. Речи казенных защитников и прокуроров не блистали красноречием. Сравнительно удачную речь произнес Марголин, защитник Зубковского.

Интерес процесса, помимо показаний Гольденберга, покончившего самоубийством до суда, сосредоточился на показаниях Квятковского, Ширяева и Зунделевича. Даже судьи не могли не оценить простоты, полного достоинства ответов и манеры держать себя Ширяева, Зунделевича, Квятковского и Иванова. Это чувствовалось по тому вниманию, с каким суд относился к словам этих подсудимых.

1880 год отмечен целым рядом громких политических процессов, среди них процесс 16-ти занимал первое место. Из него, в особенности же из подробных показаний Гольденберга, оговорившего несколько сот человек, широкая публика впервые познакомилась с организацией, составом и силами партии «Народной Воли» и вообще революционного движения в России. Общество впервые узнало, какая масса энергии, сил и средств уже затрачена Исполнительным Комитетом на организацию борьбы с самодержавием.

Общественный интерес к разбиравшемуся делу 16-ти был огромный, и население Петербурга от рабочих и до интеллигенции и высших сфер с напряженным вниманием следило за судом и в течение нескольких дней разговоры о процессе террористов не прекращались. Но несмотря на это, несмотря на то, что общество переживало медовый месяц либерализма, со стороны не было сделано ни одной попытки, под тем или иным предлогом, как-нибудь вмешаться в борьбу, так или иначе произвести давление на правительство.

В ожидании конституции, которую либеральный диктатор должен был преподнести обществу, оно молчало, за исключением небольшой кучки интеллигенции, и предоставило ему вешать, арестовывать и изводить тюрьмой единственную организованную силу, боровшуюся за политическую свободу. Когда это было сделано, тогда лишь [illegible] началась сама «диктатура сердца», а затем разные комиссии, ревизии и проекты конституций.

Среди молодежи и отчасти рабочих шли разговоры о том, что нужно предпринять в виду процесса, составлялись проекты освобождения приговоренных к смертной казни, но сделано ничего не было. Исполнительный Комитет после процесса опять начал лихорадочно готовиться к покушению на Александра II.

Подсудимые во время суда каждый день имели свидания с родственниками и узнавали от них новости и известия [illegible]

Ширяева сносились с товарищами, оставшимися на воле. Когда подсудимых [illegible] из Петропавловской крепости в дом предварительного заключения, то А. Михайлов, Гриневицкий и др. встречали на улицах тюремные кареты. Михайлов очень часто в это время [illegible] бывал около предварилки, встречал родственников подсудимых, передавал им деньги и узнавал о ходе процесса. Это было очень опасно, так как за всеми ними следили, но чувство товарищества пересилило у Михайлова его обычные осторожность и конспиративность. Как известно, в связи с процессом [illegible] он и был арестован, когда пошел в фотографию за карточками осужденных.

Последний день в ожидании окончательного приговора прошел быстро, подсудимые писали письма, ходили на свидания, а вечером 31 октября всех опять под усиленной стражей повели в суд. Там говорили то же, что уже было известно из резолютивной части: смерть [illegible] и большинству остальных каторжные работы. [illegible] уже было пережито и теперь исчезала последняя надежда.

После [illegible] окончательного приговора всех [illegible] в коридор, соединявший дом предварительного заключения с зданием окружного суда, и там оставили [illegible]. Этот коридор должен быть памятен [illegible] по большим процессам. Здесь осужденные [illegible] в последний раз, чтобы затем навеки быть погребенными в крепости, или встретиться где-нибудь на [illegible] и только немногим суждено было [illegible] увидеться в Сибири или даже на воле.

[illegible] его прощания в памяти осталось бледное, [illegible] со смертью лицо, С. Ширяева, нервно на [illegible] Квятковского и [illegible] фигура Преснякова. [illegible] сознавал, что надежды уже нет, что участь его безвозвратно решена.

[illegible] чувство бессилия [illegible]. Совестно было сознавать, что остаешься [illegible] другие по воле какой-то [illegible] чувствам, неизбежно должны [illegible] не приходило [illegible], целовали друг друга, [illegible] короткие, [illegible] прощай, прощание...

[illegible] развели по одиночкам.

В ту же ночь, 1 ноября, осужденных к смертной казни: [illegible] Ширяева, Преснякова, Тихонова и Окладского и [illegible] Буха, [illegible], Зубковского, Цу[illegible] перевезли в Петропавловскую крепость.

Наемные кареты с завешанными окнами, с жандармами на козлах и офицером внутри, одна за другой перевозили приговоренных по темным, погруженным в полную тишину улицам Петербурга.

Измученный тяжелым дневным трудом, заботами и сутолокой жизни огромный город спал... Вот карета приостановилась, офицер приподнял занавес. В окно глянули ночная тишина и мрак. Где-то, казалось далеко, блестел фонарь, слышно постукиванье копытами лошадей...

Вдруг ночную тишину прорезали знакомые звуки, раздался резкий перезвон колокольчиков на Петропавловском соборе. Сердце еще сильнее сжалось от тупой боли и тоски. Часы пробили три.

Вот замолк, и куранты снова заиграли «Коль славен бог».

II.

Опять тяжелая процедура приемки заключенных в крепости: тот же смотритель Богородский, приглядевшийся уже к фигурам арестованных, то же раздеванье донага и подробный осмотр тела. На этот раз обыск почему-то особенно тщательный. Приходящие роются в волосах, осматривают уши, шарят холодными руками по всему телу.

Тускло освещенная комната кордегардии наполнена солдатами, происходит смена караула и солдаты выстроились в шеренгу. Лица их безучастны, они делают вид, что не замечают того, что происходит перед их глазами. Холодно стоять раздетым на каменном полу. По всему телу начинается озноб, а в груди растет раздражение на грубость тюремщиков. Приходится сдерживать себя.

Наконец дали тюремное белье и халат, и повели в камеру. Посадили наверху, в первом клубе *), в номере 44.

Уже четыре часа ночи, холод и крепостная затхлая сырость не дают согреться. Нервное напряжение во время суда и приговора начинает сказываться, чувствуешь себя совершенно разбитым. Поскорее уснуть и забыть во сне ужас последних часов. Я ложусь, не раздеваясь, на койку и сейчас же засыпаю беспокойным, тяжелым сном.

Меня душит кошмар. Снится казнь. На площади огромная толпа народа, масса солдат, жандармов; меня притиснули к самому эшафоту. На деревянном помосте стоит Квятковский в белом саване, с застывшей улыбкой на губах, перед ним свя-

*) Клубом у заключенных в крепости в семидесятых годах назывались камеры нижнего и верхнего этажа, расположенные по одной из сторон пятиугольного здания, образующего периметр Трубецкого бастиона. Сидящим в одном клубе было удобно перестукиваться друг с другом.

щенник с высоко поднятым крестом, позади палач в красной рубахе. На помосте при свете огней блестит острие гильотины. Вот палач становится на колени Квятковского, нагибает ему голову. Послышался тупой удар ножа, хрустенье костей. Кровь заливает весь помост.

Я делаю усилие, чтобы проснуться; вскакиваю с кровати и оглядываю знакомые голые стены крепостной камеры. Рядом слышится стук затворяемой двери. Должно быть опять привезли кого-нибудь.

Организм старается бороться с видениями, способными вызвать безумие. Стараешься отогнать мысль о приговоренных к казни и, засыпая опять, думаю о предстоящей каторге и мечтаю отбывать ее где-нибудь в Сибири.

Утром еще темно, а громыхание тяжелых засовов и шум отворяемой двери будят опять. Подают в форточку чай. Тюремный день начался заведенным порядком.

Скоро начинаю замечать некоторые перемены в обращении смотрителя и приставов. Долго не выдают [illegible], приносят зачем-то [illegible], хотя я его и не просил. [illegible] вопрос, дадут ли свидание, сухо и строго отвечают: не знаю.

Утром на четвертый день после суда, подойдя к двери, слышу необыкновенное [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

Еще до суда, во время почти годичного пребывания в крепости, я старался вставать по ночам, когда присяжные спят, а дежурный жандарм, сидя у стола, дремлет и часто [illegible] засыпает [illegible]. Тогда я подходил к двери [illegible] камеры. [illegible] [illegible] в разговор и даже [illegible] кое-какие новости.

Так было и в эту ночь; не успел я немного постоять у двери, заглядывая в глазок, как подошел часовой [illegible] рукой по направлению к каземату. Я понял [illegible] [illegible] [illegible] мне, что сегодня утром в крепости повесили двух [illegible], фамилию другого он не знал. Значительно позже я узнал, что второй казненный был Пресняков.

Рассказывали, что при докладе дела [illegible] Александр II [illegible] смерти [illegible] приговоренным. Александр II будто бы сказал [illegible] только тех, которые покушались на его жизнь, виновные же в смерти [illegible] должны быть казнены. Так решена была участь Квятковского и Преснякова.

Правительство уже начало бояться публичных казней, при каждой казни приходилось арестовывать тех, которые открыто выражали свое негодование. В феврале 1880 г., когда казнили Млодецкого, на площади во время казни было арестовано 8 человек. Лорис Меликов поэтому распорядился казнить Квятковского и Преснякова в стенах крепости. На казнь был наряжен тот батальон Финляндского полка, 43 солдата которого пострадали (10 убито и 33 ранено) при взрыве Зимнего дворца *).

Наконец мне дали свидание с сестрой. Она подтвердила условленными знаками, что казнили двух. Соколов (Ирод), присутствовавший вместе с Богородским на свидании, не позволял сообщать никаких новостей с воли. Мы расстались, не подозревая, что это последнее свидание и что нам придется опять встретиться только через 20 слишком лет.

Меня начинал занимать вопрос, — когда же начнется каторга и где будем мы ее отбывать. Можно было ожидать, что всех приговоренных по делу 16-ти оставят в крепости. Я знал, что по процессу об убийстве Мезенцева — Адриан Михайлов, Сабуров, Веймар и Трощанский оставлены здесь; что первые трое сидят на каком-то особом положении, совсем не перестукиваются, не имеют свиданий и носят каторжные куртки с тузом. Случайно кто-то видел, когда их водили на прогулку. Также известно было, что Нечаев сидит в Алексеевском равелине. О судьбе Мирского я тогда ничего не знал.

На Каре Мирский рассказывал, что после суда и объявления ему об отмене смертной казни его посадили в карету и долго возили по Петербургу, чтобы скрыть от него, куда его привезут. Привезли в ту же Петропавловскую крепость и посадили в Алексеевский равелин. Тархова, судившегося с Мирским и приговоренного к каторжным работам, отправили с одним административным, ускоренным порядком на почтовых в Сибирь с жандармами. Они были отправлены под номерами, фамилии их не упоминались, и сами жандармы не должны были знать, кого они везут. Затем в Петербурге распущен был слух, что Мирский бежал по пути в Восточную Сибирь.

Конечно, все ухищрения и конспирация III отделения были ни к чему. Как только Мирский был посажен в Алексеевский равелин, один из солдатиков принес ему записку от Нечаева, а через год, когда с ним после процесса 16-ти посадили Ширяева, по адресам, данным последним, Нечаеву удалось установить сношение с волей.

---

*) Казнь А. А. Квятковского и А. К. Преснякова была совершена 4 ноября, в 8 ч. утра, 1880 г. на площадке Иоанновского равелина Петропавловской крепости.

Прошло больше недели в неопределенном положении. Наконец, 11 ноября утром в камеру является Богородский с большой свитой. Он говорит, что я перевожусь на каторжное положение и сует мне в руку инструкцию и вместе с тем предлагает сесть на принесенный табурет для стрижки волос, так как по одному из параграфов инструкции взамен бритья половины головы каторжане должны стричься раз в месяц.

Эта инструкция теперь уже достаточно известна, она почти та же, что действовала затем в Алексеевском равелине и в Шлиссельбургской крепости в первое время. Очевидно, при составлении ее Департамент Полиции и либеральный Лорис-Меликов выбрали из устава о ссыльных все самые жестокие статьи, даже отмененные в шестидесятых годах. Так попали в нашу инструкцию несколько тысяч шпицрутенов за преступления уголовного характера. Были и розги до 100 ударов, как наказание за нарушение тюремной дисциплины.

Кроме статей из устава о ссыльных в инструкцию были включены скорпионы, специально изобретенные Департаментом Полиции, напр., лишение навсегда переписки, свидания с родными, запрещение каких-либо занятий, чтения книг, было и обязательное обращение на «ты» и, как венец всего, запрещение врачу в случае болезни заключенного улучшать пищу.

Относительно кандалов было сказано, что ношение их откладывается впредь до особого распоряжения. Кандалы не были надеты, конечно, только потому, что Богородский боялся переступить с их помощью, а с другой стороны, шум от кандалов мог бы дать [illegible] пребывание в Трубецком бастионе каторжан. Конспирация же у III отделения, а его наследника департамента Полиции всегда стояла на первом плане.

Родным не говорили, куда перевели осужденных. По мнению жандармов, они должны навсегда быть вычеркнутыми из списка живых. Главная цель содержания в крепости и особенно этой инструкции несомненно состояла в том, чтобы если не [illegible] более или менее скорым порядком людей, там оставляемых, то по крайней мере настолько искалечить их физически и духовно, чтобы они потеряли человеческий образ.

Пока я читал инструкцию, толпа приставов и солдат привела мою камеру в надлежащий вид. Выбросили тюфяк, простыни, одеяло и подушку и заменили их соломенным матом и мешком, набитым соломой вместо подушки. Унесли книгу и часы. Отобрали халат и белье и дали короткую суконную куртку, широкие арестантские штаны и белье из грубого холста с массой кострики. Взяли и полотенце.

[illegible], уходя из камеры, заявил: «[illegible], теперь ни в коем случае нельзя, читали инструкцию». Я молчал.

Наконец они ушли. Застучал засов и вслед затем раздался стук отворяемой двери соседней камеры. По числу отворенных камер я заключил, что новых каторжан человек 6—8. Я не один. Очевидно, все приговоренные на каторгу оставлены здесь.

Накануне перевода на каторжное положение я спросил Богородского, долго ли меня будут держать в крепости.

— «А на сколько вы осуждены?» ответил он.

— «На 15 лет».

— «Ну, так и будете сидеть 15 лет, если выживете», — заключил Богородский.

В инструкции было сказано, что в одиночном заключении содержатся четверть срока, но я как-то при беглом чтении пропустил этот параграф. Меня слишком поразили шпицрутены, розги, лишение книг, свиданий и пр. Теперь я был уверен, что меня будут держать здесь весь срок.

Впрочем в первое время об этом как-то не думалось и только спустя несколько дней мысль о вечном пребывании в стенах крепости встала передо мной во всем ее ужасе.

15 лет одиночного заключения. Один в четырех стенах, без книг и работы, без одного ласкового слова, без поддержки со стороны других людей. Буду видеть только угрюмые лица тюремщиков да солдат. Похоронный звон курантов Петропавловского собора и неясный шум миллионного города одни будут долетать до меня с воли. 15 лет полного молчания и бездеятельности. В состоянии ли кто выдержать такую каторгу?

Я начинал припоминать примеры долгого пребывания в тюрьмах. В средние века иногда сидели подолгу, целые десятки лет. Но тогда тюрьмы и тюремщики были проще, не так утонченно надоедливы, — заточат и оставят в покое. Декабрист Батенков просидел в одиночке более двадцати лет.

Нечаев, который томится где-то здесь же в крепости, сидит уже 8 лет и содержится, повидимому, строго. Я сам недавно читал в одной из книг, выданных мне из крепостной библиотеки, слова Нечаева, что он «сидит в железах и на цепи» и что он раз голодал десять дней. Буквы в книге были отмечены точками, но не карандашом, а кровью. Он еще жив и продолжает сидеть здесь, как рассказывал недавно один жандармский офицер.

Противоположные примеры, конечно, были более многочисленны. Из нелегальной литературы я знал, как быстро умирают и сходят с ума сидящие в харьковских централках политические. Припоминал, как много погибло по тюрьмам из привлеченных по Большому процессу: они умирали и сходили с ума в доме предварительного заключения, в полицейских частях, где сидеть значительно лучше.

Да, долго просидеть на каторжном положении здесь в крепости нельзя, решаю я.

Но в тюрьме голая правда в подобных случаях означает смерть или быстрое сумасшествие, а человек должен же чем-нибудь жить и надежда на лучшее будущее, на перемену условий, хотя бы и обманчивая, является в первые месяцы и годы заключения единственной поддержкой и утешением в медленном тюремном умирании человека.

Буду жить пока здоров и силен, думаю я. Буду вести более правильный образ жизни, не такой, как до суда, когда я почти все одиннадцать месяцев пролежал на кровати, читая старые журналы и беллетристику. Буду надеяться на перемену условий, а там будь, что будет.

Между тем, первые же дни каторжного положения дали себя знать. Лишение табаку, чаю, сахару, белого хлеба и вообще крутая перемена в привычном обиходе быстро отразилась на организме, я заболел и почти не вставал с постели более недели.

Каторжный режим за это время вполне определился: утром кружка квасу и фунта два черного хлеба, обыкновенно с песком. Затем обед, — щи с кусочками какого-то подозрительного мяса и каша, а в постные дни гороховый суп, состоящий из плавающей наверху шелухи от гороха и кусков недоваренного теста на дне миски. По вечерам давали остатки щей или гороха.

Четверть часа прогулки через день, а иногда и через два дня, во внутреннем крепостном дворике, при чем время на одеванье входило в эту же четверть.

Абсолютное запрещение пения, громкого разговора с самим собой, какого-нибудь занятия, перестукиванья и пр. Постоянное, до безумия надоедливое, следение за каждым движением трех родов стражи: часовых из войск, расположенных в Петербурге, несущих караул по очереди в крепости, дежурных надзирателей (при[illegible]) и, наконец, жандармов. При открывании дверей и даже камерных форточек все они должны были при этом присутствовать и следить друг за другом.

Таковы были материальные условия нашего существования в крепости. Что же касается до духовной пищи, то мы имели чтение евангелия в неограниченном количестве во всякое время дня и ночи и возможность мечтать о чем угодно, сколько душа пожелает.

Большинство [illegible] к сидящим по-прежнему, т.-е. так же, как во время сидения в крепости до суда; они [illegible] забиты, замуштрованы и так омертвели в [illegible], что редкий из них [illegible] решался не только вступать в разговор, но и отвечать на вопросы даже по следственным [illegible]. Теперь они [illegible] замолчали. Но

один из них, небольшого роста, худой и рыжий, с злыми рысьими глазами, стал особенно придирчив. Как кошка подстерегает добычу, так и он непрерывно следил за заключенными. Ему видимо доставляло большое удовольствие поймать сидящих на чем-нибудь недозволенном, обратиться на «ты». При этом он как-то шипел от злобы.

С полковником Богородским, уже описанным в воспоминаниях сидевших в Петропавловской крепости, у меня до суда были плохие отношения, хотя он и выказывал ко мне, пожалуй, нечто в роде участия. Несколько раз дело доходило до крупных столкновений, до угроз лишить свидания, посадить в карцер. Раза два он отбирал у меня на несколько дней книги за перестукиванье.

Богородский представлял из себя обыкновенный тип прежнего русского офицера-служаки, не особенно злостного, по возможности исполняющего все, что ему приказывает начальство, мало думающего о том, хорошо или дурно то, что ему приходится делать. Когда же в роли тюремщика ему случалось исполнять прямые злодейства, то он, вероятно, заглушал сомнения обычной в таких обстоятельствах фразой: «ничего не поделаешь, служба». У него была даже известная доля добродушия и мягкости. Во всяком случае он не был таким зверем-машиной, каким был Соколов (Ирод).

В первые месяцы каторжного положения Богородский иногда по вечерам, особенно когда бывал выпивши и длинные седые усы его не могли скрыть пьяного довольства и добродушия, заходил ко мне в камеру, справлялся о здоровье, советовал открывать форточку и пр. Никогда он не обращался на ты. Узнавши, что я не пью квасу, он посоветовал вместо него брать кипяток, на самом деле приказал присяжным давать мне чай. Так продолжалось до удаления его от должности смотрителя Трубецкого бастиона в марте 1881 года, когда было обнаружено сношение заключенных с волей через сына Богородского. Его сменил тогда жандармский ротмистр Лесник.

Впоследствии мне рассказывали, что ходившие на свидание в крепость встречали Богородского, идущим с узелком в дом предварительного заключения на свидание с сыном. Встречаясь с ними, он говорил: «вот, раньше вам давал свидания, а теперь самому пришлось ходить туда же».

III.

Прошло несколько недель. Я выздоровел и постепенно приспособился к каторжному режиму. Настроение в это время у меня было большею частью сумеречное. Грусть и тихая тоска обычно владели мною, но мне не было особенно тяжело. По временам я чувствовал себя вполне бодро и хорошо.

Каждый час и день тянулись страшно тихо и медленно. Оглядываясь же назад, мысль не могла остановиться ни на каком событии, ни на одном новом впечатлении. Прожитый день был таким же, как и другие. За ним опять тихо текли однообразные часы и дни. Недели и месяцы проходили быстро.

Я старался вести размеренный, регулярный образ жизни. Рано вставал, умывался, часа два ходил по камере, занимался шведской гимнастикой. Перед обедом читал евангелие, решал математические задачи и пр. После обеда немного отдыхал, затем опять следовали занятия, — припоминал историю, воспроизводил когда-то прочитанные рассказы и целые романы, декламировал про себя стихи. Перед ужином опять прогулка по камере, опять гимнастика, а затем сон.

Однообразная, растительная жизнь начала сказываться, я чувствовал даже признаки физического [illegible]. Аппетит был хороший. Мне стало нехватать казенной пищи. Через [illegible] почти весь съедал утром и только [illegible] приберегал себе к обеду. Вечером я уже голодал. Неизменные щи, опротивевший соленый горох и кашу я съедал без остатка.

В это время я старался завязать сношения с соседями. Я знал, что направо и налево от меня через пустые камеры сидят на таком же положении, как и я. Почти каждый день, когда мой сосед справа переставал ходить, а он ходил как маятник по целым дням, а иногда и ночью, я стуком вызывал его. Иногда в ответ раздавались постукивания, но без всякого смысла. Очевидно было, что он не умеет перестукиваться.

Другой сосед скоро откликнулся. Это был Окладский. Стучал он плохо и, не разобрав моей фамилии, стал мне объяснять, кто он такой, за что судился и пр. Окладский стучал так громко, что скоро крышка глазка в моей двери поднялась и глаз тюремщика впился в камеру, наблюдая за мной. Вслед за тем раздалось громыхание двери камеры Окладского. Туда вошли, послышался крупный разговор...

После этого я еще раза два обменялся с Окладским несколькими фразами. Затем он смолк и не отвечал на мой стук.

В конце декабря или в начале января, как-то вечером, дверь в камеру Окладского отворилась, и я услышал громкий крик Богородского: «Нельзя бить голубей, нельзя!»

К нам в одиночную форточку иногда залетали голуби и можно было их так прикормить, что они свободно ходили по камере, подбирая крошки хлеба. Это развлекало заключенных. Окладский, очевидно, стал ловить голубей и [illegible] их, поджаривая на лампе.

Вскоре камера, где сидел Окладский, опустела. Подробности я узнал в крепости же, но немного позднее.

Сосед справа начинал подавать признаки жизни. Иногда вечером жуткую, тюремную тишину, охватившую всю крепость, прорезывал резкий, настойчивый звонок, затем нетерпеливый стук в дверь. В коридоре слышались торопливые шаги жандармов и присяжных. В соседней камере отворялась форточка или дверь и оттуда неслись дрожащие от гнева крики: «пейте мою кровь, разбойники, кровопийцы, пейте!..» «Молчать, в карцер посадим», шипел в ответ присяжный или сам Богородский.

Крики, стук в дверь, а иногда звон брошенной посуды стали раздаваться из камеры соседа все чаще и чаще. Моей растительной жизни, сравнительному спокойствию приходил конец. Нервы все более напрягались, непрерывно росло раздражение. Порой я не выдерживал и на глупое, надоедливое подсматривание за мной кого-нибудь из часовых начинал стучать в дверь и только таким путем прогонял часового.

Прошло рождество. Для нас оно было отмечено тем, что на обед в первый день дали щи более жирные и мясо в них было лучше.

Наступил и новый 1881 год. В ночной тишине раздался перезвон колокольчиков, затем пушечные выстрелы, мерный бой курантов и игра «Коль славен» возвестили заключенным о рождении нового года тоски и страданий.

Каторжные одиночки бодрствовали и перестукиванье по камерам громче раздавалось под тюремными сводами. Объединенная одним чувством мысль заключенных неслась туда, за крепостные стены, в город, где тысячи людей в эту минуту вместе встречали надеждами Новый Год.

Но город молчал. Обычный городской шум, ясно слышный в вечерние часы, теперь, в полночь, уже не доносился через скованную льдом Неву до живых мертвецов.

Долго не спал я в эту первую ночь 1881 года. Тоска, ужас могильного одиночества как-то острее давили сердце. Я то садился и думал о прошлом, то вскакивал с кровати и ходил из угла в угол, стараясь прогнать мысль о жизни и воле.

Новый год не внес никаких изменений в нашу жизнь. Жизнь текла по-прежнему. Я по целым неделям не говорил ни одного слова. Казалось странным слышать собственный голос.

Всякая попытка выдумать себе какое-нибудь занятие немедленно пресекалось бдительными тюремщиками. Стоило найти какой-нибудь гвоздик, железку и ими писать на стене, или начать что-нибудь лепить из хлеба, как сейчас же присяжные и жандармы замечали недозволенный предмет и отбирали его.

Силы с каждым днем стали заметно падать. Еще не вполне установившийся организм, — мне было двадцать лет во время ареста, — лишенный света, воздуха и необходимой для него деятельности, быстро слабел. Я чаще начал нарушать разме-

ренный образ жизни. По временам апатия овладевала всем существом. Не хотелось вставать с кровати, умываться, итти на прогулку. После гулянья в крепостном садике часто тюремное одиночество казалось более тяжелым.

Иногда, по вечерам, вместо того, чтобы приняться за ходьбу по камере или за гимнастику, как следовало по установленному мною порядку, я ложился на кровать и начинал строить воздушные замки или вспоминать короткую, только-что начавшуюся жизнь, готовую скоро оборваться.

Мысль останавливалась сначала на более поздних, только-что пережитых событиях, а затем все чаще и чаще, по мере того, как дело шло к неизбежному концу, воспоминания детства вполне овладевали мною. В грезах время летело быстрее. Я впадал в какое-то полузабытье и не чувствовал ни сводчатых тюремных стен, ни часовых и тюремщиков, ни своего заточения.

Вскоре после исчезновения Окладского я стал замечать, что Покровский, заходя ко мне в камеру и справляясь о здоровьи, как-то подозрительно заглядывает мне в глаза. Я скоро догадался, что он хочет узнать, не собираюсь ли я сойти с ума. Раньше я совсем не думал о возможности для меня такого исхода, но теперь мысль об этом стала часто мне приходить. Я вспоминал сумасшедшего Бардовского, рядом с которым мне пришлось пробыть несколько дней в доме предварительного заключения; стоны и вопли его по ночам страшно терзали заключенных.

И здесь, в крепости, по вечерам мертвая тишина часто нарушалась криками не то замучиваемых, не то сошедших с ума людей.

Такой конец начинал страшить меня больше, чем самая страшная, мучительная смерть на глазах одних безучастных тюремщиков. Что может быть хуже потери сознания, утраты личности и воли, думал я. Дойти до состояния, когда тюремщики будут обращаться с тобой, как с животным.

Под влиянием этих мыслей [illegible], неудержимое желание вырваться из крепости и по временам вполне овладевало мною. [illegible] сознавал невозможность бежать из тюрьмы. Нас стерегли слишком усердно. В крепостных одиночках мы были как бы под стеклянным колпаком и три пары [illegible] за каждым нашим движением.

[illegible]

Не только бежать, но даже сделать какую-нибудь попытку к побегу было немыслимо. Тем не менее я сочинял всевозмож-

ные проекты бегства из крепости. Нужно найти какой-нибудь костыль или большой гвоздь, думал я, и им днем и окончательно ночью разобрать кирпичи в печке до дымовой трубы и по ней пролезть на крышу, потом спуститься в проход, отделяющий тюрьму от здания, где помещается комната для свиданий, допросов и квартира коменданта, по водосточной трубе взобраться на это здание и тогда по крыше можно будет выйти на свободу.

Чаще впрочем я совсем покидал реальную почву и уносился в мир фантазий. Тогда побег совершался легко и на свободу выходили вместе со мной не только узники крепости, но весь народ.

IV.

Пришел март месяц 1881 года. В крепости стало заметно какое-то оживление. Чаще отворялись двери камер, присяжные чаще водили кого-то на допросы в комиссию. По вечерам закрывали «глазки», чтобы провести в камеры вновь привезенных. В коридорах появлялись новые жандармы. Было очевидно, что произошло нечто особенное.

Нервное возбуждение свободных людей какими-то невидимыми путями проникало сквозь толстые крепостные стены, доходило до узников и волновало их. Напрасно я всматривался в лица жандармов и присяжных, желая по ним узнать что-нибудь. Они попрежнему были тюремно-сумрачны и непроницаемы.

Как-то в начале марта с крепостных стен раздалось несколько выстрелов из орудий, и я не мог объяснить, по какому поводу стреляли. Три-четыре ночи подряд провел я у дверей камеры и подзывал часовых, надеясь напасть на такого, который заговорит и расскажет мне новости. Наконец, такой солдат нашелся, он сказал только два слова «царя убили» и сейчас же отошел от двери, боясь жандармов.

Слова его скоро подтвердились. 15-го марта непрерывный, оглушительный грохот всех крепостных орудий, треск ружейных залпов в течение более получаса потрясали старые стены Петровской крепости.

Попирая инструкции, они громко и торжественно говорили всем заточенным о погребении Александра II.

Один из первых актов колоссальной общественной борьбы кончался.. Занавес при громе пушек опускалась на историческую сцену Петропавловской крепости...

Как раз в это время я опять заболел. На прогулке, в начале марта, когда с Невы дул резкий, холодный ветер, я страшно продрог и, возвратясь в камеру, почувствовал, что простудился. К вечеру я уже лежал в жару, а на утро меня трясла лихорадка и душила мокрота. Так пролежал я несколько дней. Бо-

Городский, заметив мою болезнь, зашел в камеру и посоветовал обратиться к доктору, который может сегодня же притти, прибавил он. Пришел крепостной врач — Вильямс. Он нашел у меня острое воспаление бронхов и гортани и прописал какое-то лекарство.

Волнения, пережитые в связи с известием о смерти Александра II, поддерживали меня в эти дни; я старался преодолеть свою болезнь и напряженно следил за всем происходящим в тюрьме. Но кроме нескольких слов часового о смерти Александра II и дня похорон, я ничего в то время не узнал.

Непосредственных благоприятных результатов для народа от события 1-го марта, несмотря на тогдашние свои взгляды, я не ждал. Сидя в тюрьме, я даже решил, что реакция должна усилиться и освободительное движение на время будет подавлено. Правительство было оторвано от народа и слабо, но и силы оппозиции были ничтожны.

Таинственная же незнакомка, народная масса, не знала и мало интересовалась тем, что делают и как решают во имя ее общественные дела правящие верхи и немногочисленная интеллигенция. В своих глубинах она тихо и незаметно творила новые формы жизни, которые неизбежно должны были привести и к политической свободе.

Иллюзии на счет изменения нашего тюремного положения у меня тогда тоже не было. Скорее можно было ожидать по отношению к нам еще большего озлобления со стороны жандармов и усиления репрессий.

Городский в марте месяце перестал появляться в тюрьме, не заходил и комендант, обыкновенно два раза в месяц посещавший заключенных.

Высокий, седой, с белыми отвислыми щеками комендант крепости — барон Майдель, заходя в камеру, обычно спрашивал только фамилию заключенного, хлопал глазами и, наклонив на[illegible] голову, шел дальше. Л. Н. Толстой в «Воскресении» вывел его, как живого, под именем барона Кригсмута.

Его в марте сменил генерал Ганецкий. По официальным сведениям барон Майдель во время похорон Александра II сильно простудился и 20 марта умер. Но я помню иной рассказ о его смерти. Говорили, что после ареста Перовской, когда было обнаружено сношение заключенных в крепости с волей, Майдель был вызван по этому поводу Александром III и на приеме [illegible], что с ним на обратной дороге из дворца в крепость случился удар и он скоро умер.

Ганецкий — небольшого роста, толстенький генерал, также редко заходил в камеры. Он обыкновенно при посещении от-

навливался в дверях, кланялся и неизменно поворачивал голову в угол, где стоял стульчак. Как боевой генерал он, очевидно, привык ждать внезапных нападений, остерегался их и здесь, в своей крепости.

В разговоры он никогда не вступал, по крайней мере я от него не слышал ни одного слова.

В Алексеевском равелине Ганецкий вскоре после своего назначения, делая смотр команде, внушал солдатам, что они стерегут великих злодеев, которые убили царя, хотя в то время там сидели только Шевич, Нечаев, Мирский и Ширяев. Голос его при этом прерывался, он почти плакал, говоря: «они, злодеи, царя убили! царя!»

Волнение улеглось. Ушли и мысли, вызванные событием 1-го марта. Наступили снова тюремные будни, и время под частый перезвон крепостных курантов попрежнему потекло медленно, унося за собой с каждой минутой надежды, силы и здоровье узников.

Чувства притуплялись, голова работала тихо и вяло. Энергия и жажда жизни постепенно утрачивались и организм, не получая новых впечатлений, лишенный всего необходимого для развития, быстро разрушался и умирал.

Жизнь человека становилась похожей на существование дикого, привыкшего к воле и простору, пойманного людьми и посаженного в клетку. Скорая смерть лучший исход для него.

Но я продолжал еще жить, хотя с каждым днем все слабее сопротивлялся быстро надвигавшейся смерти. Не за что было ухватиться, чтобы поддержать или пробудить энергию, и я отдавался почти без борьбы неизбежному.

Евангелие я давно бросил читать, оно больше не вызывало во мне новых мыслей, не вносило новых впечатлений. По инструкции нам полагалось пользоваться книгами, так называемого духовно-нравственного содержания, но таких книг нам совсем не давали.

Только раз, еще в декабре месяце, Богородский как-то принес мне библию, предупредив, что недели через две возьмет ее назад. Я с жадностью набросился на нее, по целым дням читал, заучивал наизусть целые страницы и боялся, что не успею всю прочесть ее.

Недели эти прошли быстро, я наслаждался силой и простотой первых библейских рассказов, обнаженным, диким эгоизмом книг царств и судий и образным языком пророков. Но библию скоро отобрали, и я опять остался с одним евангелием.

Очень редко, в светлые дни, солнце из-за крепостной стены на несколько минут заглядывало в окно и скользило по стене

камеры, но затем пропадало иногда на целые недели. Я радовался, как ребенок, когда оно заходило ко мне.

По временам, несмотря на общее безотрадное положение, на болезнь и упадок сил, на меня находили веселые минуты, и я от души хохотал над людской злобой и глупостью, которые замуровали нас сюда, боятся нас и заставляют целую толпу других людей сторожить и следить за каждым нашим движением. И тюремщики не сознают, что они такие же узники, как и мы. Что тюрьма калечит их не меньше, чем нас.

После болезни я уже не в состоянии был принудить себя вести размеренный образ жизни и по целым дням лежал на кровати и не ходил даже на прогулку.

Когда наступил великий пост и нам стали давать каждый день гороховую шелуху с кусками подгоревшего теста или постные щи с отбросами от снятков, и пища еще более ухудшилась, у меня снова начались приступы лихорадки и кашля. Особенно мучила постоянная, страшная изжога.

Только по вечерам я иногда чувствовал себя лучше, вставал с кровати и ходил по камере. Но бесцельное шатанье из угла в угол быстро утомляло и скоро я ложился на кровать и мечты о другой жизни овладевали мной.

Я мечтал, как хорошо было бы попасть в Сибирь, на настоящую каторгу, работать в рудниках при самых тяжелых условиях, но с людьми, жить с ними или по крайней мере умереть среди людей. В полном одиночестве потребность в обществе себе подобных в первое время чувствовалась остро и настоятельно.

Ничем не сдерживаемые мечты иногда переходили в настоящие галлюцинации. Я старался бороться с ними, думать о чем-нибудь более реальном, но это большею частью плохо удавалось и фантастические образы и картины постоянно были перед мной.

С ними жилось легче. Сны отчасти заменяли настоящую жизнь.

Вот я в пору далекого детства, в огромном фруктовом саду в теплое весеннее утро. Все деревья облиты молоком белых цветов, воздух напоен ароматом цветущих яблонь и вишен. На листьях блестят редкие капли прошедшего ночью первого дождя. Я вдыхаю полной детской грудью свежий воздух, пробираясь по саду под нависшими ветвями деревьев.

Как тепло и весело греет солнце. Как легко, свободно дышать. Как хорошо и радостно жить...

Стук ружейного приклада о двери камеры тихо подкравшегося к глазку часового заставляет меня очнуться. Я не сразу соображаю, где я, где сад, в котором я только-что гулял.

Часовой наконец ушел, и передо мной опять проносятся картины, полные красоты и жизни. Я ясно вижу их перед собой, прикасаюсь к видениям, ощущаю их всем телом...

Но и они исчезают, и я сознаю, что у меня начались галлюцинации.

Скоро я познакомился с новым смотрителем Трубецкого бастиона, с ротмистром Лесником.

Сосед справа что-то давно сидел тихо, и я предполагал, что он заболел. Шаги его теперь очень редко раздавались по камере, но раз утром, в необычное для него время, он начал стучать в дверь и кричать. Скоро прибежали присяжные, и я слышал, как отворилась дверь, послышалась упорная борьба, заглушенные крики, как будто кого-то душили, и спустя несколько минут мимо камеры целая толпа тюремщиков пронесла куда-то моего соседа.

Нервы не выдержали, и я начал изо всей силы стучать в дверь, но никто не являлся на мой стук. Все еще были заняты другим, наконец пришел Лесник с присяжными и жандармами.

«Чего стучишь!» накинулся он на меня.

«Зачем ты душишь людей?» — ответил я на его вопрос.

«Хорошо, и ты посидишь в карцере», сказал Лесник и захлопнул дверь.

Часа через два он снова явился и пригласил меня идти в карцер, — «по распоряжению коменданта», прибавил Лесник, «на 5 суток на хлеб и воду».

Я еще ни разу не сидел в крепости в карцере, и мне было любопытно посмотреть, что он из себя представляет. Кроме того я надеялся, что сиденье там внесет некоторое разнообразие в мою тюремную жизнь, и без особенного сожаления покинул камеру.

Одна из камер, прилегавшая к лестнице и таким путем более разобщенная от других, служила карцером. Она была разделена перегородкой на две части и первая половина отделяла карцер от коридора. Двери обеих половин запирались. Окно было так заложено, что не пропускало совсем света. Не было в карцере ни кровати, ни стола и стула. Пусто и темно.

Теперь хорошо не помню, но кажется, мне не дали и матраца, и я лежал прямо на голом полу, без одеяла и подушки, в одной короткой арестантской куртке. Под утро было очень холодно, и я старался согреться ходьбой, но и ходить неудобно, — карцер маленький — и я кружился вдоль стен, как зверь в клетке.

Прошло два дня, в течение которых я старался как можно больше спать, чтобы время протекло скорее, но от постоянного лежанья на кровати у меня еще до карцера начали образовы-

вать [illegible] прежде, а теперь лежать было еще менее удобно и к тому же холодно. Ежеминутно я просыпался и начинал бегать по карцеру, чтобы облегчить боль и согреться.

Была страстная неделя великого поста, и мысль невольно останавливалась на хорошо знакомых страницах крепостной настольной книги об истязаниях и смерти Христа.

На третий день принесли кроме хлеба миску щей, я с жадностью [illegible] их. Кажется, на четвертый день меня наконец выпустили и привели опять в ту же камеру. Она показалась после карцера большой, светлой и снабженной удобствами, которых я лишен был несколько дней.

Новые впечатления и некоторое разнообразие таким [illegible] были внесены в тюремную обстановку.

Сидение в карцере ускорило у меня развитие цынги, [illegible] всех сидевших на каторжном положении в [illegible], особенно при тех условиях, при которых пришлось [illegible] без улучшения [illegible] неминуемо вели к смерти.

[illegible] после возвращения в камеру я стал меньше [illegible], что по всему телу появились темные пятна [illegible]. [illegible] голодовка и темнота сделали то, [illegible] дожидаться еще месяца два или три. [illegible] распространялся, но я не придавал этому [illegible], хорошо не знал, чем и как выражается цынга и всех ее последствий.

[illegible] еще кое-как боролся и настойчиво требовал [illegible] воздуха и света, и, когда наступили более теплые дни, [illegible] на прогулку. Особенно сильна была потребность [illegible] свете и тепле, и часто во сне я видел солнце. После таких снов я чувствовал себя бодрее.

[illegible] я мечтал хотя бы во сне уйти из тюрьмы, опять подышать вольным воздухом и погреться на солнце. Иногда [illegible] я в грезах жил тем, чего лишен был в тюрьме. Вот иду по опушке леса, тут же огромный луг, [illegible] зеленой травой. В лесу тихо, ни один листик на деревьях не шелохнется. Все залито жарким летним солнцем. Оно греет все мое тело, ласкает лицо и руки своими теплыми лучами. Просыпаюсь, и жалею, что сон так скоро прошел, что солнце ушло...

Прошла и пасха. В тюрьму начали доноситься новые звуки: где-то играл военный оркестр, слышался весенний шум, порой долетали какие-то голоса. В садике ветви на деревьях начинали оживать. Повеяло весной. Приближение ее чувствовалось и через крепостные стены.

Но на этот раз она не пробуждала во мне новых сил, не [illegible] и не [illegible] со всей природой. Наоборот,

после короткого подъема мною еще с большей силой овладела апатия. Я окончательно терял вкус к жизни и остаток энергии. По целым дням и ночам лежал на кровати, не ходил и на прогулку. Короткое пребывание на тюремном дворе под наблюдением тех же немых приставных и часовых только еще более расстраивало расшатанные нервы.

Мысль о сумасшествии начала опять меня преследовать. Вероятность такого исхода и боязнь его иногда вызывали желание симулировать сумасшествие, но я скоро убеждался в бесполезности этого. Даже в случае действительного помешательства из крепости не уйдешь. Отсюда одна дорога, думал я.

Тогда чаще и чаще стало являться желание разом и навсегда покончить со всем этим. Так будет лучше, чем дожидаться, пока сойдешь с ума или постепенно изо дня в день умирать от цынги и чахотки...

V.

В мою жизнь перемены опять внесли разнообразие. В камеру посадили жандарма, ему приказано следить за мной. Каждые три часа и днем и ночью, происходит смена жандармов. Бьют часы, отворяется дверь, входит жандарм и занимает место на табуретке посреди камеры. Сменивший до него уходит. Они не обмениваются ни словом друг с другом. Со мной и подавно.

У каждого спрашиваю, зачем их посадили ко мне, задаю и другие вопросы. Только от одного или двух жандармов получаю короткие ответы: «нам не приказано разговаривать», или «приказано следить, разговаривать нельзя». Остальные молчат и просиживают по три часа подряд как живые статуи, вытянувшись словно в строю.

Некоторые из них усердствуют, и когда я поднимаюсь с кровати и начинаю ходить из угла в угол, жандарм поворачивается и непрерывно провожает меня глазами. Он следит. Я ложусь, он опять направляет на меня глаза. И так постоянно днем и ночью. Засыпая, я чувствую на себе его глаза, и во сне не могу уйти от них.

Такой жандарм, очевидно, хочет в точности исполнить приказание, — он следит за мной, за каждым моим движением. Если я, лежа на кровати, протяну руку на стол и начинаю перебирать по нем пальцами, жандарм делает замечание, что стучать нельзя. Я кладу руку на грудь и слегка постукиваю по ней пальцами, он не может решить, — запрещено это или нет, и молчит. Но он сомневается и наверное доложит по начальству, что я стучал пальцами по груди.

Разговаривать им, правда, нельзя, — за ними и за мной из коридора в глазок, особенно в первые дни, следят другие жан-

дармы, присяжные и солдаты. Заговори, и сейчас попадешься, а у Лесника, по крайней мере с присяжными, расправа коротка: он за малейшие провинности больно бьет их кулаком по лицу.

Несколько недель прожил я, испытывая особый вид пытки — непрерывного слежения за собой *). Оно страшно угнетало и способно было и вполне здорового человека быстро довести до безумия.

У меня в это время начались страшные головные боли, а с ними и бессонница. Более 4 суток я не мог ни на минуту заснуть, аппетит совсем пропал, и я не прикасался к подаваемому хлебу и обеду.

Жандармы вообразили, что я хочу уморить себя голодом, но я не ел просто потому, что в эти дни кризиса у меня не было никакого позыва к еде. Я даже старался принудить себя и иногда проглатывал кусок хлеба.

Так голодал я дней пять или шесть. Наконец, мне удалось хорошо заснуть. Головные боли прошли, и я начал опять есть, но за эти дни голодовки и бессонницы я так ослаб, что с трудом поднимался с кровати.

Я сознавал, что конец близок, и примирился с ним. Временами мне казалось, что даже хорошо бы заснуть совсем. Там, свободный от тюрьмы и жандармов, я не ждал ничего. Гамлетовский вопрос о том, что ждет нас за гробом, для меня был давно решен. В тюрьме он, конечно, не раз опять вставал передо мной, но я не помню, чтобы у меня являлось желание решить его иначе.

Медленно умирая, я почти уже не боролся с надвигающейся смертью. В это время один из жандармов снова пробудил во мне интерес к жизни, заставил сбросить апатию.

Они продолжали сидеть у меня в камере, я иногда обращался к ним с вопросами, желая вызвать их на разговор, но всегда напрасно.

Раз я обратил внимание на молодого жандарма, появившегося в первый раз у меня на дежурстве. По тому, как он ответил на какой-то мой вопрос, сказав, что разговаривать нельзя, и указывая при этом на то, что с коридора могут услышать, я понял, что он-то и будет разговаривать.

После нескольких ответов он уже не боялся, сам расспрашивал меня и рассказывал новости. Он был совсем молодой и

*) Этот способ практиковался еще давно. Во времена Екатерины II Ш[illegible] применя[illegible] претен[illegible] русский престол, [illegible] В [illegible] ([illegible] 1-го марта подвергались такому же наблюдению, как рассказывал мне один из жандармов. У некоторых из них постоянно сидели в камере два жандарма, следя за заключенным и друг за другом. Это и были те жандармы, появление которых в крепости я заметил вскоре после 1-го марта.

очевидно интересовался вопросом, что за люди сидят здесь, в крепости.

Я постарался удовлетворить его любопытство.

Скоро его сменили, но в этот день он еще раз должен был дежурить у меня в камере, и я с нетерпением ожидал его прихода. Когда, наконец, он пришел, мы урывками, постоянно прислушиваясь, не подходит ли кто к дверям, проговорили с ним все три часа.

Перед уходом жандарм, зная о моей голодовке и предполагая, что мне надоела однообразная и плохая тюремная еда, предложил принести для меня в следующее дежурство чего-нибудь вкусного. Пронести в крепость можно, говорил он, так как хотя их и обыскивают, но пищу пропускают. Я просил его вместо съестного принести номера какой-нибудь газеты с отчетом о процессе 1-го марта. Он обещал.

Когда пришел другой жандарм, я долго не мог успокоиться, вспоминая только что рассказанное ушедшим.

Он знал немного, даже не мог назвать всех судившихся и казненных по делу 1-го марта. Помнил только фамилии Перовской, Желябова и Рысакова. Из арестованных и сидевших в крепости назвал Клеточникова и Александра Михайлова. Говорил, что арестовано много членов Исполнительного Комитета.

Про Клеточникова, сравнительно недавно арестованного, среди жандармов уже сложилась настоящая легенда. Со слов рассказчика я понял только, что арестован какой-то чиновник Департамента Полиции, принимавший участие в делах Исполнительного Комитета.

Фамилии сидевших на каторжном положении он не знал и описывал только их наружность. Моего соседа справа он называл «сумасшедшим евреем», и я по описанию узнал в нем Цукермана.

Рассказал он и про Окладского, фамилию которого он знал. По его словам, Окладский уже три месяца как сошел с ума, и его перевели в другую камеру, здесь же в крепости. Там сидеть ему было лучше. Он почти поправился и ему давали свидание с матерью. Окладский *), по словам жандарма, «раскаялся в своих прежних делах» и рассказал все, что знал. Его на днях перевели в больницу при доме предварительного заключения.

Из каторжан трое совсем больны, на прогулку не ходят, почти не встают с кровати, у них цынга.

---

*) Окладский стал секретным сотрудником Департамента полиции с февраля месяца 1881 года. Служба его под фамилией И. А. Петровского продолжалась вплоть до февральской революции 1917 года. 36 лет шпионской и провокаторской деятельности. См. «Былое» № 4—5, 1918 г. «Судьба Ивана Окладского». Н. Тютчева.

Больше всего он говорил о смерти Александра II и о казни Перовской и других. Казнь женщины тогда вызывала много толков.

На следующий день после разговора с жандармом я опять впал в обычную апатию. Новости, сообщенные им, были не такие, чтобы пробудить желание жизни, поднять угасающие силы. Он говорил только о казнях и арестах, происходивших в последнее время. Тем не менее я с нетерпением ждал следующего его дежурства и обещанных им газет.

Он не мог точно сказать, когда придется ему опять дежурить в коридоре, где я сидел. Жандармы дежурили по очереди в разных коридорах и по приблизительному расчету он должен был попасть ко мне дней через пять.

Дни эти потекли особенно тихо. По вечерам, когда я обыкновенно чувствовал себя лучше, я с усилием поднимался с кровати и принуждал себя немного ходить по камере. К живым истуканам, сидевшим посредине камеры на табуретке, я начинал привыкать и почти не обращал на них внимания.

Прошло несколько дней, я начал сомневаться, исполнит ли жандарм обещание. Наконец, он опять появился в коридоре и по его виду я уже знал, что газеты с ним.

Когда пришла его очередь дежурить у меня, он, войдя в камеру, долго прислушивался к шуму в коридоре, наконец, встал и, поздоровавшись со мною, подошел к углу, где стоял стульчак и положил на него «Новое Время».

Несмотря на слабость, я с жадностью набросился на газету. Нужно было спешить, так как предстояло прочесть в двух номерах отчет о процессе 1 марта и поговорить еще с жандармом.

Я сильно волновался. Строчки прыгали в глазах, и я долго не мог сосредоточиться на чтении. Полное одиночество совсем отучило от новых впечатлений, и мне стоило большого труда воспринять и переварить массу новостей из другого, почти чуждого мне мира. Голова отказывалась работать, от напряжения начиналась нервная дрожь, и скоро я принужден был опять лечь на кровать.

Из обвинительного акта, частью помещенного в принесенных номерах, я более подробно узнал о деле 1-го марта. Прочел и описание казни.

В молодом человеке, бросившем вторую бомбу, судя по приметам, фигурировавшем в показаниях Рысакова, я узнал студента Технологического Института И. Гриневицкого.

Меньше двух лет назад, по приезде в Петербург, меня с ним познакомили Л. Тихомиров и А. Квятковский. Теперь я вспоминал наш разговор по поводу террора. Разделяя программу только что образовавшейся тогда партии «Народной Воли» и принимая участие в делах партии, Гриневицкий говорил мне, что он не

чувствует в себе достаточно сил, чтобы самому пойти на какой-нибудь террористический акт, что он еще не готов к смерти.

Прошло 1½ года и в пылу разгоревшейся борьбы он нашел в себе достаточно сил, чтобы пойти на верную смерть.

Мне стоило большого труда одолеть два номера газеты. Подавляло обилие печальных событий. Жандарм торопил прочесть скорее, боясь внезапного прихода кого-нибудь в камеру. Задолго до конца дежурства он отобрал у меня газеты и спрятал их. В следующий раз обещал принести свежий номер газеты, карандаш и бумаги, о чем я усиленно просил его.

У меня явилась мысль с помощью его завести сношения, если не с волей, то по крайней мере с кем-нибудь из сидевших в крепости. Но жандарм находил, что передать записку кому-нибудь из заключенных чрезвычайно трудно, почти невозможно. Из коридора передать нельзя, листок бумаги едва ли пройдет под дверь камеры; к тому же в коридоре всегда стоит часовой.

Можно еще попытаться положить записку в камеру, когда заключенного уводят на прогулку, после обычного обыска, производимого в его отсутствии присяжными. Но и при этом, конечно, был большой риск, что записка попадет не в руки заключенного, а тюремщиков. Не взирая на опасность, жандарм обещал попробовать так или иначе передать мое письмо.

Перспектива завязать сношения с сидевшими в крепости настолько оживила меня, что я усиленно стал опять бороться с ленью и апатией, принуждал себя ходить по камере и даже, когда мне предложили пойти в баню, пошел и туда.

Раз в месяц заключенных по одиночке водили в баню, находившуюся посредине внутреннего тюремного дворика. Шли туда в сопровождении тех же присяжных и часовых; меня еще провожал дежуривший в камере жандарм, наблюдавший за мной из предбанника все время, пока я мылся.

Был уже май месяц. На дворе было тепло и ярко светило солнце, листья на деревьях чуть-чуть зеленели. Чувствовалась близость лета. Более месяца я не выходил из камеры и теперь мне приятно было подышать свежим воздухом.

Вернувшись из бани, я почувствовал себя более бодрым и опять начал думать о том, что нужно бороться за жизнь, назло тюремщикам не поддаваться тюрьме. Несколько дней я ходил на прогулку, но скоро оказалось, что добрых желаний и намерений мало, что кроме них для жизни нужны и свежий воздух, и лучшая пища, и лечение цынги, и люди...

За это время жандарм раза два приносил мне газеты, принес и обещанные карандаш и бумагу. Из газет я узнал об отставке Лорис-Меликова, о назначении Игнатьева министром внутренних дел, о предпринимаемых мерах «успокоения» общества...

На клочке бумаги я написал записку Зунделевичу, сидевшему через несколько камер от меня, и просил жандарма какнибудь при удобном случае передать ему. Тот обещал.

Вспоминая теперь этого жандарма, фамилию его я давно забыл, я думаю, что помимо желания узнать от меня, что мы за люди, почему нас подвергают такому строгому тюремному режиму, так за нами следят, — им руководили главным образом жалость и сострадание к заключенным. Он не раз выражал удивление по поводу ненужных и бессмысленных мучений, которым мы подвергались в крепости.

Вскоре после передачи записки жандарму как-то днем вошел присяжный и повел меня в комиссию *). Семь месяцев меня никуда не вызывали, и я недоумевал, зачем меня ведут.

В одной из комнат комиссии за столом заседало целое собрание из чиновников и врачей. Лиц я совершенно теперь не помню. Меня сейчас же раздели и стали измерять рост и осматривать тело. Одним словом, проделывать то, что обычно делают при приеме новобранцев.

Врачи не задавали вопросов, а молча осматривали цынготные пятна, зубы и пр. На меня осмотр произвел такое впечатление, что как-будто хотели узнать — достаточно ли нас заморили одиночным заключением или еще нет. После осмотра опять водворили на прежнее место **).

Прошло несколько дней после вызова в комиссию для освидетельствования, никаких изменений за это время в тюремной жизни не произошло. Мой жандарм что-то давно не появлялся, и я снова стал впадать в омраченное состояние. На прогулку перестал ходить и большей частью, как пласт, лежал на кровати.

Я вполне готов был к смерти. Каторжное положение в течение нескольких месяцев сделало то, что обыкновенно является в конце долгой, мучительной жизни. Смерть не страшила, наоборот, усталость жизнью вполне владела мною.

*) Комиссия [illegible] куда обыкновенно водили на допросы, свидание с родными и пр.

**) Впоследствии оказалось, что это была комиссия из чиновников [illegible] Петербурга. Она должна была освидетельствовать нас перед отправкой в Сибирь и записать наши приметы.

Тихонов, уже не встававший с кровати, умиравший от цынги и чахотки, был почти принесен присяжными на освидетельствование. Тем не менее врачи нашли Тихонова настолько здоровым, что его перед отправкой в Сибирь заковали в кандалы и обрили.

У меня в графу особых примет записали «цынготные пятна по всему телу». Через двадцать слишком лет, когда я получил возможность вернуться в Россию, и мне, как поднадзорному, выдали проходное свидетельство, то в нем в числе особых примет стояли те же «цынготные пятна по всему телу».

Полное безразличие, равнодушие к жизни и смерти стало обычным моим состоянием. Но я хорошо сознавал свое положение и иногда вспоминал слова библии: «Смерть, где жало твое?». Где обычная человеческая боязнь конца? Я умирал, и меня не интересовал уже вопрос о том, проживу ли я один месяц, год или один день. Безразлично стало для меня и то, где умирать — здесь ли в тюрьме, на глазах безучастного немого тюремщика, или на воле.

Всем существом примирился я с неизбежным концом и с холодным равнодушием, без чувств и желаний, ждал прихода его.

Смерть медлила.

VI.

8—10 июня, ночью, из полузабытья, в которое я обычно был погружен, меня вывел стук отворяемой двери. Я продолжал лежать, а статуя на табуретке оставалась неподвижной. В камеру вошли присяжный и жандарм. Остановившись над кроватью и заглядывая в глаза, присяжный проговорил: «одевайтесь». Я не спрашивал, — зачем, куда?

Вероятно, опять придумали что-нибудь новое для нас, промелькнуло у меня в голове, когда я с трудом одевался.

Повели в комиссию, поднялись по лестнице и, пройдя слабо освещенную, знакомую мне, комнату, провели в другую, небольшую, где я еще ни разу не был. Присяжный сказал, что здесь нужно подождать, и ушел. Я сел на стул, а по сторонам стали два жандарма с обнаженным саблями.

Было два часа ночи. Комната, где я сидел, тускло освещалась небольшой лампой. Прямо передо мной у стены большой образ, кажется, Христа. Перед ним большой подсвечник. По бокам жандармы с обнаженными саблями. Кругом мертвая тюремная тишина.

Так просидел я около часу. Внезапно раздался резкий звон цепей и сильные удары молота по железу. Затем опять все смолкло.

Что это? Готовят какие-нибудь орудия пытки? Или ставят здесь же эшафот?

Пусть готовят. Меня теперь нельзя ничем удивить. Теперь мне все равно...

Я ждал продолжения. [illegible] прекратились еще четверть часа. Наконец вошел присяжный и незнакомый жандармский офицер. «Идем», — проговорил жандарм. Я пошел. Прошли ту же комнату, отворили дверь, и я очутился в другой, большой комнате.

После многих месяцев пребывания в полутемном склепе [illegible] смерти, меня поразил яркий свет и множество живых людей, наполнявших комнату, куда мы вошли. Везде

блестели жандармские мундиры. От резкого света я не мог смотреть и закрыл глаза.

«Садись»,— проговорил кто-то. Я оглянулся,— не на что было сесть. «На пол, на пол»,— говорил приказавший, притягивая меня вниз. Не успел я опуститься, как стоящий сзади солдат схватил мою голову, а какой-то черный человек ногу. Подошедший жандарм бросил на пол кандалы. Меня одновременно начали заковывать и брить.

До этого момента я никогда не видел вблизи кандалов и хорошо не представлял себе процедуры заковывания и бритья головы. И то, и другое, в первый раз, кроме чисто физической боли, производило впечатление какого-то бессмысленного и ненужного надругательства.

Окружающие не произносили ни слова, одни молча «работали», другие наблюдали.

Когда все было кончено, я не мог подняться. Мне помогли и под звон кандалов повели куда-то. Никаких приспособлений для ношения кандалов не дали, я путался в них, и железо больно терло ноги.

Спустились вниз, прошли какой-то темный коридор и опять ввели в незнакомую камеру, с большим окном с замазанными известью стеклами (Екатерининская куртина). Тогда оставили с двумя жандармами чего-то дожидаться. На вопрос, долго ли я буду здесь сидеть, жандармы по обыкновению ответили «не знаем».

Куранты проиграли «Коль славен» пробили четыре часа, а я все сидел. Наконец меня вывели из камеры и на этот раз из тюрьмы. Четыре жандарма усадили в карету, один сел на козлы, трое со мной и я надолго, быть может навсегда, покинул Петропавловскую крепость...

Куда везли я, конечно, не знал. Только по приезде на Николаевский вокзал, я понял, что увозят из Петербурга.

В арестантском вагоне, набитом конвойными солдатами и жандармами, были собраны все сидевшие по нашему процессу на каторжном положении в крепости, недоставало Ширяева и Окладского.

Комедия конспирации, разыгранная Департаментом Полиции при нашем отправлении, здесь кончилась. Разбивать нас дальше у него, очевидно, не хватило выдумки и энергии, в поезде нас принуждены были соединить, но для того, чтобы мы подольше чувствовали петербургский каторжный режим нам дали в провожатые, помимо обычного конвоя, еще восемь жандармов и офицера. Последний снабжен был особой инструкцией и должен был сопровождать нас до Красноярска.

Немного времени прошло после суда и нас неожиданно вытащили из тюремных могил и опять собрали вместе. Но в каком виде? За несколько месяцев мы обратились в каких-то автоматов; утратили человеческий вид и потеряли энергию и волю. Стали почти калеками.

Творцы каторжного положения в крепости при виде вывезенных оттуда остались бы довольны результатами введенного ими режима. В самом деле, зачем казни? Когда можно и без них потихоньку, без лишнего шума, в короткое время посредством надлежащим образом примененного одиночного заключения отправить человека на тот свет, свести с ума или искалечить на всю жизнь.

Особенно пострадал Я. Тихонов. Молодой, еще здоровый на суде, он теперь выглядел полусгнившим мертвецом. Его с трудом вытащили из кареты и внесли в вагон. Совсем почерневшее лицо, с выдвинувшимися скулами, с глубоко впалыми глазами. Зубы все выпали. Ноги и руки, страшно иссохшие, покрыты синебагровыми цынготными подтеками.

И этого полумертвеца зачем-то заковали в кандалы и обрили ему половину головы.

Тихонов был один из трех «помилованных» по процессу 16-ти. После суда приговоренных к смертной казни до исполнения приговора посадили в Екатерининскую куртину. Через три дня, вечером 3 ноября, пришел военный прокурор Ахшарумов и объявил об отмене смертной казни Ширяеву, Тихонову и Окладскому. Из них Ширяев менее чем через год умер в Алексеевском равелине, Окладский через три месяца сошел с ума, Тихонов тоже прожил недолго.

Переведенный в Трубецкой бастион, он уже через два месяца заболел цынгой. На просьбу позвать врача Богородский ему ответил, показывая на образ: «молись богу, пройдет». Врач не приходил. Через месяц, когда у Тихонова начали выпадать зубы, и он уже не в состоянии был есть хлеб, явился, наконец, Вильямсон, и, осмотрев его, заявил, что «теперь уже поздно, лекарства все равно не помогут».

Пища осталась та же, а лечение ограничилось смазыванием чем-то ног, и Тихонов, конечно, стал быстро приближаться к смерти, с избавлением от которой его недавно радостно поздравлял прокурор Ахшарумов.

Положение других вывезенных из крепости было немного лучше.

У Л. Цукермана вскоре после перевода на каторжное положение начала развиваться мания преследования. Он вообразил, что прислужные и жандармы всячески издеваются над ним. Напр., дали ему подушку, набитую камнями, отчего у него начались невыносимые головные боли. Деревянная ложка, пода-

ваемая к обеду, по его словам, была всегда с нарочно просверленными дырками и, когда он ел ею, весь суп выливался. Богородский предлагал ему евангелие с целью обратить в христианство и пр.

Благодаря этому у Цукермана начались постоянные столкновения с присяжными и смотрителем.

Заподозрив какой-нибудь подвох со стороны тюремщиков он требовал смотрителя и, когда тот приходил, начинал упрекать его в том, что он «пьет его кровь». Объяснения обыкновенно кончались карцером, куда Цукермана тащили насильно заткнув рот, чтобы заглушить крики. Дорогой и затем на Каре Цукерман поправился и, окончив каторгу, был отправлен в Якутскую область, где, снова попав в тяжелые условия улусной жизни, в 1887 году, кончил жизнь самоубийством.

У меня в памяти остались только смутные воспоминания о переезде до Москвы и затем о дороге до Нижнего-Новгорода, где мы наконец узнали, что нас везут не в Харьковские централи, а вероятно в Сибирь, на Кару. Условия нашего путешествия были не таковы, чтобы немного смягчить резкий переход от полного одиночества в общество людей, в поезд с быстрой сменой впечатлений.

Арестантское отделение вагона было переполнено солдатами и жандармами, грубый жандармский офицер был на высоте данной ему инструкции, по его распоряжению часовые в первое время не позволяли нам даже разговаривать между собою.

Больные, голодные, заморенные в четырех стенах крепости, мы на свежего человека должны были производить тяжелое впечатление; от нас веяло безумием и смертью.

С Кобылянским, когда поезд только что тронулся, начался припадок вроде падучей; он упал на скамью и бился в судорогах, его поддерживали, чтобы он не разбил головы. Тихонов лежал как полусгнивший труп.

Лично я переживал самые тяжелые минуты своей жизни. Неожиданно и насильно выведенный из апатии, вполне владевшей мною в последнее время в крепости, примиренный там с неизбежным концом, я теперь жестоко страдал от грохота и шума поезда, от присутствия солдат и жандармов и уже тосковал о тишине и покое одиночества. Мною овладело почти непреодолимое желание каким-нибудь путем выйти из мучительного положения; броситься из окна поезда, попытаться бежать, чтобы меня тут же пристрелили, но и этого сделать было нельзя, мы были скучены на небольшом пространстве и перемешаны с жандармами и солдатами.

Так началось длинное, утомительное путешествие по каторжному тракту, по железной дороге, а затем на барже по Волге и Каме...

Хорошо помню один вечер на Каме; нас в первый раз выпустили из душной клетки-каюты на палубу, закрытую перегородками а со стороны реки проволочной сеткой. Баржа бесшумно и медленно скользила по воде; берега реки то совсем близко сходились в более крутых, гористых местах, то раздвигались и открывали нам простор лугов.

Полная тишина; нигде не видно ни жилья, ни людей; вот баржа прошла широкий разлив Камы, круто поворачивает и входит в тесные берега. Солнце только-что село, позади у другого берега отражение золотисто-розовато-красной зари в воде, а ближе к нам молодой месяц освещает белым колеблющимся светом почти зеркальную поверхность залива... Мы плывем совсем у берега, покрытого лесом; чистый воздух, полный аромата цветущих деревьев, заливает всю баржу... Грудь широко и легко дышит... Опять хочется на волю, опять хочется жить...

С. Мартыновский.

Воспоминания ссыльного 80-х годов*).

От Иркутска до Якутска.

Утром 26 февраля 1880 г. меня позвали в контору. Здесь я нашел жандарма и казака и почуял, что мне предстоит дорога. На вопрос, куда меня повезут, смотритель отвечал, что он ничего не знает, что ему предъявлена только бумага об отпуске меня из тюрьмы. Конвоиры тоже молчали. Мне сказано было, чтоб я торопился сборами в дорогу, так как тройка ждет уже нас у ворот тюрьмы. На второй мой вопрос, получу ли я мои деньги, более 100 р., которые находились в канцелярии иркутского генерал-губернатора, смотритель отвечал, что ему о моих деньгах ничего неизвестно, то же сказал и конвоирующим жандармам. Между тем, квитанция на эти деньги была у меня в кармане, и я ее показал смотрителю, который, подержав квитанцию в руках, ответил, что теперь уже поздно наводить справки в канцелярии, так как сегодня и сейчас же надо выезжать в дорогу. Я просил заехать туда в канцелярию, но оказалось, что сегодня был табельный день — рождение наследника и в канцелярии никого нет, кроме дежурного чиновника. Оставалась надежда на иркутского жандармского полковника, у которого должны же быть какие-нибудь казенные деньги и он может удовлетворить мое законное требование.

Из конторы, когда вышел жандарм, на мой вопрос, куда мы едем, он ответил шепотом: «в Якутск». Сборы мои продолжались недолго, так как вещи мои с чемоданом были в тюремном цейхгаузе, а у меня же в камере было так мало вещей, что я быстро уложил их в дорожный мешок. Распрощавшись с товарищами, я скоро уехал со своими конвоирами из тюремного двора.

Я и не заметил, как быстро [illegible] и [illegible] на за черту города. Теперь я только вспомнил, что мне надо было видеть жандармского полковника и поговорить с ним о моих деньгах. Я просил своего конвоира, почему он не везет меня

*) Начало воспоминаний Я. Белого помещено в № 6 «Каторги и Ссылки». *Ред.*

к полковнику, зная, что каждый политический, покидая Иркутск, должен повидаться с ним и выслушать всякие наставления? Жандарм ответил, что ему не приказано завозить меня к полковнику. «Впрочем, добавил жандарм, на одной из ближайших станций мне приказано подождать адъютанта полковника, он здесь где-то на охоте, с ним вы и можете поговорить, о чем вам угодно».

Я вспомнил тюремные разговоры об иркутском полковнике; говорили, что он человек раздражительный и притом любит читать нотации политическим. До меня был такой казус с политическим Г—ым, отправленным на поселение в Киренск. Г—ва завезли к полковнику, тот принялся читать нотации. Г—в долго слушал молча, потом прервал полковника замечанием

— «А знаете, полковник, вы больны и, указывая ему на печень, прибавил. Вам необходимо немедленно приняться за лечение».

Полковник вскипел еще больше и ответил:

— «Если бы я и чувствовал себя больным, то, во всяком случае, к вам за советами не обратился бы».

Вспомнив все это, я подумал, что, должно быть, Г—в надолго отбил охоту у полковника беседовать с поднадзорными врачами.

Проехав 2 или 3 станции, мы остановились ждать жандармского адъютанта. Ждали мы его долго. Наш казак выходил постоянно в деревню и, наконец, напился до того, что свалился в передней. Жандарма это очень обеспокоило и он все время тормошил спящего, стращая его приездом адъютанта. К станции, наконец, подкатил какой-то экипаж с адъютантом и еще каким-то штатским. Адъютант шумно ввалился в переднюю, казак был немедленно поднят на ноги и через закрытые двери мне слышны были звонкие пощечины и брань, щедро сыпавшиеся на злополучного казака. Скоро вошел и адъютант — красный и злой и сел против меня, кивнув мне небрежно головой. Несколько минут адъютант внимательно всматривался в меня, затем, вынув фотографическую карточку, произнес: «г. Борзенский?»

— Нет, не «Борзенский», отвечаю я.

Мне надоела постоянная путаница моей фамилии, повторявшаяся на всех этапах и тюрьмах. Дело в том, что на казенной фотографической карточке была такая же казенная надпись «Борзенский земский врач Белый»; этапные офицеры и тюремные смотрители, сверявшие наши физиономии с карточками, прочитывали первое слово надписи «Борзенский» и, не дочитав дальше, принимали это слово за мою фамилию и так выкликали меня, затем с моей стороны следовало неизменное: «нет, читайте дальше».

Наконец, адьютант, взглянув еще раз на меня и на карточку, произнес «г. Белый?» и торжественно вручил карточку конвоировавшему меня жандарму. Затем пошли разговоры, вернее сказать мои расспросы:

— «Куда меня везут?»

— «В Якутск».

— «Там и поселят?»

— «Это будет зависеть от Якутского губернатора».

— «Далеко ли до Якутска?»

— «Около 3000 верст».

После этого я показал адьютанту квитанцию генерал-губернаторской канцелярии на мои деньги, около 100 р., хранившиеся там, прибавив, что я неоднократно обращался с просьбой о выдаче денег и не получил никакого ответа. Адьютант сказал, что им ничего неизвестно о наших деньгах, хранившихся в канцелярии, но что я могу быть спокоен, так как деньги вышлют в место моего жительства. На вопрос мой: «с чем же я проеду 3000 верст, так как кормовых мне выдано на дорогу всего 7—8 рублей?» Адьютант вместо ответа спросил моего жандарма: может ли он на эти деньги прокормить меня до Якутска?

«Так точно» — был ответ жандарма. «Вот видите, сказал адьютант, обращаясь ко мне? будьте спокойны, положитесь на вашего конвоира, и он вас доставит сытым и здоровым в Якутск, только поезжайте скорее и нигде не задерживайтесь в дороге».

Приходилось мириться с таким плохим успокоением, так как другого выхода не было. Скоро адьютант, поклонившись мне и пожелав счастливой дороги, вышел со своим штатским спутником и жандармом на крыльцо, у которого уже стояла приготовленная для нас тройка. Нам также пришлось ждать недолго. С большими усилиями жандарму и ямщику удалось усадить на козлы все еще неотрезвившегося казака; но едва наша тройка тронулась с места, как казак повалился к нам в ноги и уже не было никакой возможности поднять его и посадить. Рассерженный жандарм крикнул:

— «Чорт с ним, дальше Качуга я его не повезу», и оставил его лежать на наших ногах.

В Качуг мы приехали около 4 ч. утра следующего дня.

Здесь мы расстались с вытрезвившимся, наконец, казаком, после чего мы уже вдвоем с жандармом уселись в сани, спустились на реку и пустились в дальнейший путь. Ехали мы теперь на паре, но санная дорога была так хороша, что лишение одной лошади нисколько не было заметно. Быстро мелькали станции. Вот проехали первый приленский городок Верхоленск. Здесь было много ссыльных, но я никого из них не видел, на[illegible] жандарм, вероятно из опасения, чтобы ссыльные не

узнали о проезде товарища, торопил запряжку лошадей и не уходил со двора, пока лошади не были поданы к крыльцу.

Чем дальше ехали на север, тем становилось все холоднее особенно по ночам. На мне было теплое мерлушковое пальто и арестантская шуба, вывернутая мехом вверх, но если бы жандарм не захватил с собой огромной кошмы, которой мы оба укрывались с головой, мне пришлось бы страдать от холода. Езда без ночлегов все больше начинала утомлять меня. Как ни холодно по ночам, а все же, согревшись кое-как под кошмой, засыпаешь, а тут беспощадный жандарм бесцеремонно расталкивает и со словами: «станок», так называют сибиряки станции, «приехали», тащит в станционную избу. Комната для проезжающих обыкновенно очень жарко натоплена — войдешь в такую комнату, охватит тебя, промерзшего, теплом, с удовольствием стаскиваешь верхнюю одежду и, растянувшись на диване, сладко засыпаешь. Но не прошло 10—15 минут, как тот же надоедливый жандарм снова будит, наскоро одевает и тащит в кибитку. И это повторяется по нескольку раз в ночь и не одну, две, а много ночей подряд!

Через 5 суток мы уже были в Киренске, последнем городке Иркут. губ., в 1000 верст расстояния от Иркутска. Проехали третью часть пути и отпраздновали тем, что съели горячий обед у хозяина станции. В ожидании обеда я завалился спать и жандарму с трудом удалось разбудить меня к обеду.

За Киренском стало еще холоднее: утренники доходили до 30° слишком по Реомюру, а уже был март на дворе.

Через несколько дней мы проехали Витим с его золотыми приисками, а немного спустя въезжали уже в пределы Якутской области.

Вот уже мы в Олекминске, здесь жило несколько человек политических ссыльных, из которых двое — студент Бондарев и интеллигентный рабочий-слесарь из Петербурга — были знакомы мне. Я хотел повидаться с ними и просил помощника исправника разрешить мне это сделать, но он этого не разрешил.

Город Олекминск, с которым мне года через три пришлось познакомиться, так как я прожил в нем более двух лет, представлял из себя одну длинную улицу, расположенную на берегу Лены и длинную оттого, что к городу непосредственно прилегала скопческая слобода, отделявшаяся от него только канавой.

Когда мы выехали из Полицейского управления, я заметил, не доезжая до скопческой слободы, знакомую фигуру петербургского слесаря. Едва мы с ним поравнялись, как он вскочил на один из отводов наших саней и поздоровавшись со мной, стал расспрашивать о товарищах, оставленных им в Иркутске, о том — не нуждаюсь ли я в чем, есть ли у меня деньги. Жандарм мой, вообще человек мягкий, не препятствовал нашим

разговорам и даже, когда мы должны были, наконец, расстаться, велел ямщику остановить лошадей и тем дал нам возможность беспрепятственно распрощаться. До Якутска оставалось еще 600 верст, т.-е. 3 суток езды. На последней перед Якутском станции, куда мы приехали ночью, жандарм, не желая ночью беспокоить губернатора, к которому мы обязательно должны были явиться, порешил заночевать.

На другой день мы достигли Якутска и очень скоро очутились у крыльца губернаторского дома.

Губернатором в Якутске был в то время генерал Черняев.

Когда мы вошли в губернаторскую приемную, там никого не было. Вскоре вышел к нам губернатор — высокий, пожилой мужчина с большой проседью в волосах. Задав мне обычный вопрос — не имею ли я каких претензий к моему жандарму? — губернатор прибавил:

«По распоряжению иркутского генерал-губернатора вы будете поселены в г. Верхоянске. Из вашего статейного списка я узнал, что вы женаты. Советовал бы вам употребить все ваше влияние на вашу жену, чтобы она не ехала к вам в Верхоянск. Там, как климатические, так и вообще жизненные условия непереносимы для европейской женщины».

На вопрос мой — долго ли я пробуду в Верхоянске? — губернатор ответил, что это будет зависеть от меня, от моего там поведения, но что во всяком случае ранее 3 лет он не обещает перевести меня оттуда. Скоро в приемной появился полицеймейстер Баль, который вышел вместе с нами и сопровождал нас до тюрьмы. По дороге к тюрьме, расположенной, кстати сказать, довольно далеко от центра города, я думал о том, что слова губернатора о Верхоянске не произвели на меня особенно тяжелого впечатления, мне досадно было только, что не здесь, в Якутске, я буду освобожден от невыносимого, продолжавшегося уже 10-й месяц, тюремного и вообще подконвойного режима.

Подъезжая к тюрьме, я не без удовольствия подумал, что это будет, наконец, последняя тюрьма, в которой я еще буду томиться под замком. Каково же было мое удивление, когда меня привезли не в тюрьму, а на квартиру смотрителя, и, отпустив моего жандарма, сказали, что я буду помещаться здесь, в канцелярии смотрителя. По уходе жандарма полицеймейстер оставался еще некоторое время в канцелярии. Он любезно беседовал со мной, спрашивал, не нуждаюсь ли я в чем? Тогда я вспомнил, что забыл показать губернатору квитанцию на мои деньги и, передав ее полицеймейстеру, просил показать ее губернатору и добыть из каких-нибудь казенных сумм мне деньги. Полицеймейстер сказал, что, если бы губернатор не дал мне даже

ных денег, он даст под эту квитанцию свои собственные деньги. После отъезда полицмейстера хозяин квартиры повел меня из канцелярии в небольшое зальце. Жены его не было дома или она хлопотала в кухне по хозяйству. Смотритель тюрьмы невысокий, пожилой человек с маленькой бородкой, выдающимися скулами и небольшими глазками говорил по-русски чисто. Он сообщил мне, что моего приезда давно уже ждет здешний губернский стряпчий, которому необходимо посоветоваться со мною о здоровьи его жены. Ему дано знать о моем приезде, и он скоро придет сюда с женой. Действительно, немного времени спустя, смотритель вышел в канцелярию и возвратился оттуда с каким-то господином и дамой. Это был стряпчий с женой. Познакомившись со мной, стряпчий много говорил о России, сожалел о том, что бросил родину, мечтая здесь хорошо устроиться, но мечты его разбились о каменную нечувствительность начальства к его деятельности и высшему образованию. Он окончил курс в Демидовском лицее и чуть ли не единственный из чиновников получил юридическое образование и все же далеко по службе не двигается. Разговор коснулся, наконец, здоровья его жены. Она показала мне кучу рецептов от всех якутских докторов, прибавляя, что ничто не помогает. Все рецепты указывали на хронический недуг в женской половой сфере и вытекающее от него малокровие. Пришлось осмотреть больную. По окончании осмотра был прописан рецепт. Больная просила, чтобы я не отказывал в советах во все время пребывания моего в Якутске, на что я охотно согласился. Вышла, наконец, к нам и жена смотрителя. Она извинялась перед гостями хлопотами по хозяйству. Гости поднялись, чтоб уходить домой, но их удерживали, соблазняя рыбным пирогом. Вскоре всех нас позвали к столу. Кроме пирога из нельмы весь стол, по случаю великого поста, был рыбный. Я изумлялся обилию рыбы и сказал об этом хозяйке. Мне сказали, что рыба и мясо единственное благо в Якутске и стоят, действительно, недорого, все же остальное, привозимое из Иркутска, очень дорого. За столом я спрашивал присутствующих о Верхоянске. Никто из них там не бывал, но все, кроме стряпчего, отзывались о Верхоянске, как о гиблом месте. Стряпчий же заметил, что бывавшие в Верхоянске не все о нем дурно отзываются, что он познакомился здесь с верхоянским протоиереем и благочинным, который на-днях уехал отсюда обратно в Верхоянск, где он пробыл около 20 лет, так тот будто бы даже хвалил ему Верхоянск.

«Правда, добавил стряпчий, верхоянский протоиерей, 20 лет тому назад, приехал из России дьячком, а теперь вот протоиерей и благочинный всего верхоянского округа. Ему там, вероятно, живется недурно».

«Скажите, пожалуйста, обратился я к старшему, что это за город Верхоянск? много ли там жителей, далеко ли и как туда ехать из Якутска?»

— «Сам я никогда там не бывал, но, официально, в Верхоянске считается 150—200 человек жителей, большая часть которых якуты. Есть там полицейское управление, исправник, его помощник, доктор, фельдшер, акушерка, больница. Теперь вы поедете в лучшее время года, — как-никак, а все же весна, хотя утренниками здесь, в Якутске, бывают более 30° мороза, а дальше на север и побольше. Имейте в виду, что Верхоянск лежит за полярным кругом и считается самым холодным местом в свете. Горе, говорят, ехать в Верхоянск летом, надо проехать около 1.000 верст верхом по тайге болотами и перевалить через Верхоянский хребет. Теперь же благодать: не так холодно и все время будете ехать на санях, а за рекой Алданом на оленях. Все это я говорю со слов других, сам же я никогда не бывал в Верхоянске».

Все эти неутешительные вести о Верхоянске мало печалили меня. Я был молод, здоров, только утомлен долгим подневольным путешествием. «Ведь живут же люди и в Верхоянске, думал я, вот даже доктор, вероятно, из России и живет там, отчего не прожить и мне несколько лет, лишь бы поскорее быть на свободе!»

Во время нашего разговора неожиданно в канцелярию явился полицмейстер и спросил смотрителя. Когда писарь вышел за смотрителем, полицмейстер сказал мне, что получил, к сожалению, приказ от губернатора перевести меня отсюда в тюрьму, но что ему не хочется помещать меня в тюрьму и он думает поместить меня на гауптвахту, в офицерской комнате. Скоро пришел смотритель, и меня направили на гауптвахту. Пройдя первую комнату, занятую караулом, мы вошли в большую, светлую комнату, в которой стояли 2 кровати. Общий вид гауптвахты производил хорошее впечатление в сравнении с обычными тюремными камерами, особенно в Сибири. Но в этой комнате я должен был жить не один и я был неприятно поражен, встретясь с тем самым Г—вым, который так неискусно разыграл роль врача в Иркутске. Но сам Г—в нисколько не смутился встречей и, как только ушли полицмейстер и смотритель, стал меня знакомить с порядками гауптвахты, где он сидел больше недели. Жизнь на гауптвахте хотя и представляла больше свободы, чем тюрьма, но все же это была жизнь за решеткой рядом с караульными солдатами. В отличие от тюремного двора, обнесенного стенами, перед окнами гауптвахты была громадная площадь и вдали ее виднелось другое каменное здание — городская больница. По этой площади мы с Г—вым совершали ежедневные прогулки.

На другой день меня снова посетил полицмейстер и сказал, что губернатор не разрешил ему выдавать своих денег под квитанцию, но что он виделся вчера с политической ссыльной в Якутске г-жей Сметской, которая вручила ему для передачи мне в дорогу 15 р. и просила деньги эти не возвращать ей, а передать другим нуждающимся ссыльным. Я не знал Сметской и ничего о ней не слыхал и потому спросил полицмейстера не нуждается ли она сама в деньгах, в таком случае я от нее не возьму. Полицмейстер заверил меня, что Сметская — дочь генерала и ежемесячно получает от отца большие деньги. Я взял деньги и просил полицмейстера благодарить Сметскую.

Через несколько дней меня вызвали в Областное Правление, где какая-то комиссия должна освидетельствовать состояние моего здоровья.

В областном правлении пришлось долго ждать, пока соберется комиссия. Председательствовал старший советник правления, высокий, седой старик, «рассейский», как говорил казак, т.-е. родом из России. Из врачей был городовой врач Некрасов, молодой, рослый и здоровый мужчина. Меня не осматривали, а поверили, как врачу, на слово, что я здоров. Некрасов тихо сказал мне, что всего опаснее на крайнем севере застарелый сифилис, но я успокоил его, что такой болезни у меня никогда не было.

По дороге в Верхоянск.

Дня через два мы отправились в Верхоянск.

Первый станок по р. Алдану был небольшой. Мы выехали из Якутска в полдень на паре; в санях кроме меня, помещались два казака якутского полка, один постарше, сел рядом со мною, другой на козлах с ямщиком. Солнце сильно пригревало, несмотря на глубокий снег, пахло весной. Быстро проехали городские улицы и скоро очутились на берегу Лены.

Когда мы переехали реку, дорога пошла густым лесом, тайгой по-сибирски, однако же тайга эта мало походила на иркутскую или енисейскую тайгу, лес был хотя и гуще, но значительно тоньше и состоял главным образом из лиственницы, сосновые деревья попадались реже и настолько были тонки, что едва ли годились для построек. Кое-где на лесных полянках попадались якутские юрты, занесенные снегом, людей около юрт не было видно.

Проехали, наконец, первый станок и вошли в юрту. Против двери был расположен камин, камелек по-местному, в котором горели дрова. В юрте было темно, мало проходило света через маленькие оконца, в которых были вставлены льдины. Но хуже всего был нестерпимый для непривычного носа запах навоза от стоявшего в той же юрте и отделенного только несколькими

жерлями скота. Привыкнуть сразу к этому запаху было невозможно, и я несколько раз выходил из юрты подышать свежим воздухом. Казаки стали хлопотать о чае. На камине был поставлен чугунный чайник с водой и, когда вода вскипела, в него бросили наструганные кусочки кирпичного чая. На довольно грязном без скатерти столе поставлены были чашки и большая деревянная миска с молоком. Наконец, чай готов и хозяйка-якутка в грязном ситцевом балахоне с некрасивым, покрытым белесоватыми рубцами лицом принимается разливать чай. Старший казак, по фамилии Большев, предлагает мне чашку чая. Я никогда не пил кирпичного чаю и, признаюсь, проглотил первый глоток его с большим усилием. Допив кое-как эту чашку чая, я от следующей отказался, решив про себя, что я не буду больше пить кирпичного чая, — к счастью, у меня был с собой прессованный байковый чай.

Больше часу пробыли мы на этой станции, наконец, лошади готовы, ямщик и казаки начали укладывать вещи. Оделся и вышел и я из юрты.

Перед юртой стояло несколько саней, запряженных в одну лошадь, в самых передних санях был запряжен бык, у которого в ноздри продето кольцо, в эти сани складывали все наши вещи. Все сани были очень узки и мелки и едва вмещали в себя одного пассажира и ямщика. Поезд, наш наконец, двинулся с быком впереди, на его спину взобрался ямщик, лес огласился якутским понуканием: «хот, хот», и бык, а за ним и лошади побежали мелкой рысью. Ехали мы всю ночь и на следующий день вечером приехали на Алдан. Здесь нам была объявлена остановка на несколько дней, так как не было ни лошадей, ни оленей, «кочга», как говорят в Якутской области. Лошади были взяты верхоянским благочинным, который в день нашего приезда проехал на здешнем кочте дальше.

Почтовая юрта на Алдане была довольно просторна и та часть ее, где помещается скот (по-якутски «хотон»), находилась в стороне от юрты, так что прожить здесь денек-другой не представлялось ужасным, но прожить пришлось несколько больше.

На другой день в Алдан приехал какой-то молодой человек, который отрекомендовался Иннокентием Михайловичем Гороховым и добавил, что он едет теперь из Якутска домой и рад познакомиться со мной, как с будущим верхоянским жителем. Молодой человек был, что называется, «на веселе», и охотно рассказывал о Верхоянске. Выходило, что он как будто и не любил этого города, в котором он родился, но в то же время, прожив зиму в Якутске, где было, по его словам, «очень, очень весело», он с нетерпением стремился домой, оправдываясь тем, что его старик-отец часто хворает. Из верхоянских жителей

он с особенным удовольствием говорил о своем двоюродном брате Николае Семеновиче Горохове, с которым советовал мне немедленно познакомиться. Он называл его ученым человеком, красой Верхоянска и хотя брат его занимал неважный пост улусного писаря, но с ним по делам часто советуется сам исправник. Д-р Алексей Михайлович Бриллиантов, хотя всеми любимый и уважаемый, но редко кого лечит, к тому же он в последнее время начал слепнуть, и что больше всего лечатся у местного фельдшера Анания Ивановича Агеева. «Будет и Вам там работа, доктор»! закончил он. Этот молодой человек пробыл на станции весь день и ночевал. Оказалось, что следующий станок невозможно проехать на оленях, потому что это место низкое, занесено глубоким снегом, который теперь под лучами весеннего солнца рыхлеет и на размякшей дороге проваливаются олени и лошади. Горохов послал своих людей куда-то в горы к кочующим тунгусам, которые проведут какими-то, им одним известными, дорогами до Верхоянского хребта, а там дальше дорога еще твердая зимняя.

Действительно, рано утром, когда мы еще спали, Горохов уехал. А мы? Мы должны были просидеть на станции еще 3 дня! Небольшое разнообразие в нашу скуку внесла возвращавшаяся из Среднеколымска акушерка Лазарева. Это была уже пожилая женщина с совершенно седыми волосами, но очень живая и подвижная. Она прослужила положенный за казенные прогоны и подъемные деньги срок и теперь возвращалась на родину в Россию.

Много интересного рассказывала эта живая и наблюдательная женщина и этим скрашивала наше подневольное сидение, но и этой испытанной в тяжелой дороге женщине надоело ждать и она стала требовать дальнейшей отправки, но сколько она ни волновалась, то требуя, то прося, — ответ был один: «нет кочга». Так мы ее и оставили на станции, выехав, наконец, дальше только на 5-й день.

На этот раз нам объявлено было, что ехать иначе, как верхом на лошадях, невозможно. Предстояло проехать станок около 35 верст. Я хотя и ездил верхом и даже люблю эту езду, но такого расстояния я не проезжал и с любопытством подумал, что из этого выйдет! Кое-как посадили нас в зимней одежде (на мне было одето 2 шубы) на лошадей. Мы спустились куда-то вниз, на открытой полянке дороги не было и виднелись только прерывавшиеся конские следы. И, действительно, лошади наши тяжело и медленно двигались, ступая в снег по колени. Проехав версты 3, я почувствовал тяжесть и боль в спине и слез с коня, желая пройти пешком и немного поразмяться, но вместо того завязнул в снег выше пояса и не мог двинуться с места. Меня вытащили казаки и снова посадили на лошадь, посоветовав больше не слезать с коня.

С большими мучениями проехали мы еще верст 10—12, кроме тяжести и боли в спине, чувствовалась невыносимая жажда, и мы просили остановиться где-нибудь и дать отдохнуть и нам и лошадям. Где-то в лесу ямщики и казаки слезли с лошадей и стали ногами утаптывать снег, отчего образовалась небольшая площадка с более или менее плотным снегом, на которой мы и расположились для отдыха. Ямщики, наломав сухих ветвей, быстро развели огонь и согрели в чайниках воду, и мы с наслаждением принялись за чаепитие и закуску.

Так отдыхали мы час или больше и потом снова сели на коней, чтобы еще с большим мучением доканчивать свое путешествие. На станок мы приехали едва к вечеру, проехав за целый день каких-нибудь 35 верст! Встать с лошади я сам уже не мог, меня сняли ямщики, и я шатаясь вошел в юрту. В юрте за столом сидела вся семья верхоянского благочинного и пила чай.

Я с трудом снял всю теплую одежду и повалился на нары. Ко мне подошел сам благочинный, спросил — не я ли доктор? и приглашал выпить с дороги стакан чаю. С трудом поднялся я с нар и подошел к столу. Протоиерей познакомил меня со своей женой и своими 4 детьми. С неудовольствием он говорил о Верхоянске, где много лет прожил священником, а теперь ездил со всей семьей в Якутск в надежде больше назад не возвращаться. Но якутский архиерей, знаменитый миссионер Иннокентий, обративший в православие значительную часть якутов и переведший на якутский язык молитвенник, катехизис и пр., дал ему протоиерейство и назначил благочинным всех церквей верхоянского округа, уговорив его возвратиться обратно.

«Что мне оставалось делать? добавил протоиерей. Возвращаться в Россию — там не дадут прихода, так как я не окончил даже семинарии. Сам бы я помирился с Верхоянском, если бы не дети, а то вот трое маленьких и некому их учить, мальчику пошел уже 11-й год. Архиерей успокоил меня тем, что в Верхоянск послано много ученых людей политических ссыльных. Не знаю, удастся ли мне среди них найти учителя для моих детей?»

«А в Верхоянске разве нет никакого училища?» спросил я.

«Есть приходское училище для детей якутов, но что это за училище? В нем учатся по 10 лет и все-таки выучиваются только читать по-русски, не понимая прочитанного. Вся наша беда в том, что матери наших детей знают лучше и охотнее говорят по-якутски, чем по-русски», закончил протоиерей.

«А вы, отец, сами бы побольше занимались с детьми, а не упрекали нас. Есть ли у нас время заниматься с ними, если б мы были и хорошо грамотны, ведь на нас лежат все хлопоты не только по дому, но и по хозяйству, а вы, лежебоки, кроме

службы, палец о палец не ударите!» гневно заговорила матушка.

Протоиерей после гневной реплики матушки заметно съежился. Матушка вскоре вышла из-за стола и принялась за стряпню пирогов, по-местному «пряженников». Протоиерей ободрился и снова стал говорить на прерванную тему о Верхоянске и верхоянцах. Лучшим человеком в Верхоянске он считал д-ра Бриллиантова, как рассейского. Он говорил, что местные русские сильно объякучены, не любят приезжих из России и против них интригуют, что Бриллиантов хотя и женился на местной русской, но с ним они ничего не поделают: он твердый россиянин и, несмотря на слишком 20-летнее проживание в Якутской области, до сих пор ни слова не говорит по-якутски. Я недоумевал, как можно прожить десятки лет с народом, иметь с ним служебные и другие отношения и не постараться изучить язык этого народа. Свое недоуменье я высказал протоиерею. Он отвечал, что для сношения с якутами имеются переводчики, у него, например, при разъездах переводчиком служит дьячок, местный русский, знающий якутский язык лучше, чем русский; у исправника и доктора переводчиками служат казаки. Этот ответ меня не удовлетворил, но я не счел нужным продолжать разговор на эту тему и спросил его — что он скажет о верхоянском исправнике.

«Хороший человек наш исправник и тоже из России, но, к сожалению, все как будто таит что-то за душой, не так прост, как мы, природные русские!» был ответ протоиерея.

Долго еще говорил протоиерей о Верхоянске и верхоянцах, но его разговор перебила матушка, ставившая на стол горячие пирожки и закуску; протоиерей же стал вынимать из ящика дорожные запасы разных питий и принялся нас потчивать. Раскрасневшаяся от огня и хлопот матушка, не присаживаясь к столу, также потчивала нас то одним, то другим кушаньем.

Теперь разговоры наши сосредоточились на дальнейшей отправке нас с этой станции. Отсюда мы должны ехать на оленях, но «кочта» хватало только для нас, протоиерей должен оставаться и ждать возвращения наших оленей.

Рано утром мы выехали на оленях. Проехав верст 10, ямщики останавливали оленей; давая им минут 5 передохнуть, после чего они бежали с той же быстротой, как и с выезда со станции. Станок наш протягивался верст на 100, на половине дороги устроена была так наз. «поварня». Это обыкновенная якутская юрта, только никем не обитаемая. Нетопленая поварня промерзла, что называется, насквозь, но в юрте у камелька мы нашли сухие дрова, а на нарах были сложены куски льда. Это обычай всех путешественников, побывавших в якутских поварнях: оставлять после себя запасы дров и льду для

ча— и жарко топим. Уехавшие из Дыжарны, тоже приехали и наши ямщики. Тотчас же был разведен огонь, наколот и уложен в чайники лед и спустя ½ часа мы уже пили чай в быстро обогревшейся юрте. Пока варилось мясо и суп, наши ямщики отпрягли оленей и угнали их в горы на пастбища оленьего мха.

Пообедав и отдохнув часа 2 наши ямщики, забрав с собою длинные ременные веревки (арканы), отправились в горы ловить оленей и мы вскоре отправились в дальнейший путь. Олени наши, пробежав верст 10 с той же быстротой, что и прежде стали заметно ослабевать. Казаки объяснили мне после, что зимой этого не бывает, олени тогда бегут с одинаковой быстротой всю дорогу, а теперь весна — им жарко, жарко так же, как мне в двух шубах было едва впору.

Поздно ночью мы приехали на станцию, в жилую, даже чересчур, якутскую юрту, так как в ней помещались 2 семьи с ребятишками. Дальше по пути нигде не было задержек, везде на станциях имелись олени в достаточном количестве.

Через несколько дней мы проехали долину Туколана и добрались до перевала через Верхоянский хребет. Тут есть два перевала через Верхоянский хребет — новый и старый, первый отлогий, а второй, по которому нам теперь пришлось перебираться, чрезвычайно таки крутой и забираться на него можно было только на собственных ногах. Когда мы подъехали к горе, ямщики нарубили для нас палок, опираясь на которые путники облегчали себе подъем на гору. Казаки сняли с себя верхнюю одежду и оставались в одних куртках; предложили и нам снять с себя лишнюю одежду, так как ее все равно придется снять, поднимаясь на перевал. Впереди шли казаки, сзади мы. Гора была покрыта глубоким, но достаточно твердым снегом, так что ноги проваливались немного. Кое как добрались до середины и здесь, воткнув палки, как можно глубже в снег, старались отдышаться, чтобы хоть немного перевести дух, дальше идти было все круче, дыхание учащалось, и приходилось чуть не через каждые 5 шагов останавливаться. Первым взобрался на вершину молодой казак, а потом и мы, один за другим. Ямщики с оленями и нашими вещами тащились еще в стороне от нас. На вершине горы стоял деревянный крест, а на нем развешаны были кусочки красной материи, конские волосы и пр. — жертвы суеверных якутов за благополучный переход через хребет. — Таперича уже худое прошли, дальше до самого Верхоянска все пойдет, как по маслу, — говорит старый казак Большев.

— А дальше, в Среднеколымск как будет? — спрашивает его молодой казак, очевидно никогда там не бывавший.

— «Ну, что же, если не будет задержки, то и в Среднеколымск доедем по снегу, вот только наледи, т. е. полыньи, должны скоро появиться, если будет дружная весна».

Старику Большеву было уже за 50 л., а он все еще состоял на службе. Я как-то спрашивал, почему ему не дают отставки? Оказалось, что в якутском полку казаки служат от 16 до 60 лет.

Поднялись на гору, наконец, и наши ямщики с оленями. До станции оставалось верст 20 с небольшим, и мы скоро туда приехали, напились чаю и усталые повалились отдыхать.

Через несколько дней на одной из станций, недалеко от Верхоянска, мы встретили опять молодого Горохова. Оказалось, что Горохов ждал меня, чтобы увезти за 25 верст в сторону, где лежал больной его отец. После переговоров с казаками, решено было, что старик Большев поедет со мной, а молодой останется с Г—вым. Горохов приехал за нами на своих оленях. Это были рослые, жирные олени, которых называли «быками». Горохов предупредил меня, чтобы я крепче держался за нарту. И действительно, олени рванули и понеслись с такой быстротой, что нарта качалась из стороны в сторону, как утлая ладья на волнах. Не прошло и часа, как мы уже были у больного. На нарах с примощенной к ним скамьей, на высоко взбитых подушках лежал высокий старик с окладистой почти белой бородой. Это и был отец Горохова — Михаил Васильевич. Окладистая борода и большие черные глаза резко отличали его от окружающих якутов. Больной отрывисто кашлял, лицо у него горело. Я расспросил о болезни и выслушал грудь; оказалось, что он болен воспалением легких. Из разговора видно было, что этот типически русский человек затрудняется, как бы не находя слов, говорить по-русски и обращается по временам к сыну по-якутски, а тот мне переводит. Положение больного в виду его преклонных лет, хотя и было серьезным, но его крепкий организм и уверение сына, что отец его никогда не пил водки, давало надежду на выздоровление. Решено было что я напишу рецепт, с которым сын поедет в город и ночью или утром привезет оттуда лекарство. Мы хотели сейчас же уехать на станцию и стали прощаться, но больной забеспокоился и стал говорить сыну что-то по-якутски. Очевидно речь шла об угощении нас, так как молодой Горохов просил нас сесть за стол, на котором немедленно появились закуски и водка. Угощая нас, молодой Горохов говорил, что отец его почти постоянно живет в «якутах», т.-е. проживает в улусах, где, он, очевидно, вел торговлю. Выехали мы оттуда вместе, но молодой Горохов свернул тотчас же по проселочной дороге в город, а мы поехали на станцию. К вечеру того же дня мы были в 20 верстах от города и здесь ночевали в какой-то юрте,

так как наши казаки не хотели ночью беспокоить верхоянское начальство.

Последние 20 верст мы проехали незаметно. Не доезжая версты 2-3 до города, дорога спускалась на реку Яну, а у самого города вновь подымалась на так наз. церковный берег и шла [illegible], кончавшимся у первого городского дома. Проехав несколько таких домов с плоскими крышами и юрт, а также почерневшую от времени небольшую деревянную церковь, мы остановились у полицейского управления, где по случаю воскресного дня, никого, кроме сторожа, не было. Скоро, впрочем, пришел какой-то молодой человек в полицейской форме, как оказалось помощник исправника, самого же исправника не было в городе. Помощник исправника, приняв от казаков бумаги, застенчиво улыбаясь, сказал мне, что я теперь свободен и могу итти, куда мне угодно. Это было 13 апреля 1880 года.

Як. Белый.

Попытка освобождения народовольца Новицкого из Саратовской тюрьмы.

(16 августа 1882 г.).

Если 70-е годы являются «золотым веком народничества», то начало 80-х мы можем, поистине, считать его закатом. Наступили «скучные дни», героическое заволакивалось дымкой истории. Недаром так любят, говоря об этом времени, цитировать слова Каткова: «Господа, встаньте, правительство возвращается». Правительство, еще недавно так перепуганное террором, действительно возвратилось и натянуло узду репрессии по отношению ко всякому проявлению свободомыслия.

И лишь изредка воскресали былые традиции, лишь изредка в некоторых местах вспыхивали огоньки былого пафоса, отзвуки борьбы за освобождение «народа» от цепей самодержавия. Народничество пело в их лице свою лебединую песню.

Темой нашего очерка и является один из отзвуков народничества, имевший место в Саратове в начале 80-х годов.

Мы имеем в виду попытку освобождения народовольца Новицкого из Саратовской тюрьмы, совершенную Поливановым и Райко.

В делопроизводстве Саратовского губернского жандармского управления имеется по этому вопросу особое дело под заглавием: «о покушении на побег из Саратовского тюремного замка политического преступника Митрофана Эдуардова Новицкого (Машихина), при участии дворянина Петра Сергеева Поливанова и Михаила Дмитриева Райко (Дмитриев), и убийстве при этом тюремного ключника»[1]. Располагая этим «делом», а также теми сведениями, которые разбросаны по интересующему нас вопросу в воспоминаниях современников и непосредственных участников этого покушения на побег, попытаемся как дать его историю, так и познакомиться с его участниками.

Сделаем сначала последнее и остановимся прежде всего на Поливанове, о котором мы располагаем наибольшими, по сравнению с его товарищами, сведениями.

[1]) См. примечания позади текста.

Знаменитый шлиссельбуржец Николай Александрович Морозов, оставивший нам художественное, но не всегда исторически-точное, описание своей революционной деятельности в знаменитых «Повестях жизни» [2]), в IV томе последних рассказывает о своем знакомстве в эпоху так называемого Новосаратовского поселения (1878 г.) с Поливановым.

Вот внешний портрет последнего у Морозова: «юноша лет шестнадцати, с лицом чисто античной красоты, невольно останавливавшим на себе всякий взгляд, брюнет, с огромными, блестящими, полными внутренней мысли, карими глазами» [3]).

В Поливанове кипит юношеская, молодая кровь. «В старших классах всех наших учебных заведений, — говорит он Морозову, — много сочувствующих вам, но, к сожалению, они не знают, что могли бы предпринять. Тот кружок, к которому я принадлежу, завел знакомства с рабочими, но это нас не удовлетворяет, нам хотелось бы начать вооруженную борьбу. У нас всех есть уже и револьверы» [4]).

Немного позже кружок Поливанова нашел и объект для «вооруженной борьбы» в лице одного взяточника пристава, но Морозов разумно отговорил их от покушения [5]).

К данным выдержкам мы позволим сделать маленький корректив, а именно: в «деле» неоднократно указывается, что Поливанову в 1882 г. было 23 года, следовательно, в 1878 году он имел не 16, а 18—19 лет. Да и к тому же в воспоминаниях самого Поливанова есть такое указание: «я вспомнил весну 75-го года, когда мы (Степан Ширяев, Шиловцев, Бобохов и я) были редакторами революционного журнала, который издавал наш ученический кружок» [6]). Трудно, конечно, предполагать, чтобы в 13-ти летнем возрасте можно было быть редактором, хотя и ученического, но все же нелегального журнала.

Менее экспансивная, чем Николай Морозов, Вера Николаевна Фигнер дает следующий портрет Поливанова в своей прекрасной книге «Запечатленный труд»: «он был одним из самых симпатичных людей революционного лагеря, небольшого роста, он имел красивое смуглое лицо южного типа, с правильными чертами, и прелестные карие глаза газели. По натуре он был склонен к романтизму — в детстве мечтал, как, впрочем, часто мечтают мальчики, о военных подвигах и славе Наполеона. В 1878 году, будучи гимназистом, он отправился в качестве добровольца в Сербию завоевывать ее независимость» [7]).

Подобно Морозову, Фигнер тоже впервые познакомилась с ним в 1878 году в Саратове и, вспоминая это, говорит почти то же самое, что и Николай Александрович, но в несколько более сдержанном тоне, оттеняя молодость и увлечения Поливанова.

который, например, конспирацией только обращал на себя невольное внимание [8]).

В другом месте Вера Николаевна отмечает крайне болезненную вспыльчивость Поливанова [9]).

В богато одаренном юноше, отличавшемся замечательной памятью, талантами художника слова, как в прозе, так и в поэзии, несомненно были наследственные болезненные симптомы. В «деле» имеется прошение отца [10]), в котором он пишет, что мать его сына душевнобольная. Это было подтверждено перепиской, но медицинское освидетельствование, как видно из той же переписки, установило нормальность Поливанова. Можно предполагать, что ему, как дворянину по происхождению, пришлось нести в себе зародыши разложения вырождающегося сословия, однако, постоянно дававшего, как свидетельствует история, из своей среды представителей сложно-утонченного интеллекта болезненного, но в то же время и талантливого. Целый ряд тяжелых раздумий, неуемное кипение мысли, заколдованный круг «проклятых вопросов» привели Поливанова уже на свободе к самоубийству, подытожив последним его красочную, метущуюся, многострадальную жизнь.

В «выписке из дознания» («дело», стр. 68) имеются следующие интересные сведения о Поливанове: «(он) имеет порывчатый характер, пылкий и впечатлительный; из его поступков за время его нахождения в учебных заведениях особенно выдается следующий: проживая у учителя саратовской гимназии Геренбурга, он, будучи 16 лет, вздумал с другим своим товарищем испытать ощущение повесившегося человека; сначала он повесил своего товарища и, как только тот сказал «довольно», вынул его из петли, но когда очередь дошла до него самого, то он чуть-было не задохнулся и, будучи освобожден от веревки, находился некоторое время в обмороке».

Познакомимся, однако, с биографией Поливанова, с тем ее периодом, который предшествовал 1882 году, т.-е. году, в который он совершил попытку освободить Новицкого из тюрьмы.

Та же В. Н. Фигнер сообщает, что «Петр Сергеевич Поливанов—сын богатого помещика Саратовской губ.» [11]).

«Дело» дает нам несколько больше сведений, но чисто официального характера.

Отец Поливанова, Сергей Петрович, был отставным капитаном. Его жена, Евгения Александровна, по свидетельству мужа, «в самом непродолжительном времени после брака [стала проявлять] большие странности, обратившиеся впоследствии в положительное умопомешательство, вследствие которого, когда умопомешательство стало уже несомненно, была помещена заботами ее родных в лечебницу для душевно-больных в

Москве, где она и находилась, а может быть находится и теперь» (Курсив мой, как и везде. Стр. 28).

Нам кажется, что эти строки могут намекать, что отец Поливанова не отличался особенной любовью к жене.

Сергей Петрович имел землю в Балашевском уезде (стр. 63) и, видимо, жил у себя в имении. На это имеются указания и в «деле». Сын же был помещен в Саратовскую гимназию. Здесь он проучился до 6-го класса. В 1874 году, как сообщает «дело», он «вел сношения с лицами, принимавшими в то время деятельное участие в революционном движении, в том числе и с братьями Ширяевыми. В 1877 году кол. регистр. Павлом Трубецким был доставлен в саратовское жандармское управление шифр, списанный им у Поливанова».

Более подробные сведения о политической деятельности Петра Сергеевича находим в очерке Волкова «Из жизни Саратовских кружков» [12]).

Вот что пишет Волков: «В старших классах кружок образовался еще в 1874 году, в центре его стояли лица, участвовавшие на сходках, собираемых по призыву Рогачева [1], и его товарищей. Наибольшим влиянием среди членов этого кружка пользовались Степан Ширяев, С. Н. Бобохов и П. С. Поливанов. Направление в кружках было строго лавристское, по журналу «Вперед»». В другом месте Волков дает более подробные сведения о 1877 годе, т.-е. когда, по свидетельству жандармского управления, у Поливанова был списан шифр. «Летом 1877 года, — читаем мы в очерке, — на Армянской улице была нанята довольно большая квартира, на которой поселились Лавров, Поливанов и Майков, своим знакомым они разрешили приводить туда всех желающих, и каждый вечер в доме некоей вдовы Смиренномудренской у ее жильцов начали собираться гости всякого рода молодежи, в значительной части совершенно неизвестной самим хозяевам квартиры. Бывали тут и городские жители, и приезжие из провинции, и рабочие, и чиновники, и офицера, и учительницы, и просто бог знает кто... Каждый вечер на обсуждение ставилась какая-нибудь тема политического или утопического характера (в то время всех интересовал вопрос об основных чертах «будущего общества»), шли дебаты, желающим тут же раздавались нелегальные издания. Многие из посетителей квартиры втягивались в круг революционных интересов и примыкали к кружку, другие появлялись раз-другой, исчезали с горизонта, но, в общем, квартира никогда не пустовала, и «Хитрая Механика», журнал «Вперед» и т. п. издания расходились во множестве экземпляров и, передаваясь с рук на руки, исчезали неведомо где. К началу зимы продолжение такой деятельности стало невозможно, так как ясно было, что не сегодня-завтра должен последовать разгром. Квартира на

Армянской прекратила свое существование, а лица, которые там жили, вошли в соглашение с некоторыми своими товарищами и решили несколько обособиться» (стр. 9 и 10).

В 1878 г., как свидетельствуют наши источники, мы находим Поливанова уже в высшем учебном заведении. Вот что говорится в бумажке «для памяти», имеющейся в «деле». «Поступив затем в Медико-Хирургическую Академию, Поливанов, проезжая в апреле 1878 г. через Москву, принимал участие в беспорядках, бывших при встрече студентов, высланных из Киева, и привез в Саратов несколько экземпляров отчета по процессу Мышкина социально-революционного содержания» (стр. 25). Остановимся пока на этом и укажем, что жандармское управление знало не все, а то, что знало, освещало кратко и далеко не точно.

Вот что пишет более осведомленный Волков, говоря об этом же периоде: «Поливанов, бывший по делам кружка в Петербурге[14]) во время процесса Веры Засулич (24 января 1878 г. В. С.), участвовал в уличной свалке при объявлении приговора, а на пути из Петербурга остался на лишний день в Москве для того, чтобы принять участие в встрече киевлян, высылавшихся в Вологодскую губернию, что окончилось, как известно, побоищем в Охотном ряду, при котором Поливанов и саратовец Сергей Малышев значительно пострадали».

Теперь продолжим наше ознакомление с запиской «для памяти».

«По возвращении в том же году, — читаем мы в ней, — из Саратова в Петербург Поливанов совместно проживал там с Шиловцевым и был знаком с мещанином Срывалиным, в то же время, по агентурным сведениям, Поливанов отослал в Саратов около 15 экземпляров газеты «Земля и Воля». При производстве дознания о беспорядках в ноябре 1878 г. между студентами выяснено, что у Поливанова происходили сходки; принимал деятельное участие в беспорядках, он был в числе студентов, подававших просьбу наследнику цесаревичу. При обыске у Поливанова найдены революционные издания и запрещенные сочинения. В декабре 1878 г. Поливанов выслан административным порядком под надзор полиции в Вологодскую губернию. 29 августа 1880 г. освобожден из-под надзора с воспрещением проживать в столицах, в столичных и Таврической губерниях» (Ibid., стр. 25, 26).

Волков сообщает, что Поливанов после возвращения из ссылки «был принят с распростертыми объятиями» саратовскими народниками. К этому времени здесь образовался кружок[1]), который завязал сношения с Исполнительным Комитетом и стал называться «Саратовским центральным кружком партии Народной Воли». Он проявил усиленную деятельность в отношении

пропаганды своих идей среди различных социальных групп. Центр поддерживал кружок силами. Так, например, для занятий с рабочими был прислан в начале 1881 года Л. М. Коган-Бернштейн, который, однако, должен был бежать в Москву от преследований полиции. Вместо него был прислан Новицкий, т.-е. как раз участник того дела, с которым мы пытаемся ознакомиться.

Сообщим поэтому о нем теперь то немногое, что известно по нашим источникам *).

Наиболее подробные сведения о нем мы находим в «деле».

В сущности же из дознания говорится, что им даны следующие показания, которые нам интересны, как типичные для революционера-народника. Мы поэтому приведем их с возможной полнотой.

Митрофан Данилович Новицкий происходит из дворянской семьи Орловской губернии. Родился 23 ноября 1855 года. До 1866 года учился дома, а затем поступил во 2-ю Харьковскую гимназию. Однако из 5-го класса гимназии вышел, желая поступить в Ветеринарный институт, но не привел это желание в исполнение, так как, по его мнению, «познания, которые он мог бы приобрести там, не возвратили бы народу то, что стоило ему его Новицкого, образование». Следуя далее заветам народничества, желая быть последовательным во всем, Новицкий выбирает для изучения сапожное ремесло, существуя на заработки от уроков. С 1876 г. по 1878 г. он проходит пешком Харьковскую, Полтавскую, Екатеринославскую губернии, а также Кубанскую область и землю Войска Донского. Здесь он работал на каменноугольных шахтах Русского Общества Пароходства и Торговли. Но так как на шахтах, по словам самого «дела» «весьма спорных очень много и с ними обращаются слишком бесцеремонно... вместо договорного рубля за 12 часов работы им платят 20—30 коп. и делают другие притеснения», то, оставив шахты летом 1878 г., Новицкий пошел через землю Войска Донского на Астрахань и Царицын, работая на пристанях, и в Саратов добрался уже на пароходе в июле того же года. Когда, еще будучи в шахтах, он получил приглашение от какого-то своего знакомого, которого он не назвал, прибыть в Саратов, чтобы присоединиться к находившейся уже здесь компании, задавшейся целью оседло поселиться среди народа, чтобы изучить его жизнь, стремления, идеалы и стараться найти выход из того, будто бы печального положения, в котором он находится. Можно предполагать, что

*) Настоящая статья была написана в 1923 г., вследствие чего автор не мог использовать в ней биографические сведения о Новицком, приведенные в статье А. Макаревского «М. Д. Новицкий», помещенной в № 1 (8) «Каторги и Ссылки» 1924 г.

Ред.

Новицкий был привлечен так называемым новосаратовским поселением, в состав которого, как известно, входили сестры Фигнер, Богданович, Квятковский, Иванчин-Писарев, Соловьев и другие. Даты, по крайней мере, говорят за это. По прибытии в Саратов Новицкий поселяется в горной части города («на горах», как говорят в Саратове) и занимается сапожным делом. Однако, он скоро бросает город и отправляется в «народ». В уездах Саратовской губернии он продолжает заниматься сапожничеством и мелкой торговлей. В августе 1880 г. вновь устраивается в городе, живет у некоего мещанина Славина и, занимаясь мелкой торговлей, ездит по уездным ярмаркам. В конце зимы или начале весны 1881 года Новицкий покидает Саратов, отправляясь вверх по Волге, желая найти работу по постройке Саратовского моста, но опаздывает, а поэтому идет дальше, добираясь до Казани. К концу 1881 г. Новицкий возвращается в Саратов с твердым намерением достать себе паспорт на имя Машихина, который, как было ему известно, бежал в свое время в Турцию, не имея возможности выплатить недоимки. Новицкий вносит причитающиеся с Машихина 40 рублей и получает документы, которые, как он предполагал, дадут ему полную возможность поселиться в деревне. В конце января 1882 года он поехал в Москву к товарищам, но был арестован (15 февраля) «в квартире отставного мичмана Буланова» [16].

И вот, гласит «Выписка», «по распоряжению производящего по высочайшему повелению дознания о государственных преступлениях, генерал-майора Федорова, 23 июня был прислан в Саратов арестованный, называвший себя Саратовским мещанином Зиновием Степановым Машихиным (Новицкий) для установления его личности» [17].

Кроме вышеизложенного, жандармскому управлению было еще известно, что Новицкий жил у Славина с «какою-то женщиной».

Не трудно догадаться, что Новицкий был весьма скуп в своих показаниях. Это еще более выявится, когда мы поделимся лишь только с крайне скудными сведениями, какие имеются о нем, уже в неоднократно цитированном нами, очерке Волкова.

Прежде всего Новицкий относится Волковым к разряду «чистых» народников и упоминается в числе революционеров, приехавших в Саратов в 1877 году, «решивших расселиться по деревням Поволжья и Урала». В числе этой группы мы находим и «какую-то женщину», т.-е. Демчинскую, ставшую его супругой. Последняя имела конспиративную квартиру на Камышинской улице (стр. 10) [18].

Вместе с тем Волков говорит, что Новицкий работал в Саратове по директивам центра, заменив Когана Бернштейна, а затем, выехав на короткое время в Москву, был арестован на квар-

тире Я. В. Стефановича. В выдержке же из отношения начальника жандармского управления г. Петербурга от 20 августа 1882 г. сказано, что «Новицкий и Стефанович задержаны почти вместе». Это, видимо, и дало повод думать Волкову, что Новицкий был арестован на квартире у Стефановича. Вера Николаевна тоже говорит, что Новицкий был арестован у Буланова (т. I, стр. 253).

Эти краткие сведения с несомненной очевидностью свидетельствуют, что Новицкий был довольно видным членом революционной организации, работавшим по ее заданиям, выполнявшим ответственные поручения. И ценился, видимо, не только центром, но и в провинциальном Саратове, где был известен своей смелостью и последовательностью убеждений. Не только «мягкостью» характера Поливанова можно объяснить попытку освободить его из тюрьмы, но, главным образом, тем, что в лице Новицкого организация теряла испытанного и опытного товарища. Вместе с тем и данный период революционного движения, испытавшего сильнейший разгром после «казни Александра II», заставлял особенно ценить активных работников, каким несомненно являлся Новицкий. К тому же «покушение на побег» было произведено не одним только Поливановым, а по инициативе и при участии Райко.

Познакомимся для полноты картины несколько ближе и с последним.

Сведения о нем придется почерпнуть только из «дела».

Саратовский жандармский полковник Гусев 24 августа 1882 года писал в департамент полиции о Райко следующее. «Поливанов во вновь данном показании объяснил, что называвший себя Дмитриевым, совершенно ему неизвестный до прибытия своего в Саратов, открылся ему здесь, что он Дмитрий Иванов Райко, сын купца, воспитывался в Симферопольской гимназии, в 1879 г. был арестован и привлечен в Симферополе к дознанию по политическому делу и затем препровожден в тюремный замок в г. Одессу. Дело о нем окончилось в 1880 г. административной высылкой его в Астраханскую губернию в г. Мезень и оттуда, по распоряжению г. министра внутренних дел в начале этого года (1882) он переведен в г. Царев, Астраханской губернии. Вследствие возбужденного в г. Цареве против Райко какого-то дела, он из этого города бежал, пробыл несколько дней в Царицыне, затем находился в Москве, откуда прибыл в Саратов в конце июня и, познакомясь с Поливановым, жил у него на квартире».

Вскоре сюда прибыл и таинственный «молодой человек» Петр Михайлович, который привез Райко 150 рублей. Затем он съездил в Тамбов и привез еще 250 рублей и просил устроить на эти деньги побег Новицкого, на что Петр Сергеевич и согласился.

Поливанов в своих показаниях утверждал, что ему ничего не известно о Петре Михайловиче, который даже не сообщил ему, где он живет в Саратове.

Отношение департамента государственной полиции вносит некоторые дополнения и коррективы к прежним данным. Выясняется, что во время обыска в Симферополе у Райко были найдены фотографии Осинского и Антонова, а также установлено, что он был знаком с революционными деятелями. «В виду изложенного, как гласит отношение, по распоряжению временного Одесского генерал-губернатора Райко был выслан в 1880 в Архангельскую губернию и оставлен, по постановлению Особого Совещания от 24-го октября 1881 года, под надзором полиции на $2^1/_2$ года. Затем в декабре 1881 г. вследствие болезненного состояния он был переведен в Астраханскую губернию и 21-го мая 1882 г. скрылся из г. Царева».

Мы намеренно подчеркиваем болезненность Райко, который, как известно, умер от побоев толпы или полиции во время попытки освободить Новицкого, но об этом позже.

В «деле» есть еще и ряд запросов о выяснении личности Райко, но интересных сведений они не прибавляют, а поэтому мы их опустим.

Перейдем теперь непосредственно к попытке освободить Новицкого из тюрьмы.

В своих воспоминаниях [19]) Поливанов замечает: «последнее время жизни на воле я стал прихварывать. Появился у меня катарр желудка, развинтились нервы, привязалась перемежающаяся лихорадка, в пароксизме которой мне даже и пришлось ехать на злополучное освобождение Новицкого».

Мы предваряем намеренно этой цитатой изложение истории самого покушения, ибо думаем, что она проливает некоторый свет на утверждение В. Н. Фигнер, что Поливанов «при этой попытке, в состоянии исступления убил сторожа» [20]).

Жандармское управление рисует следующую картину «покушения на побег».

Как нам уже известно, Райко предложил Поливанову освободить Новицкого из тюремного замка, на что Петр Сергеевич и согласился. Райко стал наблюдать за тюрьмой и заметил, что Новицкого выводят на прогулку в тюремный сад. Поливанов проверил эти сведения на личном опыте, и они решили после этого привести свой план в исполнение. Были привезены деньги из Тамбова. После этого они приобрели «в оружейном магазине Онезорге два однокалиберных револьвера системы Смита Вессона и к ним три коробки патронов, 150 штук». 15-го августа ими была куплена лошадь, а также тележка и сбруя. После покупки они испытывали лошадь, катаясь по пустынным улицам города. «На утро, т.-е. 16-го августа, Поливанов и Райко снова

вместе отправились на лошади по городу, проезжая улицы близлежащие к тюремному замку. Таким образом, они показались Новицкому около 6 часов пополудни, чтобы он понял их намерения. Затем вторично уже встретив Новицкого на конце дорожки сада, у заднего угла его, они подвигались вперед настолько, насколько шел по дорожке арестованный. Доехав до въезда, ведущего в замок, тележка остановилась, и Новицкий, тем временем дошедший уже до конца дорожки к тому же въезду, побежал к тележке, а сопровождавший его на прогулке ключник Килун бросился за беглецом и был уже почти у заднего колеса тележки, когда Новицкий вскочил в нее. Поливанов, сидевший первым, два раза выстрелил в тюремщика и нанес ему две безусловно смертельные раны в правую сторону груди. Раико же правил лошадью. В это время ехавший с вокзала железной дороги на извозчике купец Кадисов, услышав сзади себя выстрелы, обернулся и увидел около въезда в замок упавшего человека, тележка же промчалась с тремя седоками мимо него вперед, тогда Кадисов с криком «держи убийц» погнался за преступниками. Лишь только тележка поравнялась с другим углом фасада тюремного сада, Поливанов выстрелил третий раз по направлению догонявшего их Кадисова и тут же бежавшего полицейского постового, но этот выстрел, впрочем, никого не задел. При повороте на следующую улицу, сзади замка, тележка опрокинулась и преступники все трое выпали из нее. Наскоро оправившись, Поливанов обменялся прощальным поцелуем с Новицким, и все они побежали: Раико и Поливанов по левой стороне улицы, а Новицкий бросился вправо. Тем временем толпа росла и густела. Первым был пойман Новицкий, второго Поливанова, задержал отставной солдат Цыганов, которого Раико здесь ранил пулей на вылет в бедро, отчего солдат этот ходит теперь на костылях, хотя рана его уже теперь зажила. Тут у Поливанова был отобран револьвер, в котором оказались три выпущенные заряда и кинжал, которым он был опоясан, а из кармана высыпались 19 револьверных патронов. Между тем Раико, чтобы отвлечь внимание толпы, пошел тихо, но извозчик, ехавший с Кадисовым, продолжал преследование его с криком «держи, держи», так что в 70—80 шагах от того места, где пойман был Поливанов, схватили и Райко. Разъяренная толпа била преступников, как могла, так что Раико, прежде чем был привезен в часть, по дороге умер. В тот же день, 16-го августа, умер и тюремный ключник Андрей Семенов Килун».

Далее подробно рассказывается, что было найдено в тележке, но эти сведения мы опускаем.

В сущности то же самое сообщает и Волков. Он только подчеркивает несообразительность публики, задержавшей беглецов, с чем, конечно, спорить не приходится. Вместе с тем, конечно,

у Волкова и другой тон в изложении; достаточно хотя бы указать на справедливое его замечание, что данная попытка действительно была «отчаянной по своей смелости». Что же касается до его утверждения, что инициатива побега принадлежала Поливанову, то здесь он несомненно ошибается. Даже беглое знакомство с «делом» говорит совершенно о другом [22]).

В журнале «Былое» [23]) была помещена в свое время заметка доктора Попялковского: «О смерти Мих. Дмитр. Райко». Она представляет значительный интерес и, если и не категорична в своих выводах, то во всяком случае дает основания не особенно доверять и официальному источнику, каким является «дело».

Попялковский рассказывает следующее: «В полицейском сарае на столе лежал труп молодого человека в новой суконной поддевке, запачканный кровью. Интеллигентное лицо, белое тело с тонкой кожей, в особенности тонкое нижнее белье выдавало, что под кучерской поддевкой кроется не простолюдин. Отсутствие медицинских познаний в то время лишало меня возможности сознательно следить за актом судебно-медицинского осмотра и вскрытия. Помню, однако, что наружных повреждений (ссадин, кровоподтеков, синяков) на теле не оказалось, и что по заключению врача, производившего вскрытие (М. С. Белявского), смерть последовала от нанесенной конвойным огнестрельной раны в голову *). Рана, нанесенная Райко, несомненно была смертельною, и потому сообщение, будто Райко и Поливанов, вскочившие на ноги, пытались прорваться, грешит против истины. Сопоставляя в своей памяти слышанный тогда мною рассказ Б[illegible]ского о побеге с данными вскрытия, насколько они уцелели в моей памяти, я предполагаю, что, по всей вероятности, раненый смертельно Райко, падая из тележки, судорожно натянул или рванул вожжи, отчего тележка опрокинулась... Новицкий и Поливанов могли встать на ноги и, отстреливаясь, пытаться прорваться сквозь цепь преследователей, но Райко, смертельно раненый, вероятно лежал уже без сознания. Совершенно спокойное его лицо, как сохранилось оно в моей памяти, неискаженное предсмертной судорогой, говорило скорее даже за то, что смерть, вероятно, была моментальной. Возможно, конечно, что вместе с Поливановым и Новицким подвергался жестоким побоям и испускающий дух Райко, но расправа могла быть совершена, очевидно, уже над трупом».

Но даже и В. Н. Фигнер, которая очень близко знала Поливанова по совместному сидению в крепости, не разрешает этого вопроса, говоря: «Райко, по одним рассказам, умер от побоев.

*) М. Ф. Н[illegible] категорически отрицает эту версию. См. помещенную выше статью А. Макаревского, стр. 213.

Ред.

нанесенных полиции, причисляли устроителей побега за грабителей, а по другим — от огнестрельной раны в голову при вооруженной схватке с конвоем» [24].

Так или иначе, но оставшимся жить, т.-е. Новицкому и Поливанову, был вынесен смертный приговор, который был заменен каторгой.

Новицкого сослали на Кару, а Поливанов попал сначала в Алексеевский равелин Петропавловской крепости, а затем в Шлиссельбург [25].

В своих воспоминаниях Петр Сергеевич делает беглую заметку о своем заключении в Саратовской тюрьме, говоря: «Мне казалось, что власти, в виду особого характера моего преступления, решили не держать меня в провинциальном остроге, а запереть куда-нибудь покрепче, но раньше я этого не думал, основываясь на словах Толстого (м-ра вн. дел), который сказал сестре Новицкого, что нас будут обоих держать в Саратове до весны. Правда, я колебался в своем доверии к словам Толстого, когда вскоре после объявления замены (я был осужден 21-го сентября 1882 г.; 19-го октября была объявлена замена, а 25-го октября меня увезли) ко мне зашел губернатор (губернатор Саратова, Алексей Алексеевич Зубов, кузен моей матери, значит, мой двоюродный дядя) и начал плакаться, что ему из-за меня было много неприятностей, что он уже просил, чтобы меня убрали поскорее, а моему отцу он говорил, что теперь, может быть, уже со всех четырех сторон ведут подкопы под острог, что он боится каких-либо новых происшествий, ибо у людей, как я, способных на такое самопожертвование, всегда есть подобные же преданные друзья. Тогда я только посмеялся над его кудахтаньем» [26].

«Дяденьке», впрочем, пришлось и в официальной переписке «посодействовать» выдворению «политического преступника» Поливанова из Саратова. В «деле» имеется его отношение, в котором он ссылается на распоряжение департамента полиции, а также и Толстого о том, чтобы Петр Сергеевич был отправлен в центр «под надежным жандармским конвоем» [27].

«С гибелью Поливанова, — заключает свой очерк Волков, — закончилась активная роль того кружка саратовцев, которые примкнули к движению в половине 70-х годов» [28].

В нашу задачу не входит изложение дальнейшей судьбы Поливанова и Новицкого.

Однако, я полагаю, что мы не совершим большого преступления, если, на основании изложенного материала, выскажем предположение, что В. Н. Фигнер в своем «Запечатленном труде» в главе «Переписка» говорит именно о Поливанове следующее: «В семье другого было еще хуже, там был полный развал. Мать, душевно больная, уже много лет содержалась в психиатриче-

ской лечебнице, отец помещик умирал от тяжелого недуга, в одиночестве, в провинциальной глуши, в своем имении, чужие люди окружали его, думая о наследстве, две сестры находились во вражде и не встречались друг с другом, а третья, отчужденная от них, опустилась на низшую ступень социальной лестницы. В жизни все это развертывалось годами, постепенно, а теперь падало одним взмахом, как удар молотка на голову узника» [29]).

«Впечатлительный, глубоко все переживавший Поливанов, к тому же крайне вспыльчивый, однажды, как передает Вера Николаевна, «хотел зарубить в крепости топором жандармов, но был обезоружен товарищем» [30]).

Эта же нервозность и бессилие бороться за право жить повели его к самоубийству уже на свободе.

«Поливанов, — пишет все та же Вера Николаевна, покончил с собой за границей. Переживания Шлиссельбурга высосали все жизненные силы, в нем они истратили всю способность сопротивляться неудачам и несчастиям жизни и ему нечем было жить» [31]).

Нам кажется, что стихотворение «Кошмар», написанное Петром Сергеевичем в 1891 году [32]), дает нам представление о его душевном состоянии.

Вот это стихотворение:

«Что со мной? Тоска, смятенье,
«Безотчетное волненье,
«Я не в силах встать.
«Сердце нервно замирает,
«Пот холодный выступает
«Нечем мне дышать.
«Веет сыростью могилы,
«Тускнет взор, слабеют силы,
«Мрачно впереди.
«Все, что в мысли шевелилось,
«Мглой, как саваном, покрылось,
«Замерло в груди» [33]).

В. Сушицкий.

Примечания.

1) Дело № 70. По описи № 36. По части наблюдательной. За 1882 г. Начато 21 июня 1882 г. Кончено 16 марта 1882 г. (Ошибка: 1883 г. В. С.) На ста семнадцати листах (с 71-й до 82-й страниц нет. В. С.).

2) О преобладании у Морозова художественного элемента над историческим в «Повестях жизни» смотри заметку С. Мельгунова «Встречи. Г. А. Лопатин» («Голос Минувшего» 1920—1921 г.).

3) Николай Морозов. «Повести моей жизни», т. IV. Задруга. Москва, 1917 г., стр. 25.

4) Ibid., стр. 28.

5) Ibid., стр. 37.

6) П. Поливанов. Отрывок из воспоминаний. См. «Вестник русской революции» № 4. 1905 г. В. I. Изд. Партии с.-р. Стр. 85.

7) Вера Фигнер. «Запечатленный труд». Изд. «Задруга». Москва, т. II, стр. 134 — 137.

8) Ibid.

9) Ibid., стр. 92.

10) Стр. 28.

11) Т. II, стр. 134.

12) Н. Волков. Из жизни Саратовских кружков. См. «Былое». Вып. I (1903 — 1904 г.). Ростов-на-Дону. 1906 г., стр. 78.

13) Рогачев приезжал в Саратов именно в этом году. Его товарищи: Войнаральский, Ковалик, Фаресов, Янышевский (см. письма Ширяева к редактору «Вперед». журн. «Былое». Вып. I (1903 — 1904 г.г.), стр. 24).

14) Вероятно, студентом Поливанов стал с осени 1878 г., ибо, как мы помним по воспоминаниям Морозова и В. Н. Фигнер, еще летом он был гимназистом.

15) В состав членов кружка входили М. П. Троицкий, Малинов (Саратовец), Дубровин, А. П. Ювенальев, Е. Х. Гомилова и др.

16) «Дело» стр. 65 — 66.

17) Ibid., стр. 64.

18) Это подтверждается и В. Н. Фигнер. См. т. I., стр. 322.

19) Стр. 64.

20) Т. II, стр. 135.

21) «Дело», стр. 64 — 65.

22) Стр. 21.

23) «Былое» 1906 г. № 10, стр. 78 — 79.

24) Т. I, стр. 322.

25) Т. II, стр. 135.

26) Стр. 10.

27) «Дело», стр. 102.

28) Стр. 21.

29) Т. II, стр. 129.

30) Т. II, стр. 92.

31) Т. II, стр. 16.

32) Поливанов только в 1902 г. [illegible] крепости в Степное генерал-губернаторство. В начале 1903 г. он бежал.

33) Львов-Рогачевский. «Революционные мотивы в русской поэзии». Тула. 1921 г. Госиздат, стр. 104 и сл.

Отдел III.

ЛИКИ ОТОШЕДШИХ.

Сергей Александрович Жебунев.

Жебунев родился около 1850 года; он принадлежал к богатой дворянской семье. Революционно-народническое движение 1873 г. застало его за границей, в Цюрихе. Он в то время состоял в кружке своих братьев Николая и Владимира. Если я не ошибаюсь, то главой кружка можно было назвать Николая, а Сергей был сердцем кружка. Жебуневский кружок вначале относился к революционному движению молодежи в той форме, в какую оно выливалось, отрицательно. Революционеры прозвали кружок обществом или орденом сен-жебунистов и относились к нему несколько иронически. Жебуневы тоже хотели перестроить современное общество, но не чисто революционным путем, а посредством пропаганды в среде интеллигенции своих человеколюбивых идей. Между прочим, кружок отрицал анархию, которой увлекалось тогда большинство революционной молодежи. Задачи его сводились в сущности к познанию действительного народного блага при посредстве науки. В кружок входили также лица, не принадлежащие к семье Жебуневых.

Сергея Жебунева можно было бы, с известной точки зрения, назвать кающимся дворянином, но люди этой категории большей частью только каялись, наводя уныние на окружающих, и ничего не делали. Сергей же, собственно говоря, по своему поведению, не имел ничего общего с кающимися: он, если хотите, давно раскаялся в дворянских традициях, которые мог признавать в детстве, и являлся убежденным проповедником новой жизни. Я не в состоянии точно передать программы сен-жебунистов, но, по словам обвинительного акта по процессу 193, они находили, что «в России, стране земледельческой, народное благо осуществимо единственно путем развития сельских общин, почему и признавали своей задачей содействовать, с одной стороны, улучшению сельского хозяйства, а с другой, внося в народ социальные идеи и поднимая умственный его уровень, приготовлять народ к борьбе с буржуазией». Для выполнения этой задачи члены кружка разъехались из Цюриха еще в феврале 1873 года, а в ноябре того же года Сергей уже категорически заявлял, по словам обвинительного акта, что их кружок «радикально изменил свои убеждения и, придя к за-

ключению, что только посредством революции можно достигнуть каких-либо результатов, перешел с пути мирного прогресса на путь революционный». Вскоре после этого времени Николая Жебунева уже не было в России, а Владимир тоже примкнул к революционной деятельности и судился по процессу 193, вместе с Сергеем, но был оправдан.

В ноябре 1873 г. в Киеве собирался съезд довольно обширного кружка, к которому принадлежал Сергей. На этом съезде выработана была общая программа деятельности в таком же роде, как и других пропагандистов-революционеров, в частности съезд постановил (см. обвинительный акт): а) группами расселиться по России, б) организация должна быть вполне федеральная, в) не составлять никакого общества, подобного «нечаевцам», г) войти в сношения с другими кружками революционеров для передачи книг, брошюр, прокламаций и для взаимной поддержки, д) не вести между собой переписки о революционном деле, е) не действовать на массу, ж) если кто будет сельским учителем, то не действовать в школе и вообще где бы то ни было публично на массу, а быть по наружности вполне благонамеренным, з) в отношении религии, обрядов, приличий и пр. не нарушать существующих понятий, и) о царе крестьянам ничего худого не говорить, к) действовать путем разговоров с отдельными личностями, находить в селах людей протестующих и обращать их в революционеров, л) знакомить и соединять такие личности для того, чтобы в случае восстания поднялось разом много сел и м) в городах действовать на артели, пропагандируя восстание под видом обучения грамоте.

Из этого постановления, в принятии которого участвовал и Сергей Жебунев, видно как резко изменил он свой образ мыслей после участия своего в «ордене» сен-жебунистов. Он признал программу, мало отличающуюся от анархической, хотя, по его собственным словам (см. «Былое», май 1907 г.), он и его близкие друзья находились вне влияния Бакунина и воспитывались под впечатлением легальной литературы.

Пробыв некоторое время в Киеве, Сергей Жебунев переехал в Одессу, где, между прочим, сблизился с кружком Волховского и был знаком с Желябовым, бывшим членом этого последнего кружка. В Одессе, как и в Киеве, Сергей отдался весь революционному делу. Он пользовался всегда любовью и доверием товарищей. Самой последней личностью, о которой он менее всего заботился, был он сам. В статье своей он, между прочим, рассказывает, что, живя в ссылке в Сибири, он получал от родных 40 р. в месяц и все раздавал товарищам, оставляя себе только на чай и сахар.

В семидесятых годах довольно часто замечалось, что выходцы из дворянства и буржуазии, прошедшие через револю-

ционно-интеллигентскую школу, совершенно отрешались от той среды, из которой они вышли, так что самый строгий наблюдатель не мог бы открыть в них ни единой черты того класса, к которому принадлежали их родители. К числу таких людей принадлежал и Сергей Жебунев. Кроме того, перенеся в начале своей деятельности крупную ломку в жизненной программе, он все время оставался стойким хранителем революционно-народнических традиций 70-х годов.

После съезда кружка в Киеве Сергей Жебунев отправился на пропаганду в Конотопский уезд Черниговской губернии. По рекомендации Стефановича, он получил место в с. Кошары, где состоял помощником сельского учителя — учителем был Трудницкий, который потом выдал весь кружок. По переезде в Одессу Сергей не искал себе учительского места, а, поселившись на квартире вместе с Кацем, занимался бондарством, третий же их сожитель, Глушков — столярным ремеслом. В Одессе брат Сергея — Николай имел собственную кузницу, которую перевел потом в село, но Сергей, повидимому, не занимался в ней. Бондарное же ремесло он изучал с тою же целью, как и все народники-революционеры того времени, а именно, чтобы явиться в народ не в виде бар, а в качестве простых рабочих.

В кружок Жебуневых вошел некий Трудницкий, имевший собственное состояние и соглашавшийся для пользы дела продать принадлежавшее ему имение. Потом этот Трудницкий выдал всех, кого знал, и сам через некоторое время лишил себя жизни. Сергей был арестован в 1874 г., вероятно, в конце лета, просидел в предварительном заключении около 4 лет и затем в 1878 г. был осужден по процессу 193 особым присутствием правительствующего сената на житье в Тобольскую губернию с лишением всех особенных прав и преимуществ.

О дальнейшей жизни Сергея Жебунева мне ничего неизвестно. Из воспоминаний Сергея я знаю только то, что он придавал значение пропаганде среди уголовных и, будучи в ссылке, сам занимался этим. На воле кружок Жебуневых, повидимому, также интересовался этим вопросом и на съезде в Киеве предполагали поднять его.

С. Ковалик.

Сергей Жебунев и Кобиев.

В 1873 г., когда уже мы, москвичи, перешли к занятиям с рабочими, а мне передали небольшую артель на [illegible] пучих [illegible] недалеко от Хитрова рынка, и чтобы было ближе ходить, поселился тут же в одних номерах сомнительной чистоты во всех отношениях. Достоинство этих номеров состояло в том, что тут не спрашивали паспортов и совершенно не обращали внимания на то, что среди жуликов поселился студент. Бедность загоняла сюда и не студентов. Словом, жить было спокойно, и вот в конце лета как-то ко мне вдруг сваливаются Кобиев и еще неизвестный мне молодой, худощавый, нервный, подвижной человек. Кобиева я знал, а молодого человека он представил мне, как Сергея Жебунева. Оба они учились в Швейцарии, а теперь, по их словам, бросили, так как нечестно углубляться в науку и думать лишь о своей карьере, — надо это бросать и скорее приниматься за простой народ, надо его вытаскивать из темноты на божий свет. «Мы сделаем это, будем усиленно творить везде пропаганду революционных идей, нас целая компания. Читаем за границей только «Отечественные Записки», мы все как-то сразу пришли к выводу, что мы обязаны вернуться в Россию и немедленно приняться за работу в деревне. Одни уже уехали, а мы двое заехали узнать, как обстоит дело в Москве». Кобиева я знал еще по гимназии. Он был сын генерала из Грузии и к нам в гимназию попал поздно в последние классы. Учился неважно, но примкнул сразу к кружку наиболее радикальному. По окончании гимназии, под влиянием нечаевского процесса, он в 71 г. так же, как и я, очутился в Петровской Академии, и мы целой компанией ставропольцев зажили сначала вместе даже, но вскоре новые петровские порядки разочаровали многих, и мы начали разбредаться. Кобиев в начале 72 г. уехал за границу, — туда в тот год была большая тяга, — и о нем пропал и слух, а теперь он вдруг вынырнул и, казалось, пришел к тому же выводу, как и я. Однако, я не решился посвятить их в наши московские дела, не сказал, что состою членом революционного кружка, а ограничился лишь общими неопределенными фразами, что люди не спят, а понемногу двигаются. О том, что мы в Петровках начали устраи-

вать литературные вечера и хлопочем о выработке своего миросозерцания — он знал и понял, что все, значит, продолжается. Поэтому они стали оба просить поддерживать с ними сношения, переписываться и сообщить, если что случится. Дали свой адрес и т. д. Затем перешли мы к более простым личным темам. С. Жебунев вдруг и спрашивает меня, а что это у вас за книжка, что вы больше читаете? Я как-то не нашелся сразу одним словом охарактеризовать такие книги, как Спенсер, Бокль, Дреппер, Лавров, Милль, Соколов, и бухни вдруг: «Да такие, которые более специальный какой-нибудь вопрос разрабатывают». «Как? Это в такое-то время и вы находите возможным тратить на чтение специальных книг? Это мерзко! Подло просто!» — вдруг неожиданно разразился мой нервный гость. Милейший Сережа, он так горячо, искренне выругался, что я даже не обиделся, увидев сразу, что под словами специальные он разумел книги по академическим предметам, и потому нарочно спрашиваю: «А вы читали, например, «Отщепенцев»?» — «А, это другое дело. Я-то, выходит, не так вас понял». И мы почти всю ночь тогда проговорили, а о чем — я теперь, конечно, не помню. Только знаю, что впечатление у меня осталось о нем, как о милом и искреннем человеке, горячо преданном революции. На другой день они уехали. Раза два мы перекинулись письмом, а затем их скоро забрали всех. К моему огорчению я узнал, что они провалили и меня, внеся в список своих членов. У них оказался предатель.

М. Фроленко.

Памяти ушедших.

I.

Николай Алексеевич Желваков.

4 или 5 апреля 1881 года я зашла к Н. М. Саловой, жившей на Петербургской стороне. По поручению Исполнительного Комитета «Народной Воли» Неонила Михайловна вела сношения с петербургской молодежью, и не только с кружками учащихся, но и с отдельными лицами, которые обращались к комитету по поводу каких-либо дел.

В это утро Н. М. встретила меня возгласом: «Как хорошо, что вы пришли, в той комнате вас ждет молодой человек, которому непременно надо вас видеть», и добавила вполголоса: «Лично я его не знаю, но он пришел с наилучшими рекомендациями, и вы можете вполне доверять ему».

Соседняя комната была очень маленькая, в одно окно. Диванчик, перед ним овальный стол, еще столик у окна и 2—3 стула составляли убранство этой гостиной, где Салова принимала деловых посетителей. Когда я вошла, я увидела сидящим в углу дивана молодого человека. Это был Желваков. Он встал, чтобы поздороваться, и обнаружил свой высокий рост. Я взяла стул и села против него. Желваков заговорил торопливо и взволнованно. Первые его слова были: «3 го апреля я был на Семеновском плацу, я видел казнь первомартовцев от начала до конца». «Зачем вы трепали свои нервы», сказала я, сочувственно глядя на его подергивавшееся от волнения лицо.

«Это было не напрасно, ответил юноша. Ничего другого в тот момент я не мог сделать. Мне казалось, что, если на площади будут сочувствующие им люди, — им легче будет умереть». Потом он рассказал о потрясающем впечатлении, какое произвела казнь, и кончил тем, что произнес: «тогда же на площади я дал себе самому клятву умереть, как они умерли, совершив террористический акт, который послужит к подрыву самодержавия».

Начала я доказывать, что в такие молодые годы, как его (ему не было, очевидно, больше 20 лет), надо думать о революцион-

ной деятельности, о пропаганде, о сближении с народом, о влиянии на рабочих.

«Да, возразил он, только не тогда, когда человек так настроен, как я теперь после казни народовольцев».

Далее, продолжая свою мысль, я говорила Желвакову, что комитет сейчас не рассчитывает и, может быть, еще долгое время не будет рассчитывать на совершение террористических действий, так как аресты значительно подорвали силы в партии; а пока главная деятельность комитета сосредоточивается на отправке большего числа людей в разные концы России с агитационными целями. Их снабжают литературой, объясняющей факт 1-го марта и зовущей народ к борьбе против угнетения и эксплоатации самодержавного полицейского государства. Я добавила, что Комитет обязывает своих посланцев собирать сведения о настроениях населения и по возвращении сообщить о виденном и слышанном, а также о том, как население их принимало, как относилось к ним, как реагировало на литературу и проч. Деятельность такого рода заинтересовала Желвакова. Он сказал, что в ожидании, пока Комитет призовет его, он будет рад отправиться на юг России, куда на лето стремится рабочая Русь. Впоследствии он выбрал для себя Ростов-на-Дону и вообще Донскую область.

Во время нашей беседы я спросила Желвакова о его семье, а также, откуда он родом. Он сказал, что он уроженец Вятской губернии, и я подумала: из той же губернии, откуда А. В. Якимова и Халтурин. Это хороший признак. Но еще лучшим признаком был взгляд самого Желвакова. У него были глаза, которые не обманывают. Достаточно было заглянуть в эти глаза, чтобы получить уверенность, что этот человек останется верен своему слову до гроба.

К большому моему огорчению я мало помню, что говорил мне Желвaков о своей семье. Знаю только, что его отец был землемер. Судя по крепкому и сильному сложению Николая Алексеевича, по крупным чертам его лица, он не происходил от изнеженных и избалованных богатством семьи. Напротив, его внешность говорила за то, что с ранних лет ему был знаком физический труд.

Черты лица его были правильны и красивы, но особенно прекрасны были глаза, ярко синего цвета. Под конец нашего свидания Желвaков окончательно определил Донскую область, как цель своего будущего путешествия, и сказал, что поедет туда с особым удовольствием. Он просил, чтобы до его отъезда я связала его с Комитетом на будущее время, дабы он, вернувшись с юга, был в состоянии отыскать представителя Комитета. Мы условились о будущем свидании, на котором я обе-

мала доставить ему литературу, необходимые адреса и деньги на дорогу и на прожитье в течение лета.

Посоветовавшись с Савелием Златопольским, потому что в одиночку мы не предпринимали тогда ничего, я к следующему свиданию в ту же комнату Неонилы Михайловны принесла все, что требовалось для снаряжения Желвакова в дорогу: литературу, деньги и адрес московской комитетской явки. В это время Комитет уже находился в Москве и настойчиво требовал нашего приезда, моего и Савелия Златопольского. Мы спешно заканчивали текущие дела и собирались исполнить волю Комитета, как только временная Петербургская ликвидация будет закончена. Вот почему Желвакову пришлось дать московский адрес.

Когда он весною по этому адресу отыскал агента Комитета и снова повторил свое непоколебимое решение участвовать в террористическом акте, его познакомили с Халтуриным, в то время уже членом Исполнительного Комитета. Они понравились друг другу; а то обстоятельство, что они земляки, сблизило и сдружило их. Они совместно взяли на себя выполнение убийства Стрельникова, и на нем оба погибли.

Вот то немногое, что я могу сказать о таком незаметном народном герое Николае Алексеевиче Желвакове, освободившем юг России от палача и гробовщика Стрельникова. Значение подвига становится особенно ясным, если принять во внимание, что своими произвольными арестами, своим зверским содержанием и жестоким обращением с заключенными, своими издевательствами над арестованными и их родственниками и, наконец, своими казнями Стрельников наводил ужас на население южных городов России.

О героически погибшем Николае Алексеевиче Желвакове всего имеется в истории народовольцев несколько страниц, принадлежащих перу друга детства Л., напечатанных в «Былом» 1906 г.*).

Надо, чтобы отозвались родственники Желвакова и его земляки, знавшие его в детстве и в ученические годы. А страна навеки должна в сердце своем сохранить имя самоотверженного юноши, отдавшего жизнь свою за возможность уничтожить злодея, которому царская власть вложила в руки жизнь и смерть населения целого края.

II.

Иван Пантелеймович Емельянов.

В своих воспоминаниях о «Народной Воле» **) я упоминаю о своих дружеских отношениях к семье [illegible]. Но тако-

*) № 4, стр. 103—106.
**) Еще не напечатанных.

милась я с ним в 1870 году. Нас рекомендовал друг другу инженер Павел Васильевич Михайлов, привлекавшийся к делу Нечаева и сидевший в Петропавловской крепости, но освобожденный за неимением против него улик. Он был товарищем и в то время даже другом моего брата Николая Павловича Мейнгарда.

Анненские были еще молоды в 70 году, но оба имели вид гораздо старше своих лет. С Александрой Никитичной я встречалась кроме того на Аларчинских женских курсах и на уроках математики, которые давал у меня на дому, целой группе молодых женщин и девиц известный педагог и ученый математик Александр Николаевич Страннолюбский.

Во время моих посещений приветливой и славной семьи Анненских в 80-м году, оба говорили мне про своего воспитанника Емельянова, жившего у них. Однажды они рассказали мне историю его появления в их доме. Он был сын псаломщика, проживавшего где-то на юге России. Семья была очень бедная, и отец по просьбе своего брата, служившего в Константинополе при русском посольстве, решился отдать ему мальчика Ваню на воспитание. Так как дядя Емельянова не стеснялся в деньгах, то он захотел дать племяннику хорошее воспитание, непременно в Петербурге, под руководством добросовестных и интеллигентных людей.

Кто-то из русских в Константинополе был знаком с Анненскими и посоветовал обратиться к ним. С ними списались, и они дали согласие на принятие к себе на воспитание Емельянова, который был привезен к ним в виде маленького турка в шароварах, куртке и красной феске. Первоначально Емельянов был помещен в Петербурге в реальное училище, но так как он был плохо подготовлен к систематическому учению, то его взяли из реального и поместили в ремесленное училище, которое пришлось Емельянову по сердцу, так как он имел большую склонность к физическому труду, и в ручных работах проявлял большое искусство. Воспитывался он на средства дяди и в училище считался одним из лучших учеников. Когда он кончил курс учения, ремесленное училище на свой счет послало его за границу для усовершенствования в работах по дереву. Насколько мне помнится, специальностью Емельянова была резьба по дереву. За границей он пробыл довольно долго и вернулся хорошо подготовленным мастером.

В 1880 г. Емельянов попрежнему жил у Анненских и, бывая у них в эту зиму, я видела молодого человека, недавно переставшего быть мальчиком. Анненские говорили мне, что он узнал о революционном движении в России, может быть, даже у них в доме, где не трудно было заразиться духом времени. Николай Федорович никогда не был обеспечен от обыска и даже

от ареста. Его квартиру обшаривали много раз и довольно часто его уводили в тюрьму. Но так как в революционных делах он не принимал непосредственного участия и не мог быть уличен в чем-нибудь противозаконном, то его выпускали опять на свободу к большой радости Александры Никитичны и его воспитанника. Преследования, которым подвергался Николай Федорович, не оставляли Емельянова равнодушным, он возмущался и негодовал. Чтение передовых газет и журналов тоже содействовало политическому развитию молодого человека. Позднее, когда он видел нелегальную литературу в квартире Анненских, то просил, чтобы ее давали ему на прочтение.

В 1880 г. Емельянову было лет 20. Когда я приходила к Анненским в его присутствии, он с интересом прислушивался к тому, что я говорила; его мне представили как молодого народовольца. Анненский, шутя, при нем показал мне его первую работу на поприще конспирации. Полено дров было расколото на двое, в нем выдолблено гнездо, в которое Емельянов уложил книги, затем обе половины полена были так искусно склеены, что, не зная секрета, нельзя было догадаться о нем.

Емельянов был натурой цельной. Он скоро заявил Николаю Федоровичу, что посвящает себя террору и хочет участвовать в террористическом акте. Николай Федорович посоветовал ему прежде всего ознакомиться с деятельностью «Народной Воли», и если партия примет его в свои ряды, то участвовать в общей ее работе. Я поддерживала Николая Федоровича в его совете и обещала с своей стороны снабжать Емельянова литературой и составила для него программу для чтения в целях самообразования, умственного развития и выработки правильного мировоззрения. Емельянов воспользовался советами, которые мы давали ему, но вполне сохранил свое стремление к участию в террористическом акте. Меня он просил непременно иметь его в виду, если явится необходимость выступить в каком-нибудь деле с оружием в руках. Кроме того, желая упражняться в стрельбе, и занимался гимнастикой для развития своей мускульной силы.

Летом 1880 г. Анненский был арестован и отправлен в Вышний Волочек, в административную ссылку. Жена последовала за ним. Емельянов куда-то уехал из Петербурга. Когда он вернулся осенью, он поторопился возобновить сношения со мной и опять просил иметь его в виду в случае открытого выступления партии.

В январе 1881 года Желябов набирал свою боевую дружину. Он просил нас, членов Комитета, рекомендовать ему людей, хорошо известных, заслуживающих доверия. Я долго медлила относительно Емельянова, находя его все еще чрезмерно молодым. Но Желябов был настойчив. Он волновался и терял терпение. Если мы не наберем нужное количество людей, мы не сможем

организовать нападение в должных размерах», говорил он. Потом он обратился к каждому из нас с вопросом, нет ли между нашими знакомыми людей, пригодных для группы метальщиков. Я не считала себя вправе больше молчать об Емельянове и сказала о нем Желябову, предупреждая его о молодости Емельянова и о том, что он человек неиспытанный. Я советовала не брать его в метальщики, если можно будет обойтись без него. Желябов познакомился с Емельяновым и был поражен его необычайно высоким ростом, говорил, что у него двойной человеческий рост и назвал его тотчас же «сугубым». На одном из ближайших после этого заседаний Комитета, Желябов сказал мне, что Емельянов держит себя молодцом, не трусит, и очень хорошо владеет собой. Словом Желябов признал его пригодным для роли метальщика.

Незадолго до 1 марта я сообщила Емельянову способ отыскать меня в случае, если встретится в этом крайняя необходимость.

Действительно, вследствие арестов, с одной стороны, и спешных отъездов из Петербурга с другой, Емельянов оказался в одиночестве. Правда, после мужественно исполненного им долга, он спокойно и благополучно отнес снаряд, который остался у него на руках, на квартиру на Тележной улице; но вопрос, что ему делать дальше, стоял перед ним во всем огромном и важном своем значении. Емельянов вызвал меня через третье лицо, которое я ему указала. Я настаивала на необходимости для него тотчас выехать из Петербурга куда нибудь в глухую провинцию, так как уже было известно, что Рысаков дает пространные и предательские показания, но Емельянов нашел какие-то причины для отсрочки своего отъезда, которые в моих глазах не имели значения по сравнению с тем риском, которому он подвергался, оставаясь на месте.

Для Емельянова обстоятельства после 1 марта вообще сложились очень неудачно. В суматохе, наступившей после 1 марта, невозможно было изготовить ему подходящий паспорт. Не было свободного человека, который мог ему купить билет на железнодорожной станции и некому было сопровождать его в дороге. Сам же он не был подготовлен к наступившим трудным обстоятельствам.

У меня с ним состоялось одно свидание. Оно произошло в гостином дворе по Садовой линии. Приближалась пасха и гостиный двор был запружен покупателями. Я шла с Невского, Емельянов со стороны Сенной площади. Едва я вступила в галлерею, как увидала вдали Емельянова, который ровно на голову возвышался над толпой. Сравнительно с длинным туловищем, голова была небольшая, мелкие черты лица, цвет кожи смуглый, глаза маленькие серые, а рот очень большой. Благо-

даря своему росту, Емельянов не мог скрыться ни в какой толпе, и для меня была совершенно очевидна опасность, которой он ежеминутно подвергался.

Мы вышли из толпы и направились в мало посещаемые улицы. В этот день я вручила ему деньги на отъезд и требовала, чтобы он сидел дома и не показывался на улице. Паспорт мог быть готов только через два дня, и тогда должна была состояться наша последняя встреча. Но Емельянов не явился в назначенное время и место. Я боялась, что именно это свидание его сгубило, но гораздо позднее из обвинительного акта процесса 20-ти я узнала, что его проследили на Невском и арестовали дома, на его собственной квартире. На допросах, как видно тоже из обвинительного акта, Емельянов держал себя стойко и с большим самообладанием. На первом допросе он отрицал всякое прикосновение к революционным делам, и так как улик против него не было, то Добржинский и Муравьев думали, что полиция ошиблась, арестовав его. Но Добржинский бросился к показаниям Рысакова и прочел там приметы третьего метальщика 1 марта по имени Иван с прозвищем «Сугубый», по происхождению сын псаломщика, как это было указано Рысаковым. Очевидно, случайно или в шутку, кто нибудь из знавших Емельянова, обратился к нему в присутствии Рысакова, назвав его по имени и прозвищу, или в другой раз обратился к нему с возгласом «сын псаломщика». Эти показания Рысакова погубили Емельянова. В Карийской тюрьме он рассказывал товарищам по заключению, что на том же листе, на котором он отрицал всякое прикосновение к революционным делам, теперь по прочтении показаний Рысакова он написал, что 1 марта он был третьим метальщиком, что с бомбой под рукой он первый подошел к раненому и лежавшему на земле императору и подал ему первую помощь.

На суде Емельянов вел себя вполне корректно и добросовестно. Он и Терентьева были самыми молодыми из 20-ти подсудимых. Но Терентьева провела в революционной среде все свое время и чувствовала себя в ней как дома, среди близких и любимых родных. Тогда как Емельянов не знал никого из своих сопроцессников, и никто из них не знал его. Он должен был чувствовать себя как молоденькая сосна чувствует себя среди мачтового леса. Но не только года клали непереходимую грань между молодым человеком и более опытными его товарищами по суду. Недосягаемое расстояние лежало между его натурой и большинством представителей «Народной Воли» на процессе 20-ти.

Емельянов был честный, очень порядочный и культурный человек, но чтобы быть выдающимся революционером ему недоставало цельности натуры, да и пожалуй многих других качеств.

Но самая строгая критика не может обвинить его в низких или предосудительных поступках на суде. И только молодостью надо объяснить тот ошибочный шаг его, которым, надо признать, он вредил себе. Эта ошибка его состояла в том, что, как это видно из отчета о процессе 20-ти, «неожиданно для всех Емельянов заявил, что берет назад все свои показания, данные им на предварительном следствии о своем участии в деле 1 марта в качестве метальщика» *).

Заявление это было сделано в конце судебного разбирательства, когда большинство подсудимых были опрошены, а сам Емельянов признал на предварительном следствии, что он член партии «Народной Воли», сочувствовал ее террористической деятельности, 1 марта был третьим метальщиком и подробно описал, в чем выразилось его участие в этом деле.

Неизвестно, какие побуждения толкнули Емельянова на подобное заявление. Пришла ли ему внезапно мысль спастись от опасности или он действовал под влиянием своего талантливого защитника Александрова, которому по собственной неопытности не сумел противодействовать.

Особое присутствие сената не обратило внимание на заявление Емельянова, и единственный результат его ошибочного шага состоял в том, что ему пришлось лгать на суде очень много и долго о своем случайном знакомстве с Кибальчичем, Саблиным и Рысаковым **), так как последний в своих показаниях указал на эти знакомства Емельянова.

15 февраля 1882 г. сенатский суд вынес свой знаменитый приговор, которым 10 человек приговаривались к повешению, в числе 10 был и Емельянов. Он мужественно ожидал себе смерти, это видно из того, что он не подал прошения о помиловании. А ждать и жить под страхом смерти пришлось очень долго. Только 17 марта, т. е. через месяц и 2 дня Александр III удосужился утвердить приговор, при чем всем осужденным смертная казнь заменялась бессрочной каторгой, исключая Суханова, которому повешение было заменено расстрелянием. На этом расправа царя с народовольцами не окончилась. 10 человек видных представителей партии «Народной Воли» по процессу 20-ти, после «помилования» были отправлены в страшный Алексеевский равелин Петропавловской крепости, где большинство из них умерло в течение двух первых лет. Так расправлялся Александр III со своими врагами.

Емельянову, как несовершеннолетнему, было оказано снисхождение. Его оставили отбывать каторгу в Трубецком бастионе.

*) «Былое» 1906, № 6, стр. 281, 274—276. Отчет о процессе 20-ти в 1882 г.

**) «Былое» 1906, № 6, стр. 274 и 275.

Это заключение происходило при невообразимо тяжелых условиях, и все же оно было во много раз легче, чем заключение в Алексеевском равелине. Емельянов прожил в Трубецком бастионе приблизительно 2 года и 3 месяца, после чего был отправлен в Сибирь для продолжения своего каторжного срока в Карийской политической тюрьме.

По дороге на Кару, в Нерчинской тюрьме он заболел сыпным тифом и, если остался жив, то только благодаря тому, что при нем находился ехавший с ним его сопроцессник Г. М. Фриденсон, братски ухаживавший за заболевшим товарищем.

На Кару Емельянов прибыл в декабре 1884 г. Его жизнь в тюрьме была бесцветна и бессодержательна. Он не занимался физическим трудом и мало работал умственно. Серьезно и с увлечением он не изучал ни одной науки, но любил читать книги по истории и русской литературе. Все же, несомненно, он расширил свои знания на Каре. Это подтвердилось позднее, когда он стал лучшим частным преподавателем в Хабаровске. Последнее время своего пребывания в Карийской тюрьме он подружился с Властопуло, который не мог иметь на него хорошего влияния, вследствие своего малого образования и отсутствия глубокого и обширного мировоззрения. Когда в мужской тюрьме настало тяжелое время голодовок, столкновений с администрацией и репрессий, исходивших от генерал-губернатора Корфа, Властопуло первый подал прошение о помиловании, и его тотчас выпустили из тюрьмы. Его пример соблазнил слабых заключенных в мужской тюрьме, и в числе их (в 1889 г.) оказался Емельянов. Он физически с большим трудом переносил заключение; он должен был затрачивать огромный запас силы, чтобы подавить в себе стремление к свободной жизни, а срок его заключения оставался перед ним неизменно великим. Под влиянием трагических карийских событий нарушилось душевное равновесие Емельянова. Он не мог дольше переносить монотонную тюремную жизнь, сменявшуюся только мрачными и глубоко скорбными событиями. В порыве к более радостной жизни, Емельянов подал прошение на высочайшее имя через карийского коменданта и немедленно был выпущен из тюрьмы.

Таким образом он увеличил собой так называемую колонию, состоявшую из карийских ренегатов. Здесь он прожил несколько месяцев, в ожидании назначения ему места поселения. Приказ о том, что ему разрешается въехать в Благовещенск, был получен в то самое время, когда двери обеих политических тюрем на Каре раскрылись, чтобы выпустить окончивших сроки заключения. В числе таких окончивших была и я. Нас выпустили в сентябре 1890 года.

Я могла бы увидеться с Емельяновым, если бы нас не разделила навсегда его подача прошения. Обе карийские политиче-

ские тюрьмы не прощали подобных поступков и прекращали навсегда сношенья с подавшими прошенья, и только наши давнишние вольнокомандцы были вынуждены иногда сноситься с ними частью при распределении газенных пайков, частью ввиду беспомощного их положения на Каре.

Прасковья Семеновна Ивановская и я ночевали первую ночь по выходе из тюрьмы в избушке Алексея Федоровича Медведева *), где он жил с женой и двумя маленькими детьми. Лучшую свою комнату они отдали нам для ночлега, но разумеется запасных кроватей у них не было, и мы спали на полу, подостлав полушубки и другие теплые вещи, какие нашлись под рукой. На рассвете кто-то постучал в окно, под которым мы спали. Я спросила, кто стучит. Мужской голос ответил: «Я — Емельянов, пришел проститься с Медведевым; спешу на Усть-Кару, откуда утром отходит пароход в Благовещенск». Я ответила, что сейчас разбужу Медведева. Одевшись наскоро, я постучалась в дверь к Медведеву, и он подошел к окну, где ждал его Емельянов. Через открытую Медведевым форточку они поговорили, выразили друг другу добрые пожелания, обменялись рукопожатиями и расстались. Так я и не видалась с Емельяновым, который скоро получил разрешение перебраться в Хабаровск.

Позднее, живя с конца 1897 г. в Благовещенске и встречаясь с Николаем Алексеевичем Зиновьевым **) и его женой, я часто получала о нем сведения. Зиновьевы нередко ездили в Хабаровск, где жил Емельянов, к которому они очень хорошо относились и которого даже любили, как умного и симпатичного человека.

Первое время своего поселения в Хабаровске Емельянов занимался частными уроками и таким образом зарабатывал деньги на существование, что касается хабаровских жителей они были очень довольны, что в городе появился интеллигентный и хороший преподаватель, который мог приготовить их детей в любое среднее учебное заведение. Между прочими обитателями Хабаровска, Емельянова пригласил в качестве учителя к своим детям некто Пьянков, бывший ссыльный ***), давно живший свободно в Сибири. Пьянков был неразборчив в средствах приобретения материальных благ и вел в крупных размерах торговлю спиртом и водкой в дальне-восточных областях. Ему нужны были сл

*) А. Ф. Медведев, сидевший долгое время в Тобольском централе под фамилией Фомина.

**) Н. А. Зиновьев привлекался в Петербурге в 1876 г. по делу типографии на Гутуевском острове и по делу военной организации (Рогачев, Похитонов, Дегаев) «Народной Воли» 1879 г. [illegible] провел в Сибири.

***) По процессу «Черного Передела» в 1881 г. 29 сентября.

ашне, которым он мог вполне доверять. Сдружившись с Емельяновым, он предложил ему службу на выгодных условиях, и Емельянов принял ее. Теперь его положение настолько улучшилось, что он мог делать сбережения; он женился и приобрел дом в Хабаровске. Но умер он, сравнительно не старым, когда ему было около 50 лет, и умер в Хабаровске, где укрепился на якоре личного благополучия.

А. Прибылева-Корба.

Светлой памяти Софии Михайловны Гинсбург.

Имя С. М. Гинсбург я впервые услыхал от ее двоюродного брата Семена Львовича Стояновского, бывшего моего товарища по прогимназии. В 1881 или 82 г. я с ним случайно встретился в г. Керчи, где он продолжал свое гимназическое образование. В Керчи в то время жила также С. Гинсбург и, повидимому, принимала участие в революционном движении, она старалась оказать свое влияние на брата в этом же направлении, руководила его развитием, снабжала кое-какой литературой и пр. С. Стояновский охотно делился со мной своими новыми впечатлениями и с восторгом говорил о сестре, под влиянием которой вырабатывалось его мировоззрение и был заложен фундамент будущей его революционной деятельности. К сожалению, я уехал из Керчи *), не познакомившись с С. М. Гинсбург, и так как с Стояновским я не переписывался, то я ничего не знал об их судьбе до 1885 г., когда я снова встретился с моим б. сотоварищем по прогимназии уже в Харькове. За эти несколько лет С. Стояновский возмужал физически и духовно — передо мной стоял народоволец, убежденный социалист, прекрасный пропагандист. Я же лично значительно раньше этого получил революционное крещение в маленьком городке Павлограде, в семье покойного народовольца Н. Л. Геккера, погибшего под Харьковом при нападении на почту Я. Бердичевского. Оба они учились в Бердянске, откуда обыкновенно привозили нелегальную литературу — «Черный Передел», «Народную Волю» и кое-какие брошюры. Впоследствии я переехал в Полтаву. Там была очень солидная по тому времени народовольческая группа, руководимая Семеном Гальпериным. Нелегальной библиотекой этой группы заведывал, насколько мне помнится, М. И. Сосновский

*) В Керчи я случайно познакомился с матерью А. Н. Гиберга и часто бывал у нее. Она мне много рассказывала о хождении сына и его товарищей в народ, о том, как они наряжались кузнецами и пр. Рассказы эти производили на меня, конечно, сильное впечатление, и я с благоговением относился к борцам-народникам, за счастье народное, за социализм.

ский. Он держал себя очень конспиративно и на общие собрания группы не появлялся. В Полтаве было несколько кружков саморазвития, интерес к политической жизни был большой, настроение было чрезвычайно бодрое; жизнь, можно сказать, била ключом. На мою долю выпала честь хранения у себя в комнате части типографии, которая впоследствии перевезена была, кажется, в Ростов.

Осенью 1884 года я пытался попасть в армию, чтобы там заниматься пропагандой среди солдат. Меня забраковали; выдержав весной следующего года экзамен за 8 классов гимназии, я поступил в харьковский университет на медицинский факультет, дабы сначала студентом, затем в качестве врача стать ближе к деревне. Вот в этот момент мы встретились с С. Л. Стояновским, вполне с ним сошлись по целому ряду вопросов идейного характера и стали думать о том, как претворить наши чаяния в жизнь. Время было тяжелое, грозное, благодаря страшному разгрому народовольческой группы в Харькове; связаться с случайно уцелевшими активными членами ее было не легко, еще труднее было раздобыть нелегальную литературу. Выходило так, что нам приходилось начать как бы сначала воссоздание народовольческой группы в Харькове.

В 1886 г. мы поселились вместе с Стояновским в одной комнате. Как-то вечером постучались в дверь. Вошла невысокого роста миловидная, жизнерадостная, с чрезвычайно живыми глазами девушка и спросила С. Стояновского. Его не было.

Это была С. М. Гинсбург. Она приехала в Харьков по делам, кажется, военной организации. Больше я в этот раз не видел ее. Впоследствии С. М. передавала мне, что из Харькова она уехала очень расстроенная, с тяжелым чувством.

Посещение Харькова С. Гинсбург имело для нас большое значение: через нее мы связались кое с кем из еще действовавших активных работников, а через них с каким-то чудом уцелевшей рабочей организацией.

В 1885 г. введен был знаменитый университетский устав, обративший университеты в казармы с педелями-шпионами. На студентов надели форму, обязали носить шпаги. При входе в университет студенты должны были отмечаться у педелей. Педеля прекрасно знали в лицо студентов, наблюдали за ними как внутри, так и за стенами университета, и исправно доносили в канцелярию, когда замечали на улице студента не в полной форме, напр., в штатском пальто. Ежедневно можно было видеть в канцелярии университета группы студентов, которым администрация делала внушение по поводу неточного выполнения устава с предупреждением, что в случае неподчинения виновные будут наказаны. Студенты часто по социальн[illegible] [illegible]ально по своему семейному положению работать на [illegible]

канцелярии, из которых ярко выделялась группа студентов «белоподкладочников» в генеральских шинелях и в великолепно сшитых мундирах с воротниками до ушей, на боку красовалась шпага с фигурной рукояткой. Эти студенты имели такой бравый вид, что солдаты принимали их часто за офицеров и отдавали им честь, что приводило многих из них в восторг. На вечерах «белоподкладочники» в своих мундирах и шпагах соперничали с военными.

Совершенно иное настроение было у демократической части студенчества. Оно крайне тяготилось новым университетским уставом, шпионством в стенах университета и вне его. Недовольство среди этой части студенчества все росло и готово было вылиться в активную форму. Здесь мы нашли чрезвычайно благодарную почву для нашей пропаганды, отсюда мы вербовали молодежь в наши кружки саморазвития. Одновременно с этим мы закрепляли наши связи с рабочими. В этом отношении нам оказала громадную услугу популярность арестованного народовольца Гельрота, известного в рабочих кругах под кличкой «Хаим». Это имя окружено было поистине каким-то ореолом и производило прямо магическое действие. Достаточно было назвать его, чтобы к вам рабочие отнеслись с полным доверием и расположением. Конечно, мы использовали этот пароль, чтобы теснее связаться с рабочими, среди которых нашлись рабочие не только хорошо распропагандированные, но и хорошо начитанные.

В 1887 г. в Харькове стало нарождаться новое течение среди интеллигентской молодежи с уклоном в марксизм и с уклоном в сторону чисто мирной пропагандистской работы, использующей для своей цели исключительно легальную литературу. Террор отбрасывался самым решительным образом.

Возглавлявшая это течение интеллигентская группа энергично завязывала сношения с рабочими и вела среди них мирную пропаганду. Подход к подпольной работе этой группы был в то время настолько необычный, что некоторые из наиболее активных и революционно настроенных рабочих не могли уложить свое настроение в узкие рамки кружков саморазвития, они шли к нам, в нашу организацию, где наряду с работой кружковой пропагандистской, горячо говорилось о необходимости продолжения активной борьбы с самодержавием, о необходимости и значении террора, как одного из могучих методов этой борьбы.

Большим влиянием в этой группе пользовался ныне здравствующий д-р Д. Д. Бекарюков. Невзирая на конспиративность работ группы, она была ликвидирована в конце 88 г.

Для пропаганды наших идей мы устраивали, между прочим, вечеринки, на которые приглашали студентов, студенток и ра

бывших, как своих, так и приверженцев марксистской группы, и вели с ними собеседования и дискуссии. Некоторые из наших пропагандистов посвящали себя исключительно работе среди рабочих масс, устраивая чисто рабочие группы.

Во второй половине 80-х годов настроение либеральных слоев общества и демократической части студенчества было крайне упавшее *). Реакция достигла, казалось, крайних пределов, шпионство и предательство пустили всюду глубокие корни, проникли во все группы населения, литература (либеральная) замолкала; тюрьмы были переполнены. Некогда грозная партия «Народной Воли» была разбита. Один из членов Исполнительного Комитета, Тихомиров сделался ренегатом и стал сотрудником «Московских Ведомостей».

Ренегатство Тихомирова произвело, конечно, ошеломляющее впечатление и было тяжелым ударом не только для нас, но и для всех, кого в той или иной форме давило и душило самодержавие. Только впоследствии до нас дошла брошюра П. Л. Лаврова, выписанная из-за границы С. М. Гинзбург и бросившая свет на этот ужасный факт.

Департамент полиции, перетянув на свою сторону уже психически ненормального Тихомирова **), рассчитывал нанести партии решительный удар. Логика жизни, логика событий делала, однако, свое дело.

Зимой 87 года чаша терпения харьковских студентов переполнилась — перед рождественскими каникулами возникли беспорядки. Руководила ими наша группа. Студенческие волнения протекали и на сей раз так же, как и раньше: студенты-демонстранты собирались в отдельных аудиториях, срывали лекции, требовали ректора для предъявления своих требований, разбрасывались отпечатанные на гектографе прокламации. Вместо ректора явилась полиция. Студенты вышли на Университетскую горку, а оттуда по Екатеринославской ул. Тут нас окружили казаки и пустили в ход традиционные нагайки. Университет был закрыт. Кое-кто выбыл из строя. Мы не теряли надежды довести до конца начатое дело после нового года. Попытки наши окончились неудачей. Студенты остались при старом корыте. Я и Сломновский (к великому нашему удивлению) уцелели.

Наступили снова будни. Мы снова принялись за кружковую работу. В это время приехала Софья Михайловна, приехала

*) Среди студентов наблюдались массовые самоубийства.

**) Редакция не может согласиться с автором, столь категорически разрешившим вопрос о психической ненормальности Л. Тихомирова.

Ред.

бодрая, полная энергии и революционной страсти. Она была командирована в Россию из-за границы для организации террористического акта против Александра III.

Появление ее на нашем горизонте внесло большое оживление в нашу работу, окрылило нас, раздвинуло наши горизонты. Мы сразу почувствовали крепкую почву под ногами. Мы были одиноки, мы ничего не знали о том, что осталось от партии за пределами Харькова; мы не знали, где находятся члены Исполнительного Комитета и какие боевые задачи стоят перед партией. От С. М. Гинсбург мы узнали все. Мы мысленно связались с П. Л. Лавровым, перед нами развернулись широкие перспективы возрождения партии Народной Воли и борьбы с самодержавием. Теперь мы получили моральное право звать всех в наши ряды. Мы сразу как-то выросли, политически возмужали. С. Гинсбург обладала необычайной способностью наэлектризовывать, убеждать всех, с кем ей приходилось иметь дело; ее боевой темперамент, непоколебимая вера в возможность возрождения партии, ее глубокая ненависть к самодержавию легко передавались другим, даже не столь оптимистически настроенным, как мы с товарищем. На долю С. Гинсбург, приехавшей в Россию в момент разгрома партии, страшной реакции и разочарования, выпала чрезвычайно тяжелая задача собрать рассеянные остатки партии и создать небольшую, но крепко спаянную группу из наиболее верных и преданных делу социалистов и революционеров. Эта группа должна была стать, с одной стороны, ядром будущей организации, с другой — она должна была выделить из себя работников для подготовления покушения на жизнь Александра III. Центральная боевая организация находилась за границей с П. Л. Лавровым во главе. В нее входили старые народовольцы — Теплов, Кашинцев, Соловцова и «пролетариатцы» Мендельсон, Дембо, Демский и др. До отъезда в Россию С. Гинсбург изучала в лаборатории цюрихского университета новое взрывчатое вещество панкластит, отличавшееся большими разрушительными свойствами. Лабораторные опыты давали хорошие результаты. После ее отъезда были изготовлены уже настоящие снаряды, начиненные панкластитом, и Дембо и Демский продолжали опыты в лесу. С. Гинсбург получала чрезвычайно бодрые вести из Швейцарии и из Парижа.

Как я уже указал выше, Гинсбург была занята собиранием сил, подбором таких работников, которые соответствовали бы ее заданиям. Задача по тому времени была не из легких.

В Петербурге уцелели члены б. военной организации — Душевский и Чижевский, офицеры генерального штаба. Они приняли радушно Гинсбург, одобрили ее планы и вошли в организацию. В Петербургскую группу вошел также второй двоюродный

брат Гинсбург — Михаил Львович Стояновский *), студент 1 к. юрид. факультета. Помимо своих личных качеств, он был ценен, как человек, политическая благонадежность которого была вне подозрения. Необходимо было заручиться еще содействием хотя бы двух-трех сочувствующих из среды либерального общества. С. Гинсбург вошла в соглашение с известным присяжным поверенным Кедриным и с поэтом Минским, который в то время еще очень радикальничал. Не помню, кто из них вручил С. М. Гинсбург 500 руб.; эти деньги даны были ею на хранение Минскому. Помимо вышеуказанных лиц, были привлечены в организацию А. В. Орочко **) — оберфейерверкер, член разгромленной военной организации, и распропагандированный ранее Софией Михайловной сельский учитель в дер. Акимовке Екатеринославской губ., где она жила одно время в качестве учительницы. А. Орочко отбывал свою военную службу в Севастополе и имел там хорошие связи. В 1880 г., кажется, он организовал побег Гинсбург из Севастополя за границу в то время, как за нею по пятам шли жандармы, начиная с дер. Акимовки, где она скрывалась после провала военной организации. Вот, кажется, все, что успела собрать и объединить С. Гинсбург за время короткого своего пребывания в России. Должен сказать, что она и не стремилась создавать какую-либо широкую организацию — условия ее [illegible] характера не позволили ей [illegible] разрабатываться. Повторяю, задача С. Гинсбург заключалась в том, чтобы в России сорганизовать небольшую группу [illegible] хороших и честных работников, которые бы совместно с [illegible] заграничной группой приняли участие в организации покушения. Она имела в России 2 базы: Петербург и Харьков.

В Харькове наша группа росла и крепла. У нас была [illegible] группы [illegible] нелегальная литература. Благодаря руководству [illegible] членов нашей группы, во время студенческих беспорядков [illegible] популярность среди студентов, особенно медицинского факультета. Мы сорганизовали несколько серьезных кружков самообразования, в которых особенно [illegible] студентов-медиков. Разрабатывались пропагандистские [illegible] Маркса, [illegible] Лассаля [illegible] и Муравьева. Он

*) М. Л. Стояновский годы поселения провел в г. Минусинске. В 1905 г. он был арестован и посажен в тюрьму. Заглохший было процесс в легких обострился в тюрьме. После того к туберкулезу легких присоединился процесс в суставах. В 1908 г. М. Л. скончался в г. Бахмуте от общего туберкулеза.

**) А. В. Орочко скончался в 1919 г. в г. Москве в Солдатенковской (ныне Боткинской) больнице от саркомы в брюшной полости.

прекрасно знал «Капитал» Маркса и руководил занятиями в рабочих кружках.

Среди рабочих особенно близок с нами был рабочий Михаил, токарь по металлу; к большому моему огорчению, я не могу вспомнить его фамилии. Невысокого роста, крепко сколоченный, порядочно развитый, он горел ненавистью к самодержавию и готов был принять самое активное участие в борьбе с ним. Он имел жену и ребенка; жена его была тоже распропагандирована и всегда радушно встречала нас в своей маленькой уютной квартирке. С Михаилом часто встречалась у нас и С. Гинсбург.

Распропагандированная нами прачка Маша, жившая на окраине города, хранила нашу нелегальную литературу.

Зимой 87—88 г. Гинсбург уехала в Петербург, а мы с С. Л. Стояновским уехали в деревню к моим родным, запасшись необходимой лабораторной посудой и кислотами для приготовления пробных порций панкластита. Михаил должен был на своем заводе выточить из стали пробные оболочки для снаряда.

Мы возвратились из деревни в радужном настроении. Михаил преподнес нам две половинки снаряда.

Между тем за границей производились дальнейшие опыты над действием панкластита и главное — определялся металл, из которого надо было готовить оболочки.

С. М. Гинсбург с увлечением разрабатывала план покушения; с заграницей она находилась в постоянной переписке.

В октябре 88 г. произошло крушение царского поезда на ст. Борки близ Харькова, которое произвело, конечно, на всех огромное впечатление. Вначале поверили, что это дело рук революционеров. Курс наш сильно поднялся. Увы, группа наша была в то время еще так слаба в боевом отношении, а крушение произошло так неожиданно, что мы не использовали даже счастливый момент пребывания царя и царицы в Харькове — момент посещения ими больниц, где лежали раненые с этого поезда. К тому же и С. М. не было с нами. Я уже упомянул выше о присяжн. пов. Кедрине. Сочувствие его революционной деятельности С. М. доходило до оправдания цареубийства. Он уверял, что Гинсбург найдет материальную и моральную поддержку со стороны радикальных элементов общества, если бы партия согласилась несколько урезать социалистические требования программы.

Желая познакомить П. Л. Лаврова с настроением русского либерального общества того времени, С. М. предложила Кедрину написать примерную прокламацию на случай удачного покушения на жизнь Александра III. Кедрин это поручение выполнил. С. М. хотелось послать этот документ П. Лаврову, как характеризующий настроение передовой части либерального общества

того времени Михаил Стояновский переписал проект прокламации чрезвычайно мелким, можно сказать, бисерным почерком на очень маленьком клочке бумаги для заделки его в переплет книги и отсылки за границу; его можно было легко проглотить. К величайшему несчастью, этот клочок бумаги С. М. забыла с кошельком в одной лавке, неподалеку от своей квартиры. Когда она заметила свою ужасную потерю, она ринулась опять в лавку и [illegible] вынуть кошелек с прокламацией. Было поздно. Лавочник, как и-то отставной чиновник или военный, сообразил, что за столь драгоценную находку охранка заплатит ему дорого. Он и предал С. М. Гинсбург. Ей оставалось как можно скорее сообщить товарищам о случившемся и бежать из Петербурга. К сожалению, С. М. была уже прослежена и находилась в тесном кругу шпиков. При выходе из своей квартиры она заметила нескольких агентов. Положение ее было чрезвычайно критическое, безнадежное. Гинсбург не растерялась: заметив проезжавшего мимо извозчика, она быстро побежала к нему. Агенты бросились за нею, один из них хотел схватить ее за плечо. С. Гинсбург сильным толчком отбросила агента в сторону, он упал. С. М. успела сесть в сани. Извозчик погнал лошадь. С. Гинсбург была спасена. Переодевшись в крестьянскую одежду, она доехала на лошадях до какой-то станции, затем на поезде благополучно добралась до Харькова.

В Петербурге департамент полиции был поднят на ноги. Пошли аресты. Душевский, Чижевский и Мих. Стояновский были первыми ласточками провала организации.

Надо ли говорить о том, какое впечатление произвел на нас этот трагический роковой момент в жизни С. Гинсбург.

Все, что с таким трудом и такой любовью создавалось, благодаря нелепой обмолвке случайности, подвергалось величайшей опасности быть разрушенным. Приходить в отчаяние, однако, некогда было — надо было подумать о спасении Софьи Михайловны, — надо было достать ей паспорт (задача в то время чрезвычайно трудная) и переправить из Харькова в более безопасное место... за границу. Мы проводили ее [illegible] в Севастополь.

Прошел месяц — нас не трогают. Мы успокоились и продолжали свою работу. Мы стали только конспиративнее, реже появлялись в кружках. Об арестах в Петербурге мы ничего не знали; отсутствие писем оттуда вызывало некоторую тревогу. Но вот в феврале 1888 г. ликвидировали меня и Семена Стояновского. Через неделю нас увезли в Петербург в крепость.

Мы были уверены, что Гинсбург из Севастополя выехала в Париж, чтобы скорее повидаться с П. Л. Лавровым. Когда прокурор Котляревский на допросе всячески старался убедить меня в том, что она арестована, я в душе посмеивался, я не допускал

возможности ареста Гинсбург, зная ее необычайную находчивость, энергию и способность не теряться даже в самые критические моменты. Когда на одном из допросов в мае или июне месяце я увидел данные мною Софье Михайловне чемодан и ее одежду, я был уверен, что жандармы устроили для нас ловушку, рассчитывая таким путем добиться признания. Увы, очная ставка не оставила сомнения в том, что и Гинсбург находится в крепости.

Пока в России разыгрывалась выше мною описанная трагедия, в Швейцарии производили опыты над снарядами. Как известно, одним случайно оброненным снарядом Дембо был ранен смертельно, а Дембский тяжело. У Дембо был взят дневник с пометками: «приготовить паспорт Вильгельмины Браун (по этому паспорту жила в Петербурге и в Харькове Гинсбург), приготовить границу для переправки оболочек» и пр. Если к этому прибавить случайно забытый в лавочке проект прокламации, начинавшейся словами: «покончив с . . . . ., мы считаем необходимым объявить . . . и проч., то легко представить себе, как заволновался весь охранный мир в Петербурге и за границей. Совершенно случайно было обнаружено подготовлявшееся покушение на жизнь царя.

Желая смягчить свою оплошность, охранка поторопилась произвести аресты в Петербурге и Харькове; благодаря именно этой торопливости были выхвачены из строя только вышеупомянутые центральные работники; периферийные товарищи и рабочий Михаил были нетронуты. Арестованы были уже абсолютно не имевшие прямого отношения к делу отец и брат Стояновских и два моих брата, живших в деревне. Все они испытали прелести дома предварительного заключения и даже Петропавловской крепости.

Между тем С. Гинсбург, как оказалось, из Севастополя не уехала. Не знаю, каким образом она была там прослежена. В мае или июне ей пришлось оттуда бежать. В качестве богомолки С. М. поехала в один из крымских монастырей, где раньше она однажды уже благополучно скрывалась, кажется, в 86 г. К несчастью, С. М. не знала, что после ее отъезда из монастыря туда тотчас же нагрянули жандармы. Настоятель монастыря вспомнил это и выдал Гинсбург. Она была увезена в крепость. Мне остается прибавить, что после печального инцидента с Дембо опыты над снарядами перенесены были из Швейцарии в Париж, и что в Парижской группе был известный провокатор Ландезен, предавший всю Парижскую группу эмигрантов-террористов. Он знал также Софью Михайловну и, разумеется, снабдил Департамент Полиции всеми необходимыми «агентурными данными» для создания дела Софьи Гинсбург о подготовлении покушения на жизнь Александра III. Разбиралось оно осенью 89 г. в особом

присутствии правительствующего сената под председательством Дрейера.

Из обвинительного акта я узнал о смерти Семена Львовича Стояновского и о психическом расстройстве Чижевского (он не присутствовал на суде).

На суде я узнал от С. М. Гинсбург, что С. Стояновский при одном из допросов дал пощечину Котляревскому, за что был подвергнут строгому режиму в крепости. Будучи вообще слабым и малокровным, а в детстве крайне болезненным, Стояновский через 4 месяца заключения заболел сначала, повидимому, скоротечной чахоткой, затем психическим расстройством. В таком состоянии он был увезен в больницу Николая Чудотворца. Перед смертью к нему допущены были в палату брат и мать. [illegible] любимую мать, Семен Львович [illegible] мама [illegible] Матери [illegible] не [illegible], и мне хочется почтить память ее замечанием, что она принадлежала к тем матерям-друзьям, которые не только не удерживали детей от революционной деятельности, а наоборот, поддерживали их [illegible] их трудной работе. Летом [illegible] С. Стояновский [illegible] Маркса и [illegible] среди [illegible] рабочих [illegible] Харьков, чтобы [illegible] С. Гинсбург. [illegible] любила [illegible] смерть его в больнице [illegible] для нее тяжким ударом; но перенесла она его мужественно.

[illegible] со [illegible] Семена Львовича Стояновского. [illegible] убежденный [illegible] предан революции и социализму. Это был [illegible] революционер без [illegible] рыцарь без страха и упрека. На допросе он дает пощечину Котляревскому, [illegible] принадлежности к народовольческой группе, [illegible] себя, желая [illegible] других.

[illegible] смерть не позволили С. Стояновскому развернуться во всю ширь — он ушел в могилу, [illegible] но [illegible] революции [illegible] партии «Народной Воли».

Михаил Львович Стояновский [illegible] был переведен в [illegible] больницу [illegible] предварительного заключения, где его лечили только что в то

время предложенным Кохом туберкулином. Не знаю, благодаря ли туберкулину или же — вернее — благодаря улучшенному питанию и хорошему уходу, Стояновский настолько там поправился, что его могли доставить на суд.

Я лично жестоко болел в крепости цынгой.

Душевский производил на суде впечатление человека ненормального, озлобленного, с сильно расшатанной нервной системой.

Нужно ли говорить о том, каким тяжелым ударом был для С. М. Гинсбург — этой крайне чуткой и гордой девушки, провал созданной ею организации в момент, когда перед нею развертывались столь серьезные перспективы. Также как и мы, и она не знала, что Дандевиль уже копал всем нам яму. Фатальная, глубоко трагичная история с забытым кошельком только ускорила события. Единственным утешением для С. М. и для нас было то, что ни в Петербурге, ни в Харькове не пострадал никто, кроме тех, кто стоял близко к ней. Уцелел токарь Михаил и все кружки в Харькове, уцелел Кедрин *), автор злосчастной прокламации, и Минский. К сожалению мне неизвестна дальнейшая судьба Михаила, этого поистине выдающегося члена Харьковской народовольческой группы, токаря по металлу. Присяжный поверенный Кедрин умер года два — три тому назад в Петрограде; поэт Минский приблизительно в то же время за границей.

Настроение С. Гинсбург на суде было, конечно, очень тяжелое. Вначале бодрая и возбужденная встречей с нами после почти двухлетней разлуки и сидения в крепости, она к концу была чрезвычайно подавлена картиной и атмосферой суда. Речь ее была сплошным обвинительным актом против себя. Самобичеванием она, казалось, хотела спасти своих ближайших товарищей по делу, в особенности двоюродного брата М. Стояновского, смягчить участь их, взяв всю вину на себя. Ее защитнику Андреевскому, при всем желании, трудно было после этого сказать что либо веское в ее защиту. После суда до утверждения приговора дело ее вел присяжный поверенный Леонтьев 2-й. Приглашен он был Софьей Михайловной исключительно для того, чтобы через него сообщить за границу все, что она считала необходимым.

*) Между прочим, покойный С. Н. Слетов в изданном им незадолго до начала империалистической войны календаре «Народной Воли» приводит эту прокламацию, как документ, указывающий на появление идеологии партии «Народной Воли» в годы реакции. Тогда же я опротестовал это замечание, глубоко оскорбившее память С. М. Гинсбург, и указал на происхождение прокламации. С. Н. Слетов хотел исправить эту печальную ошибку в ближайшем номере «Знамени Труда». Смерть помешала ему сделать это.

Во время суда мы были с С. М. в переписке при помощи книг библиотеки дома предварительного заключения. Последнее письмо ее было помещено в книге Гегеля за несколько дней до утверждения приговора. В нем она писала, что желает одного — смерти. Смертью, своей кровью она хотела в последний раз послужить делу революции, делу освобождения русского трудового народа от цепей самодержавия.

Смертная казнь заменена была ей бессрочной каторгой. Софья Михайловна увезена была в Шлиссельбургскую крепость и помещена в старую сырую тюрьму, рядом с Щедриным, страдавшим буйным помешательством.

В тетради-дневнике, которую вела в крепости С. М., была такая запись: «обращаю внимание начальства тюрьмы на положение сумасшедшего заключенного. Жандармы для времяпрепровождения останавливаются около его двери и начинают всячески издеваться над ним, доходя до невероятной животной гнусности. Я два раза останавливала жандармов, но такое обращение к их нравственному чувству было недостаточно, и лишь угроза пожаловаться начальству заставила их отказаться от этого дикого развлечения» *).

Оторванная от всего мира, изолированная **) от всего живого, окруженная с одной стороны — грубыми жестокими жандармами, с другой — безнадежно психически больным, над которым «издевались жандармы», С. М. стала страдать нервным расстройством и бессонницей.

Быть может, Софью Михайловну стала тревожить навязчивая мысль о том, не будет ли и она в окружающей ее обстановке доведена до состояния, в каком находился ее сосед. Для нее создалось положение совершенно безнадежное и беспросветное. Выход из него был один — самоубийство.

Воспользовавшись тем, что ей дали для работы ножницы с закругленными концами, С. М., лежа в постели, закрывшись одеялом, «разрезала себе на шее кожу и подкожную клетчатку до мышц, затем в сделанную рану ввела ветви ножниц и одним ударом вскрыла сонную артерию и внутреннюю яремную вену» ***).

Это было 7 января 1891 г. в 4 часа дня.

*) Б. Н. Николаевский, С. М. Гинсбург в Шлиссельбурге. Былое, 1920 г. № 15.

**) Там же. Изоляция С. М. была так совершенна, что не только о самоубийстве С. М., но и вообще о пребывании ее в стенах Шлиссельбурга, шлиссельбуржцы не имели ни малейшего представления. О пребывании Гинсбург в тюрьме им стало известным лишь спустя несколько лет после ее смерти из отрывочных рассказов жандармов.

***) Там же. Протокол вскрытия.

Ужас охватывает душу, сердце сжимается острой болью при мысли о той поистине страшной трагедии, которая разыгралась в камере № 33 старой тюрьмы.

Софья Михайловна принадлежит к тем людям, которых забыть нельзя, образ которых всегда стоит перед вами.

Прошло уже 35 лет после последней встречи моей с С. Гинсбург на суде во время чтения приговора, а ум не хочет примириться с мыслью о том, что, замученная жандармами Александра III, она лежит где-то в сырой холодной земле у стен проклятой Шлиссельбургской крепости.

Л. Фрейфельд.

Рабочий-народоволец П. Л. Антонов.

(Воспоминания).

Я прочел в «Голосе Минувшего» (№ 2 — 23 г.) *Автобиографию шлиссельбуржца П. Л. Антонова.* Под ее впечатлением я решил поделиться своими воспоминаниями об этом могучем революционере-народовольце и осветить некоторые факты из его жизни, о которых Петр Леонтьевич вспоминает и сам, но в весьма сжатой форме.

Очень можно пожалеть о том, что П. Л. изменил первоначальный план своей автобиографии, начатой с довольно подробного описания детства. Автобиография Антонова, несомненно является ценным документом для характеристики 70-х и 80-х годов, давших много могучих борцов революционеров не только из среды учащейся молодежи, но и из среды рабочих.

Воспоминания П. Л. в особенности интересны тем, что они дают нам тип рабочего с хорошей школьной подготовкой, изучающего в ремесленной школе при адмиралтействе в Севастополе «черчение, рисование, арифметику, геометрию и технологию» и кончившего в 1876 году эту школу первым учеником.

Воспоминаний об Антонове, о его революционной работе весьма немного, почему я считаю, что я не имею права больше молчать, так как живых свидетелей славного прошлого осталось уже немного, а всем нам оставшимся в живых, вероятно скоро придется уйти туда, откуда уже нет возврата.

К большому сожалению я могу говорить только о своих встречах с Антоновым с осени 1883 г. до 1 мая 1885 г., когда нас вместе арестовали.

Я уже писал в своих воспоминаниях о «Революционном Харькове в 1881—85 г.г.» *) что мы молодые народовольцы того времени, больше всего заботились о том, чтобы наши рабочие кружки не проваливались и, говоря правду, мы в этом отношении достигли блестящих результатов, так как все мы очень скоро кончили свою революционную карьеру, наши же харьковские товарищи рабочие просуществовали без провала с

*) «Летопись Революции», 1923 г. № 5, 1924 г. № 2 (7).

1882 по 1889 г. когда все мы уже были в ссылке. В рабочую же среду затесался предатель рабочий Куреленок, всех их предавший. Но П. Л. Антонов не относился к этой категории рабочих, и мы с ним встречались уже как с боевым народовольцем, ближайшим нашим товарищем, нередко же и руководителем.

Я узнал П. Л. уже как нелегального «Кирилла», слава о котором была широко распространена на всем юге. До дня нашего ареста я, если не ошибаюсь, не знал его настоящей фамилии, но знал, что по специальности он кузнец, и меня, студента из семинаристов, долго поражало то, что в Антонове мы встречали совершенно интеллигентного революционера, не похожего на наших местных рабочих, среди которых между тем уже вырабатывались будущие вожди рабочего движения, наши ученики, напр. Андрей Кондратенко, Ив. Дм. Веденьев, Вл. Соколов, Яков Рыбоксон и др. Только из автобиографии Антонова я узнал, что он блестяще окончил еще в 1870 г. нечто вроде теперешнего рабочего техникума.

В 1883 г. я познакомился с Антоновым как с нелегальным, которому нужно было подыскивать наиболее безопасные квартиры для ночевок; после же, когда в 1884 г. наша местная организация заняла почти центральное положение, как об этом пишет и Антонов, я стал встречаться с П. Л. на общей революционной работе.

По какому-то общему чутью за «Кириллом» скоро установилась слава человека могучей воли, который ни при каких условиях не сдастся без боя. Он всегда ходит вооруженным с американским смит-вессоном офицерского образца и с большим кинжалом.

Всякое слово П. Л. имело особый вес, тем более, что вообще он мало говорил, но если же что скажет, то, как говорят, отрубит.

Одновременно с сим он был человеком весьма скромным и деликатным, никогда не пытающимся играть первую роль. Я не сомневаюсь, что если бы Антонов обладал честолюбием, то ему легко было бы занять руководящее положение среди нас, но этого не было, и он всегда оставался революционером-исполнителем, а не руководителем.

Несмотря на некоторую суровость, Антонов по существу был доверчивый человек и легко сходился с товарищами. Он был весьма скуп на ласковые слова, вот почему меня так тронуло доброе слово его в «Автобиографии» о наших близких отношениях. Быть «своим» (Антонова) приятелем — для меня дороже многих похвал.

Я до ареста не знал, что Антонов принадлежал к южно-русской боевой дружине, но это само собой чувствовалось при

знакомстве с ним, и мы уделяли особое внимание тому, чтобы он не провалился в Харькове.

Насколько у Антонова выработалась строгая привычка к конспирации, видно из того, что, встречаясь с ним в начале 1885 г. и постоянно пользуясь его полным доверием, я не знал, где и с кем поселился Антонов.

Будучи членом боевой дружины, П. Л. не вмешивался в наши местные дела. Он был знаком с руководителями наших рабочих кружков Кондратенко, Веденьевым и др., дружен с ними, оказывал на них заметное влияние, но все-таки он избегал часто встречаться с ними. Мы не скрывали от Антонова наших деловых собраний и иногда он присутствовал на них.

Я встречал Антонова в начале 1884 г, после убийства им предателя рабочего Шкрябы, и хорошо знал, что это кровавое событие тяжело далось ему и вообще он далеко не был черствым человеком, каким нередко его считали.

Какой-либо особой работы в Харькове Антонов не вел, постоянно разъезжая и выполняя разные поручения, от которых никогда не отказывался.

Изредка я видел Антонова во время скромных студенческих пирушек, когда пели, немного пили, иногда танцовали и тогда можно было удивляться тому, какой это был жизнерадостный человек. Я до сих пор помню его, поющим вместе с другими. «Я вновь пред тобою стою очарован».

Женское общество П. Л. любил; пожалуй, был даже любимцем дам, но чаще всего он избегал веселья и женского общества, всегда оставался чем-то озабоченным и постоянно думал свои тяжкие думы.

После этой общей характеристики П. Л. Антонова, перейду к более подробному описанию последних дней его вольной жизни.

Как я уже писал в другом месте, к началу 1885 г., после провала киевской организации, а особенно Лопатина, С. Иванова и др. Харьков стал наиболее заметным боевым центром на юге, куда часто приезжали оставшиеся на воле нелегальные: Якевич (Петрович), Елько, Антонов, Лисянский, Оржих, Бартенев и др., и наша местная организация неожиданно заняла весьма ответственное положение.

В конце 1884 г., уезжая из Харькова, Елько поручил мне получение писем и передал некоторые шифры. После его отъезда я скоро получил письмо Антонова из Воронежа, из которого узнал, что там организуется экспроприация почты; Антонов испрашивал окончательную санкцию этого акта. Я совершенно ничего не знал о том, что Антонов, уезжая в Воронеж, уже говорил об этом с Елько. Письмо Антонова нас очень встревожило, но ответить Антонову отказом мы не могли, так

это превышало бы наши полномочия; в то же время мы полагали, что нужно остановить грядущее событие, поэтому я спешно написал Елько в Москву шифрованное письмо, но он его, кажется, не получил.

П. Л. в своей автобиографии как раз и говорит о том, что он требовал от Елько скорого ответа на запрос по телеграмме. Получили мы и телеграмму, но ответа дать не могли. И вот по словам Антонова, попытка экспроприации почты «кончилась так ужасно, что при воспоминании о ней у меня и теперь пробегает мороз по коже». Если я не ошибаюсь, при попытке экспроприировать почту был убит почтальон. Скоро Антонов приехал в Харьков, где и виделся последний раз на воле с Елько.

В начале 1885 г. Елько был арестован в Петербурге. Антонов же вновь приехал из Севастополя в Харьков, где и прожил до своего ареста.

Если не ошибаюсь, в марте привезли Елько в Харьков и посадили в тюремный замок, о чем мы тотчас же узнали, ведя организованные сношения с тюрьмой. Так как на мне лежала миссия сношений с тюрьмой, то скоро я получил письмо от Елько и отвечал ему. Антонов пишет, что, «ничего не подозревая, мы завязали с ним сношения и собрались освободить его». Но в план (довольно фантастический и рискованный) освобождения, выработанный Ив. Гр. Цыценко, недавно выпущенным из тюрьмы, мы не впутывали Антонова и произвели бы его местными силами, если бы Елько не отказался от него.

Страшно подумать, какую кровавую баню мог устроить Елько, выдав наш план. Но чужая душа — потемки, Елько на этот раз не выдал нас. Я часто ломал себе голову, желая найти объяснение, чем это было вызвано, и только, читая автобиографию Антонова, как будто нашел объяснение этого факта. Несомненно Дурново, отправляя Елько в Харьков, дал ему определенное поручение изловить Антонова и, быть может, некоторых других нелегальных. Такое же поручение пытался дать Дурново Антонову, как он об этом пишет. Следовательно, Елько не было никакого резона до ареста Антонова осложнять дело новым предательством. Хорошо помню первое письмо Елько. Он жаловался на тяжесть своего положения, говорил об аресте Лопатина, вызвавшем аресты других, предупреждал нас от провалов, спрашивал, жив ли Антонов, Ясевич и др., где они. Антонов читал это письмо, и так как Елько сидел в верхнем этаже тюрьмы и его окно было видно с проходного переулка между замком и пересыльной тюрьмой, то он просил назначить Елько час дня, когда он должен сидеть у окна, желая сам в это время пройти по переулку.

Мы протестовали против такой сантиментальности, но все же написали Елько, чтобы он в 12 час. дня сидел у окна, и

некоторые знакомые Елько барышни проходили в это время по переулку. Конечно, о намерении Антонова мы не писали Елько.

Я до сих пор не знаю, убедили ли мы Антонова, что ходить ему у тюрьмы не следует, что это недопустимо. Антонов был особый человек, и я не ручаюсь, что он не выполнил своего намерения.

В апреле мы получили сведения о том, что за кем-то охотятся, а поэтому попросили нелегальных временно оставить Харьков. Ясевич, бывший в Харькове, уехал, уехали, кажется, и другие (Оржих, Бартенев).

Так как наша местная организация в эти трагические дни была очень близка к центральной, то мы ультимативно попросили Антонова на время уехать из Харькова, и он обещал это сделать. Действительно, он как будто скрылся с харьковского горизонта, засев в своей Холодногорской квартире.

Я полагаю, что почти через 40 лет можно быть более откровенным, а потому коснусь одной интимной подробности из жизни П. Л., а именно, того, что у него в это время назревало нечто вроде романа.

Одна из учениц фельдшерской школы на Сабуровой даче К. влюбилась в мрачного красавца, и он готов был ответить ей взаимностью.

Если не ошибаюсь, Антонов тяжело переживал это личное чувство, что было заметно и для нас, немногих его «приятелей».

Я усиленно готовился к экзаменам, когда 28 или 29 апреля 1885 г. (конечно, по старому стилю) неожиданно, часов в 6 вечера ко мне пришел Антонов с небольшим цилиндрическим свертком, который он бросил на мою кровать (это была бомба). После некоторых обычных разговоров, Антонов стал настойчиво звать меня на Сабурову дачу в гости к фельдшерицам. Я сперва категорически отказался, так как очень дорожил временем, но П. Л. был очень настойчив и сильно волновался, я скоро заразился его волнением и согласился итти с ним.

Мы сели на конку и сошли с нее у конечной остановки на Старо-Московской ул., откуда пошли через весьма мрачное место (пустырь) мимо кирпичного завода на Сабурову дачу.

Никакой слежки за собой мы не замечали, быть может потому, что Антонов очень волновался, я же со своей стороны заражался его волнением.

На обратном пути я необычайно по отношению к Антонову настойчиво [illegible] потребовал, чтобы он немедленно уехал из Харькова, и он без возражений согласился с этим.

Мы вернулись с Сабуровой даче, и здесь П. Л. [illegible] попросил [illegible] к ... ему фельдшерицах К. [illegible] [illegible]

с необычной лаской, —поцелуем, в первый и последний раз в жизни нашей.

Уже стало темнеть. На одной из улиц я встретил знакомых фельдшериц и тихо передал К. поручение Антонова. Но, видимо, никакого секрета тут не было, так как К. тотчас же стала советоваться со своей подругой Т. и все фельдшерицы (их было 4) заволновались.

К. быстро ушла к Антонову, я же остался со своими добрыми знакомыми. Но разговор не клеился. Мне ясно почувствовалось, что что-то назревает неотразимое и непоправимое. Как будто то же самое ощущали и женщины. Мне стало трудно переносить такое настроение, я быстро распрощался со своими знакомыми и другой, более спокойной дорогой ушел в город. На утро я был уверен, что Антонов уедет, а поэтому совершенно успокоился. Прошел день или два. 1-го мая во 2-м часу я возвращался домой и шел по Екатеринославской ул. На Лопанском мосту к моему буквально ужасу, я увидел едущего на конке Антонова и поздоровался с ним только глазами. Я свернул с моста по направлению к Клочковской ул. и шел по Сергиевской площади. Неожиданно меня полуобнял Антонов, сошедший с конки. Я с упреком обратился к нему, но он отшучиваясь сказал, что идет в университетский сад на свидание.

Прошло 2—3 минуты, как неожиданно что-то нас толкнуло, и я увидел, что 3 огромных верзилы схватили Антонова, 4-й же какой-то невзрачный плюгавец схватил и меня за руки. Верзилы орали «извозчик, извозчик!»; какие-то женщины громко сожалели: «каких хороших панычей схватили». Я испугался, зная, что Антонов всегда ходит вооруженный: «пойдет пальба, как бы и мне не влетело», мелькнуло у меня при сознании, что меня держит плюгавец. Можно было опасаться, что Антонов станет стрелять в него.

Но к моему величайшему удивлению, Антонов покорно давал себя обыскивать. В своей автобиографии он пишет: «1 мая я так торопился на свиданье, что забыл захватить оружие, с которым не расставался года два ни днем, ни ночью».

Для меня и тогда было, и теперь ясно, на какое свиданье спешил Антонов.

В жандармском очень обстоятельном досье по нашему делу (самое дело сожжено) имеется выписка из протокола нашего ареста, где говорится, что мы были арестованы на Университетской ул. около пассажа. Каким образом или зачем вкралась такая ошибка в протокол — я не знаю, но нас арестовали на Сергиевской пл. вблизи Лопанского моста.

Вскоре подъехал парный извозчик, и Антонова торжественно увезли, я же остался в довольно глупом положении со своим невзрачным сыщиком, который еще зычнее орал: «полицейский,

извозчик!» Не так скоро подъехал полицейский на «ваньке» (одноконном извозчике), и меня уже без всякой помпы повезли в полицию, где на один момент я вновь увидал Антонова. Составляли протокол и Антонов назвал себя студентом. Я совершенно не помню, чтобы у полицейских было какое-либо сомнение в том, что в их руки попал не тот, кого им надо было взять, как об этом пишет Антонов, ясно было, что Антонов являлся желанным гостем, я же случайным.

Но скоро полицейские почему-то заволновались и нас разъединили.

Я покорился судьбе и стал ждать, когда меня увезут в тюрьму, жизнь в которой я хорошо знал, но увы, меня увезли в изолятор Белгородской части, где я очутился совершенно один. Антонова же изолировали от всех других в самой тюрьме, как он об этом пишет в автобиографии.

Если не изменяет мне память, его еще до 1 мая увезли в Петроград.

При чтении нашего досье ясно чувствуется, что в нем скрывают истинного виновника ареста Антонова, теперь же, читая автобиографию П. Л., ясно можно видеть, что за ним охотились по чьему-то точному указанию. Антонов пишет, что жандармский полковник Цуталовский так приветствовал его, войдя в камеру: «Здравствуйте, Петр Леонтьевич. Давно, давно нам хотелось с вами познакомиться. Мы вас уже несколько дней поджидали на квартире Шехтера, но вы были так осторожны, что не являлись туда, но так как мы вас ждали и на других квартирах, то вы и попались». К слову сказать, Цуталовский был весьма неглупый полковник, и видимо болтал то, что было в действительности.

При первом же допросе выяснилось, что нас 20 апреля проследили до самой Сабуровой дачи, но не знали, кого я видел на даче, ясно, что сыщик остался наблюдать за Антоновым. Почему это произошло, я не знаю, но слежки за собой я в эти дни не замечал. Быть может, Цуталовский болтал истинную правду, и за моей квартирой велось наблюдение, а может быть, Антонов привел за собой сыщика на мою квартиру. Как бы то ни было, для меня ясно, что Антонова усиленно разыскивали по указанию [illegible] и [illegible] вероятно знали направление квартиры Антонова, потому и устроили 1 мая засаду на Лопанском мосту, самом удобном месте в городе, вот почему на него сразу набросились. [illegible] Антонова жандармы давно [illegible] опытным [illegible]щиком.

[illegible] предательство [illegible] Антонова [illegible]

Елько не осложнил, хотя и мог, но из автобиографии Антонова ясно почему, ведь он не любил говорить о своих делах.

Я более никогда не встречался с Антоновым, но раннею весной (вероятно, в марте) 1887 г., когда я сидел, после побега и годичной жизни за границей, вновь в Петропавловской крепости, в последней камере верхнего этажа, рядом же камера была пустая, неожиданно я услышал необычайно тяжелый стук ногою в пол. «Я Антонов, кто сидит рядом?» Я страшно взволновался и стал-было выстукивать свою фамилию, но к Антонову скоро вошли и стук прекратился. Как видно из автобиографии Антонова, это было уже тогда, когда его перевели вновь в Трубецкой равелин, после $1^1/_2$-годичного сиденья (изоляции) в Екатерининской куртине, на что я еще обращу внимание в конце данной статьи.

Вскоре после суда над Лопатиным и др. департамент и жандармы стали уделять более внимания нам, южанам (Богораз, Штернберг, Бражников, я, Карпенко, Цыценко и др.) и меня неожиданно повезли к Дурново, где я встретил такой же «радушный» прием, как и Антонов. Дурново очень любезно беседовал со мной, сожалел о моей молодости, говорил, что напрасно я бежал из тюрьмы, ведь все равно опять попал в крепость и т. п. Но никаких явных предложений он мне не делал. Неожиданно он взял кипу бумаг и передал их своему секретарю, говоря: «Вот решается судьба ваших знакомых» — «Каких?» — «Иванова, Елько, Белоусова, Ешина и др. Большинство из них отправляются в Сибирь». — «А Антонов?» — невольно спросил я. «Ну, нет, — резко оборвал меня Дурново, — этому [illegible] никогда не быть в Сибири». С тревогой я решил, что Антонов или казнен, или отправлен в Шлиссельбург.

Я окончил свои воспоминания о П. Л. Антонове, этом могучем богатыре последних лет жизни народовольческих организаций, и очень жалею, что у меня было мало фактов из его жизни, чтобы охарактеризовать нашего «Кирилла» во весь его гигантский рост, но полагаю, что сама автобиография его достаточно характеризует его, а потому и рассматриваю мои воспоминания, как простое добавление к его автобиографии.

В заключение дам несколько замечаний к тексту самой автобиографии.

Антонов пишет: «Пошли всевозможные обещания (со стороны Дурново) милостей мне и заверения честным словом, что никто из этих трех не будет повешен (Сергей Иванов, Б., Х.)». К этим словам имеется примечание В. Н. Фигнер: «Панкратов не мог объяснить мне, кто обозначен буквами Б. и Х.». Но ниже Антонов добавляет, что Дурново заботился не только о том, чтобы получить в свои руки первые №№ бомб, так как у Антонова были забраны №№ 7—10, но также [illegible]

«трех моих товарищей, *чтобы спасти их от смерти* (курсив Антонова) и что для этого меня на-днях перевозят в Харьков». Сопоставляя эти два места, можно видеть, что не о С. Иванове, давно арестованном, шла речь, а о других бывших еще на воле. Следовательно, С. Иванов включен в скобки ошибочно. Под буквами же Б. и Х., по моему мнению, надо разуметь А. Н. Баха и Ясевича, и вот на каком основании: хотя до моего бегства меня не возили к Дурново, но прокурор Романов и питерские жандармы меня также мучили с номерами ненайденных бомб и спрашивали: «Где же первые шесть бомб? Вы должны знать, где они». При этом повторяли о реформах правительства и так далее. Мне также говорили, что они знают и творца бомб — это Ясевич, организатор же дела — Бах. Быть может Антонов забыл фамилию или даже не знал Ясевича, умершего приблизительно в 1888 г. и известного Антонову как «Петрович» или «Францевич» (нелегальные клички). Читая жуткие страницы автобиографии Антонова, на которых он рассказывает, как он задумал перехитрить Дурново и стремился в Харьков, и сопоставляя факты, я прихожу к тягостному для меня сознанию, что, быть может, мое неожиданное бегство из Харьковской тюрьмы 3 сентября 1885 г. помешало Антонову осуществить его план. В самом деле, вот факты:

Меня привезли в Петроград из Харькова в июле или в конце июня. Здесь всех мучали с бомбами, но о выдаче не говорили (б. м. потому, что была на примете более крупная рыба). В конце августа меня возвратили в Харьков (совершенно неожиданно для меня) и 1 сентября опять посадили в изолятор Белгородской части. Почему? — я не знаю. Но теперь можно думать, что я у них был запасным фондом; если, де, не удастся с Антоновым, примутся за меня. Но неожиданно 3 сентября я бежал из изолятора и перепутал все их карты, принеся на волю вести о бомбах, о Ясевиче, Бахе и др., так как на допросах мне называли много фамилий.

Вот почему меня так усиленно разыскивали и вот почему Дурново в 1887 г. даже жаловался мне, что мой побег доставил им много хлопот: «Мы долго не могли понять, как это случилось, и на одни телеграммы о вашем бегстве я истратил 150 рублей».

Антонов не указывает времени, когда он вел переговоры с Дурново, но можно высчитать, что это было приблизительно в августе 1885 г. В самом деле, в марте 1887 г. я слышал необычайный стук в пол Антонова: мы же теперь знаем (из автобиографии Антонова), что это было после 1½-годичного сиденья в Екатерининской куртине, следовательно он туда мог попасть в августе или сентябре 1885 г. Попал же Антонов в куртину [illegible] Дурново [illegible], так переговоры с [illegible] Дур-

ново окончились скандалом. Напомню по автобиографии, что Дурново стал неожиданно допрашивать Антонова, Антонов же говорил, что даст показания только в Харькове. «Он стал настаивать, — пишет Антонов, — тогда я решительно сказал ему, что здесь не скажу ни слова. Он поднялся со стула и, понизив голос, сказал мне: «Так что же это вы, значит, хотели надуть меня?» Видя, что дело безвозвратно провалилось, я тоже встал и сказал ему: «А что же, вы думали, что и из меня сделаете такого же мерзавца, как из Елько? Руки коротки!» Он пришел в бешенство и стал кричать, что он мне этого никогда не забудет и пр. в том же духе. И когда меня уводили, то за спиной я еще слышал: «до смерти не забуду!», на что я ему крикнул: «на здоровье!»

Так как меня перевели в Харьков как раз в это время, то легко можно допустить, что мое неожиданное бегство вызвало подозрительность у Дурново, не доверявшего вообще «провинции», и он решил сам все выведать у Антонова, боясь нового скандала с отправкой в Харьков. Как бы то ни было, но для меня теперь ясно, что меня перевели в Харьков и вновь изолировали по каким-то особым соображениям в связи все с теми же бомбами.

Как видно из всего изложенного, мои воспоминания служат только дополнением к автобиографии Антонова. Можно пожелать, чтобы небольшая литература об Антонове была собрана вместе в одну книгу для характеристики этого рабочего-революционера.

Ал. Макаревский.

Памяти Ростислава Андреевича Стеблин-Каменского.

Р. А. родился 4 июля 1857 г. Его отец Андрей Павлович начал свою службу в гвардии, затем уже армейцем участвовал в Севастопольской обороне, а в начале 1860-х годов, вследствие недостаточности содержания в армии, перешел в полицию, где занимал должность исправника в уездных городах, а с 1868 г. перешел полицмейстером в Полтаву. На последней должности он оставался до 1879 г., когда ему предложили оставить ввиду осуждения его сына Р. в каторгу. Человек он был образованный, владел иностранными языками, следил за литературой и в домашней жизни совершенно открыто не признавал никаких религиозных обрядов. Взяток он не брал и кроме долгов ничего не имел. С последними он покончил и мог хорошо помогать сыну и другим родственникам только после отставки, когда он получил хорошо оплачиваемое место в Обществе «Кавказ и Меркурий». Да и пенсию ему, как севастопольскому герою, дали приличную (800 р.). Мать Р. А. — Мария Ивановна, рожденная Быковская, была простая добродушная женщина, без особого образования, к религии она относилась равнодушно, а подчас и отрицательно. Родители бесконечно любили и баловали своего единственного сына. Ростю Р. был в детстве здоровый, полный мальчик, всегда веселый, беспечный, большой хохотун, но довольно капризный. По наружности он был и лицом и всем сложением похож на свою мать, отцовского в нем ничего не было. В гимназию он поступил в 1869 г. во 2 класс, тогда-то он, как и следовало по его характеру, в 3 класс и экзамена не выдержал. Учился он не важно, способности у него были хорошие, но лень была еще сильнее. В четвертом классе он оставался на второй год. С четвертого же класса он стал франтить, ухаживать за барышнями и т. д. С того же времени он стал убежденным атеистом, что далось ему очень легко, так как особенно религиозным он в детстве не был. Очень трудно только ему было научиться курить. Много раз после мучительной дурноты, а иногда и рвот, вызванных курением, он зарекался курить, но затем мысль отстать от товарищей, отчаянных

курителей, заставляла его браться за папиросу. Наконец, после более чем полугодичных стараний Р. овладел искусством курения. В это же время он начал критически относиться к окружающему. Между прочим, он с одним из своих двоюродных братьев Лейвиным Дм. Дм. — его однолетком и близким ему приятелем в раннем детстве и во все время пребывания в гимназии, — перебрал поведение всех своих родных и знакомых и пришел к заключению, что ни один мужчина из них не заслуживает уважения, а из женщин признал только одну (С. П. Лейвин) заслуживающей уважения и даже названия святой женщины. Главным пороком было нарушение с той или другой стороны седьмой заповеди. Достаточно было рассказать или даже прослушать без протеста какой-нибудь двусмысленный анекдот, чтобы лишиться уважения Рости. Грубое обращение с прислугой было другим поводом к лишению уважения. Возмущался он очень и положением крестьян и рабочих. У него тогда выработалось правило при поклоне на улице какому-нибудь простому человеку снимать шапку с головы повыше, тогда как, здороваясь с знакомыми, он шапку только приподнимал. Стал он часто поднимать вопрос о ненормальности разделения людей на белую и черную кость. Начал мечтать об устройстве жизни на новых началах, без эксплуатации одним другого. Познакомившись же с утопией Томаса Мора, а затем с запрещенными изданиями, особенно с «Вперед» Лаврова, он проникся всецело идеей слияния с народом для пропагандирования ему социалистических идей. В это время, в 1874 г., он образовал довольно обширный кружок гимназистов, разделявших его взгляды (Синькевич, Лейвин, Сажин, Хохуля, Цыбульский, Харечко, Оголевец, Остроменко, Линик, Яцевич и др.). Позже знакомство с более старшими товарищами, побывавшими уже в тюрьме К. И. Гриневичем, А. М. Калюжным и М. А. Олеховским еще более укрепило его в необходимости идти в народ. При этом как Р., так и все его приятели, признавали себя неспособными сделаться простыми рабочими, а решили идти в народ, главным образом фельдшерами. Некоторые (Оголевец, Рейдер) вскоре добыли себе фельдшерские дипломы и заняли места в земстве, хотя вскоре перешли на другую службу. Р. предполагал сначала кончить гимназию и, пожалуй, даже университет и тогда идти в фельдшера. В это же время он пробовал пропагандировать и в народе, при чем пропаганда его ограничивалась, главным образом, раздачей революционных брошюр (Хитрая Механика, Четыре брата и т. п.) и редко короткими разговорами о невозможно тяжелом положении крестьян. К кружку Р. примкнули и несколько гимназисток, в том числе и его будущая жена А. Н. Комаровская. Весной 1875 г. и 1876 г. Р. с некоторыми из приятелей часто предпринимал дальние

прогулки, иногда на целый даже учебный день, по окрестностям Полтавы с целью ближе познакомиться с жизнью крестьян. В 1876 г. за ним ходил шпион, вероятно по распоряжению отца Р., и шпиона этого, несмотря на все ухищрения, открыть не удалось. Но Р. каждое утро отыскивал на столе у своего отца донесения этого шпиона, где вполне точно излагалось куда и с кем Р. ходил и где сколько времени пробыл, но никогда ни слова о том, какие разговоры вел Р. Денег у Р. обыкновенно не было ни копейки, хотя чуть ли не 12 лет отец давал ему жалованье ежемесячно столько рублей, сколько было ему лет; он всегда все свои деньги раздавал или на общественные нужды кружка или на помощь кому-либо нуждающемуся. Родители Р. были большие любители карточной игры, и ежедневно отец его играл в клубе, а мать у кого-нибудь из знакомых, и Р. наследовал любовь к картам. Всю зиму 1875—1876 г.г. он тотчас же после обеда являлся к своему родичу Лейвину сыграть короля в пикет, пока Лейвин был свободен; вечер от 5 и до 9 часов последний занят был уроками с учениками младших классов.

8 декабря 1876 г. после обыска, обнаружившего хранение революционных брошюр, Р. был арестован и посажен в одиночку Полтавской тюрьмы. Обвинялся он и арестованные одновременно с ним гимназисты 8 класса Сиwькевич и 6-го Остапенко в распространении запрещенных изданий. После 4-х месячного заключения Р. был освобожден на поруки отца 17 апреля 1877 г. Дело это кончилось административным постановлением 3-х министров и шефа жандармов, по которому Р. был приговорен к месячному аресту, который он и отсидел с 17 мая по 17 июня 1878 г. Во время отсиживания Р., Гриневич К. И. вдвоем с Лейвиным раза три возили в тюрьму пожертвования на улучшение пищи арестантам — 1 п. мяса, чаю, сахару и белого хлеба — при чем вносили в тюрьму привезенное сами, стараясь, чтобы арестанты видели жертвователей, им хотелось показать арестантам, что политические их услуг не забывают; Гриневича они знали, так как он незадолго перед тем был освобожден из Полтавской тюрьмы на поруки. Арест Р., конечно, заставил его уйти из гимназии. В том же 1887 г. он поступил в Харькове в Ветеринарный Институт. В Харькове он с другими полтавцами (Сажин, Яцевич) скоро сошелся с местными революционерами (Ефремов, Преображенский, В. Малинка, Филиппов и др.). На рождественских каникулах, в самом начале 1878 г. он устроил неудачную попытку освободить недавно перед тем арестованного В. Малинку, привезенного для какого-то допроса из Харькова в Полтаву и отправляемого затем в Одессу с ночным поездом. Сведения о часе и дне отправки В. Малинки доставил один доброжелатель из жандармов. На

вокзале собралось не мало молодежи и предполагалось в момент посадки Малинки в вагон всей толпой устремиться в тот вагон и в толкотне оттеснить Малинку от жандармов, которых хоть на минуту задержать в толпе и тем дать Малинке возможность скрыться в темноте и добежать до приготовленной для него лошади. Но жандармы, вероятно, догадались, что готовится что-то, и заранее вывели Малинку с вокзала и посадили в вагон с другой стороны поезда. В начале того же года Р., по всей видимости, принимал близкое участие в казни шпиона Никонова в Ростове на Дону. На летних каникулах Р. начал проповедывать необходимость террора. Этим летом вследствие обострившихся семейных отношений, он решил совсем уйти из семьи и для этого перейти на нелегальное положение. В августе он привел в исполнение свое решение и отправился уже с фальшивым паспортом в Елизаветградский уезд к доктору Богомольцу с целью добыть фельдшерский диплом. В начале февраля 1879 г. он приехал на съезд революционеров в Киев, где 11 февраля с компанией и был арестован после оказанного ими вооруженного сопротивления. Суд по этому делу был назначен военный и Р. считали уже погибшим, так как по обвинительному акту два жандарма показали, что выстрелом Р. был убит один из жандармов при этом сопротивлении. На суде, к счастью, эти жандармы не подтвердили своего показания, кажется, не без некоторых давлений со стороны родных Р., и он был приговорен согласно конфирмации Киевского генерал-губернатора к шестилетней каторге. На этом процессе в качестве свидетельницы участвовала и А. Н. Комаровская, на одном из свиданий Р. с ней был решен их брак. Интересная подробность: прибыв в Киев перед началом процесса, отец Р. послал ему табаку и обед. Р. возвратил и то, и другое, сообщив, что их политических в тюрьме 17 душ, так что он может принимать только то, что отец будет посылать каждому из 17-ти товарищей. В том же году Р. в партии товарищей был помещен на Кару. Его мать немедленно поехала к нему, но скоро была выслана с Кары за ее нетактичное поведение. Его невеста А. Н. Комаровская немедленно после процесса Р. была выслана административным порядком в Западную Сибирь в г. Тару. Оттуда она возвратилась в конце 1883 года и в 1884 г. поехала на Кару, где и повенчалась с Р. Срок каторги Р. кончился 10 августа 1885 г., и в тот же день он с женой был отправлен в Якутскую область. В Якутск они прибыли 6 января 1886 г. Поселен он был в каком-то якутском улусе. Из Якутска он прислал своему двоюродному брату Левину написанную им повесть из жизни революционного кружка. Напечатать ее было нельзя по цензурным условиям. Левин оставил у себя копию повести, а подлинник, согласно воле Р., отослал его отцу, после кончины

которого все бумаги его, в том числе и повесть эта были сожжены. Экземпляр же повести, бывший у Лейвина, в 1914 г. С. П. Швецов, товарищ Лейвина по ссылке в Сургут, выпросил с целью переписать на машинке и поместить в каком либо журнале. Однако, она в печати не появлялась. Р. написал биографию своего друга Попко, которая была напечатана за границей, а потом, и в журнале «Былое». В 1893 г. Р. получил право приписаться к обществу села Павловского, Якутского округа. В мае того же года Р. с семьей переехал на жительство в Иркутск. В июле его семья уехала на родину в Полтаву. 27 июля 1894 г. Р. покончил с собой. О причинах этого несчастья ничего достоверного не знаю. Одна жительница Иркутска М. утверждала, что причина была какая-то романическая.

Дм. Лейвин.

Письмо Р. А. Стеблин-Каменского к В. Н. Вагнер-Дзвонкевич.

Осужденный в 1883 г. по «делу 27-ми» (Стрельниковский процесс) на бессрочную каторгу известный народоволец Николай Николаевич Дзвонкевич был отправлен на Кару, куда прибыл в 1884 г. Его дочь, Екатерина Николаевна (по мужу Вагнер), принимавшая также активное участие в революционном движении, решила в 1884 г. переехать с матерью на Кару, к отцу, чтобы быть ближе к заживо погребенному дорогому ей человеку и хоть отчасти чем-нибудь скрасить существование его, а также и других политических каторжан.

Собираясь в такой далекий, гиблый край и желая иметь хоть некоторое представление о местности и условиях жизни, где ей придется прозябать, Екатерина Николаевна писала отцу, прося сообщить ей условия и обстановку жизни, как в самой тюрьме, так и в окрестностях Кары.

Так как писать из стен тюрьмы подробное письмо, идущее через цензуру, было по многим причинам неудобно и не было уверенности, что письма дойдут по назначению, Николай Николаевич поручил это сделать близкому своему товарищу, тоже известному революционеру Ростиславу Андреевичу Стеблин-Каменскому, осужденному в 1879 г. в Киеве по делу Дебагория-Мокриевича на 10 лет каторги и отбывавшему ее на Каре; как раз в то время Р. А. оканчивал срок своего наказания и высылался в Якутскую область.

Исполняя просьбу товарища, Стеблин-Каменский написал Екатерине Николаевне два письма, одно из Верхне-Удинска и другое из Якутской области, где пытался подробно нарисовать картину жизни и условий на знаменитой Каре.

Первое письмо Ростислава Андреевича из Верхне-Удинска затерялось в охранке, поэтому мы приводим здесь только второе из Якутской области. Оно представляет несомненный интерес, так как знакомит читателя, как с внутренними, так и с внешними условиями Карийского сидения за период 1881-1886 г.г.

Впоследствии Екатерина Николаевна намерение свое осуществила.

16 марта 1886 г. Якутская область, Мечинский улус, Тарагайский наслег.

Несказанно рад, Екатерина Николаевна, что вы получили мое письмо из Верхне-Удинска, рад, потому что мне удалось исполнить поручение человека, которого я искренно и глубоко уважаю. Постараюсь, насколько могу, ответить на все ваши вопросы. Я в этом году кончил полняком десятилетний срок каторги и писал вам по пути из Кары на место моего поселения, поэтому все мои сведения о жизни на Каре будут относиться к прошедшему времени, т.-е. к августу 85 г., а теперь многое на Каре могло измениться и даже, как предполагало начальство, быть может, каторжане переведены в другое место. Я писал вам, что срок выхода Николая Николаевича в вольные команды через 11 лет, полных 11 лет, не считая 8 месяцев за год. Дело в том, что те сокращения, о которых вы слыхали, не касаются вовсе приговоренных в рудники, им сбавляется по 2 месяца за год со срока за «хорошее поведение», но исключая «срока испытания», который считается полняком. Для бессрочных срок всей каторги 20 лет, срок испытания [illegible] и все полняком. Другое дело заводские или крепостные, тем действительно со всего срока сбавляется треть (т. е. 8 месяцев считая за год) и, кроме того, еще по 2 месяца за «хорошее поведение», не включая срока испытания (напр., осужденный в заводы на 6 лет, всего будет на каторге 3 г. 7 м. (6 лет) 2 г. + 5 м. за хорошее поведение, по 2 м. за год исключая срок испытания, т. е. в данном случае 1 г. 6 м. = 3 г. 7 м., т.-е. 6-летнему придется пробыть всего на каторге 3 г. 7 м. Из всего предыдущего вы видите, что срок выхода в вольные команды вашему отцу в 94 г., а срок выхода на поселенье в 1903 г. Конечно, говорить о том, что можно надеяться на то, что кто-нибудь может выжить на каторге такой поистине бесконечный срок, смешно. Многое до того времени может перемениться и условия каторги будут несравненны с нынешним, так настоящие условия не похожи на те, которые были, например, до 82 г. Вообще маленькие перемены в взглядах администрации отражаются чрезвычайно резко на каторжанах, кажется, [illegible] других сферах, [illegible]. На Кару [illegible] [illegible] будут [illegible] [illegible] единственное [illegible] [illegible] Естественные [illegible] [illegible] можно [illegible] [illegible] вообще [illegible] на

счет тюрьмы. Выпущенные в вольную команду получают, конечно, то же казенное содержание, что получали и в тюрьме, но не берут, а отдают в тюрьму, где варят пищу и на вольные команды. Тюрьма купила несколько домов для выпускаемых, и они там живут. Огороды лишь затеяны жившими в вольных командах, но на них ровно ничего не выросло. Начальство обещало, что на следующий год будет дозволено и заключенным работать на огородах, это крайне желательно и важно для сидящих. Несомненно, что работы на открытом воздухе отразятся крайне благоприятно на здоровьи заключенных, с 81 г. и по сие время работ вовсе не было, и тюрьма кроме домашних работ ничего не исполняла. Народонаселение Кары состоит преимущественно из «уголовных», начальства всякого рода да казаков. Политическая тюрьма совершенно изолирована от «уголовных», ее охраняют солдаты, а не казаки, вместо надзирателей, и жандармы и свой отдельный комендант (жандармский офицер теперь Николаев) и смотритель. О климате и растительности, а также и о путях сообщения могу сообщить очень мало, так как все 7 лет моей каторжной жизни я провел безвыходно в тюрьме и прямо из тюрьмы меня отправили в Якутскую область. Лето там большей частью дождливое, весна начинается с мая, в октябре уже холод, да к тому же Кара отделена хребтом от ю.-в. ветра, что влияет крайне неблагоприятно на местный климат; переваливая через хребет, вы въезжаете словно в погреб. Самая тюрьма для государственных преступников стоит на склоне горы на почве топкой и болотистой. Письма вообще доставляются исправно, если вы будете писать в Иркутск, жандармское правление, если же в Читу или прямо на Кару, то многие могут пропадать. Жизнь на Каре очень дорога, правда, если покупать провизию оптом на пароходе, тогда можно купить многие вещи и очень дешево, сравнительно, конечно, с карийскими ценами, так, например, можно купить сахар по 11 р. пуд, тогда как в обыкновенное время на Каре сахар по 50—60 к. фунт. Доставать вообще все очень трудно и, раз вы приехали на Кару, выбраться из нее не легко, потому что она на военном положении и въезд и выезд очень затруднительны. Собственно говоря, приезд только и возможен с разрешения департамента полиции. Родные, живущие на Каре, подчинены надзору точно так же, как и преступники, их переписка контролируется, выехать без разрешения нельзя, даже нельзя перейти из одного промысла на другой, хотя, конечно, «попущения» и недосмотры здесь возможны, как и везде.

О жизни заключенных можно сказать или очень мало, или же чересчур много и, если вас так интересует жизнь моих несчастных товарищей, я когда нибудь подробно напишу о ней, а теперь ограничусь несколькими словами: в каждой камере

человек по 15, всех камер 5, кроме 17 одиночек (туда сажают по особому распоряжению начальства); встают часть очень рано, часа в 3—4 утра, а часть очень поздно, часов в 11—12, пьют чай, а затем читают, в 12—1 ч. обедают, т.-е. едят суп (мясо + вода, иногда картофель и ячная крупа), после обеда читают и гуляют 1 ч., потом ужинают, ужин — мясо от обеда, каша, лапша из пшеничной муки, иногда горох, потом читают, одни часов до 9—10, другие до 3—4 и так каждый день. Вся жизнь разнообразится или получением книг, писем или приездом новых товарищей или же обысками, приездом начальства. Вашу посылку с книгой, бельем и пр. Николай Николаевич получил. Вы, между прочим, интересуетесь и моей жизнью. Моя жизнь очень мало отличается от жизни моих товарищей, сидящих в тюрьме. Живу я в Якутской области, кругом пустыня, людей живых, кроме дикарей-якут, почти нет, растительность крайне бедна, климат суровый, условия жизни очень и очень тяжелы, передвижения и разъезды абсолютно запрещены. Деревень здесь нет, а живут крайне разбросанно один от другого, иногда на расстоянии 100 и больше верст. В ... этот год полный неурожай, и несчастные якуты питаются исключительно молоком и сосновой корой, из которой делают лепешки. Вообще, если бы вы могли хоть отчасти познакомиться с здешними условиями жизни, то не пожелали бы, чтобы Николаю Николаевичу выпала такая тяжелая жизнь. Мне, впрочем, кажется, ничего я желал бы ему получить из дому денег. Конечно, времени здесь для умственных занятий больше, при одинаково сравнивая с неприятными условиями жизни, но все же Якутская область лучше каторги, по крайней мере, на первое время. Если вы получите это письмо, будьте так добры, известите. Я боюсь, что не мог вполне удовлетворить ваше желание знать подробно об условиях жизни на Каре. Задавайте вопросы, с дорогой душой буду отвечать на все.

Остаюсь с глубоким уважением всегда готовый к услугам Р. Стеблин-Каменский. Мой адрес: Якутск, Якутскому Окружному исправнику для передачи государственному преступнику Ростиславу Стеблин-Каменскому в Мегинский улус, Тарагайский наслег.

Сообщил *Жуковский Жук.*

А. П. Буланов.

1-го октября 1918 г. умер скоропостижно в Саратове Анатолий Петрович Буланов.

Смерть его прошла совершенно незаметно, и многие даже не знали об его кончине, тем более, что она произошла не в Петрограде, где А. П. жил последние 12 лет. Между тем, Анатолий Петрович в молодости был таким заметным работником в революционных рядах, что я хочу дать о нем некоторые биографические сведения.

А. П. Буланов родился 5-го августа 1858 г. в Петербурге. Отец его бедный чиновник, секретарь Римско-Католической Духовной Коллегии, семейная обстановка, в которой рос А. П., была типичной для мелкого чиновничества, тем более, что мать А. П. была женщиной малоинтеллигентной. Отец отличался от своих сослуживцев лишь неподкупной честностью. Анатолий Петрович учился вместе с старшим братом своим Леонидом (впоследствии землевольцем, осужденным на поселение по процессу Сабурова, Козенкиной и Малиновской) в гимназии, откуда по недостатку средств у родителей вышел из 4-го класса и, самостоятельно подготовившись, поступил в Морское училище, где и окончил курс в 1879 году первым по отметкам с премией адмирала Нахимова. Впрочем, значился он по выпуску не первым, а вторым, так как начальство еще в училище заметило недозволительный образ мыслей юноши и держало его простым рядовым. Благодаря своим выдающимся способностям А. П. тратил лишь малую часть времени на учебные занятия, большую же часть посвящал чтению; под влиянием брата, уже ставшего социалистом, у А. П. вырабатывается определенное миросозерцание и он еще в училище жадно читает нелегальную литературу, снабжает ею товарищей, а в старшей роте является уже человеком с вполне сложившимися убеждениями и весьма начитанным. Нельзя не отметить следующий любопытный факт: несмотря на то, что в то время в Морское училище принимались лишь дворяне и преимущественно сыновья морских офицеров и что, конечно, громадное большинство воспитанников не интересовалось политикой и далеко не сочувствовало революционным идеям, среди товарищей А. П. не только не

было Шпаков. Когда начальство предпринимало внезапные обыски в партах у воспитанников старшей роты, все и несочувствовавшие предупреждали своих неблагонадежных товарищей и первые всеми силами помогали им прятать от начальства всякую нелегальщину. А. П. был еще в училище, когда был арестован и судился брат его Леонид Петрович. После процесса начальство еще подозрительнее стало относиться к А. П., и после окончания курса ему не дали долго служить в Кронштадте и перевели в Невельский полуэкипаж, что считалось во флоте чуть не наказанием. Впрочем, там А. П. пробыл недолго. Его непосредственный начальник, командир судна, раз сообщил ему, что из Петербурга получен приказ следить за молодым офицером, чего он, конечно, делать не станет, так как он, слава богу, моряк, а не жандарм, но что он советует А. П. подать в отставку, якобы по семейным обстоятельствам, так как все равно ему не дадут служить во флоте, и обещал поддержать его просьбу. А. П., желаниям которого это вполне соответствовало, послушал совета и, выйдя в отставку, вернулся в Петербург и отдался всецело революционной деятельности. Еще в бытность офицером А. П. работал в Кронштадте в кружке морских офицеров, примыкавших по своему направлению к партии Черного Передела, из которых ближайшими товарищами А. П. были Лавров, Петров, Зарубов, а также завязал связи с рабочими. Теперь он с новым рвением принялся за деятельность среди рабочих, у которых он пользовался большим успехом и влиянием. Одновременно он принимает непосредственное участие в издании «Черного Передела», где пишет статьи и держит корректуру. Рядом с этим А. П. выступает среди учащейся молодежи и нередко дискутирует с Желябовым (вставка № 1 и № 2).

Надо отметить одну характерную черту в деятельности А. П. Охотно поручая мелкие дела своим товарищам, он всякое ответственное, трудное и сложное дело любил делать сам, и в этом отношении ни отсутствие времени, ни опасность, ни какие другие соображения для него не существовали. Каждая минута его жизни принадлежала партии, и иное отношение к своим революционным обязанностям вызывало всегда негодование с его стороны.

Особенно удачно действовал он среди рабочих, к которым он как-то умел сразу подойти. Его ученики быстро привязывались к нему. Пропаганду и организацию рабочих он всегда ставил во главу угла.

После провала типографии с первым номером «Черного Передела» Анатолий Петрович является одним из самых энергичных и выдающихся членов центральной Петербургской группы, к которой перешло [illegible] партийным [illegible]

К статье Булановой: «А. П. Буланов».

А. П. Буланов.

К статье М. Полякова: «Образы Минувшего».

Н. К Сигида.

К статье И. Майнова: «С. Н. Доллер».

С. Н. Доллер (Шехтер).

К статье Жуковского-Жука: «Памяти Джорджа Кеннана».

Джордж Кеннан.

Вместе со своими товарищами М. Н. Шефтелем и К. Я. Загорским, молодыми образованными юристами старшего курса, он ведет редакционную работу, пишет сам, нередко ездит в Минск, где находилась типография и куда из конспиративных соображений ездили лишь два человека; привозит печатавшиеся там номера и прокламации, со своими товарищами морскими офицерами Лавровым, Петровым, Вырубовым и др. поддерживает связи с военной средой, с Кронштадтом и попрежнему ведет энергичную и успешную пропаганду среди рабочих, все более упрочивая и расширяя связи в заводской и фабричной среде. Зимой 1880—81 года он при сотрудничестве тех же своих товарищей начинает издавать рабочую газету «Зерно» и успевает выпустить 6 номеров ее. Последние номера выходят вполне аккуратно: 1 июня, 1 августа, 5 сентября и 10 ноября. Летние номера написаны почти сплошь А. П. Рассказ «За тобою царь», особенно нравившийся читателям, писал также он.

Между тем аресты среди чернопередельцев, предательство [illegible]сима совершенно расстроили ряды партии: не было ни денег, ни связей, ни людей, и становилось ясным, что даже нечеловеческие усилия двоих-троих энергичных работников не спасут дела. Одно время возлагались надежды на Московскую организацию. Но поездка А. П. в Москву выяснила с очевидностью, что там тоже все энергичное, выдающееся выхвачено, и уцелевшие члены партии по тем или иным причинам не могут отдаться всецело революционной работе. В виду такого положения вещей А. П. с приехавшим из-за границы Я. Стефановичем вступил в переговоры с Львом Тихомировым о переходе в «Народную Волю». Почва для общей работы была найдена в деятельности среди рабочих, и часть уцелевших чернопередельцев вступила формально в партию «Народной Воли» на известных условиях.

В октябре 81 г. начались в Петербурге аресты среди рабочих, на которых в это время обратил свое особое внимание Судейкин. Придя раз на свидание со своим учеником Степаном Беловым, выдающимся по способностям рабочим, недавно выпущенным на свободу после недолгого ареста, А. П. был неприятно поражен и нетрезвым состоянием Белова и его странными речами о том, не поступить ли ему в департамент полиции с целью оказывать услуги революционерам. В конце концов Белов стал плакать и говорить, что скоро арестуют Петровича (имя, под которым был известен рабочим Буланов), и в это же время А. П. заметил, что две подозрительные фигуры, давно следовавшие за ними, быстро приближаются. Воспользовавшись тем, что они шли по пустынному месту, каким в те годы был Преображенский плац, а также своей незаурядной силой, А. П. двумя толчками свалил в снег и полупьяного Белова и одного

из подоспевших городовых и, быстро пробежав площадь и [illegible] пере[illegible] извозчика и благополучно ушел из рук полиции. После этого случая ему уже пришлось перейти на нелегальное положение и уехать в Москву. Но и здесь ему недолго удалось работать. В начале февраля он встретил на улице городе же Белова, а 9 февраля А. П. вместе с женой был арестован на улице, когда выходил из своей квартиры. На его квартире была устроена засада, где последовательно взяли Стодолинского и Новицкого и в Москве был произведен ряд арестов. Все арестованные были перевезены в Петербург, где должны были судиться, но в это время в Петербурге была открыта Судейкиным динамитная квартира Прибылевых, и громкое дело террористов Прибылева, Гелатова, Грачевского отодвинуло на задний план группу москвичей, которых сослали в Сибирь на разные сроки в административном порядке. Просидев год в предварительном заключении в Петропавловской крепости, А. П. в феврале 1883 г. был сослан на пять лет в Минусинск.

Благодаря тому исключительно счастливому обстоятельству, что в Минусинске существовала тогда созданная неутомимым коллекционером Н. М. Мартьяновым очень хорошая библиотека, постоянно пополнявшаяся вновь выходившими книгами, А. П. и время ссылки использовал для чтения и пополнения своего образования. В Минусинске же он написал две журнальные статьи «Государственная защита приисковых рабочих в Сибири» и «Народное образование в Сибири», которые за подписью «П. Соловьев» были помещены в «Юридическом Вестнике» (1885 и 1887 г.г.).

Вернувшись из ссылки в 1888 г., А. П. поселился в Н.-Новгороде, где служил капитаном парохода в Обществе «*Самолет*», занимаясь по зимам составлением и чтением лекций по судостроению и пароходной механике в возникшем тогда в Н.-Новгороде Речном училище, что было делом очень нелегким, так как преподавать эти предметы приходилось совершенно неподготовленной публике. Служба его в О-ве Самолет кончилась таким эпизодом.

В 1892 г., когда по Волге среди лета вспыхнула эпидемия холеры и испуганное пришлое население низовьев бросилось в панике назад к родным местам, переполняя пароходы и увеличивая число заболевающих, А. П. писал своему начальству о необходимости ассигновать некоторую сумму, чтобы поить чаем эту голодную испуганную толпу, о присылке медикаментов и фельдшеров на низовые пароходы. Сам он личным примером ободрял команду, которой приходилось нередко исполнять обязанности санитаров.

Хаос по Волге стоял невообразимый, в Астрахани и Царицыне уже разыгрывались холерные беспорядки, толпа громила

больницы и облавами докторов, а выше по Волге власти еще только раскачивались, выстроенные наскоро холерные бараки по берегам Волги не имели ни персонала, ни оборудования, и больных приходилось сводить на берег почти на верную смерть. Команда, среди которой тоже начались заболевания, насмотревшись на все порядки, установленные попечительным начальством, заявила о желании получить расчет. А. П. уговорил ее сделать это в Нижнем, что являлось бы не самовольным уходом с работы, а правом каждого матроса, и телеграфировал в Н.-Новгород, чтобы ему приготовили новый состав. Самолетское начальство, недовольное письмами А. П., и начальник речной полиции, бывший одноклассник А. П. по морскому училищу, начали распускать слухи, что Буланов «ведь красный» и нарочно сам взбунтовал команду. Басня эта была принята на веру. А. П., подходя со своим пароходом к пристани, к удивлению своему увидал, что его ожидает губернатор, полицеймейстер, масса полиции, готовой арестовать взбунтовавшихся матросов. Взбешенный А. П. немедленно заявил, что уходит со службы из «Самолета» и тут же принял предложение губ. Баранова, ценившего деятельность А. П. по Речному училищу, занять место коменданта холерного госпиталя, устроенного на острове ниже города. Тут, между прочим, он встретился со старым товарищем О. Б. Аптекманом, назначенным туда врачом.

В 93 г. он переехал в Саратов, где получил очень интересную работу на постройке Рязанско-Уральской жел. дор. по устройству переправы через Волгу под Саратовым. Там он производил опыты над крепостью льда, так как зимою предполагалось передавать поезд по льду на тот берег, проектировал эстакады и особые паромы для помещения целого поезда и перевозки его летом. По его чертежам строились нужные суда и он же их проводил в разобранном виде по Мариинской системе в Саратов.

По окончании постройки А. П. поступил инспектором в Страховое Общество «Россия» и вновь переехал в Нижний, а последние 12 лет служил в Петербурге в Российском Транспортном и Страховом Обществе помощником управляющего Страховым Отделом.

По возвращении из Сибири, Анатолий Петрович не вступил ни в одну из существовавших тогда революционных партий, оставаясь социалистом, он не принимал непосредственного участия в революционной деятельности. Тем не менее до конца жизни он горячо интересовался политической борьбой и всегда ревностно помогал революционному Красному Кресту. В 1908 г., когда группа старых народовольцев и шлиссельбуржцев, по инициативе Джабадари, предприняла издание легальной народнической еженедельной газеты «*Голос Народной Правды*», А. П. вошел

в группу и написал ряд статей по земельному вопросу, для чего ему удалось достать крайне интересные статистические материалы из министерства земледелия и землеустройства. Но попытка группы окончилась полной неудачей, так как власти, разрешив газету, сейчас же насторожились, и второй номер был конфискован и издание приостановлено.

С восторгом приветствовал А. П. февральскую революцию. Он, как будто помолодел на двадцать лет, вступил членом в партию с.-р., наиболее близкую его взглядам, а затем в группу *«Воля Народа»*. По приглашению Лутугинского Института А. П. вел систематические беседы с солдатами в казармах пулеметного и Павловского полков. Но затем позднейшие события переживались им очень тяжело.

Сердце у А. П. было слабое, ухудшившиеся условия жизни и тяжелые моральные переживания резко отразились на его когда-то богатырском организме и ускорили его кончину. Поехав в служебную командировку в Саратов, он внезапно скончался там от разрыва сердца.

В частной жизни А. П., несмотря на суровую внешность и резкие манеры, отличался большой отзывчивостью и добротой. Он всегда горячо принимал к сердцу всякую просьбу, сам первый предлагал свою помощь и усердно хлопотал о каждом, обращавшемся к нему за содействием.

Ольга Буланова.

Образы минувшего

Старое подполье влекло к себе не только боевые революционные натуры, но и романтические и всех тех, кто не укладывался в Прокрустово ложе обывательского беспечального жития. В революцию шла девушка с тихой грустью в юной душе и жаждой благородных порывов и стремлений; шел поэтически настроенный юноша, искавший тайну бытия, шел мечтатель о светлом будущем и т. д., пока революционное движение не разлилось длинным и широким потоком по всей Руси. В подполье встречались, за редкими исключениями, самые разнообразные и оригинальные типы людей, не мирившихся с обывательщиной.

Несколькими отрывочными характеристиками и воспоминаниями о таких людях я хочу поделиться с читателями «Каторги и Ссылки».

I.

Надежда Константиновна Малаксиано-Сигида.

С ней я познакомился в арестантском вагоне, когда нас из Москвы отправляли в Сибирь. Смуглые неправильные черты лица, скорбное выражение глаз, но какие глаза?! Их цвет я не мог бы точно определить. В них, порой, темной волной мелькало бездонное отчаяние, но постоянным выражением их была материнская ласка и любовь. Очень редко и на самые краткие минуты прорывалась в них юношеская шаловливость (ей было уже 24 года), свойственная жизнерадостным по натуре людям. Но такие проблески были чрезвычайно редки. Тюрьма и грядущая каторга, а может быть и разлука с близкими сердцу людьми, наложили на ее душу тяжелый камень, если не отчаяния, то неизбывного горя. Почти всегда она была сосредоточена, всегда подавлена тяжелыми думами.

В любой общественной группе, живущей общей жизнью, встречается целый калейдоскоп взаимоотношений, целая градация симпатии и антипатии. По отношению же к Надежде Константиновне такая градация положительно отсутствовала, она ни у

кого не искала ни любви, ни сочувствия, была в сущности душевно одинока, и [illegible] все и доброе, и злое, а вне становилась [illegible] ко всем одинаково любовно, а многие ее бесконечная деликатность и кротость [illegible], как бы кристальной чистоты человеку. Эта несгибаемая твердость крылась в необычайной прелести ее душевного склада. Не было ничего чрезвычайного, выдающегося в ее личности, но чувствовалась редкая по своей глубине и скромности любящая человеческая душа. Различные по объему своих умственных запросов и задач Иван Платонович Каляев и Надежда Константиновна Сигида были различны и по духовному складу своей натуры. Первый — зрелого таланта [illegible] широкий [illegible] человек, который в нормальных общественных условиях стал бы одним из выдающихся общественных деятелей и моральных вождей, другая — скромная учительница городской начальной школы, которая в ограниченной среде [illegible] детских душ сеяла благородные порывы и стремления и которая при иных общественных условиях не вышла бы вероятно из рамок скромной и малоизвестной провинциальной учительницы. Но основа их духовного облика **несомненно одинакова и равноценна: постоянная готовность творить добрые дела, отдаваться великим душевным порывам, постоянная готовность жертвовать собой.** Так [illegible] потерял свою жизнь Иван Платонович и погибла [illegible] страдания за поруганную честь и друга-каторжанок — Надежда Константиновна. Вот почему общие им черты и влекли к ним все сердца, знавшие их, и не давали места по отношению к Надежде Константиновне неприязни, антипатии, столь обычным спутникам человеческих взаимоотношений.

Впоследствии от некоторых каторжанок пришлось узнать, что в городской школе, где учительствовала Надежда Константиновна, она успела завоевать сердца всех своих учениц и пользовалась в городе большой популярностью, и это в то мрачное время, когда в школе свирепствовали дух злобы, недоверия, футлярности, переделывании всего в дух Дмитрия Толстого и холопа его, Делянова.

Юности свойственны сердечные увлечения. За отдельными исключениями наша ссыльная молодежь разделилась в пути на «пары». Для некоторых из этих пар дело кончилось лишь флиртом во время пути, для других — браком. Но Надежда Константиновна держала себя так, что подойти к ней со столь житейским естественным стремлением молодежи и не приходило в голову. Не отличаясь красотой, она, как женщина, была привлекательна, и тем не менее большинство молодых людей инстинктивно чувствовало, что такой подход к ней был бы профанацией ее скорби. Все же нашелся один, который не устоял пред обаянием ее

облика и безнадежно влюбился в нее. Это небезызвестный впоследствии поэт Павел Арсеньевич Грабовский. Для наших зубоскалов его увлечение и ухаживание было предметом шуток, тогда довольно ядовитых, но бедный Павел Арсеньевич был несомненно мучеником своего чувства. Выражалось это в его стремлении постоянно находиться вблизи Надежды Константиновны, заботиться о ней, оказывать ей услуги. Она же, постоянно погруженная в свои скорбные думы, душевно одинокая, крайне тяготилась этими ухаживаниями, деликатность не позволяла ей оборвать такие на нее тягостные отношения, да ей и жаль было причинить страдания Грабовскому, к которому она в сущности относилась по товарищески-дружески. Не встречая отклика, последний дурил, впадал в отчаяние и часто тенью ходил за ней. Наш этапный путь был пешеходным, потому что великая сибирская железнодорожная магистраль только проектировалась и, хотя политическим давались подводы, — некоторые из нас предпочитали пешее хождение. К последним, между прочим, принадлежали я и Надежда Константиновна. Павел Арсеньевич обыкновенно также бывал нашим спутником. Во время одного из таких переходов, в отсутствии Грабовского, Надежда Константиновна неожиданно обратилась ко мне с вопросом «что мне делать с Павлом?!» Я ей шутливо напомнил стих Пушкина: «любви все возрасты покорны». Она рассердилась и ответила «надо понимать человеческую душу!». На этом щекотливый разговор наш и оборвался.

В наших многодневных (от Томска до Красноярска) совместных этапных хождениях Надежда Константиновна чаще всего была малоразговорчивой спутницей, но случалось ей и разболтаться, вспоминала гимназию, детство и особенно свою школу и своих питомцев. О своем участии в революционной работе Надежда Константиновна никогда не обмолвилась ни словом, да и у меня не было охоты затрагивать эту тему. Знал я, что она была одной из многих революционных тружениц, которые сами на активную работу не идут, но всегда и сознательно готовы на самопожертвование, оставаясь незаметными в тени, но такими, без которых революционное подполье не могло бы и существовать.

Надежда Константиновна была хозяйкой квартиры, в которой была последняя типография «Народной Воли» и в которой Оржих, без ведома четы Сигиды, хранил динамит, найденный, кажется, через полгода после ареста супругов Сигиды, в нишах подвала под домом, денщиком офицера, поселившегося в этом доме. Осенью 1886 г. в Петропавловской крепости, в одной из библиотечных книг я прочел запись Оржиха, написанную точками: передайте, что динамит (или нитроглицерин — не помню) поставил в подвал я, и никто, кроме меня, не знал про него.

Впоследствии на этапной барже мне жена Оржиха, [illegible] Федорова, получившая одно свидание с ним, рассказывала, что Оржих при перекрестном допросе о найденном динамите заявил, что супруги Сигиды не имели понятия о динамите. На самом деле так и было. Сочувствующие революционной борьбе, но не прямые участники ее — супруги Сигиды согласились быть хозяевами конспиративной квартиры для постановки типографии, но дальше сами не шли — их личное положение было крайне благоприятно для этой цели. Он делопроизводитель какого-то учреждения (кажется военного) *); она учительница городского училища — оба вне подозрения. Если память мне не изменяет — их брак был первоначально фиктивный, для революционных целей, но впоследствии, как это и раньше случалось, превратился в супружеские отношения. Но оба шли сознательно на революционное самопожертвование, что и доказали своей дальнейшей судьбой. Сигида погиб на Сахалинской каторге; Надежда Константиновна на Каре. Ее гибель — тихий героизм, месть за попранное человеческое достоинство ее товарищей каторжанок. Обаятельность личности Надежды Константиновны подчиняла себе часто и наших [illegible] охранников. На каждого из политических полагалось по отдельному конвоиру. Во время этапного путешествия мы с согласия наших конвоиров, нередко уходили впереди партии, что правилами не разрешалось, нередко уклонялись в придорожную тайгу, собирая ягоды, против чего конвойные не всегда протестовали. Раз Надежда Константиновна была необычайно [illegible] жизнерадостна и, шутя, отняла у конвойного ружье и по солдатски его понесла. Конвойный только посмотрел на своих коллег: что скажут? — те смеялись.

В Красноярске я с Надеждой Константиновной расстался, так как решил итти в меньшей группе. На прощанье она мне подарила свою гимназическую тетрадь с выдержками из классиков. Эту тетрадь я храню, как драгоценную память об одной из незаметных, но великих сердцем и духом героинь революции.

II.

Павел Арсеньевич Грабовский.

В отдельных личностях иногда с поразительной рельефностью концентрируются типичнейшие национальные черты — физические и духовные. Но под влиянием воспитания и идейной атмос-

*) Аким Сигида служил в Таганрогском Окр. суде; умер по пути на Сахалин.

Ред.

феры, враждебной окружающей среде, индивидуум, оставаясь по основным своим свойствам типичным представителем своей среды и национальности, перевоплощается в нечто другое, иногда и враждебное среде, его породившей; таков именно и был Павел Арсеньевич. Выражение лица, походка, манера говорить, лукавая улыбка — все в нем обличало природного «малоросса». Воспитанник духовной среды («батько був диаконом») и «бурсы», как он называл Харьковское духовное училище, он, порвавший под влиянием революционного движения со своей средой и стихией, во многих отношениях все же оставался хохлом, но в то же время революционером, упрямо и всю жизнь мечтавшим о «вольной Украине». Так как до всяких «вольностей» было в 80-х годах прошлого столетия весьма и весьма далеко, даже безнадежно далеко, то «Панько», одаренный литературными и поэтическими наклонностями, отдавался литературному труду.

Его подлинной стихией была литература и главным образом поэзия. Явился он к нам в Бутырки нервно взвинченным, больным до последней степени. Это был, очевидно, результат тюремной одиночки. Но здесь, в общении с товарищами, он скоро, хотя и относительно, поправился. Вести с ним беседы на политические темы было чрезвычайно трудно. Здесь он оставался украинофильски односторонним, хотя на социалистических основах. Но в области поэзии и литературы Павел Арсеньевич был, если не космополитом, то человеком с большим и ясным пониманием ее всеобщего, мирового значения.

Он, между прочим, отличался большими версификаторскими способностями. Стены этапных зданий были усеяны длиннейшими шуточными стихотворными повествованиями о нашем этапном путешествии. Он обладал также несомненным и значительным поэтическим талантом. Его стихотворения на политические и лирические темы очень звучны и создают настроение. Не владея иностранными языками, кроме, кажется, враждебно-родственного польского, он пользовался нашими бутырскими языковедами, которые прозой дословно переводили ему произведения английских, французских и немецких поэтов, а он их уже «перелицовывал» на малорусский, иногда и на русский язык. В нескольких, лично мне известных, его «перелицовках» — дух переводимого поэта и его субъективные поэтические особенности переданы вполне удачно. Он несомненно поэтической интуицией улавливал творческий дух поэта даже и в прозаическом его изложении.

В политическом отношении Павел Арсеньевич был народником Харьково-Украинского толка с большим националистическим уклоном; но, как я уже отметил, активная его революционность была преимущественно литературного характера. Но его революционность была не показная и не кричащая, а глубоко внедрен-

ная в его моральной [illegible]. Административно сосланный всего на 5 лет, притом больной, он тем не менее берет на себя инициативу в Балаганском протесте по поводу якутской истории (1889 г.) и платится поселением (по суду) в Якутской области.

В Бутырках и в пути Павел Арсеньевич был никому неизвестным начинающим поэтом, а через 8—10 лет, в Вилюйске, затем в Якутске, он стал уже известным и почитаемым в Галиции и в революционной украинской среде. В его популярности большую роль сыграл знаменитый галицийский писатель Франко, издававший его творения и морально его поддерживавший. Оставаясь с начала своей ссылки до конца жизни в течение 15 лет проникнутым революционным энтузиазмом, он все же в целом и всегда был поглощен литературными задачами и поэзией. Поэзия дала ему силу с залогом смерти в груди — туберкулезом — бодро нести тяжелый крест ссылки и, пожалуй, духовного одиночества. Крайне общительный по натуре, он на деле всегда оставался душевно одиноким. В этом его отрицательная и, как это ни странно, положительная сторона. Одностороннее увлечение украинофильством держало его обособленным от близких его сердцу и ему близких людей — москалив, жидив. С другой стороны, эта же односторонность как бы подчеркивала его глубокочувствующую и симпатичную натуру. Он любил людей, подходил к человеку не с камнем за пазухой, как это бывает сплошь и рядом в любой общественной среде, но с искренним радушием и подлинно товарищеским чувством. Он был горячим, порой нетерпимым при споре хохломаном, но это не мешало его искренним товарищеским отношениям к инакомыслящим.

Мое знакомство с ним обнимает два сравнительно небольшие периода: с весны до осени 1888 г. — в Бутырках, этапном пути до Красноярска и в Иркутской тюрьме, 2-й период — 1898 год в Якутске. В ссылке мы изредка переписывались. На протяжении нашей десятилетней разлуки Павел Арсеньевич духовно почти не изменился, что, как известно, в ссылке бывает крайне редко. Та же горячая и чуткая восприимчивость ко всему новому, протестующему, революционному. Но главным центром его кипучих интересов все же была и оставалась украинская литература. И эта односторонность была вполне понятна для Павла Арсеньевича. В литературе черпал он и силу преодоления своего недуга, и художественное и нравственное удовлетворение. Как национально настроенный человек и как писатель и поэт, он завоевал себе хотя скромное, но [illegible] у [illegible] известное и уважаемое имя (Павло Граб, Павло [illegible] Бе[illegible]) [illegible] Павел Арсеньевич [illegible]. В Вилюйске, затем в Якутске он в радуш-

ной семье Гавриловых *) нашел теплый уголок, где отдыхал душой и сердцем.

В 1899 г. я с ним расстался, а в 1901 или 1902 г., переселившись, кажется, в Тобольск, он умер от старого недуга туберкулеза.

III.

В. А. Данилов.

В. А. Данилова знают многие старые карийцы и вся ссылка Восточной Сибири 1880—1900-х годов, от Иркутска до Средне-Колымска. Недавно мне пришлось слышать весьма недоброжелательный отзыв о нем. Да, В. А. многие не любили. Но главная его вина в том, что он был слишком своеобразный и притом «неприятный» человек. Его острый взгляд и скептицизм, его резкие, острым топором рубленные мнения, разумеется, отталкивали от него товарищей, но в этой резкости и скептицизме было много нравственного чутья и чувства правды. Его чудачества и оригинальность не были рисовкой, а вытекали из его миросозерцания. В нем своеобразно сочетался мыслитель с метафизическими наклонностями и революционер-позитивист. Метафизические его тенденции выразились в туманной теории «мирового блага», нереальной и обязывающей человека к нравственному накоплению — не в толстовском смысле, а второе — в непримиримости и протесте. Революционер до мозга костей, с прочным террористическим настроением, он по психологии был не в состоянии присоединиться к какой-либо партии и всю свою жизнь оставался сам по себе. Мне рассказывали, что старые товарищи-народовольчества ценили в нем решительность и революционное спокойствие, звали его в активную и ответственную работу, но он, способный и готовый на самопожертвование, не шел, потому что непременно находил какие-нибудь неприемлемые для него методы работы. Его хождения в народ также не были похожи на других: он ушел к духоборам на Кавказ. Сам сектант по натуре, он искал в рационалистическом сектантстве ответ на свои нравственные запросы. Но, как он мне сам говорил, — он не нашел у них основ для общества будущего. Впрочем, он очень скоро попал в Метехскую крепость, и там, заболев в сыром помещении, на вопрос посетившего его великого князя Михаила, наместника Кавказа, не нуждается ли в чем-нибудь, ответил: «ни в чем не нуждаюсь». Его все же перевели в лучшие условия, кажется, в больницу.

*) Может быть Афанасьевых? *Ред.*

Его отношения к людям были совершенно непохожи на обычные даже в необычной революционной среде. Требовательный к себе и другим в отношении личной жизни, он вместе с тем всегда считал нужным морально поддерживать товарищей по ссылке, к которым ссылка не без основания относилась отрицательно, но это не касалось малодушных в революционном отношении. В теории и в отношениях к людям суровый моралист, он на деле любил людей и человека, каков он есть, со всеми его достоинствами и недостатками, но иметь с ним «дело» было не легко. Вот два факта, характеризующие своеобразие его отношений. В Верхне-Колымске по соседству с ним жили два товарища. К одному, который с ним постоянно теоретически воевал, он относился «благосклонно», к другому он питал неопределенную антипатию. Но у него было неоценимое в пустынном крае сокровище — книги. Обоим хотелось пользоваться ими. Не отказал, но объяснил, что его занятия таковы, что каждая книга может ему понадобиться каждую минуту. Помирились с этим. Раз он является в юрту этих двух ссыльных и, не говоря ни полслова, берет из «под носа» антипатичного ему товарища книгу и уходит. Второй немедленно реагировал на это, возвратив ему свои книги, при резком объяснении. Он спокойно выслушал, не возражая на упреки, и принял книги. На завтра явился в юрту и заявил обоим: если хотите пользоваться книгами на прежних условиях — ничего не имею против. Товарищи, успокоившись, решили не считаться с его выходками и пользоваться книгами. Другой случай с якутом. Он выстроил себе собственными руками юрту, поселился и, уходя, не запирал дверей, но объявил якутам, соседям, что когда он уходит, он будет подпирать дверь палкой и никто не должен заходить в его отсутствие. Один любопытный якут без всяких злостных целей отодвинул палку, вошел и стал дожидаться хозяина. Осталось неизвестным, пришел ли он по делу (попросить что-нибудь) или так: здоров, догор, капсе *). Но явившийся хозяин, не спрашивая его ни о чем, молча и спокойно взял его за шиворот и вывел за дверь. На якутов этот случай произвел сильнейшее впечатление, а особенно их поразило, что все это проделано без слов, без мимики и жестикуляции. Никто уже не отваживался сунуться в его юрту в отсутствие хозяина, да и вообще о нем создалось понятие, как о большом и опасном шамане. Об образе жизни В. А. в тюрьме, о странностях в костюме и способе питания существовали рассказы большей частью анекдотического характера. Писатель Тан-Богораз написал даже целую повесть из эпохи его Колымской жизни и посвятил ему подробный некролог.

*) Здравствуй, друг, рассказывай.

Поэтому я здесь ограничусь сведениями биографического характера, известными мне частью от него, частью по рассказам других. Выходец из среднего дворянства, он был причастен к революционному движению конца 70-х годов. Не принимая активного участия в деятельности народовольцев, он по своим воззрениям стоял *ближе* к ним, чем к другим революционным течениям. Но он, повидимому, стремился быть объективным, что можно подтвердить следующим казусом.

Юный студент Харьковского университета Сиповичъ обратился к нему за советом — в какую местную революционную организацию передать полученное им наследство в 5 тысяч рублей. В. А. дать определенный совет отказался, заявив, «куда вас больше тянет, туда и отдайте!» Дело в том, что в Харькове тогда существовали две организации, народническая с украинским уклоном с расплывчатыми планами аграрного террора, и другая, примыкавшая к Народной Воле. Его арест в Харькове был связан с арестом Сыцянко и за ним ничего тяжко криминального не было; но на суде он держался так революционно, что судьи сочли нужным вынести ему суровый приговор — 4-х летнюю каторгу. По окончании каторги его направили в Якутскую область, но по дороге он бежал и бродяжим путем добрался из бурятской степи через тайгу в Томск. На 39-й день после побега он оказался в Москве и здесь преблагополучно провалился в конце 1886 или же начале 1887 г. вместе, кажется, с Богоразом.

Жандармы были поражены его побегом, когда он после продолжительного заключения назвал себя. После годового содержания в Александровском централе его сослали в Колымск. Здесь он пытался организовать коллективный побег через Чукотский Нос в Америку, но план его оказался для колымчан неприемлемым по многим причинам, и В. А. уехал в Верхний Колымск, где надолго и остался. Здесь же мне и пришлось ближе с ним познакомиться. Вся его прошлая жизнь была полна аскетизмом во всем. По острому для большинства долгосрочных ссыльных половому вопросу он высказывался резко и решительно: осупружиться с якуткой и вообще с колымчанкой — это скотоложество. Но год спустя после моего отъезда из В. Колымска, как мне передавал Н. М. Сиповичъ, он несколько изменил свою точку зрения на этот вопрос, а вскоре старик не выдержал ужаса постоянного покоя и одиночества и «осупружился» — правда, его сожительница-якутка была славной женщиной. Уехал он из Колымска, оставив двух детей и обеспечив их материально.

Его отношения к якутам были также не похожи на обычные отношения ссыльных. Не задаваясь широкими задачами и относясь неприязненно к их дикарски наивной жадности и ко-

рьсти, он все же систематически помогал им. Вначале он импонировал им своим образом жизни, столь непохожим на жизнь других «преступников», а с течением времени кроме славы великого шамана приобрел еще и славу сурового, но справедливого человека *).

М. Поляков.

*) Факты и эпизоды из жизни В. А. Данилова я изложил, как они запечатлелись в моем мозгу; память могла мне изменить, возможны объективные искажения, в особенности в доколымском периоде жизни покойного. Уцелевшие товарищи Данилова, лучше меня знавшие его жизнь на воле и на каторге, может быть, не откажутся внести поправки и исправления.

Автор.

Автор несколько неточно передает биографические сведения о В. А. Данилове. По делу Сыцянко и др. в 1880 г. Д. был оправдан, а сослан он [illegible] 4 [illegible] работ в 1882 г. по делу Сиповича, Обеджинского и др. [illegible] 1880 г. [illegible] августе) от [illegible] конвоя (кажется, даже это [illegible] с поселения в Якутском округе препро[illegible] в И[illegible] для отбывания 8 мес. кат. работ, к которым его при[illegible] Иркутске) В ноябре того же года [illegible] Москве, по собственной неосторожности и без всякой [illegible]. Отбыв после этого 8 мес. в Александровском централе, Д. был [illegible] в Колымском окр., откуда в 1904 г. вернулся в [illegible] того времени уже не принимал участия в революционных делах. Умер в Петрограде, незадолго до революции 1917 г.

Как на Каре, так и в ссылке к Данилову отношение товарищей сло[illegible]. Многие не считали его искренним человеком, а его «чудачества» приписывали стремлению оригинальничать.

Ред.

Софья Наумовна Доллер.

2-го января 1920 года скончалась в Петрограде, 63-х лет от роду, участница народовольческого движения Софья Наумовна *Доллер*, урожденная *Шехтер*. Покойная была типической представительницей той революционной интеллигенции конца семидесятых и начала восьмидесятых годов, которая в своей отчаянной борьбе с царским деспотизмом вдохновлялась идеалистическим представлением о социализме, как о системе любви и правды в человеческих отношениях. Усвоение этой системы, по воззрениям таких социалистов, требовало прежде всего от них самих прекращения пользования нетрудовыми доходами своих родителей и полного разрыва на всю жизнь с буржуазными утехами существования. Становясь под знамя социализма, неофит знал, что обрекает себя на ссылку, каторгу, может быть смерть, но что сам он не войдет в землю обетованную.

Для Софьи Наумовны крестный путь начался в 1880 году, когда она приговором Киевского военного суда была сослана в каторжные работы на 6 лет, за принадлежность к деятельному кружку народовольческого направления, развивавшему свою работу в нескольких городах южной России (Дело М. Р. Попова, И. К. Иванова, Д. Буцинского и др. *).

Каторгу С. Н. отбывала в карийской женской тюрьме, в Забайкальской области, и за время своего содержания там она переживала, самым нервным образом, многочисленные, тяжелые и нередко трагические события, которыми была так богата история этой тюрьмы. Для С. Н. положение значительно ухудшалось еще тем, что она всегда стояла в ряду самых непри-

---

*) Кружок был смешанный из «чернопередельцев» и «народовольцев»; во главе его стояли Мих. Род. Попов, состоявший в это же время членом центра «Черноперединческой» организации и Игнатий Иванов — народоволец. С. Н. Доллер к этому кружку не принадлежала. Она была послана в имение Стаховского предупредить Юрковского (Сашка инженер) о грозившей ему опасности. Но в момент ее приезда в семье Стаховского разыгралась семейная драма: отец Стаховский убил своего сына. Нагрянувшая полиция арестовала Юрковского и Доллер (Шехтер). Вследствие чего Доллер была присоединена к процессу Киевского кружка.

(*Примечание Е. Н. Ковальской*).

миримых и прямолинейных протестантов, почему не раз и подвергалась особым репрессиям.

В 1884 году С. Н. (срок каторги по манифесту 1883 г. был сокращен на 1/3) *) была отправлена на поселение в Якутскую область, где вскоре же вышла замуж за Александра Ивановича *Доллера* *), сохранявшего, несмотря на ссылку на поселение, звание французского гражданина, унаследованное от отца, сына обжившегося в России военнопленного наполеоновской армии 1812 г. Это обстоятельство позволило С. Н. впоследствии добиваться разрешения на выезд во Францию, где тогда проживали, как политические эмигранты, некоторые из ее ближайших родственников и товарищей по якутской ссылке. Впрочем, возможность въезда открылась перед ней еще очень не скоро, до этого много лет «французской гражданке» пришлось постранствовать по Сибири.

Сначала в Якутске, а потом в Иркутске и в других местах, квартира С. Н. служила сборным местом для наиболее интеллигентной части туземной молодежи, всюду подбиравшейся вокруг нея и в значительной мере подпадавшей под ее влияние. Когда, вначале девятисотых годов, революционное народничество оживилось и возник «Сибирский Союз социалистов-революционеров», С. Н. состояла его деятельным членом в качестве неутомимой пропагандистки. После смерти мужа, утонувшего в реке Лене, С. Н. вела самое скромное существование, зарабатывая небольшие средства частью уроками и частью канцелярским трудом, но это не мешало ей принимать у себя множество народа самых разнообразных профессий и званий, от крупного инженера до черемховского шахтера.

Вернувшись в Россию после двадцатилетнего (приблизительно) изгнания, С. Н. жила в Одессе и там состояла членом местной

*) Доллер-Шехтер отказалась принять милость манифеста и подала следующее заявление ген. губернатору: «По словам заведующего Карийскими государственными ссыльно каторжными, меня освободили от каторжных работ, благодаря всемилостивейшему манифесту 15 мая 1883 года. Не считая никого в праве ни наказывать, ни миловать меня, и смотря на то и другое, как на насилие, я заявляю, что отказываюсь от дарованной милости и согласна лучше отбыть весь срок каторжных работ, чем принять милость от врагов той идеи и того дела, за которое была присуждена в каторжные работы. Шехтер 10 августа 1884 г.» (Текст точно списан с дела, имеющегося в истор.-рев. архиве Ленинграда).

Шехтер во все время пребывания на Каре была в группе так называемых «бунтующих» каторжан. Несмотря на ее заявление, она все таки была послана с Кары в Якутскую Область.

(*Примечание Е. Н. Ковальской*).

*) Алекс. Иван. Доллер, деятельный член «Южно-рус.-раб. союза» 80 - 81 г. в Киеве был осужден по процессу союза на поселение.

(*Примечание. Е. Н. Ковальской*).

эсеровской организации. Это повлекло ея вторичный арест и высылку в город Вологду (в 1903 г.), где роль ее среди ссыльной молодежи была уже до некоторой степени материнской.

Последние годы С. Н. жила безвыездно в Петербурге, до самой смерти сохраняя живой интерес к общественной жизни и к ходу политических событий. Ее оценка этих событий диктовалась всем строем ее понятий, до конца народовольческих. Оставаясь эсеркой, С. Н. не одобряла той политики, которую вел центральный комитет партии в духе циммервальдизма, и присоединилась к петроградской группе с.-р. оборонцев.

Крайне щекотливая в вопросах личного достоинства, С. Н. упорно отклоняла всякую помощь со стороны партии или общественных учреждений и даже в последний период своей жизни, когда ее преследовали болезни, принимала поддержку только от немногих ближайших родственников, решительно отклоняя какие-бы то ни было пенсии.

Скончалась С. Н. совершенно безболезненно, во время сна, и похоронена согласно ее желанию на Смоленском кладбище, куда ее прах сопровождали только десять-двенадцать человек ближайших знакомых, преимущественно из числа старых ссыльных.

И. Майнов.

Е. М. Кржеминская.

I.

11 марта с. г. умерла от рака кишечника на 67 году своей тяжелой и многострадальной жизни Евдокия Марковна Кржеминская. Имя ее известно немногим: слишком она была скромным человеком, отдававшимся всецело дорогому ей делу. Побывав в восьмидесятых годах в ссылке в Сибири, Е. М. Кржеминская отошла от активной политической деятельности, но тем не менее вся ее жизнь, особенно в 1905—1917 г. была тесно и неразрывно связана с каторгой и ссылкой. Евдокия Марковна была одним из активнейших работников политического Красного Креста и очень многие из нас обязаны ей сохранением своего здоровья и сил, вынесенных из каторги. Неутомимая энергия, железная воля и безграничная до самозабвения преданность делу, редкая душевная чуткость и отзывчивость — вот главные черты личности Е. М. Кржеминской. Передачи, посылки, свидания, книги — сколько они давали нам радости в наших централах, как подымали они наше настроение и бодрость. Сколько признательности вызывали теплые, сердечные письма, так много значащие в жизни каторжанина. Надо только представить, сколько забот, неприятностей и хлопот выпадало на долю таких женщин, как Е. М., не требовавших и не ожидавших за это ни благодарности, ни известности. Для многих из нас они оставались навсегда таинственными незнакомками, добрыми феями. И среди многих наших таких друзей на воле Е. М. Кржеминская стояла в первом ряду по своей исключительной доброте, энергии и отзывчивости к совершенно незнакомым и чужим ей людям, близким только по духу. После 1917 года Е. М. Кржеминская ушла в личную жизнь, крайне тяжело и несчастливо сложившуюся и сломившую ее железное здоровье и волю, потребовавшую от нее героического самопожертвования. Большая материальная нужда и совместная жизнь с психически больным стариком-мужем и неизлечимая болезнь сломили Евдокию Марковну. Не стало человека в лучшем значении этого слова. К стыду нашему надо признаться

что мы забыли ее в нужде, как забыли и многих, многих других, поддерживавших нас в черные наши дни на каторге и в ссылке. Вспомним хотя после смерти и скажем ей: вечная память, дорогой друг и товарищ!

А. Ч.

II.

Случайно узнала, что умерла Евдокия Марковна Кржеминская. Перестало биться сердце у человека, который всю душу отдал политическим каторжанам и ссыльно-поселенцам, сидевшим в тюрьмах при монархическом правлении.

Помню, в 1907 г. я получила нелегальную записочку от каторжан, забыла, какой камеры, Бутырской тюрьмы, следующего содержания: «сходите на Спиридоновку, найдите там врача-женщину (ни фамилии, ни дом не указаны) и скажите ей, что если она из Кр. Креста и распределяет деньги, то пусть делает это правильно, а не то, что у них какие-то там любимчики, которые получают больше». Письмо было раздражительное, злое.

До этого я была связана с разными отдельными организациями высших учебных заведений, курсисток, студентов. На высших женских курсах очень много работала курсистка Раиса Апполинарьевна Головачева, теперь врач клиники. Эта курсистка все буквально годы вплоть до освобождения старалась урывать копейки, где только могла, для помощи политическим. Устройство концертов, лекций, всякие отчисления от студенческих столовых, всюду, всюду доставала она деньги и платье, но все это было мало.

И вот я пошла на Спиридоновку, с одной стороны, радуясь, что еще деньги будут идти откуда-то через меня, так как переписка очень хорошо была налажена, нужды было много, с другой же стороны, обуреваемая сомнением, а вдруг наткнусь на что-то другое. Врач-женщина оказалась на этой улице. Я прочла на вывеске у ворот и на риск решилась войти. Сказала ей, кто я и что думаю про нее, на основании полученного письма. Передо мной стояла пожилая, седая интеллигентная женщина, добрые глаза которой меня сразу покорили. Она, не зная меня, смело ответила: «Да, это я».

Слезы полились у меня из глаз, она обняла меня и сказала: «Я вижу, что вы так же, как и я, глубоко страдаете за них, ну читайте письмо»... Я прочла, она горько улыбнулась и говорит: «ведь все это потому, что денег надо много, много»... И с тех пор я связалась с ней, и мы стали работать. У нее была форменная штаб-квартира.

Устройство концертов, хлопоты о разрешении, беганье по артистам, доставание одежды — Евдокия Марковна всюду первая.

Поездки в контору Александра Васильевича Чичкина, который очень много материально помогал, например, к большим праздникам мы буквально ящиками привозили от него товар, колбасу, сыр и др., — и все это рассылалось по тюрьмам и в ссылку. Всюду и везде играло роль имя Евдокии Марковны Кржеминской. Помню в кружке и других — Елизавету Ефимовну Целлер, Елену Михайловну Жигачеву, Анну Наумовну Гуревич, много работавших, удивительно добрых и отзывчивых людей.

Были еще отдававшие душу свою, которых по фамилии не помню или не знаю. Но душой этого общества была она, добрая, чуткая Евдокия Марковна. Всегда ласковая, шла она навстречу всем нуждам тюрьмы. Бывало ночью с двенадцатичасовой смены является наш приятель и приносит целый ряд фамилий каторжан ссыльных. Ярославль, Орел, Смоленск, сибирские тюрьмы, отовсюду письма, а она вся в волнении. «Боже мой, что делать, что делать?» — говорит она. Но это на один, на два дня, а затем снова: «Организуем концерт или лотерею», — и опять без конца энергии и доброты. И так легко было придти к ней и сказать: «Милая Евдокия Марковна, к такому-то каторжанину мать-старуха хочет приехать, а денег нет». — «Ну, ответит она, из этих сумм, посылаемых каторжанам, дать нельзя, подождите, откуда-нибудь добудем»... и добывала... Мать приезжала, мы находили ей квартиру, она жила неделю, другую и, благословляя судьбу за свидание с сыном, уезжала.

Потом суды, хлопоты с присяжными поверенными, с родственниками, всюду помощь, всюду деньги и везде она, родная, шла с открытой душой. Работа большая, утомительная... Вот у нее прием больных — спешит к назначенному времени, поесть некогда, открываются двери, швейцар тащит узлы теплой одежды и белья, получено письмо из ссылки, все обносилось. Когда получались откуда-нибудь деньги, начиналась рассылка по адресам. Казалось бы, что взять послать перевод — дело не трудное, но это только так казалось. Две недели в месяц нужно было тратить на рассылку. Нужно было искать людей, чтобы разными почерками надписывать адреса, так как иначе производили конфискацию денег. Нужно было придумывать имена посылающих родственников, если из тюрьмы не указывали от кого, нужно было посылать уведомительные открытки. Партии приходящих, уходящих очень менялись. Мы могли сидящим более постоянно посылать в среднем 3 р. в месяц и то не каждый месяц, так было по отношению к Бутырской каторжной тюрьме.

В остальные же тюрьмы нужно было посылать большие суммы, так как там регулярной отправки не было. Отправлялись партии, приходилось мне лично дежурить ночи; если не успевали заранее передать деньги, действовали через конвой. К большим праздникам посылались посылки, тут наши ком-

наты заваливались сплошь продуктами, звали на помощь учащихся и все дружно работали. Посылали нелегальную литературу (запаковывали в чай, ловко срывалась бандероль и туда накладывалась), раздавали на свидании родственникам и ни разу не было провала. Передавали через надзирателей частями книги, которые приходили каждый день. В годы царствования палача Дружинина в Бутырках были сильнейшие порки. Тогда приходилось доставать много яда, так как вопли, стенания неслись оттуда. В дни свиданий ездили с продуктами в тюрьму и раздавали на руки родственникам. Помню, как под пасху я со своими товарищами привезла много передачи, вдруг тревога, сигнальные звонки, помощник один, довольно хороший, предупредил меня, что в тюрьме хотел сделать покушение на Дружинина Костя Базильчук, но покушался на Сердюка, его помощника. Покушение не удалось, Костя отравился цианистым кали и по дороге в больницу, когда его били прикладами, сапогами, умер. В камере открыли стрельбу по заключенным. Все лишены были передачи и свидания, мы покинули тюрьму, страшно взволнованные, многие плакали. Месяц мы ничего не могли добиться. У меня было очень тяжелое письмо из этой камеры от одного каторжанина, к сожалению пропавшее во время обыска. И так бесконечно долго тянулось это страдание моральное, моральная ответственность перед людьми, сидящими в тюрьмах, желание чем-нибудь помочь, облегчить; этот ужас жизни не давал возможности жить спокойно и тем, кто пришел на помощь каторге.

В числе людей, больших по своей духовной структуре, я считаю Евдокию Марковну Кржеминскую. Не только я вспоминаю ее с благодарностью, но думаю и тысяча каторжан, увидевших жизнь, должны сказать ей спасибо.

Зинаида Синебрюхова.

Памяти Джорджа Кеннана

Несколько времени тому назад в иностранной печати промелькнуло известие о смерти известного американского журналиста и путешественника Джорджа Кеннана, человека настолько связавшего себя с русской политической ссылкой и каторгой, что в нем мы, политические каторжане, и особенно наши ветераны революции, потеряли близкого и дорогого нам друга.

Да, Кеннан действительно был другом русских революционеров, первым выступившим публично в иностранной прессе в защиту политических ссыльных и заключенных, над которыми глумилось русское самодержавное правительство. Он пропутешествовал десятки тысяч верст по дебрям угрюмой и неприветливой Сибири от этапа к этапу, от тюрьмы к тюрьме, по всем уголкам и гиблым местам ссылки, чтобы лично посмотреть и убедиться в том произволе и глумлении, которому подвергались русские «нигилисты». Это делал он с большой любовью и терпением и даже риском для собственной безопасности. Об этом говорит изданная им книга «Сибирь и ссылка», вышедшая почти на всех европейских языках и выдержавшая множество изданий.

Написанная живым красочным языком книга Джорджа Кеннана явилась первым звуком протеста против царистской политической карательной системы, увенчанной с одной стороны Шлиссельбургом, с другой стороны Карийской каторжной тюрьмой. Этой книгой Кеннан взволновал не одно человеческое сердце и вызвал огромнейшие симпатии к русским революционерам в европейском и американском общественном мнении.

За это на голову Кеннана посыпался целый ряд нападок со стороны консервативно-реакционных деятелей, выступавших на защиту русского царизма, в ответ которым он пишет:

«Я питаю горячее сочувствие к России и русскому народу и если бы умеренное и обдуманное изложение результатов моих сибирских исследований ближе ознакомило мир с этой страной и ее народом и хотя сколько-нибудь улучшило судьбу тех «несчастных», для которых «до бога высоко, а до царя далеко», то я счел бы себя более чем вознагражденным за трудное путешествие и за тяжелые испытания, каким оно подвергло меня».

Джордж Кеннан родился 16 февраля 1845 года в Америке в небольшом городке Штата Огайо, в коренной американской семье, ведущей свое начало от ирландских и шотландских предков. Его отец был адвокатом, мать же происходила из известного рода Морзов.

Еще в детстве он обладал хорошими способностями и был очень развит, как в умственном отношении, так и физическом. По словам его друга, Ф. В. Волховского, первую телеграмму по аппарату Кеннан послал, будучи шестилетним мальчиком. От природы любознательный и умный он страстно стремился к образованию, но в виду того, что семья жила далеко не в благоприятных условиях, ему пришлось уже 12-ти лет занимать штатный пост телеграфиста в то время, когда его более счастливые сверстники учились в школе. На телеграфной службе Кеннан пробыл целых 6 лет из за куска хлеба насущного и, несмотря на трудность работы, он находил время заниматься самообразованием, не пропуская ни одного свободного часа, чтобы засесть за любимые книги. В конце концов упорным трудом он достиг заветных стремлений — стал образованным и глубоко развитым человеком. Но, как и большинство людей из буржуазной среды, ознакомившись с русским революционным движением по реакционным источникам, он имел самое превратное понятие о русских нигилистах-революционерах и относился к ним весьма недружелюбно, даже враждебно. И в этом смысле он высказался в своем реферате, читанном им в Американском географическом Обществе в Нью-Иорке в 188. г.

— «Тогда я думал,— говорит он,— что писатели вроде Степняка и князя Кропоткина, рисуют русскую ссылку в сильно извращенном виде; что Сибирь не так страшна, как ее представляют американцы, и что описание Сибирских рудников и тюрем в только что вышедшей тогда книге Генри Лэнсделя, по всей вероятности, ближе к истине... Я полагал, кроме того,— хотя и не высказывал этого,— что нигилисты, террористы и вообще политические недовольные, так долго державшие Россию в тревоге и смятении — безрассудные, упорные фанатики, анархического типа, с которыми мы так хорошо знакомы в Соединенных Штатах... Словом, все мои предубеждения были в пользу правительства и против революционеров».

Это собственное признание американца Джорджа Кеннана особенно характерно в том отношении, что исследовать Сибирскую политическую ссылку он отправился, будучи всецело на стороне русского царя, но ознакомившись на месте с теми «страшными нигилистами», которых так преследовало наше правительство, он вернулся его врагом и другом русских нигилистов, с которыми он успел не только познакомиться, но и полюбить их всей душой.

Вот что говорит он по этому поводу в одном из писем к другу:

«Два года тому назад я ни за что бы не поверил, что в мои годы и после моего довольно таки разнообразного и широкого жизненного опыта я все еще могу встретить такую массу сильных свежих, расширяющих мой горизонт ощущений. Я отнюдь не хочу этим сказать, что я в то время смотрел на себя, как на вулкан погасших чувств или что либо в этом роде. Чувства мои никогда не были вулканическими; но я был убежден, что испытал уже все самые сильные человеческие ощущения и что душу мою нельзя уже заставить трепетать так, как это было возможно в ранний период моей возмужалости, когда весь мир был для меня еще незнаком, свеж и полон возбуждающих впечатлений. Но я ошибся. То, что я увидел и узнал в Сибири тронуло меня поистине до самых потаенных глубин моей души, открыло мне целый новый мир и, в известном смысле, подняло все мои этические мерила. Я узнал личностей поистине героических, характеры самого высокого типа, каких когда-либо создавала история; на моих глазах они проявили мужество, твердость, самопожертвование и приверженность идеалу в таких пределах, в каких я считаю это лично для себя невозможным. Именно, о некоторых из этих личностей — некоторых из тех людей, которых мы называем нигилистами, хотел бы я поговорить с вами. Я смогу вам передать лишь небольшую часть того влияния, какое они имели на меня; но во всяком случае я смогу таким образом объяснить, как это случилось, что я отправился в Сибирь, считая политических ссыльных неуравновешенными в душевном отношении фанатиками, бомбистами и убийцами, покидая же Сибирь, я целовал этих самых людей, заключив их в крепкие объятия и с глазами, полными слез. Вы поймете, что подобную революцию не могли произвести обыденные явления, обыденный опыт».

Первоначально Кеннан был вообще далек от мысли о русской ссылке и ее обитателях-нигилистах. Это был ученый путешественник, преследовавший, главным образом, научные цели и много путешествовавший по белому свету.

В 1864—68 г. он во главе экспедиции Русско-Американской Телеграфной Компании исследовал линию от Охотского моря до Берингова пролива и в 1870 г. издал описание своего путешествия под названием «Кочевая жизнь в Сибири».

В 1870—71 г. Кеннан по поручению журнала «Century» объехал Юго-Восточную Россию и некоторое время жил в Дагестане. И, наконец, в 1879 г. у него возникла мысль исследовать наименее известные места Сибири и изучить систему нашей политической ссылки.

Русское министерство иностранных дел, зная убеждения Кеннана, весьма дружелюбно отнеслось к затее американского журналиста, так симпатично относившегося к русскому правительству. Оно предоставило ему возможность осмотреть ссылку без всяких препятствий и разрешило посетить даже рудники и тюрьмы.

И Джордж Кеннан отправился в страну изгнания и кандального звона. Он объехал почти все уголки Сибирской ссылки, изучал ее быт и знакомился с ее невольными обитателями — русскими революционерами. Он встретился с политическими ссыльными: Леонтьевым, Лобановским, Дическуло, доктором Богомолец, сестрами Присецкими, с А. Блеком, А. Карелиным, Коноваловым, А. Бяловесским, сестрами Левандовскими, Е. Лазаревым, Соломоном Чудновским, писателем Станюковичем, князем Александром Кропоткиным и др., а с некоторыми из них, как Феликс Волховский, он даже подружился и в дальнейшей своей жизни поддерживал дружескую связь.

Вот как описывает свое первое впечатление о Кеннане Ф. Волховский:

«Он был очень сдержан, но без холодности, наблюдателен, прост и несколько важен в обращении, без претензии и деликатен. Его худощавая, но сильная, мужественная фигура, резко очерченный профиль, большой лоб и прекрасные черные глаза носили на себе отпечаток твердости и правдивости; они говорили наблюдателю, что на этого человека можно положиться».

Большую часть своего времени, во время сибирского путешествия, Джордж Кеннан проводил в обществе ссыльных. К ним его тянуло с особой силой. Вместе со своим неизменным спутником, художником А. Форстом, он посещал то одного, то другого, то третьего ссыльного, куда собиралось множество других и время проходило в бесконечных разговорах на всевозможные темы. Кеннан, или Георгий Иванович, как звали его ссыльные, был незаменимым собеседником, интересным и увлекательным. При этом, нередко по просьбе ссыльных он пел негрские или студенческие песни, аккомпанируя на «бан-джо», негрской балалайке. Сотни услуг, в виде пересылки в Россию и заграницу писем, организации связи одной колонии ссыльных с другой, Кеннан охотно брал на себя, хорошо сознавая, что если его поступки будут обнаружены, то правительство за это его не поблагодарит.

Как только в колонии ссыльных появлялся Джордж Кеннан так среди ее обитателей начиналось необычайное оживление и подъем. И было отчего. Кеннан вытаскивал из разных потайных уголков нелегальные письма одних ссыльных к другим, передавал им все сведения о других товарищах, служа таким образом живой связью между ними, и наконец, поддерживал в них на-

между — представить на суд общественного мнения Европы и Америки вековую тяжбу между нашей византийско-татарско-немецко-чиновничьей тиранией и русским народом.

Наконец, осенью 1885 г. Кеннану удалось посетить знаменитые Карийские рудники. Благодаря открытой симпатии и огромнейшему участию, проявленному им за время своего путешествия по Сибири к политическим ссыльным, — репутация его в глазах правительства в это время уже настолько пошатнулась, что об осмотре самой политической тюрьмы на Каре не могло быть и речи.

Забайкальский губернатор Барабаш телеграфом отдал распоряжение не допускать Кеннана к осмотру тюрем, чтобы таким образом лишить его возможности общения с заключенными. Все же, несмотря на это, Кеннану, хотя и с большим трудом, удалось пробраться в домик политической каторжанки Наталии Армфельдт, жившей со старушкой матерью в вольной команде. Здесь Кеннан провел много памятных и интересных для него часов в обществе нескольких политических вольнокомандцев. От них он узнал подробности жизни на Каре, которые потом были описаны в его книге. Чуткий и честный, Кеннан под влиянием общения с русскими революционерами превратился из врага в открытого и бескорыстного их друга, и русское правительство в его лице приобрело еще одного ярого ненавистника.

Как только его описание жизни сибирских ссыльных появилось в иностранной печати, правительство поняло, как жестоко оно ошиблось в Кеннане, ибо симпатии Запада, благодаря его статьям, были на стороне русских революционеров, а не их душителя-царя.

Стойкость, честность и гражданское мужество Кеннана в этом деле необычайны. Время было чрезвычайно неблагоприятное для выступления такого рода, как защита русских революционеров. Духовная и политическая реакция процветала по всей Европе и Америке, но Кеннана это не смутило, и его сильный голос эхом прокатился по миру. Этот период Ф. Волховский рисует так:

«Время было очень глухое. Заговаривать в такое время о законности русского освободительного движения и его методах значило рисковать говорить в пустыне. Естественных защитников этих методов — русских революционеров — никто не хотел слушать. Фраза — «Это нигилист» считалась достаточной и в Америке, и в Западной Европе, чтобы лишить автора апологии всякого кредита и внушить к нему смешанное чувство неприязни и страха».

«В такое-то время произошел в Кеннане внутренний переворот, при таких обстоятельствах взялся он, как за долг совести, за реабилитацию русского освободительного движения. Задача была в высшей степени трудная, но Кеннан совладал с нею».

Своими выступлениями и лекциями о русской политической ссылке, описывая Карийскую трагедию несчастной мученицы Сигиды или якутскую бойню, Джордж Кеннан производил на слушателей потрясающее впечатление. Появляясь на трибуне, он вызывал неистовые рукоплескания аудитории, которая при первых словах оратора замолкала, боясь проронить хоть одно слово. А Кеннан действительно умел говорить. Низким грудным голосом без всяких ораторских эффектов, вдохновляемый горячей любовью к далеким изгнанникам холодной Сибири, он своими речами заставлял любить их всю слушающую его аудиторию.

Однажды в середине лекции о Карийской каторге он вдруг сделал перерыв и, переодевшись в настоящее арестантское платье и кандалы, снова появился на трибуне. Ф. Волховский, бежавший из Сибири и присутствовавший при этом, говорит, что это произвело на публику небывалое впечатление. Аудитория затаила дыхание.

«Эту шапку, сказал Кеннан, — я получил в подарок в Сибири от доктора Веймара, одного из замечательнейших европейских окулистов и благороднейшего человека, которого русское правительство сослало в рудники за то, что он помог другому замечательному человеку, князю Петру Кропоткину, бежать из когтей тирании. Этот халат принадлежал когда-то тоже политическому ссыльному, дружбой которого я горжусь. Эти кандалы носил третий политический ссыльный, человек редкой чистоты души. Этот костюм был создан для того, чтобы наложить на носящего его клеймо позора, но благородство людей, его носивших, и величие дела, за которое они пострадали, сделали его, напротив, священным. Каждую часть его я получил от кого нибудь из этих благородных людей, и я храню его, как самый дорогой для меня подарок».

Как громадно было воздействие Кеннана на психологию людей можно судить по следующему примеру. После лекции присутствующий тут же известный американский писатель Марк Твэн, поднявшись, сказал:

«Если подобное правительство не может быть свергнуто иначе, как посредством динамита, то да будет благословен господь за динамит».

После таких слов нужно ли еще говорить о том великом значении, какое имел Кеннан для нашей борьбы с царизмом. Приговоренный к смертной казни по делу Якутского протеста Н. Л. Зотов в предсмертном письме пишет «наша смерть не должна пропасть даром; сообщите Кеннану».

Насколько в свою очередь Кеннан любил русскую революцию и ее деятелей и насколько он ценил их, можно видеть из его речи, произнесенной в 1895 году в Лондоне на годовом собрании членов «Общества Друзей Свободы в России».

«Я предпочитаю и всегда предпочел бы знать, что политический ссыльный подумал обо мне, всходя на эшафот, — что при последнем вздохе он сказал: «напишите Кеннану; уведомьте его», — чем быть одетым в императорский пурпур».

Когда в 1901 г. Джордж Кеннан снова посетил Россию — его арестовали и выслали из ее пределов. Жандармы чувствовали, что если Кеннану позволить еще раз исколесить Россию, то он, пожалуй, чего доброго, и не то еще напишет.

Когда же в одном из Лондонских журналов появилась пасквильная статья, имевшая целью очернить русскую революцию в английском общественном мнении, Кеннан в ответ на это писал:

«Генерал Стрельников волен называть их (революционеров) «фанатиками» и «разбойниками», секретные агенты русской полиции в Лондоне вольны называть их «анархистами», а г. Галкин-Врасский может описывать их как «жалких мужчин и женщин», общественная развращенность которых так велика, что англичане были бы возмущены, если бы ее передать в соответственных английских выражениях, и при всем том среди этих людей — мужчин и женщин — находятся лучшие, наиболее мужественные и наиболее великодушные типы человечества, таких я когда либо знал. Я связан с ними лишь узами симпатии, гуманизма и дружбы, но я желал бы быть привязанным к ним также и узами кровного родства. Будь они мои братья и сестры, я бы гордился ими, и пока остается в живых хоть один из них, они могут рассчитывать на любую услугу с моей стороны, какую брат может оказать брату»...

Это было написано в 1894 году.

В 1910 г., во время Международного Тюремного Конгресса в Вашингтоне, Джордж Кеннан выступил в печати с суровой и резкой критикой против заявления русского главноуправляющего тюремным ведомством, пытавшегося представить положение политических заключенных в тюрьмах России в самом розовом цвете.

Все последующие годы своей жизни Кеннан сохранил огромнейшую симпатию к русской революции, и в его лице мы, политические каторжане, потеряли честного и бескорыстного друга.

Мои беглые строки о Кеннане — это только первый простой камень на его могилу, подробное же описание жизни Кеннана для ознакомления широких слоев трудящихся должно стать одной из задач русских политических ссыльных и каторжан.

Жуковский-Жук.

Отдел IV.

БИБЛИОГРАФИЯ.

В. Невский. *Очерки по истории Р. К. П. (большевиков).* Том Издательство «Прибой». Ленинград. 1924. Стр. 653.

Лежащий перед нами огромный первый том задуманной автором монументальной работы охватывает лишь период до конца 90-х г.г. и оканчивается I съездом Р.С.Д.Р.П. 1898 г. Уже с этой точки зрения, т.-е. в смысле полноты и подробности изложения, этот первый том представляет собой выдающееся явление. Но он, кроме того, выгодно отличается от имеющихся уже у нас трудов по истории Р.К.П. или Р.С.Д.Р.П. и тем, что основан на огромной массе новейших мемуарных и архивных материалов, впервые (в значительной мере, по архивным изысканиям самого автора) восстанавливает целые периоды в первоначальной истории партии, до сих пор совершенно почти не обследованные (группы Благоева, Точисского, Бруснева), что особенно важно — большое место уделяет провинции.

После обширного введения (140 стр.), посвященного эпохе народничества, автор прослеживает зарождение и развитие русских марксистских и социал-демократических групп, начиная с группы «Освобождение труда» и кончая самым незначительным кружком, в захолустном губернском городе, при чем с одной стороны везде пытается установить связь социал-демократического движения с развитием промышленности в России, а с другой — впервые так подробно определяет личный состав всех с.-д. групп и их взаимную связь и преемственность. К книге приложен длинный перечень литературы и источников и ряд важнейших документов (уставов, программ и воззваний), а также указатель имен. Кроме того, в тексте имеется довольно много портретов и между ними некоторые появляющиеся впервые и взятые, повидимому, из жандармских дознаний.

Научная ценность книги далеко не во всех своих частях одинакова. Если местами автор пытается провести новую точку зрения (например, о самостоятельном, независимом от Плеханова зарождении некоторых марксистских групп, в том числе Самарской группы Ленина), если иногда ему удается пролить новый свет на до сих пор не обследованные этапы в развитии партии, то все же в целом книге не хватает теоретической глубины и цельности, литературной яркости и выдержанности, которые так покоряют нас в Меринге. Она подавляет обилием недостаточно обработанного сырого материала.

Но и тот факт, что мы имеем здесь первую попытку собрать воедино и хоть сколько-нибудь систематизировать тот огромный сырой материал, который накопился за последние годы в нашей мемуарной и архивной литературе, один этот факт является такой заслугой автора, которую преуменьшать не следует.

За то тем более досадное впечатление производит (впечатление, не покидающее читателя все время) та изумительная неряшливость, с которой книга проредактирована автором и прокорректирована. Если часть ляпсусов, указанных М. С. Ольминским в его рецензии в «Пролетарской Революции» и отпадает после «Письма в редакцию» П. Н. Лепешинского («Печать и Революция», книга 4-я), то все же остается их достаточно и

даже помимо приведенных Ольминским. Возьмем наугад первые попавшиеся.

На стр. 131 большая путаница с соотношением заработной платы и цены хлеба. На стр. 212 «вел пропаганду не социалист (?), а народоволец» (очевидно, надо читать «не социал-демократ»). На стр. 483 в числе бывших народовольцев, перешедших к марксизму и «работающих доселе в рядах нашей партии», указана и Е. Александрова. Насколько мне известно, Е. М. Александрова членом Р.К.П. не является.

Наконец, что касается опечаток, то они иногда носят прямо курьезный характер, способны сбить с толку начинающего читателя: «есть основания предполагать, что внутри группы были провокаторы или *освободители*» (стр. 232); «единственным средством *смошения* (?) является террор» (стр. 245), «без широкого государственного *всемогущества*» (стр. 127) и т. д., при чем, если в первом и третьем из приведенных нами случаев можно догадаться, что «освободители» попали вместо «осведомителей», а «всемогущество» вместо «вмешательство», то уж никак нельзя догадаться, что за «средство смошения» — террор. Есть досадные опечатки в именах. Так на стр. 316 М. Бердичевская (Зверева) названа *Баринской*. Много неверных указаний страниц содержит указатель имен.

Мы уверены, что в следующем издании книга будет тщательно пересмотрена автором и все обмолвки, ошибки и искажающие смысл опечатки будут устранены.

В. Горев.

Протоколы II Съезда Р. С.-Д. Р. П. Точная перепечатка с Женевского издания 1903 г. со вступительной статьей, примечаниями и заключительной статьей П. Н. Лепешинского. Изд. «Прибой». Ленинград. 1924. Стр. 130, 421.

Протоколы II съезда являются таким первоклассным, таким общепризнанным документом по истории русского марксизма, российской социал-демократии и коммунизма, что останавливаться на их значении почти не приходится. Достаточно сказать, что именно эти протоколы вскрывают в программе все те разногласия, из которых выросла впоследствии [illegible] борьба большевиков с меньшевиками. И если на первых порах после съезда многим членам партии и в том числе вождям меньшевизма казалось, что разногласия не носят принципиального характера и что [illegible] переходящую борьбу [illegible], то Ленин тотчас после опубликования протоколов в своей знаменитой брошюре «Шаг вперед, два шага назад» дал *политический* анализ прений съезда и на основании этого анализа сделал гениальное предсказание о дальнейшей политической эволюции меньшевизма.

И в силу этого Протоколы до настоящего времени сохраняют огромный исторический и теоретический интерес и представляют в высшей степени поучительное чтение для всякого, кто захочет пристальнее изучить [illegible] историю современного коммунизма.

[illegible] Протоколы [illegible] вступительной статьей и [illegible] П. Н. Лепешинского, [illegible] 130 страниц, [illegible] статьи [illegible] борьбы с самодержавием, либерализмом, с.-эрами и оппортунизмом — характеристику эпохи и внутрипартийной борьбы [illegible] обстановки II съезда, [illegible] после съезда.

Обе статьи представляют большой интерес, а заключительная впервые [illegible] материалы [illegible]

не и представляет собой серьезное исследование, заключительная статья написана с такой горячностью и задором по отношению к тогдашним противникам, что теперь спустя 20 лет этот тон кажется немного несвоевременным, особенно, если вспомнить, что в числе «раз-осимых» П. Н. Лепешинским противников были и такие, как Л. Д. Троцкий. Получается впечатление, что автор, увлеченный воспоминаниями, не историю пишет, а переживает вторую молодость...

Впрочем, эта живость и задор, делающие из заключительной статьи яркое полемическое произведение, имеют и положительное значение, помогая читателю в живой и образной форме представить себе эту уже столь отдаленную от нас эпоху, когда происходили первые боевые схватки, по преимуществу еще организационные, исключительно большевизма с меньшевизмом, тем более, что в этих схватках проявлялись многие интереснейшие черты характера Ленина.

Издана книга в общем хорошо и появление ее можно всячески приветствовать.

Б. Горев.

Из прошлого Баку (Сборник материалов по истории Бакинской большевистской организации и Октябрьской революции в Азербайджане). Изд. Истпарт Ц. К. и Б. К. Азерб. К. П. 1924 г. стр. 107.

Рецензируемая книга представляет из себя исключительно сборник воспоминаний участников революционного движения в Баку и таким образом дает лишь сырые материалы для истории последнего. Тем не менее значение этого сборника огромно. Объясняется это значением Баку и вообще всего Закавказья в последний период мировой войны (в 1918 году), а также состоянием историографии этого периода. Не останавливаясь на деталях, укажу лишь, что, по словам т. Чичерина (произнесенным в годовщину советизации Баку), в течение всего 1918 года именно Закавказье и особенно нефтеносное Баку представляли арену, где всего ожесточеннее боролись две империалистические коалиции. Турки и стоящие за их спиной немцы стремились пробиться на Восток к Персии, Средней Азии и Индии; наоборот англичане пытались оттолкнуть их, используя для этого буквально все средства. Если мы примем во внимание существование буржуазных правительств Грузии и Армении, натиск белогвардейцев с севера, мы поймем то невыносимое тяжелое положение, в котором находился бакинский пролетариат. Лозунг, брошенный им, в противоположность указанным империалистическим комбинациям, отличался необычайной простотой: «нефть в Советскую Россию — мануфактура и обувь из России для бакинских рабочих», этот лозунг означал на практике живую органическую связь с Советской Россией, истекающей кровью в борьбе с чехо-словаками и белогвардейцами.

Представляется почти чудом, что, несмотря на всю эту международную обстановку, в Баку в течение 4 месяцев (с марта 1918 г.) просуществовала Советская власть, ниспровергнутая при этом не столько натиском извне, сколько походом всех соглашательских партий: эс-эров, меньшевиков. С этим героическим периодом истории бакинского пролетариата и коммунистической партии и знакомит книга, выпущенная Азербейджанским Истпартом.

Большая часть воспоминаний посвящена периоду с октябрьской революции до советизации Баку в конце апреля 1920 года. Лишь несколько небольших отрывков затрагивают деятельность профсоюзов и коммунистической партии в предшествующий период, начиная с первой революции 1905 года.

Наибольший интерес имеют воспоминания, относящиеся к первой бакинской коммуне и к совету народных комиссаров, возглавляемому Степаном Шаумяном.

Что затрудняло революционную работу в Баку и утверждение советской власти? Все воспоминания дают здесь единодушный ответ: основной причиной являлось наличие национальных антагонизмов, необычайно усиленных (в 1904—5 г. г.) царским правительством и постоянно угрожавших превратить гражданскую войну в чисто национальную борьбу. Эта специфическая обстановка татарско-армянского Азербейджана мешала выявить полностью лозунги октябрьской революции, требовала от большевиков большой осторожности и даже исторически необходимого оппортунизма».

В самом деле, советская власть в Баку утвердилась после восстания мусаватистов, т. е. реакционной мусульманской партии. При наличии слабых сил Бакинского Совета, ему пришлось молча допустить партизанское участие армянских националистов дашнаков против мусаватской контрреволюции. В результате мы видим рост национальных антагонизмов и отход части мусульман коммунистов (партия Гуммет) от советской власти. Второй причиной падения советской власти являлась необходимость (в условиях гражданской империалистической борьбы) снять лучших партийцев с работы среди масс и перебросить их на советскую работу. Благодаря этому коммунисты начали быстро терять влияние в массах, что было прекрасно использовано антисоветскими партиями. Неудачи на фронте, продовольственные затруднения и невозможность, в условиях ожесточенной внутренней и внешней борьбы, провести серьезные социально-экономические мероприятия предрешили судьбу советской власти в Баку.

После кровавой развязки (гибели 26 комиссаров) начинается героическая борьба бакинского пролетариата против наседающих сил русской белогвардейщины, мусавата и английских оккупационных властей.

Воспоминания А. П. Каплева, М. Коваля и Баданова дают яркие картины подпольной деятельности бакинского пролетариата в тяжелые 1919—20 г. г., часто носившие характер какого-то революционно-авантюрного романа. Осуществляя лозунг «дать бензин Ильичу на зажигалку», бакинские рабочие снаряжают ряд морских экспедиций в Астрахань, доставляя туда бензин и моторное масло, а оттуда привозя оружие и деньги. Многие из этих самоотверженных революционеров (Рогов и др.) попадают в руки деникинцев, господствующих в Каспийском море, и погибают.

Одновременно, преодолевая огромные трудности, команда бакинской радиостанции установила регулярную связь с Астраханью и подобно рупору революции говорила из-под гнета мусавата с Россией, моля о помощи Баку, о необходимости сбросить ненавистное ханско-бекское правительство. Призыв к Красной армии притти на помощь восставшему бакинскому пролетариату был направлен именно этой революционной радио-станцией.

Ценность сборника, опубликованного Азербейджанским Истпартом, увеличивается тем обстоятельством, что мы почти не располагаем сейчас документальными данными о революционном движении в Баку в период 1917—1920 годов. Книга В. Чайкина о казни 26 комиссаров, Сборник № 1 «Из прошлого», изданный Истпартом в 1923 г., и редкие комплекты газет — вот все, чем мы располагаем в настоящее время для истории этой интересной эпохи.

При таких условиях второй сборник материалов представляет прямо таки неоценимую находку для каждого историка русской революции и коммунистической партии.

В. Кряжин.

В. В. Святловский. *История профессионального движения в России.* Издание Ленинградского Губпрофсовета. Ленинград 1924 г. стр. 345.

Если по истории рабочего движения в России у нас начинают появляться более или менее капитальные исследования, то этого совер-

шенно нельзя сказать относительно работ по истории нашего профессионального движения.

Есть фрагменты, наброски, клочки, обрывки воспоминаний, разбросанных в отдельных изданиях и журналах, но настоящего исторического исследования, строго проработанного на твердо подведенном обще-социологическом базисе, мы еще по этому вопросу не имеем.

Правда, есть у нас попытки в этой области, но к сожалению крайне неудачные. Так, недавно вышла третьим изданием работа В. Гриневича «Профессиональное движение рабочих в России» с предисловием Ф. Семюшкина. Тенденциозность подхода автора к освещению ряда важнейших сторон русского профдвижения, безнадежный «субъективизм» в отношении ряда основных моментов теории и практики этого движения делают книгу совершенно неудобоваримой в наших условиях, и это, конечно, никакими талантливыми предисловиями не прикроешь.

Сейчас Ленинградским Губпрофсоветом переиздана книга другого автора — В. В. Святловского.

Книгу эту автор претенциозно назвал «История профессионального движения в России». Автор не новичок в области профдвижения, он сам активный участник движения, чуть ли не с первых его шагов. К своей работе он, стало-быть, должен был подойти со всей серьезностью и строгостью историка-исследователя, на что мы и вправе были расчитывать.

Тем более положение тут обязывает, что автор, судя по его предисловию к книге, успел проделать своего рода «смену вех».

— Мы стали опытнее, старше и мудрее — заявляет автор — с глаз спала и рабочедельская и меньшевистская пелена...

Дальше идет следующий пояснительный текст:

«Колоссальная по смыслу и значению Октябрьская революция, а затем великий Ленин, его дело и его кончина многое выяснили, многому и научили. Поэтому, когда мне пришлось издавать настоящую книгу, взяв в ее основу материал 1905—1906 г.г., я уже не мог просто «перепечатать», и невольно смотрел на прошлое глазами нашего времени, ибо в корень изменилась общая обстановка профдвижения. «Нейтрализм» и «профессионализм», вытекавшие из условий того времени, утратили всякий смысл еще в эпоху реакции 1908—1913 г.г.».

Все это, конечно, очень хорошие, сильно сказанные слова.

В действительности же приходится констатировать, что автору в очень незначительной степени удалось пока «посмотреть глазами нашего времени», изжить и все «традиции» и «все ошибки и недомыслие прошлого времени», что и отражается в его новой работе.

Так в общем предварительном обзоре автор, касаясь периода Октябрьского переворота, утверждает:

— «...Вместе с тем изменяется и идеология движения. *Исчезает политический индифферентизм и идея нейтрализма»*...

Малоискушенному читателю становится ясно, что до Октябрьского переворота в профдвижении существовали сплошь и политический индифферентизм и идея нейтрализма. Это — старые меньшевистские пузыри, которые пора бы уже бросить при новой обработке материала, расчитанной на широкого советского читателя. Ведь вопрос об «аполитичности» и «нейтрализме» до Октябрьских союзов успел набить оскомину и давно уже определенно и твердо вырешен далеко не в пользу легковесного утверждения автора.

Таких «непродуманных» уклонов и идеологических шатаний можно найти не мало на протяжении всей книжки.

На стр. 5-й, при освещении вопроса о зубатовщине автор отпускает такое рискованное вольнодумие: «Зубатовщина (полицейский социализм) — лоно будущего экономизма»...

[illegible] 86-й автор, касаясь исторически подтвержденного факта [illegible] Гапона с тайной полицией, стремится все же заронить искру недоверия к этому, твердо установленному, факту:

«Обвинения [illegible] в противоречиях. Насильственная смерть Гапона и странность объяснения Рутенберга, якобы [illegible] «ка[illegible]нившего» Гапона, увеличивали трагизм вопроса»...

Для автора «вопросы о Гапоне, связи его с охранкой, оказывается, все еще «могут и должны получить свое историческое объяснение»...

[illegible] исторических [illegible] и положении автора прямо вздорны. Так [illegible] «общества взаимопомощи рабочих» автор совершенно [illegible] приписывает историческую роль особых еврейских [illegible] Западном крае и носивших название [illegible]. Как [illegible] чисто религиозные еврейские кружки, [illegible] «братства» и [illegible] имели к русскому профессиональному движению — понять никак невозможно.

Вообще, [illegible] почтенного историка — и в смысле добросовестной обработки, и в смысле конструкции самой книги, и в смысле правильного и пропорционального размещения материала по отделам, и в смысле полноты и охвата всего движения — носит печать сугубой [illegible] подхода, бессистемного нагромождения фактов и цифр.

[illegible] первой части нагромождения [illegible] совести». Несмотря на то, что истоки русского профессионального движения [illegible] своим началом лишь 18-ый век, автор [illegible] чуть ли не в дебри XII века [illegible] Руси [illegible]. Нагромождённость и отрывочность материала [illegible] в целом. Нелепо и с расположением материала во второй части книги (1905—1917 г.г.). Так освещение [illegible] нашего профессионального движения [illegible] 1906—1907 г.г. — отводится всего лишь 10 стр., в то время как сравнительно менее актуальному вопросу о правовых выявлениях движения 1905—1906 г.г. отведено целых 34 страницы.

[illegible] менее важные вопросы выпячиваются, [illegible]. Неизвестно зачем автору понадобилось [illegible] страниц на дословную перепечатку [illegible] принятого [illegible] 4 марта 1906 г. [illegible] старшего делопроизводителя [illegible] делам присутствия инженера Ф. В. Фомина... человека начитанного по экономическим вопросам», в то самое время, [illegible] строчек, чтобы хоть в двух словах, [illegible] ленских событий. Этому серьезнейшему этапу так и не уделено ни одного слова во всей работе автора.

Такова эта «история профессионального движения в России», [illegible] историком В. В. Святловским. Вместо истории получился — некий суррогат.

В лучшем случае, и то с большими оговорками — это — сборник сырого [illegible] материалов для будущей действительной истории профессионального движения в России.

Мих. Осипов.

А. Б[illegible]. *Пугачевщина на Урале.* Уральская Историко-Революционная Библиотека [illegible]. С портретом, иллюстрациями и картой военных [illegible] Уралкниги. Екатеринбург. 1924 г. 48 стр.

Архивная работа на местах над материалами местных хранилищ, [illegible] Октябрьской революции, несмотря на скудость [illegible]. Первые выпуски Уралкниги и по истории [illegible] посвященные именно выявлению движения в Ура[illegible], подтверждают это наблюдение

Чрезвычайно интересно при этом отметить, что дело не ограничивается изданием одних архивных материалов, но местные силы приступают к обработке и к выпуску работ, основанных на этих материалах.

Автор данной брошюры сначала делает общий экскурс в историю пугачевского движения и устанавливает полную неразработанность этого движения вообще, и в особенности на Урале, отсутствие марксистского подхода к вопросу. Затем он выясняет происхождение движения и выводит его из условий заселения края, экономического закабаления крестьянства, усиления крепостного права. Далее он излагает самую историю движения, разделив его на периоды, и наконец подводит ему итоги. Книжка написана по печатному материалу, точнее по работам тех историков, которых очень не высоко расценивает автор в предисловии. Нет спора, что прежняя историография русская не стояла на марксистской точке зрения. Но, во-первых, в Пугачевском движении трудно затушевать классовую борьбу, она сама за себя говорит, во-вторых, даже такие историки крестьянства XVIII в. и в частности посессионных крестьян, каковыми были именно крестьяне на Урале, как В. И. Семевский или Попов, историк [illegible] классовую роль и эксплоатацию крестьян властвующим классом, а Фирсов в своих брошюрах дал очень живую и яркую картину обоих движений с этой стороны.

Следов собственной архивной работы автора над местным материалом почти не заметно. Об этом нельзя не пожалеть. Приобщение нового материала освежило бы и обновило тему.

Мысль составить карту военных действий весьма удачна. Она позволяет закрепить движение в памяти читателя.

В. Алексеев.

Л. Н. Кантерев. *Дубининщина.* Уральская Историко-Революционная Библиотека, вып. 2-й. Уралкнига. Екатеринбург, 1924 г. 38 стр.

Второй выпуск Уральской библиотеки, как историческая работа, несравненно интереснее первой. Он как раз основан исключительно на местном архивном материале. Под «Дубининщиной» разумеется восстание крестьян Долматовского монастыря Шадринского у. в XVIII в. — эпизод, предшествовавший пугачевщине. Автор сначала дает историческую справку о монастыре, о положении крестьян, а затем рисует картину восстания крестьян против своих угнетателей с первого и до последнего момента. Все время автор оперирует архивными материалами Долматовского монастыря. Благодаря этому движение в его изображении — перед подлинными строками памятника — приобретает непосредственность и бытовую красочность. На фоне документов ярко выступает борьба двух классов и драматическая развязка ее в пользу господствующего, владельческого класса, одержавшего победу при поддержке правительства. К тому же брошюра написана простым и хорошим литературным языком. К ней, как и к первой брошюре, приложена карта. «Дубининщина» показывает, как можно использовать архивный материал даже для широких кругов читателей.

В. Алексеев.

Историко-литературный сборник. Посвящается Всеволоду Измайловичу Срезневскому (1891—1916 г.г.). Издание Отделения Русского Языка и Словесности Российской Академии Наук. Ленинград, 1924 г. Стр. 426.

Рецензируемый сборник имеет очень своеобразную судьбу: он находился в печати не мало, не много 8 лет. Еще в 1916 году, когда исполнился 25-летний юбилей учено-литературной деятельности В. И. Срезневского, он сдан был в печать, и только теперь, в 1924 г., когда уже ряда лиц, принявших в нем участие, нет на свете, он появился в свет.

Как видно уже из заглавия, сборник имеет историко-литературный характер. Большинство помещенных в нем статей посвящено вопросам языкознания и истории русской литературы. Однако, наряду с этим читатели находят в сборнике ряд статей, представляющих несомненный интерес с точки зрения истории нашего революционного движения.

К числу такого рода материалов прежде всего относится статья покойного В. И. Семевского о петрашевце П. А. Кузьмине. Эта статья является частью обширного исследования о петрашевцах, предпринятого автором, но оставшегося незавершенным за его смертью. Статья эта посвящена одному из второстепенных по роли в кружке Петрашевского его членов — офицеру генерального штаба Кузьмину, арестованному в связи с делом петрашевцев, но впоследствии оправданному и закончившему свою жизнь в 1885 г. на посту председателя Киевского военно-окружного суда. Основной интерес статье Семевского придает использованный в ней дневник, который Кузьмин вел в 1848 г. во время своей командировки в Тамбовскую губернию для составления ее военно-статистического описания. Дневник этот, отобранный у автора во время ареста, содержит ряд ярких черточек для характеристики русского провинциального общества эпохи разложения крепостного строя.

Далее надо отметить небольшую работу другого теперь также покойного историка М. К. Лемке, в которой он знакомит нас с делом министерства народного просвещения о публичных лекциях, читавшихся в 60-х годах. Помимо общего списка всех таких лекций за 1859—1862 г. по всем городам России, читатель находит здесь краткую программу неразрешенной властями лекции о грамотности, которую в 1861 г. намеревался прочесть в Петербурге П. Л. Лавров и детальную программу лекции по политической экономии, прочитанной Н. Г. Чернышевским в том же году.

К тем же шестидесятым годам относятся опубликовываемые Е. П. Казанович письма М. И. Михайлова, Н. В. Шелгунова и его жены к Н. В. Гербелю. Письма эти содержат в себе не мало ценных для биографии их авторов данных. Особенно интересны те из них, которые относятся к 1862 г., когда Михайлов отбывал в Сибири каторжные работы, наложенные на него по делу о прокламации «К молодому поколению», а Шелгуновы, поехавшие навестить его, были арестованы и отправлены в Удинскую Слободу. «Живем в степи, питаемся ягодами и даже без меду, потому что в Сибири его нет, и при нас состоит жандармский вахмистр, который следит за нами. И жить в таком тяжелом материальном и нравственном положении целые месяцы!» — пишет Шелгунов в одном из своих писем из Удинской Слободы. «Об ужасе нашего житья в поганейшей Удинской Слободе, — говорит он в другом письме, — не пишу ничего, ибо вы и сами можете представить это, если соедините в своем соображении следующие факторы: 40° мороз, пол, на котором замерзает вода, недостаток в съестном, самое отвратительное и грязное приготовление кушанья, тухлые воды, полнейшее одиночество, казаки и жандармский надзор и 7000 верст расстояния от Петербурга, вследствие чего ответ на каждое письмо нужно ждать от 4 до 4½ месяцев».

Помимо указанных выше статей для истории русской общественности представляют несомненный интерес следующие материалы: заметки Г. В. Вернадского о литературно-издательской деятельности Н. И. Новикова, историческая справка П. Н. Столпянского об отношении русского правительства и общества к украинофильскому движению в 30-х и 40-х годах, заметка С. А. Переселенкова о цензурных мытарствах «Записок маркера» Л. Н. Толстого и статья проф. Е. Н. Тарасова, в которой он знакомит читателей с неопубликованной запиской по крестьянскому делу, составленной в 1857 г. крупным помещиком Полтавской и Черниговской губернии Тарновским, который в заботах о сохранении [illegible] и

правительственного влияния высшего состояния в России или, другими словами, дворянства, выдвигал проект освобождения крестьян с предоставлением им части той земли, которой они пользуются у помещиков, в вечную аренду.

Б. К.

Лев Зотов. ***Саратовская охранка.*** Опись и содержание дел Саратовского губ. жандармского управления 1 1838—1874 гг. С приложением Краткой записки жанд. упр. из дознании, произвед. в Саратове в 1874 г. о распространении революц. литературы, и список литературы и лиц, причастных к революционному движению. Изд. В. З. Яксанова, М.-Сар. 1924, 92 стр.

Автор рецензируемой книги свел свою задачу, по существу, конечно, научную, к очень немногому — к простому воспроизведению инвентарной, почти канцелярской описи Саратовской охранки. Для исследователя обращающегося к архивным материалам, такая опись клад, так как открытые и организуемые после Октябрьской Революции новые архивные фонды зачастую не имеют никаких описей или же в описях — перечень дел без указания содержания. В опубликованной Зотовым описи тоже есть подобные голые перечни, но во многих случаях отмечается и содержание дела, встречаются даже выдержки из документа. Тем не менее и она не может удовлетворить исследователя. Раз уже опись издается, следует пожертвовать ее неприкосновенностью и проредактировать ее, в смысле расчленения материала, просветления его содержания и подбора его не только хронологически, но и по содержанию. Это — прямая задача архивиста, и если бы автор взял на себя труд такой редакции описи для издания (в хранилище, конечно, опись эта остается неприкосновенной) то «Саратовская охранка» сделалась бы более удобной для пользования ею на месте, как для хранителя фонда, так и для исследователя. Последний скорее тогда укажет, что ему нужно, а первый легче выберет и найдет требуемый документ в груде дел. Экономия времени значительная. В настоящем же виде опись лишь суммарно осведомляет интересующихся с содержанием «охранки», и по ней видно, что материал ее весьма ценен для истории революционного движения 60-х и 70-х годов. В особенности это можно сказать о «записке» и переписке охранки Саратова с Москвой, где велось дознание, подготовившее потом процесс 193-х.

Само собой разумеется, примечания и комментарии в такого рода издании не лишни, и обещание автора восполнить этот пробел после представляется нам невыполнимым. Как можно оторвать комментарии от текста и напечатать их отдельно!

В. Алексеев.

Л. Г. Дейч. ***16 лет в Сибири.*** 3-е значительно исправленное и дополненное издание с портретами автора. Изд-во «Девятое Января» Транпсекции. Москва. 1924 г. стр. 360.

Пора сказать несколько слов о вышедшей весной третьим изданием книге Л. Г. Дейча; первое издание появилось в Женеве еще до революции 1905 года, напечатанное чрезвычайно мелким шрифтом для удобства транспорта в Россию. Книга эта произвела сильное впечатление как в России, так и на Западе, так мало там знали о расправах царизма с русскими революционерами. Она была переведена чуть ли не на 20 иностранных языков и в Германии например, выдержала 12 изданий; в России же, к сожалению, она была распространена гораздо меньше. Та же участь постигла и второе издание, напечатанное уже в России. Издана она была Н. М. Глаголевым и появилась в свет вскоре после покушения на Столыпина на Аптекарском острове; была конфискована во время нахлынувшихся репрессий и стала в России библиографической редкостью. Тем

[illegible] приветствовать настоящее третье издание, дополненное 13-ю главами.

Книга представляет богатый материал не только для изучения германских и русских тюрем и ужасов каторжного режима, но и для изучения сибирского быта и административных порядков того времени.

Книга распадается на три части: первая заключает в себе историю выдачи Л. Г. Дейча баденским правительством русскому правительству, как уголовного преступника, т. е. повторение истории с С. Г. Нечаевым, [illegible] политическое убийство было нагло приравнено к уголовному; в деле же Л. Г. Дейча было только покушение. Несмотря на квалификацию преступления Дейча, как уголовного, он был в 1884 году предан Одесскому военному суду и, вместо 4—6 лет каторги за нанесение увечий, получил 13 лет и 4 месяца каторжных работ.

Очень интересна характеристика немецких тюрем и следственного производства Германии, страны, считавшейся в те годы передовой, сравнительно с нашим отечеством.

Путешествие по русским тюрьмам: Петропавловская крепость, дом предварительного заключения, Одесские тюрьмы, путешествие по сибирским этапам вплоть до Кары — все это выписано свойственными Л. Г. Дейчу тщательными и тонкими штрихами.

Вторая часть посвящена жизни на Каре и сейчас еще производящей впечатление кошмарного ужаса Карийской трагедии, когда отравились шестеро товарищей: Сигида, Ковалевская, Смирницкая, Калюжная, Бобохов и Калюжный; впрочем, относительно Сигиды осталось невыясненным, умерла ли она от яда или непосредственно от нервного потрясения, перенесенного ею 6-го ноября 1889 г., когда она была подвергнута телесному наказанию.

Чтобы читатель получил полное понятие о Карийской трагедии во всестороннем освещении, необходимо напомнить о статье Феликса Кона в № 3 «Каторга и Ссылка», под заглавием «На Каре», и А. В. Прибылева «Еще о Карийской трагедии» в № 1 (8) «Каторги и Ссылки», а также о воспоминаниях Е. Н. Ковальской о «Женской каторге», хотя имеющих лишь косвенное отношение к отравлениям на Каре.

Необходимо отметить ряд интересных характеристик обитателей политической каторжной тюрьмы, заключающийся в той же 2-й части.

Третья часть заключает в себе описание жизни в вольной команде, характеристику сибирской жизни и нравов, отношений к местному населению; потрясающее впечатление производит глава XLI «Истребление [illegible]» — это потопление в реке Амуре близ Благовещенска около 6000 китайцев всех возрастов, женщин и детей. Когда русский народ упрекают в несчастьях, бывших во время революции, то не мешает бросить взгляд назад и посмотреть, как властями искусственно взращивалось и прививалось зверство русскому народу посредством китайских, еврейских, армянских и др. национальных погромов. Одну из таких иллюстраций и составляет упомянутая глава.

Побегом из Сибири через Японию, Сандвичевы острова и Америку в Западную Европу заканчивается подневольное кругосветное путешествие Л. Г. Дейча, а также и книга. Следует отметить интересную встречу с эмигрантом д-ром Русселем (Судзиловским) на Гавайских островах.

К книге приложен список политкаторжан, бывших на Каре, а также лиц, добровольно последовавших за ними, и алфавитный указатель лиц, упоминаемых в книге.

При следующем издании, которое, надо надеяться, не замедлит явиться, следует обратить внимание на довольно большое количество незамеченных опечаток. В общем книга издана прилично.

Н. Голсвина.

В. Залежский. *„В стране поднадзорной“*. Очерки Нарымской политической ссылки. Изд. „Молодая Гвардия“. Москва—Ленинград 1924 г. Стр. 68. Цена 30 к.

Издательство «Молодая Гвардия», выпуская книги, содержанием которых являются жизнь и приключения старых революционеров, исполняет прямую задачу воспитания молодого революционного поколения.

Воспоминания Залежского «В стране поднадзорной» являются второй книжкой этого автора в этом же издательстве. В. Залежский описывает жизнь политической ссылки Нарымского края кануна войны до своего побега в 1915 г.

Книжка разделена на 8 небольших глав. В первой главе Залежский описывает свой арест на улице в Екатеринославе в 1913 г. городовым по указанию филера. Арестовавший его городовой был одновременно лицом, которому т. Залежский сдал свою нелегальщину и «добродушный фараон», исполняя приказание филера, не передал нелегальщины в охранку и таким образом спас и облегчил участь т. Залежского.

Дальше автор воспоминаний рассказывает о самом больном вопросе Нарымской ссылки последних лет. Под видом политических царское правительство ссылало в Нарым самый разнообразный элемент до кулаков чистейшей воды включительно. Особенно много таких политиков доставляла Польша. Они в большинстве случаев именовались «п. п. с.». В самом центре Нарымской ссылки в селе Колпашево этот элемент создал невыносимые условия для жизни действительных политиков. Несколько таких «п. п. с.-иков» занимались торговлей вином, устроив в своих квартирах настоящие шинки-притоны, в которых торговали не только вином, спаивая мало сознательных ссыльных и молодежь, но и живым товаром, предлагая посетителям часто своих жен и дочерей. Для идейных ссыльных были созданы такие условия, что они были вынуждены под руководством И. Н. Смирнова, Васильева, Лыкова вооружиться охотничьими ружьями, окружить дома шинкарей и выселить их из села Колпашева [illegible]. Происходила полная осада шинков и «п. п. с.-ики» были вынуждены покинуть село.

Залежский останавливается не только на жизни ссыльных, но и местного «чалдонского» населения. Весьма рельефно описаны (II глава) главные промыслы чалдонов: рыбная ловля и собирание кедровых орехов.

Воспоминания охватывают быт Нарымской ссылки, борьбу с администрацией, побеги. Для последней цели Нарымская ссылка имела специальное бюро побегов, во главе которого стоял И. Н. Смирнов.

В. Залежский, указывая, что в центре ссылки не нуждались в газетах и журналах, отмечает, как курьез, что в с. Колпашеве получались такие газеты, как «Новое Время» и «Петербургский Листок».

«Новое Время» и другие реакционные газеты вообще были обычным явлением в центрах ссылки в Иркутской и Енисейской губерниях. Они выписывались, если только колония ссыльных [illegible] редакции этих газет.

Книжка Залежского читается очень легко. Вообще было бы желательно, чтобы издательство «Молодая Гвардия» продолжало издание такого рода небольшого размера книжек по истории борьбы с царизмом. Размер для молодежи играет большое значение. Так одна из лучших книг тюремных и этапных воспоминаний И. Генкина не получила распространения среди молодежи, в виду своей громоздкости (около 500 страниц).

Считаем необходимым обратить внимание на обложку (рисунок) этой книги. На ней изображена фигура в широкой летней шляпе, пальто по колени, в сапогах, а на них галоши (непохоже на заключенного), кроме того, эта фигура как будто бы закутана в шаль. Неужели это собой представляет узника, отправляющегося в сибирские тундры?

Я. Д. Б.

Ф. А. Волькенштейн. *В дореволюционных судах*. Речи защитника. Изд. Л. Д. Френкель. Москва—Ленинград. 1924. Стр. 312.

Первой же фразой предисловия автор лучше всего определяет свое собственное произведение. «Эта книга запоздала. Была война, потом революция». Действительно книга Ф. Волькенштейна основательно запоздала, и ее появление в свет теперь кажется каким-то ненужным и бесполезным анахронизмом. В сущности после своего откровенного признания автору нечего было вытаскивать из-под спуда свои старые речи и предавать их тиснению. Большинство легенд лучше действительности и раздутая либеральной прессой былых дней слава Волькенштейна, как политического защитника и вообще выдающегося адвоката, представлялась бы более непоколебимой, нежели после издания настоящей книжки.

Волькенштейн под общим и громким названием «В дореволюционных судах» поместил не только свои речи по политическим процессам, все же представляющие некоторый интерес, но и свои речи по разным делам, никакого отношения к политике и революции не имеющим. Бульварные процессы «королевы бриллиантов», обливания серной кислотой, убийства из ревности и т. п.—все это занимает добрую часть книги и без того достаточно разбухшей. Кому в настоящее время нужны речи по процессам подобного рода, остается секретом автора. Любитель бульварщины и авантюрных романов вряд ли будет заглядывать в речи защитника, интересующийся бытом и нравами не найдет здесь (вопреки утверждениям Волькенштейна в том же оправдательном предисловии) ничего особенно нового и типичного. Если же автору хотелось непременно напечатать свою «солидную» книгу, то можно было ее смело сократить почти на половину.

Переходя теперь к политическим процессам, отображенным в речах Волькенштейна, отметим как наиболее интересные: «Дело о майской демонстрации в Саратове 1902 г.», «Тахоренское дело 1902 г.», «Дело Псковских крестьян 1907 г.» и «Дело президента «Красноярской республики» прапорщика Кузьмина». Здесь они и так представляют интерес, не самые речи, мало что дающие, а те дела, по поводу которых они были произнесены; некоторые из этих дел еще недостаточно освещены, а между тем они касаются памятных событий перед первой русской революцией, самой ее («Красноярской Республики») и ее непосредственных продолжений. Дело прапорщика Кузьмина любопытно и с чисто психологической точки зрения, оно показывает роль случайных людей, выдвинутых иногда гребнем революционной волны. Обращает внимание и дело о политическом убийстве, хотя и совершенном на русской территории, но выходящем за пределы России. Это дело корейца Ким-Хан-Чена, убившего в Петербурге в 1905 г. корейского генерала Ион Ина, беспощадного подавителя самостоятельности и главного виновника порабощения Кореи Японией. Но как раз это дело меньше характерно для речей защитника Волькенштейна. Мы не найдем здесь ни социологического анализа, ни исторического освещения, ни даже обилия фактических данных. Игра на психологию, нередко дешевая и, главное, целое море воды. Может быть, так и нужно было заливать прежние суды, но теперь через эти волны трудно плыть современному читателю, экономящему свое время.

Н. Бородин.

М. Вильчур. *„Русские в Америке“*. Издание «Первого русского издательства в Америке». Нью-Йорк, 157 стр. (без означения года).

Книга, заглавие которой мы только что выписали, является, насколько нам известно, первой попыткой дать более или менее связный очерк возникновения и развития русской эмиграции в Америке, жизни эмигрантских колоний, их быта, их органов и организаций. Тема богатая и при [illegible] сложности, при огромном своеобразии быта русских эми

грантов в Америке» очень и очень многообещающая. Автор попытался взять тему во всем ее объеме. Его интересует эмиграция не только политическая, не только эмигрантско-революционные организации. Вот перечень глав, на которые автор разбил свою книгу, — этот перечень дает представление о круге затронутых им вопросов. 1) Эмиграция из России, ее причины и характер. 2) Пионеры эмиграции (революционеры 60—80-х г.г.). 3) Иммиграция в 1880-х г.г. 4) Крестьянская эмиграция. 5) Польская эмиграция. 6) Численность русской иммиграции. 7) Экономический уровень русских в Америке. 8) Культурные и духовные запросы и их удовлетворение. 9) Отрицательные элементы эмиграции. 10) Семейный быт русских эмигрантов. 11) Русские туристы в Америке. 12) Русские официальные учреждения в Соед. Штатах. 13) Русская печать в Америке. 14) Русские организации в Америке. 15) Русский театр и музыка. 16) Политический вес русских в Америке. 17) Дар России Америке. В виде особого приложения дан маленький очерк о «русских в южной Америке и Канаде».

Если подходить к книге с теми требованиями, с которыми обычно подходят к историческим работам, то труд г. Вильчура нельзя не признать совершенно не выдерживающим критики. Мы уже не говорим о полном несоответствии размера работы с очерченной темой. Как истый русско-американский журналист (всякий, кому приходится следить теперь за русско-американской прессой, знает, как низок ее уровень), автор совершенно беззаботен по части всего того, что зовется общими знаниями. Приведем один только пример, правда, наиболее яркий. На стр. 103 своей книги г. Вильчур, рассказывая о судьбе первой русской газеты «Свобода», которую издавал в 1860-х годах в Америке священник Гончаренко (фигура очень любопытная, даже колоритная), сообщает буквально следующее:

«Среди случайных сотрудников «Свободы» были Мачтет, Рылеев и Огарев. Н. П. (?) Рылеев присылает ему [по смыслу текста, выходит редактору «Свободы»] стихотворный привет:

> Товарищ, верь, взойдет она —
> Заря пленительного счастья,
> Россия вспрянет ото сна
> И на обломках самовластья
> Сдружатся наши племена!»

В нашем распоряжении нет комплекта этого редкостного зарубежного органа на русском языке — «Свободы», а потому мы не знаем, в какой мере вся сумма открытий, содержащихся в этих строках, должна быть отнесена на долю г. Вильчура; быть может, часть их следует отнести в актив Агап. Гончаренко. Но во всяком случае великолепен автор исторической работы, если даже он только повторяет без оговорок такие чужие ошибки; мало того, что он известнейшую строфу (слегка исковерканную) А. С. Пушкина приписывает К. Ф. Рылееву, — ему нужно еще заставить последнего, через 40 лет после смерти, послать свой привет в далекую Америку, с которой, правда, Рылеев был в известной мере связан.

Но, повторяем, с обычными русскими мерками к рус.-амер. изданиям подходить нельзя. Если же подойти к книге Вильчура с более подходящим масштабом, то известную долю пользы за его работой признать приходится. Для историка русского революционного движения особый интерес представляют главы, где автор говорит об эмигрантах-революционерах, о русской прессе в Америке, — начиная с 60-х годов, с упомянутой выше «Свободы», до 1919 г., — о русских социалистических организациях и т. д. К главе о прессе приложен довольно обширный список русских периодических изданий, — в список входит свыше 50 названий. В этих главах также встречается не мало ошибок, но на ряду с этим

имеются и весьма ценные указания [illegible] г. Вильдр пользовался сведениями, которые получал от таких патриархов русской эмиграции в Америке, как С. И. Интерман, Гурвич, Л. Миллер и др. Довольно подробный рассказ г. Вильдра об А. Гончаренко мы к этой категории не отнесли бы, и кому, кто заинтересуется этим священником-украинофилом, конечно, лучше обратиться к его автобиографии («Спомини А. Гончаренка, українського козака-священника», Коломия, 1894 г.), но в сведениях о Столешникове, С. Шевиче, Л. Гартмане и др. есть многое, чего нам не приходилось встречать в других изданиях; очень интересны временами и рассказы о социалистических газетах и журналах, о «Знамени» 1889-91 годов, о «Прогрессе» и др.

Г. Г -в.

Андржей Струг. *«Люди подполья»*. Сборник рассказов. Перевод с польского Ев. Троповского. Изд. «Прибой». Ленинград. 1924. Стр. 168, цена 75 к.

Андржей Струг. *История одной бомбы.* Повесть. Перевод с польского Ев. Троповского. Изд. «Прибой». Ленинград. 1924. Стр. 176, цена 90 к.

Андржей Струг принадлежит к большим талантам современной польской литературы; все свое творчество этот крупный писатель посвятил жизни революционеров подполья времен царизма. [illegible] повестей и рассказов, которые до сих пор вышли из-под пера Андржея Струга, [illegible] революционеров-социалистов подполья.

Сборник рассказов «Люди подполья», [illegible] в русском переводе [illegible] Ев. Троповским, впервые [illegible] 1908 г. во Львове. [illegible] себя большим психологом, хорошо знающим людей подполья, и портретистом [illegible] ски нарисованы, что их безусловно нужно считать лучшими в художественной литературе бывшей империи.

В изданный перевод «Люди подполья» вошло 8 рассказов. В них читатель видит, как подпольщик оплакивает своего умершего товарища [illegible] провокатора (От руки друга).

В рассказе «От руки друга» с большой силой художественного таланта [illegible] века, который вывел его на этот путь, но впоследствии оказался провокатором и погибает от руки Валерика.

Повесть «История одной бомбы» [illegible] ния сказать, что из одной этой повести читатель может получить полную картину жизни революционеров Польши времен царизма.

В ней изображены руководители боевой организации, технические [illegible] предисловия к этой книге Р. Арского, Струг был п. п. с., но это ему

не мешало, как художнику, создать великолепный портрет польского [illegible] Грина [illegible].

В [illegible] Струг. Мы хотим только обратить внимание [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] рение, что такой крупный талант, как Андржей Струг, является писателем людей подполья.

В первом рассказе Струга (Некролог) имеются такие строки:

«Хочу писать историю твоей жизни. Живыми сильными словами, чтобы долго, долго помнили тебя люди».

«Хочу громкой и широкой славы для тебя,—человек из подполья, человек без имени».

Своими произведениями Струг этому помогает.

Необходимо, чтобы и другие произведения Струга из жизни подполья появились в русском переводе.

Я. Д. Баум.

А. Зарин. *Красный Город.* Из дневника 1920 г. Повесть. Изд-во Культ.-Просв. Кооперативн. Т-ва «Начатки знания». Ленинград. 1924 г. 128 стр. Цена в переплете 1 р. 10 к.

Лучшие русские детские писатели (Алтаев и др.) свои книги для подростков среднего и старшего возраста писали на исторические темы, [illegible] особенно мальчики, как это известно, любят чтение повестей и романов [illegible] ские романы Сенкевича и Вальтер Скотта читались (и еще теперь читаются) главным образом юношами.

Повесть «Красный Город» есть первая книга для детей школьного возраста [illegible] Эта форма является самым лучшим способом первоначального знакомства детей с отдельными событиями из истории революционного движения. Такую задачу, повидимому, поставил себе автор повести «Красный Город».

Ученик школы II ступени в своем дневнике между другими своими записями, которых мы не будем рассматривать, вносит в свою тетрадку рассказы учителя истории на уроках и экскурсии о красном городе (Петрограде) [illegible] ской крепости и о первых ее узниках, начиная с царевича Алексея. На [illegible] подробно рассказывает о восстании декабристов, покушении Соловьева на соседней Дворцовой площади и событиях 9-го января. По дороге уче- [illegible] и как это покушение было совершено. Упоминаются также покушения на [illegible] крепость. Здесь ученик записывает расположение крепости и впечатление о Трубецком бастионе и рассказы учителя о людях, сидевших в нем, с упоминанием многих имен. Дальше запись говорит об убийстве Александра II на Екатерининском канале и о процедуре лишения прав Чернышовского.

Таково историческое содержание, вплетенное в дневник ученика, который одновременно описывает свою семью, товарищей по школе и происходящие события (война с поляками).

[illegible] повест[illegible] [illegible]ниями, в которых помещены [illegible] в Петропавловской крепости и биографии ре[illegible], [illegible] которых упоминаются в повести. Так примечание [illegible] 1-го марта [illegible] 3 страницы убористого шрифта, в котором [illegible] первомартовцев. Но примечания вообще не полны.

[illegible] упоминается имя Каляева и говорится о мученической [illegible] Ветровой в Петропавловской крепости, но ни в тексте, [illegible] говорится о революционных событиях, вызванных смертью Ветровой и ничего не сказано о Каляеве.

[illegible] убийстве Плеве, о судьбе Сазонова указывается, что [illegible] в Акатуевскую каторгу, где он и помер. Смерть Сазонова [illegible] смертью, и на ней необходимо было [illegible] юношества. Не рассказать о причинах самоубийства Сазонова — недопустимое упущение.

[illegible] читаем, что «здесь (в Петропавловской крепости) [illegible] рубашке умерла Елизавета Оловенникова» и что про нее поэт Полонский написал известное стихотворение:

«Что мне она? Не жена, не любовница
«И не родная мне дочь».

Елизавета Оловенникова жива по сегодняшний день и нет никакого [illegible] стихотворение Полонского именно ей. Общепринято [illegible], что этим стихотворением Полонский имел в виду Софью Перовскую, но и это предположение ничем не подтверждается. [illegible], Полонский персонально никому не посвящал свое произведение, а имел в виду целую героическую плеяду женщин-революционерок этого времени.

Стихотворение «Что мне она?» было написано в 1877 г. (См. «Былое» [illegible] процесса 50-ти, в котором выдающуюся роль играли женщины-революционерки.

[illegible] портреты революционеров Желябова, Перовской [illegible] Петропавловской крепости.

[illegible] «Красный Город» [illegible] затрагивает много фактов из революционного прошлого, ее нужно рекомендовать юному читателю. Она пока единственная в своем роде.

Я. Б.

«Вестник труда» — орган Всероссийского Центрального Совета профессиональных союзов № 5 — 6 и 7. Москва 1924 г.

[illegible] «Вестник Труда» [illegible] центральный руководящий орган ВЦСПС. Его задача крайне сложна и ответственна — теоретически и практически [illegible] профессиональное движение и периодически освещать [illegible] этапы современной коллективной работы объединенного в союзы русского пролетариата.

С этой стороны у журнала, вступившего в 5-ю годовщину своего [illegible] свои особые традиции, которые он [illegible] процесс [illegible] работы, удачно захватывая из [illegible] важнейших повседневных сторон союзной жизни.

Из двух, лежащих перед нами последних, вновь вышедших книжек [illegible] является предстоящий [illegible] Правда, [illegible], предполагавшийся в начале лета, был отложен на осень, [illegible] материалы, прорабатываемые в книжке, [illegible] [illegible] моментов для ши-

рокого обсуждения на местах тех вопросов, которые поставлены в порядок дня съезда».

В номере ряд исчерпывающих, ценнейших и тщательно проработанных материалов о численности и составе профсоюзов СССР на ближайший период, о командном составе профдвижения, о национальной проблеме в профсоюзах, о финансовом их положении и т. д.

Освещены также такие важнейшие моменты текущей союзной работы, как вопросы о союзной взаимопомощи, о рабочем дне конторских служащих (в связи с проектом удлинения рабочего дня конторских служащих), о работе в частных предприятиях, работе среди женщин и пр.

Отдел «Народное Хозяйство» рядом статей освещает положение народного хозяйства накануне съезда (статья В. Г. Громана), состояние и задачи рабочей кооперации (статья В. Сахарова), динамику производительности труда в России (статья С. Струмилина), вопросы рынка труда и т. д.

Ряд других отделов журнала («Организация труда», «Рабочий быт», «За рубежом», «На местах», «Литературные отклики»), составленных живо и на основании интереснейших, соответственно проработанных материалов, свидетельствует об умелом, богатом и разнообразном охвате редакцией всех важнейших сторон союзной жизни.

В журнале хорошо поставлен отдел «Из прошлого». В N 7-м журнала мы находим интересную, хотя и беглую, историческую экскурсию А. Гудвана в материалы, освещающие характерные моменты «зарождения «закона 4 марта 1906 г.».

Характерны вновь приводимые автором цифры о количестве и характере репрессий, применявшихся в свое время царским правительством к союзам и их работникам за период 1906 — 1910 г.г. Всего за это время — по данным автора — было закрыто 604 союза и арестовано на разные сроки 900 человек. Из этого числа арестованных выслано из пределов данных городов и губерний, а часть и в «места не столь отдаленные» — 381 чел.

Данные эти, конечно, далеко не полны. Автор сам сознается, что стал собирать материалы с мая 1906 г. В действительности, количество арестованных и высланных за этот период, разумеется, во много раз больше.

Автор приводит далее следующие любопытные данные о применявшихся массовых высылках:

— «В числе арестованных и высланных пострадали больше всего т.-н. должностные лица, т.-е. члены правлений и ревизионных комиссий. Так было выслано правление печатников в Москве (июнь 1907 г.), литографов в Петербурге (август 1907 г.), приказчиков в Минске (июль 1907 г.), портных и печатников в Бердичеве, металлистов и портных в Ковно и т. д. В Петербурге систематически высылались председатели и секретари союзов. То же делалось и по другим городам...

В том же номере журнала приведены также интересные материалы, на основании данных тверского губархива, о майских днях в 1903 г. на Вышневолоцких фабриках Тверской губернии.

Издается журнал довольно опрятно, а технически — даже совсем прилично.

С. Мирошенко.

Якутская трагедия 22 марта 1889 г. — Сборник воспоминаний и материалов. — Изд. «О-ва политкаторжан и ссыльно-поселенцев». Москва, 1925 г. — стр. 225, цена 1 руб. 40 к.

Центральной частью этой книги, вышедшей ко дню 35-ти летия Якутской драмы 1889 г., являются «Письма осужденных якутян», — два письма Гаусмана, три Когана-Бернштейна и три Зотова к родным и к товарищам, — и сопутствующие им заметки некрологического характера, под общим заглавием «Три казни». Письма осужденных якутян печатались и раньше, сначала в сб. «За 100 лет» Бурцева, потом в 1906 г. в

журналах и т. д., и тем не менее они сохраняют весь интерес и значение свежих исторических документов и в наше время. Это замечательные документы, которые никогда не устареют! Письма приговоренных к смертной казни у нас в России составляют целую литературу, исключительного психологического интереса, литературу очень богатую, почти не исчерпанную. Но и в этой литературе письма осужденных якутян занимают одно из самых видных мест: — есть очень мало документов, которые бы превосходили их по своему значению. Как бы ни смотреть на развитие самой якутской драмы и как бы ни расценивать самую целесообразность тогдашнего протеста, — закончилась она революционным аккордом такой потрясающей красоты и величия, поведение приговоренных к смертной казни отличалось такой высокой душевной красотой, а письма их переданные полны столь чистого идейного энтузиазма и революционно-стоического отношения к смерти, — что этим поднялся и весь протест на недосягаемую трагическую высоту. Составители сборника об Якутской драме поступили поэтому совершенно справедливо, поместив письма якутян в самом центре своей книги. Это классический образчик предсмертной революционной литературы, который когда-нибудь войдет во все наши хрестоматии по истории революционного движения, как образец [illegible] спокойствия и [illegible] простоты при выполнении последнего долга перед революцией и социализмом.

Значение рецензируемого сборника этим, однако, не исчерпывается. Письмам осужденных якутян предшествует в нем несколько статей о самой Якутской драме и о том, как она развивалась и нарастала. Это, главным образом, статьи М. В. Брамсона «Якутская трагедия» и М. А. Брамсона «Якутская драма», причем первая статья написана с привлечением архивного материала, вторая же, в значительной степени повторяя первую, в чем ее главный недостаток, — по личным воспоминаниям автора. Обе статьи дают картину [illegible] перипетиями, из [illegible] якутской драмы, так что они составляют как бы пролог к ее центральной части, к письмам осужденных, [illegible] ряд отдельных статей о каждом из участников драмы, погибших либо на эшафоте, либо при самом сопротивлении. Таковы статьи Л. Я. Штейнберга о Гаусмане и Коган-Бернштеине, обе чрезвычайно ценные и в историческом отношении *), статья Н. О. Коган-Бернштейн о Паппии Подбельском, представляющая [illegible] биографию и характеристику этого в высшей степени оригинального человека; статья К. Терешковича: «Памяти трех друзей» (Мих. Р. Гоца, М. И. Фундаминского и А. С. Гуревича), в которой дается не только [illegible] всех этих трех вилюйцев и их революционной работы, но и описание (стр. [illegible]) пребывания их [illegible], в той тюрьме, в которой когда-то был заключен Чернышевский; наконец, ряд еще более мелких заметок и очерков. В приложении помещены документы, извлеченные из архивов и относящиеся к якутской драме, и адрес французскому народу, составленный Подбельским ко дню 100-летия великой французской революции.

В целом сборник дает почти исчерпывающее представление о Якутской трагедии. И письма, и документы, и отдельные очерки, шаг за шагом

*) См. напр. стр. 90—96 о Центр. Кружке Нар. Воли (студенческая организация) кое-что о Дегаевщине и о свидании с Гаусманом в 1884 г. Летом в 1884 г. у Штейнберга было свидание с Гаусманом, на даче в Териоках. «Помню во время первой же прогулки — рассказывает Штейнберг — он остановил меня возле одной барской дачи. Указывая на нее [illegible]ал: «Знаете вы, чья это дача? Здесь живет Плеве. Вот — враг!» [illegible]

воссоздают события тех дней и совершенно объективно, сами собой, [illegible] А [illegible] примерно [illegible] сам царь (см. стр. 50). [illegible] самого центра [illegible] Александра III, администрация сама провоцировала ссыльных на протест, мечтая о реванше за [illegible] в отмщение за доставленное, как ими, так и их предшественниками, беспокоиство русскому самодержавию и двум русским самодержцам.

Якутская [illegible] ского буржуазного мира. Это судьба всех деспотий: — они отвращают от себя своими действиями даже своих друзей.

В этом [illegible] Но не только в этом: — эти виселицы, воздвигнутые в Якутске, послужили [illegible]

Читая письма осужденных якутян, знакомясь с тем, как они умирали, [illegible] и шли вперед с мыслью, что для революции должно жертвовать всем, [illegible] драмы долго не умрет в России, и в этом полное оправдание таким книгам, как рецензируемый сборник.

Евгений Колосов.

М. Покровский. *Очерки по истории революционного движения в России XIX и XX вв.* [illegible] стр. 232, [illegible] М. 1924, тир. 75 т. Ц. 80 коп.

[illegible] до М. Покровского никто этого не сделал.

И в этой постановке вопроса сразу перед вами становится понятен [illegible]

В [illegible] до последних минут повседневности.

И очень хорошо сделал т. Покровский, [illegible]

Здесь, если хотите, [illegible] науки в этой постановке вопроса М. Н. Покровским.

Не[illegible] разбир[illegible] мои [illegible] разрешение проблемы. Характер лекций может быть помешал автору углубить для XIX века, особенно ее начала, зарисовки самой крестьянской борьбы и ее влияние на идеологию того периода.

Относительно народнической революции приходится сделать несколько дополнений к сказанному М. Покровским. Так, он делит деревню того времени на кулаков и бедняков-пауперов и, ссылаясь на показания Веры Фигнер, приходит к выводу, что народники провалились потому, что кулаки, будучи «либералами», отнюдь не имели склонности идти за социалистическими и революционными программами, хотя в то же время проповедывать им политическую революцию было может быть не совсем бесполезно, а деревенская беднота была совсем не восприимчива ни к социалистической пропаганде, ни к политике, потому что она «была вне всякой политики», борясь за удержание самого элементарного физического состояния».

Это объяснение как-то не удовлетворяет. Прежде всего — куда делись середняки? А они были. Не могли не быть. В одной из своих работ нам приходилось отмечать жалобы помещиков в 60—70 гг. на недостаток рабочих рук в сельском хозяйстве и на попытки выписки их из-за границы, где были учреждены особые конторы найма на работы в Россию. Это обстоятельство достаточно указывает, что пауперизм деревни не был еще столь значителен, чтобы давать их полчищами. В. Фигнер таким образом [illegible] вывод. Исследований о расслоении деревни для 60—70 гг. у нас будто нет. Но для 80-х годов их вполне достаточно, чтобы сказать, что середняцкая часть деревни составляла весьма значительный процент и что свалить их всех в пауперы будет ошибкой. Для 90-х годов на это явление указывал еще и В. И. Ленин, предостерегая от такого огульного зачисления в пауперы значительной массы середняцкого крестьянства.

Полагая, что в последующем издании М. Н. Покровский разработает этот вопрос детальнее с статистическими данными в руках, со своей стороны позволяем высказать такое предположение о неприятии деревней того времени народнической теории революции. И середняки, и беднота деревни 60—70 гг. не могли принять идеи революции, так как эта революция несла новые хозяйственные формы, формы капиталистические. Самодовлеющее натуральное хозяйство крестьянина тех лет, едва вышедшее из крепостнических отношений, должно было очень быстро превратиться в чисто земледельческое, рассчитанное на рыночный сбыт, предприятие. Сама пореформенная экономика напирала на крестьянство с этой стороны в форме железных дорог, ситчика и т. п. Такого рода быстрый темп перехода от примитивного хозяйствования к капиталистическому земледелию вызывал у массы крестьянства инстинктивную боязнь за самое свое существование, угрожая им крахом вообще всякого хозяйствования. Это был переходный период хозяйственной революции, от которой крестьянство очень страдало, и поэтому его отрицательное отношение к революции и политической, а тем более социальной, в данный момент можно объяснить только его деревенским консерватизмом, инстинктом самосохранения. Эти крестьянские настроения против капитализма несомненно имели отражение и на народнической идеологии, открещивающейся от капитализма, как чорт от ладана.

С некоторыми положениями автора, напр., о русско-японской войне, также можно спорить, но в общем и целом книга М. Н. Покровского, как и все его предшествующие работы, станет несомненно настольной для всякого читателя, изучающего русскую историю.

А. Шестаков

Отдел V.

ИЗ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА ПОЛИТКАТОРЖАН.

ХРОНИКА.

Из жизни Общества политкаторжан.

Устав

Всесоюзного Общества Политкаторжан и Ссыльно-Поселенцев.

I. Общие положения.

1. О-во ставит своей задачей объединение политических каторжан и сс-поселенцев эпохи борьбы с царским самодержавием в целях: а) всестороннего изучения жизни и быта каторги и ссылки при царском ре[illegible] О-ва материалов [illegible] разными способами среди широких слоев трудящихся, в) материальной и моральной помощи нуждающимся политкаторжанам и ссыльно-поселенцам.

2. Для осуществления намеченной цели, О-во имеет право: а) организовать свои отделения в пределах СССР и руководить их работой, б) организовать землячества из своих членов, товарищескую взаимопо[illegible] О-ва [illegible] библиотеки, санатории, дома отдыха, столовые, артели, мастерские и т. д., вступать членом в организации и О-ва, не противоречащие целям О-ва, [illegible] борцов революции, [illegible] в царских тюрьмах и ссылке, г) собирать, сохранять, разрабатывать и [illegible] материалы [illegible] каторги и ссылки и вообще ре[illegible] журналы, сборники, мемуары, отве[illegible] каторге и ссылке, ж) вступать в сношения с различными учреждениями и организациями по вопросам изучения прошлого политической каторги и ссылки царского времени, а также собирания и сохранения исторических материалов, относящихся к этому прошлому, з) устраивать доклады и вечера воспо[illegible], и) при[illegible] памяти [illegible] борцов революции, к) со[illegible] указанных в п. 1 сего устава, л) приобретать имущество, необходимое [illegible] О-ва, м) заключать для осуществления указанных целей всякого рода имущественные договоры, [illegible] аренды, займы, страхования и т. п., а также [illegible] счета в банках [illegible] кредитных учреждениях.

3. Деятельность О-ва распространяется на всю территорию СССР.

4. О-во обладает правами юридического лица и имеет свою печать. Местные отделения О-ва имеют свои печати с разрешения Центрального Совета.

5. Центральный Совет О-ва находится в Москве.

II. Состав Общества, права и обязанности его членов.

6. В члены О-ва принимаются все осужденные царским судом за революционную деятельность:
   а) в каторгу, б) в ссылку на поселение.

7. Не могут быть приняты в члены О-ва:
   а) совершавшие деяния, противоречащие революционной и общечеловеческой этике;
   б) подавшие прошения о помиловании и заявления о раскаянии;
   в) осужденные органами Советской власти за всякого рода выступления против нее.

   Примечание. В случае, если указанные в п. 7 деяния обнаружатся после принятия в О-во, совершивший их исключается из О-ва местным отделением с санкции Цетрального Совета или непосредственно последним.

8. Прием в члены О-ва производится по рекомендациям 2-х членов О-ва, Центральным Советом. Принятые в члены О-ва местными отделениями считаются предварительными и подлежащими санкции Центрального Совета. Члены О-ва имеют единый билет Всесоюзного О-ва.

9. Отказ в приеме может быть обжалован в Съезде О-ва.

10. Члены О-ва вносят установленный вступительный и ежемесячный взнос. Не внесшие членского взноса без уважительных причин в течение 6 месяцев могут быть исключены по постановлению Центрального Совета.

11. В виде исключения в число членов О-ва принимаются Центральным Советом с доведением до сведения ближайшего Съезда:
   а) лица, не бывшие в каторге и ссылке, но хорошо известные по своей продолжительной революционной деятельности и многочисленным репрессиям со стороны царского самодержавия.
   б) лица, оказавшие каторге и ссылке особые ценные услуги

12. Член О-ва имеет право пользоваться всеми учреждениями О-ва.

13. Член О-ва обязан содействовать О-ву в достижении его задач.

III. Местные Отделения.

14. Члены О-ва, проживающие в том или ином городе, образуют местное отделение О-ва, которое санкционируется Центральным Советом и действует в рамках устава Всесоюзного О-ва.

15. Местные отделения работают под общим руководством Центрального Совета и подлежат обревизованию со стороны Центральной Ревизионной Комиссии.

16. Местные Отделения выбирают свои Советы и Ревизионные Комиссии, действующие по общей инструкции Центрального Совета.

   Примечание. Московское Отделение не избирает своего отдельного Совета и все дела его ведутся Центральным Советом, избранным на Съезде.

17. Жалобы на действия местных Отделений и их выборных органов подаются в Центральный Совет.

18. Все имущество местных отделений принадлежит О-ву в целом и находится в пользовании и распоряжении местных Отделений.

19. В республиках и автономных областях предоставляется право создавать областные объединения, работающие по инструкциям Центрального Совета.

20. Местные отделения обязаны ежемесячно представлять свои отчеты о работе в Центральный Совет.

IV. *Средства О-ва.*

21. Средства О-ва составляются:
   а) из членских взносов,
   б) из доходов от предприятий и учреждений О-ва,
   в) из пожертвований,
   г) из ассигнований государственных органов.

22. Размеры вступительного и членского взносов устанавливаются решениями Съездов Всесоюзного О-ва.

> Примечание. Безработные освобождаются от взносов Центральным Советом или местным Отделением.

V. *Управление делами О-ва.*

23. Управление делами принадлежит:
   а) Съезду,
   б) Центральному Совету,
   в) Президиуму Центрального Совета,
   г) местным Отделениям.

VI. *Съезд*

24. Съезд делегатов местных отделений является верховным органом О-ва. Съезды бывают очередные и чрезвычайные.

25. Очередные Съезды созываются один раз в год.

26. Чрезвычайные Съезды созываются по требованию 1/3 всех отделений О-ва или 1/5 числа членов О-ва или по требованию Центрального и Ревизионной Комиссии.

27. Съезд считается действительным, если он представляет не менее половины членов О-ва.

28. Съезд утверждает план работ О-ва, годичную смету, избирает Центральный Совет, Центральную Ревизионную Комиссию, рассматривает отчет о деятельности Центрального Совета, разбирает жалобы на постановления и действия Центрального Совета, решает вопросы об исключении из членов О-ва, об изменении и дополнении устава, о прекращении деятельности О-ва, а также все другие вопросы, выходящие из круга ведения Центрального Совета.

29. Дела, подлежащие рассмотрению Съезда, вносятся не иначе, как через Центральный Совет О-ва. Повестка дня Съезда сообщается местным Отделениям не позднее, чем за месяц до Съезда. Местные отделения О-ва или члены О-ва, желающие внести какой-либо вопрос на обсуждение Съезда, должны сделать письменное о том заявление в Центральный Совет. Если заявление сделано не менее, чем 1/3 местных отделений или 1/10 числа членов, то Центральный Совет обязан внести такой вопрос на рассмотрение Съезда.

30. Каждый представитель имеет на Съезде один голос.

31. Все вопросы на Съезде решаются простым большинством голосов, [illegible] вопроса о ликвидации О-ва, для чего требуется не менее ³/₄ голосов участников Съезда.

32. Постановления Съезда [illegible] протоколом, который подписывается его Президиумом.

VII. Центральный Совет.

33. Для руководства делами О-ва Съездом избирается Центральный Совет в составе не менее 25 членов и не менее 10 кандидатов к ним.

34. Ц. С. осуществляет общее руководство делами О-ва в промежутках между 2 Съездами. В частности он ведает [illegible] рассмотрением смет и планов, [illegible] Съездом, [illegible] Президиума [illegible] исключением членов О-ва, приемом новых членов в порядке п. 11 Устава и разрешает все спорные вопросы по представлению Президиума.

35. Ц. С. собирается не реже чем один раз в 4 месяца.

36. Ц. С. созывается Президиумом или по требованию не менее ⅓ членов Центрального Совета или по требованию Ревизионной Комиссии.

37. Все решения Ц. С. постановляются простым большинством голосов. [illegible] Ц. С. ведется протокол, [illegible] Президиумом Совета и не менее чем 3 [illegible] членами Совета, участвовавшими в заседании. По требованию [illegible] члена Совета, [illegible] О-ва, [illegible] протоколу [illegible] особое мнение.

Президиум Совета

38. Для непосредственного заведывания делами О-ва Ц. С. избирает [illegible] Президиум [illegible] старосту, 2-х его заместителей, секретаря или казначея.

39. Президиум [illegible] делами О-ва [illegible] Центральному Совету [illegible] вопросы, [illegible] переписку от имени О-ва, [illegible] новых членов О-ва, [illegible] суммами [illegible] О-ва, [illegible] О-ва [illegible]

40. Президиум Совета [illegible] Старостой [illegible] по мере [illegible], но не реже чем 2 раза в месяц. [illegible] Президиума принимаются простым большинством голосов.

41. Все постановления Президиума Совета записываются в книгу [illegible] и подписываются [illegible] Президиума [illegible] в заседании.

42. Вся переписка от имени О-ва ведется Президиумом Совета, за подписью Старосты или его заместителя и Секретаря.

43. Для получения с почты денег, ценных пакетов, посылок и прочих отправлений достаточно одной подписи Секретаря Совета.

44. Всякого рода договоры и обязательства, доверенности и чеки [illegible] подписаны не менее чем 2—3 членами Президиума Совета.

Ревизионная Комиссия.

45. [illegible] Ревизионная Комиссия избирается Съездом в составе [illegible] и 3 кандидатов к ней [illegible] рассмотрения годового отчета О-ва [illegible] Совет [illegible] необходимые способы для выполнения ее заданий.

Ликвидация Общества

46. Деятельность Общества может быть прекращена по постановлению специально созванного для означенной цели Съезда.

47. Для ликвидации дел О-ва Съезд избирает Ликвидационную Комиссию в составе не менее 3 членов, которая по окончании работ представляет отчет последнему Съезду О-ва.

48. По ликвидации О-ва имущество поступает в распоряжение ЦИК СССР.

Зам. Старосты *Виленский-Сибиряков.*

Секретарь Совета О-ва *Бреслав.*

Инструкция о порядке приема в члены О-ва политкаторжан и сс-поселенцев.

1. Прием в члены О-ва производится на основании тщательной проверки, как принадлежности кандидата к числу политических каторжан и ссыльных, так и их соответствия требованиям § 6 и 11 Устава О-ва и равно отсутствия препятствий, предусмотренных в § 7 Устава.

2. Предварительное ознакомление с кандидатурой и выяснение их соответствия требованиям Устава и настоящей инструкции производится местными отделениями. Окончательное утверждение в правах члена О-ва, по представлениям местных отделений, принадлежит Центральному Совету (§ 8 Устава).

3. Принадлежащими к числу политических каторжан и сс-поселенцев § 6 Устава являются осужденные по политическим делам (в том числе имевшим политическое значение аграрным, военным и т. п.) процессам до Февральской Революции 1917 г. к каторге или ссылке на вечное поселение, фактически отбывавшие наказание (с зачетом предварительного заключения), участвовавшие в революционной борьбе до времени ареста и осуждения и сохранившие как в период заключения и ссылки, так и по освобождении моральную устойчивость, необходимую для пребывания в среде политкаторжан и сс-поселенцев.

> Примечание. К политическим процессам относятся, в частности, дела: о принадлежности к партийным и иным революционным организациям (Советам, стачечным комитетам и т. п.), о революционной устной или литературной агитации и пропаганде, о вооруженных восстаниях, политических и экономических стачках, террористических актах и преследовавших революционно-политические цели экспроприациях, об организованном насильственном освобождении политических заключенных, о хранении литературы, складов оружия, взрывчатых веществ, типографий и др. принадлежностей революционной работы, о крестьянских и солдатских восстаниях и др. формах коллективного протеста против царизма, а равно о содействии указанным индивидуальным и коллективным революционным актам.

4. Административные ссыльные, как общее правило, в члены О-ва не принимаются. Исключения допускаются:

а) для административно-заключенных в каторжные или аналогичные каторжным (Шлиссельбург) тюрьмы или административно сослан-

ным на поселение с лишением прав (в период 80-90 г.г.) и в порядке § 11 Устава, по мотивам в нем изложенным.

5. Не могут быть приняты в члены О-ва, согласно § 7 Устава, лица, совершившие деяния, противоречащие революционно-социалистической этике, как в период до осуждения, так и во время отбывания наказания и после него, в частности исключенные из товарищеских коллективов [illegible] постановлениями товарищеских судов, если только не состоялась их последующая реабилитация.

Примечание. К числу деяний, недопустимых с точки зрения революционно-социалистической этики, относятся поступки, вызывавшие в дореволюционное время недопущение в организации политических каторжан и ссыльных и совершение уголовных преступлении, караемых законами.

6. Не принимаются в члены О-ва лица, подававшие прошения о помиловании или заявления о раскаянии (независимо от того, имели они последствия или нет).

7. Не принимаются лица, осужденные за активную борьбу против Советской власти.

Примечание 1. При применении этого § следует точно указывать в мотивировке отказа время осуждения, орган, вынесший постановление, назначенное наказание и совершенное преступление.

Примечание 2. Запрещение принятия не распространяется на административных с полным восстановлением в правах, а равно на ранее осужденных, но восстановленных в правах граждан-избирателей СССР.

8. Желающий вступить в состав О-ва подает об этом заявление с приложением заполненной им анкеты и автобиографии, при чем в этой последней безусловно обязательно освещение:

а) периода революционной работы,

б) периода заключения и

в) рода занятий и общественного положения со времени освобождения до настоящего времени.

Примечание 1. В целях ускорения дела, а также в интересах восстановления фактов, имеющих значение для истории революции вообще и истории каторги и ссылки, в частности, чрезвычайно желательно, чтобы автобиография не ограничивалась сухим перечнем фактов и дат, а содержала возможно более полное описание собственных переживаний заполняющего анкету и происшедших в его миросозерцании изменений; революционных событий, в которых ему приходилось участвовать; условия заключения или ссылки (товарищи, быт, тюремные организации, режим) и проч.

Примечание 2. К заявлению обязательно приложение двух фотографических карточек.

9. Для приема необходима письменная рекомендация не менее чем 2-х членов О-ва. Эта рекомендация должна содержать определенный и [illegible] не только о принадлежности кандидата к числу [illegible], но и о его революционной деятельности, [illegible] на каторге и ссылке и его моральном соответствии предъявляемым О-вом требованиям.

Примечание. Допускается рекомендация несколькими товарищами по различным периодам жизни кандидата.

10. Список поступивших заявлений о приеме в члены О-ва, с указанием [illegible] фамилии, партийной [illegible], дореволюционной принадлежности [illegible] организации, места, времени и мотивов осуждения, [illegible] вывешивается в помещениях От-

[illegible] принимаются [illegible] имеющиеся [illegible] меры (справки, опросы и проч.) для выяснения кандидата.

11. По истечении двухнедельного срока, в случае непоступления протеста, [illegible] на обсуждение ближайшего Общего Собрания [illegible] имеются [illegible] одобренных кандидатов [illegible] направляются в Центральный Совет, со всеми имеющимися подлинными материалами по делу и копией постановления о каждом кандидате.

12. По получении материалов с отзывами местных Отделений Организационная Комиссия Центрального Совета по истечении 2-х недель [illegible] на утверждение Президиума Центрального Совета.

13. Все спорные дела, по коим местное Отделение не смогло вынести [illegible] направляются в Центральный Совет с теми материалами, кои могли быть собраны.

14. Все постановления об отказе в приеме должны быть мотивированы [illegible] на соответствующую статью Устава и настоящей Инструкции).

15. [illegible] публикуются в Бюллетене [illegible] журнала «Каторга и Ссылка».

Инструкция о порядке выдачи единого членского билета.

1. [illegible] Центральным Советом [illegible] получают членские билеты установленной формы.

2. С выпуском единого членского билета производится перерегистрация членов с заполнением анкет нового образца. Все выданные ранее билеты после перерегистрации признаются недействительными.

> Примечание. При перерегистрации членов О-ва заверение новых анкет и представление рекомендации не обязательно.

3. Выдаваемым Центральным Советом членским билетам ведется общая нумерация.

4. В делопроизводстве О-ва ведется особая книга выданных членских билетов (с распиской получателя).

5. Членские билеты нового образца вводятся с января 1925 года.

6. Выдача членских билетов производится только Центральным Советом.

7. [illegible] коп.)

8. Членский взнос уплачивается в Отделения О-ва по месту жительства

У гроба В. И. Александровой-Натансон *).

В небольшой светлой зале, переполненной народом, тесно. Гроб утопает в цветах красных, розовых и белых, а в нем лежит она, одна из первых [illegible], участница процесса [illegible], Варвара Ивановна Александрова.

*) [illegible] В. И. Александровой-Натансон [illegible] «Каторга и Ссылка». *Ред.*

У подъезда и на улице огромная масса народа, а поближе к колес- [illegible] процесса 50-ти, Евгения Дмитриевна Субботина.

От имени «Комитета по увековечению памяти Г. В. Плеханова» с [illegible] ворит о деятельности покойной, о ее молодых красивых стремлениях к идеалу, и о том тернистом жизненном пути, какой прошла покойная.

Вот и кладбище. Ворота широко и гостеприимно распахнуты...

Смеркается... Гроб в молчании опустили в могилу. Началось послед- [illegible] но теплых словах охарактеризовали деятельность и душевный облик покойной, воздав последнее приветствие умершей.

Письмо в Редакцию.

Считаю необходимым дать некоторые пояснения к воспоминаниям Плескова о «Зерентуйских побегах», помещенных им в № 8 журнала «Каторга и Ссылка».

Касаясь побега из Кирпичных Сараев, он говорит об участии в нем 2-х анархистов-экспроприаторов. Плесков, ни в чем не сумняшеся, рассуждает: если уж анархисты, то уж не иначе, как экспроприаторы.

Тов. анархисты, участвовавшие в побеге, были сперва членами нашего коллектива, но впоследствии сами ушли из коллектива в уголовные камеры, так как оттуда можно было попасть на внешние работы; они же явились фактическими организаторами этого побега.

Один из них Немка Фридман белосточанин, хорошо известный в анархических кругах — соратник Белостокского Геллера, погибшего при вооруженном сопротивлении, Стриги, взорвавшегося в Париже в Булонском лесу, Тарло, расстрелянного в Одесской тюрьме за вооруженное сопротивление и др. Немка был арестован в Одессе при попытке к вооруженному сопротивлению, получил 6 лет каторги по 126 ст. ч. I, по дороге в Нерчинскую каторгу между Балашевым и Пензой совместно с Душиным, Семеновым выпилили решетку из вагона и на ходу поезда бежали, но Фридман был скоро пойман.

Второй товарищ был Кириченко по кличке «Ванька русский», судив- [illegible]

В этом побеге принимал участие также тов. Чижиков-Сергеев, совершивший раз побег из каторги и вторично судившийся в Красноярске вместе с Стасенко и Лышковским; Чижиков во время этого побега погиб

Ройтман.

Список действительных членов Всесоюзного Общества Политкаторжан и Ссыльно-поселенцев.

44. ***Басин, Арон Залманович***, родился в 1886 г. в с. Подбелово Черниговской губ. в еврейской семье. В революционном движении участвовал с 1903 г. в организации Р. С.-Д. Р. П. (б.). Судился 17 июня 1907 г. в г. Стародубе, Киевск. суд. палатой по 2 ч. [illegible] каторги. Срок заключения отбывал в Черниговской и [illegible] Херсонском каторжном централе. Всего просидел 7 лет 11 мес. На поселении был с 1913—1917 г. в Иркутской г. Освобожден по амнистии 1917 г. (Ир[illegible] отд.).

45. ***Баум, Яков [illegible]***, родился в 1894 г. В революционном движении с 1907 г. Арестован в августе 1908 г. в Варшаве и выслан в Троицкий уезд, Оренбургской губернии, откуда [illegible] 1909 г. бежал за границу. Вернулся в Россию в 1912 г., работал в Варшавской организации «Бунда». В 1914 г. Варшавской судебн. палатой осужден по 102 ст. в ссылку на поселение. Из ссылки бежал и [illegible] Иркутске [illegible] был арестован за побег и выслан в Знаменку. Всего отсидел больше 3-х лет, ссылки—2 с половиной года. (Московское отд.).

46. ***Бегге, Карл Миккелевич***, род. в 1884 г. В революционном движении с 1904 г. Либава, Рига, Ковно, Латышск. [illegible] партии. Судился Виленским военным судом в 1909 г., по 102 ст., приговорен к 4 годам каторжных работ. Отбывал в Рижском и Орловском централах. Всего отсидел 5 лет 8 месяцев. С поселения бежал за границу (Франция). (Ленинградское отд.).

47. ***Бейрах, Ефраим Борисович***, родился в 1874 г., в революц. движении с 1897 г. по 1905 г. в организации «Бунда». Судился в Варшаве в 1905 г. воен. судом за принадлежность к «Бунду» по 102 ст. 2 ч. [illegible]; приговорен к 12 годам каторги, с 1905 по 1907 [illegible] отбывал [illegible] Варшавских тюрьмах, оттуда отправлен в Бобруйск., где пробыл до 191[illegible], а затем в Ярославской кат. тюрьме до амнистии 1917 г. Всего 13 лет. (Московское отд.).

48. ***Беликов, Иван Данилович***, родился в 1885 г. в селе Колты Орловской губ. в семье крестьянина; садовод. В революционном движении участвовал с 1904 г. в п. с.-р., в 1904 г. в Ю[illegible] в рабочем движении, в 1905 г. в Москве [illegible] в М[illegible] вооруженном восстании, в 1907 г. [illegible] в Киеве в воен.-рев. организации. Судился в Киевском [illegible] судом за вооруженное восстание по 110 и 112 [illegible] ст., приговорен к 12 годам каторжных работ. Срок заключения отбывал [illegible] Киевской тюрьме, в Бутырках и Орловском централе. Всего [illegible] На поселении был в Иркутской губ. Освобожден по амнистии 1917 г. [illegible] РКП. (Московское отд.).

49. ***Б[illegible]-Добронравов, Борис Ник[illegible]евич***, [illegible] В революционном движении участвовал [illegible] 1904 [illegible] 191[illegible] [illegible] Мо[illegible]

ской оппозиции п. с.-р., а затем у с.-р. максималистов. Судился в Москве 25 ноября 1906 г. Моск. воен.-окр. суд. за приготовление и хранение [illegible] приговорен к 10 годам каторжных работ. Срок [illegible] отбывал в Бутырках и Ярославском централе. Всего просидел [illegible] По [illegible] срока был [illegible] на поселение в [illegible] уезд Енисейской губ. Член. Р. К. П. (Дальне-Восточное отд.).

50 *Б[illegible], Екатерина Александровна*, родилась в 1876 г. [illegible] [illegible] В революционном движении участвовала с 190[illegible] [illegible] работала в Ленинграде, Детском Селе и Кронштадте [illegible] Судилась в 1908 г. военным судом в Кронштадте по [illegible] части 102 ст. Приговорена к 4 годам каторжных работ [illegible] отбывала в Рижской центральной тюрьме. Всего просидела 5 [illegible] 3 месяца. Поселение отбывала в Иркутской губ. Освобождена по амнистии 1917 года. (Ленинградское отд.).

51 *Б[illegible]-Боровская, Мария Константиновна*, родилась в 1885 г., в революционном движении с 1906 года в Петербурге, в партии с.-р. Судилась [illegible] палатой в 1910 г. по 102 ст., приговорена к ссылке на поселение. Отбывала в Иркутской губ. Балаганский уезд, ст. Зама. Всего отсидела 2 года. На поселении 10 мес. [illegible] бежала за границу в 1911 г. (Франция). (Ленинградское отд.).

52 *Б[illegible], Иван Степанович*, родился в 1880 г. В революционном движении с 1903 г.; работал ва Брянском заводе в Р. С.-Д. Р. П.; с 1906—1911 гг. [illegible] Бердянске, Екатеринославе, Александровске [illegible] группе анархистов-коммунистов. Первый раз судился в 1908 г., в г. Орле Харьковской [illegible] по 102 ст. приговорен к вечному поселению, [illegible] отбывал в Иркутской губ. Второй раз судился в 1913 г. в Екатеринославе [illegible] судом по 279 ст., приговорен к смертной казни, замененной 20-ю годами каторги по манифесту 300 летия дома Романовых. Каторгу отбывал в Херсонском централе. Всего просидел 8 лет. (Московское отд.).

53 *Б[illegible] Степанюк, Мария [illegible]*, родилась в 1882 г. В революционном движении принимала участие с 1905 г. в Москве, в боевой организации п. с.-р. Судилась в Москве судебной палатой за принадлежность к п. с.-р., за хранение и изготовление взрывч. веществ. Приговорена к 10 годам каторжных работ. Срок заключения отбывала в Мальцевской каторжной тюрьме. В 1909 г. по постановлению «богодульской» комиссии отправлена на поселение в Баргузин. Всего просидела 3 года 2 мес. и на поселении 4 года 6 мес. (Одесское отд.).

54 *Берг, Алексей Игнатьевич*, родился в 1886 году. В революционном движении с 1906 года в Харбинской организации Р. С.-Д. Р. П., с 1907 года в Харбинской, Киевской и Бакинской организациях с.-р. Первый раз судился в Харбине в марте 1907 г.; второй раз в 1910 г. по процессу с.-р. в Харбине, [illegible] был оправдан. По протесту прокурора дело перенесено в Иркутскую суд. палату, где при разбирательстве в 1911 г. был осужден на поселение. Ссылку отбывал в Якутске около 5-ти лет. (Московское отд.).

55 *Бережников, Леонтий Федорович*, родился в 1852 г. в Невьянском заводе Екатеринбургской губ. После окончания курса в Петербургском технологическом институте ездил за границу для практического усовершенствования. Член О-ва «Земля и Воля». В революционном движении с 1873 г. В 18[illegible]8 г. арестован по делу д-ра Веймара, Адриана Михайлова и других. В 1880 г. осужден в Петербурге на 8 лет каторжных работ. Заключение отбывал в Карийской каторжной тюрьме. Всего просидел в заключении 6 лет 8 мес. На поселение вышел в 1885 г. в Забайкальскую область. Член Р. К. П. (Дальне-Восточное отд.).

56 *Берзин, Карл Петрович*, родился в 1870 г. В революционном движении участвовал с 1903—1905 г. в Тукуме в организации Р. С.-Д. Р. П.

Судился в г. Киеве в 1907 г. выездн. сессией вр. воен. суда по 100 и 102 ст. уг. улож. о наказан. Приговорен к 15 годам каторги. Наказание отбывал во Владимирском централе. Всего отбыл около 10 лет. (Киевское отд.).

57. *Берзин, Ян Карлович*, родился в 1890 г. Курляндской губ. в батрацкой семье. В революционном движении с 1905 г. в Р. С.-Д. Р. П. в Латвии и в Гольдингене Курляндской губ. Всего был арестован 5 раз. Судился в 1907 г. в г. Ревеле врем. воен. судом по 102 ст. и по 279 ст. Приговорен к смертной казни, которая по конфирмации была заменена крепостью. Второй раз судился в 1911 г. в г. Риге Петроградск. суд. палатой по 1-й ч. 102 ст. приговорен к ссылке на поселение. Сидел в гор. Ревеле. Всего просидел 4 года 5 мес. Поселение отбывал в Киренском уезде Иркутской губ., откуда бежал. Член Р. К. П. (Псковское отд.).

58. *Берман, Леонид Лазаревич*, родился в 1868 г. В революционном движении с 1884—1886 г. в Рыбинске и в Рыбинском уезде; был членом кружка партии „Народной Воли“. Судился в Якутске в 1889 г. по делу Зотова, Гаусмана и др. воен.-суд. комиссией по 279 ст. за вооруженное сопротивление. Приговорен к 8 годам каторги. Наказание отбывал в Вилюйске, Акатуе и Кадае. Всего просидел 8 лет. (Киевское отд.).

59. *Бернштейн, Борис Самойлович*, родился в 1886 г. В революционном движении с 1903 г. в Ковне. Работал в Кальварии; в 1905 г. в Мариамполе. Судился в г. Вильно, воен.-окр. судом по 102 ст. приговорен к 4 годам каторги. Заключение отбывал в Мариамполе, Кальварии, Сувалках, Вильне, Гродне, Москве, Иркутске, Александровском централе и Нерчинской каторге. В ссылке был 7 лет в Баргузине. Освобожден в 1917 г. (Московское отд.).

60. *Бессараб, Кондратий Николаевич*, родился в 1886 г. В революционном движении с 1904 г., на ст. Доменской Х.-Н. ж. д. и в Одессе. Занимался пропагандой среди крестьян, как член п. с.-р. Судился в 1908 г. в Елисаветграде воен.-окр. судом и судебной палатой по 129 ст. угол. улож. 987, 1632 улож. о наказаниях и 279 ст. свода воен. пост. Приговорен к бессрочной каторге. Заключение отбывал в Елисаветграде и Херсонской каторжной тюрьме. Всего отсидел 10 лет. (Московское отд.)

61. *Бибергаль, Александр Николаевич*, родился в г. Керчи Таврической губ. Учился в медико-хирургич. академии. В революционном движении с 1873 г. В организации „Земля и Воля“ в Петрограде. Арестован за участие в Казанской демонстрации 6 декабря 1876 г. Судился в Петрограде в январе мес. 1877 г. особым присутств. прав. сената за участие в демонстрации. Приговорен к 15 г. каторжных работ. Срок заключения отбывал на Каре. Всего просидел 8 с половиной лет. Вернулся в Россию в 1904 г. Беспартийный. (Московское отд.).

62. *Бибергаль, Екатерина Александровна*, родилась в 1881 г. на Каре Забайкальск. обл. В революционном движении с 1900 г. в Петербургск. студенческ. организации; с 1902 г. в Севастопольской организации п. с.-р.; с 1905—1907 г.г. в Петербургской организации п. с. р. Первый раз была арестована в Севастополе в 1904 г. по делу „Искры“ и выслана в Архангельск, откуда бежала за границу. Судилась в Петрограде в 1907 г. воен. окр. судом по 102 ст. 2-й части по делу заговора на жизнь Николая II, приговорена к 8 годам каторги. Срок заключения отбывала в Мальцевской и Акатуевской тюрьмах. Всего отсидела 8 лет. На поселении была в Чите и в селе Кударе. Беспартийная. (Ленинградское отд.).

63. *Билибин, Николай Николаевич*, родился в 1888 г. в Тарусском уезде Калужск. губ. В революционном движении участвовал с 1904—1907 г.г. в Калуге в организации Р. С.-Д. Р. П. Судился в 1907 г. в Калуге Моск. суд. палатой по 129 ст. и 132 ст. приговорен к 4 мес. крепости; второй раз судился в 1909 г. в Калуге Моск. суд. палатой и воен.-окр. судом — приговорен к 10 годам каторжных работ. Срок заключения

отбывал в Шлиссельбурге, Орле и Москве. Всего отсидел 10 лет. Освобожден по амнистии 1917 г. Беспартийный. (Московское отд.)

64. *Биркин, Петр Павлович*, родился в 1891 г. в Архангельске. В революционном движении с 1905—1907 гг. в Архангельске, с 1907—1909 г. в Петрограде в организации п. с.-р. Судился в Петрограде суд. палатой по 102 ст. за принадлежность к п. с.-р.; приговорен к 10 годам каторжных работ. Срок заключения отбывал в Шлиссельбурге. Всего отсидел 8 лет. Освобожден в 1917 г. по амнистии. Беспартийный. (Московское отд.).

65. *Блиман, Моисей Матвеевич*, родился в 1891 г. в гор. Радоме. В революционном движении участвовал с 1908 г. в гор. Радоме в п. п. с. Судился в гор. Радоме Варшавской суд. палатой за принадлежность к п. п. с. Приговорен к 4 годам каторги. Срок заключения отбывал во Владимирском централе. Всего отсидел 7 с половиной лет. Поселение отбыл пол года. Освобожден по амнистии 1917 г. Член Р. К. П. (Киевское отд.).

66. *Биценко, Анастасия Алексеевна*, родилась в 1875 г. в Бахмутском уезде, Екатеринославской губ. в крестьянской семье. В революционном движении участвовала с 1903 г. в Смоленске, Москве, Петрограде, Саратове в п. с.-р. Судилась в Саратове в ноябре 1905 г. воен. окр. суд. за террористический акт против Сахарова. Приговорена к смертной казни, замененной бессрочной каторгой по ходатайству суда. Срок заключения отбывала в Акатуйской и Мальцевской тюрьмах Нерчинской каторги. Всего просидела 11 лет. Член Р. К. П. (Московское отд.).

67. *Блюмер, Раиса Владимировна*, родилась в 1887 г. в г. Таганроге в еврейской семье; учительница. В революционном движении с 1905 г. в г. Таганроге в организации Р. С.-Д. Р. П. Судилась 28 мая 1908 г. в Новочеркасске Одесским воен. окр. судом по 2 ч. 102 ст.; приговорена к 6 годам каторги. Срок заключения отбывала в Новочеркасске, Таганроге, Ростове и Ново-Николаевской станице. Всего просидела 6 лет. Поселение отбыла в Иркутской губ. Освобождена по амнистии 1917 года. Беспартийная. (Московское отд.).

68. *Блэх, Абрам Мееровић*, родился в г. Херсоне, в еврейской семье торговца. В революционном движении участвовал с 1902 г., в Херсоне в организации с.-д., затем в Одессе в группе анарх.-коммунистов. Судился 21 марта 1908 г. Одесским воен. окр. судом за принадлежность к группе анарх.-коммунистов по 2-й ч. 126 ст. Приговорен к 4 годам каторжных работ. Срок заключения отбывал в Херсонском каторжном централе. Всего в заключении пробыл 4 года 10 месяцев. На поселении был 5 лет в Иркутской губернии Братской волости. Освобожден по амнистии 1917 г. Беспартийный. (Минское отд.).

69. *Боброва (Тарасова), Вера Михайловна*, родилась в 1887 г. в Минске. В революционном движении с 1904 г. в Киеве, Могилеве, Екатеринославе, в б. п. партии с.-р. Судилась в Екатеринославе в 1905 г. воен. судом по 126 ст. Приговорена к 4 годам каторги. Срок заключения отбывала в Екатеринославской, Рижской и Мальцевской тюрьмах. На поселении была в Забайкалье г. Кударе, откуда бежала в Париж. Вернулась в Россию в 1917 г. Беспартийная. (Московское отд.).

70. *Бобров, Василий Федорович*, родился в 1886 г. в Тверской губ. В революционном движении участвовал с 1904 г., в Петроградской организации п. с.-р., а также в воен. организации. Судился в Варшаве в 1912 г. Варшавским воен. окр. судом, по 102 ст. приговорен к 6 годам каторги. Срок заключения отбывал в Мокотовской тюрьме и Ярославском централе. Всего просидел около 6 лет. (Московское отд.).

71. *Богатов, Николай Тимофеевич*, родился в 1888 г. в Севастополе. В революционном движении участвовал с 1905 г. в п. с.-р., а затем в [illegible]. Судился в Севастополе в 1909 г. [illegible] по 102 ст. Приговорен к 10 годам каторжных работ.

Срок заключения отбывал в Орловской каторжной тюрьме. Всего отсидел около 10 лет. Беспартийный. (Крымское отд.).

72. *Богданов, Степан Петрович,* родился 1 августа 1851 г. в с. Белоусове Устье Псковской губ. в семье крепостного крестьянина; пчеловод. В революционном движении участвовал с 1874 г., член Петербургского кружка Чайковцев. Судился в Петербурге 21 октября 1876 г. особым присутствием правит. сената за пропаганду среди военных по 246 и 25? ст. ст. улож. о наказ. (процесс Е. Е. Семяновского). Приговорен к 11 годам каторжных работ. Срок заключения отбывал на Каре. Всего просидел в заключении 8 лет и 2 месяца. На поселение вышел в 1883 г., которое отбывал в Забайкальской обл. около 25 лет. Беспартийный (Московское отд.).

73. *Богданов, Терентий Михайлович,* родился в 1880 г. в Псковской губ. в семье крестьянина, счетовод. В революционном движении принимал участие с 1905 г. в организации с.-д. (б) в Петрограде. Судился в 1906 г. Петроградским воен.-окр. судом за убийство городового. Приговорен к смертной казни, замененной по ходатайству суда 20-ю годами каторги. Срок заключения отбывал в Смоленском и Александровском каторжных централах. Всего в заключении прожил 7 лет; на поселении был 4 года в Иркутской губ. Освобожден по амнистии 1917 г. Член Р. К. П. (Иркутское отд.).

74. *Богданов, Василий Иванович,* родился в 1888 г. в Новгородской губ., Белозерского у. в семье крестьянина. В революционном движении с 1905 г. в организации с.-р.: с 1905—1907 г. г. в Казани, за что был арестован и выслан административно в Тобольскую губ. Второй раз привлекался в 1910 г. за революционную работу — приговорен к 3 мес. крепости. По отбытии срока ссылки был взят на военную службу. Вновь арестован в 1912 г. и осужден Петроградским воен.-окр. судом за пропаганду среди солдат в ссылку на поселение. Всего просидел 20 месяцев и 3 года административной ссылки. Поселение отбывал в Иркутской губ., Киренского у. Освобожден по амнистии 1917 г. Беспартийный (Московское отд.).

75. *Богомолов, Павел Иванович,* родился в 1885 г. в Омске. В революционном движении участвовал с 1905 года в Томской организации Р. С.-Д. Р. П. Первый раз судился в Зайсане в 1907 г. полковым воен. судом за отказ принять присягу; приговорен к 3 годам дисциплинарного батальона; второй раз судился в Омске в 1908 г. за принадлежность к воен. организации — приговорен к 8 годам каторжных работ. Срок заключения отбывал в Зерентуйской и Алгачинской тюрьмах. Всего просидел 7 лет. На поселении был в Верхне-Удинском уезде. Беспартийный (Московское отд.).

76. *Богомолов, Иван Дмитриевич,* родился в 1888 г. в г. Устюжне, в мещанской семье. В революционном движении с 1906 г. в партии с.-р. в Новгороде и Петрограде. Первый раз судился в 1909 г. в г. Череповце Петербургской суд. палатой, по 102 ст. Приговорен к ссылке на поселение. Второй раз в Петрограде в 1913 г. окр. судом за побег. Приговорен к 3 годам каторжных работ. Срок заключения отбывал в Шлиссельбурге. Всего просидел в заключении около 8 лет. На поселение вышел в 1915 г. в Якутскую обл. Освобожден по амнистии 1917 г. Беспартийный (Ленинградское отд.).

77. *Богородский, Николай Николаевич,* родился в 1853 г. в Царском селе, Петербургск. губ. В революционном движении участвовал с 1875 г. в Петрограде в организации «Народной Воли». За устройство сношений политических заключенных, сидевших в Трубецком бастионе Петропавловской крепости с волей, сослан административно в Восточную Сибирь на 7 лет. Поселение отбывал в Тунке Иркутской губ. Суду не был предан потому, что отец его был смотрителем Трубецкого бастиона, и пра-

вительством в 190.. году сослан, высылался административно. Беспартийный. (Иркутское отд.).

78. *Бобров, Андрей Петрович*, родился в 1893 г. в Московской губ. В революционном движении участвовал с 1910 г., к партии не принадлежал. В 1913, 1914, 1916 г.г. принадлежал к «союзу сибирских рабочих» с.-д. Судился в Москве в мае 1912 г. Моск. суд. палатой за агитацию и распространение революционной литературы. Приговорен к ссылке на поселение. Ссылку отбывал в Иркутской губ. Бирюльской вол. Всего пробыл 5 лет. Освобожден в 1917 г. Беспартийный. (Московское отд.).

79. *Бочкин, Владимир Федорович*, родился в 1888 г. в Севастополе. В революционном движении участвовал с 1905 г. в Севастопольской организации Р. С.-Д. Р. П., в 1906 г. в Екатеринославе, в 1908 — 9 г.г. в Киренске, в 1913 — 14 г.г., в Якутске в организациях Р. С.-Д. Р. П. Судился первый раз в Симферополе в 1908 г. Одесской суд. палатой по 126, 129 и 132 ст. ст., приговорен к ссылке на поселение, которую отбывал в Иркутской губ. и Якутской области, вторично судился в 1911 г. в Керчи по 445 ст. устава о ссыльных, приговорен к 3 годам каторги, которую отбывал в Херсонском централе. Всего пробыл в заключении около 7 лет. Беспартийный. (Крымское отд.).

80. *Бойков, Михаил Федорович*, родился в 1886 г. в Тверской губ. в крестьянской семье. В революционном движении участвовал с 1905 года. Сначала в организации с.-р., а затем в 1906 г. в Союзе с.-р. максималистов. Судился в Петрограде в 1908 г. военно-окр. судом по 2 ч. 102 ст. Приговорен к 6 годам каторжных работ. Срок заключения отбывал в Петрограде и в Орловском централе. Всего в заключении просидел 8 лет. На поселении был в Верхоленском у. Иркутской губ. Освобожден по амнистии 1917 г. (Ленинградское отд.).

81. *Бондарев, Петр Алексеевич*, родился в 1880 г. 27 июня в Брянской губ., в крестьянской семье, телеграфист. В революционном движении с 1903 года в Р. С.-Д. Р. П. меньшевиков в Брянской губ. и в Александровске Екатеринославской губ. Судился в 1906 г. в Екатеринославе врем. Одесским в.-окр. судом по 2-й ч. 102 ст.; приговорен к каторжным работам на 15 лет. Срок заключения отбывал в Екатеринославе и Бутырках. Всего в заключении пробыл 11 лет 3 месяца. Освобожден по амнистии 1917 года. Член Р. К. П. (Брянская группа).

82. *Бондарев, Исай Исаевич*, родился в 1880 г. в Кубанской обл. В революционном движении с 1904 г., партия с.-д. большевиков, Двинск, Чита. Судился вр. полев. карательн. экспедиц. генер. Ренненкампфа в 1906 г. по 102 и 279 ст. ст. Приговорен к смертной казни, замененной 10-ю годами каторги; отбывал в Нерчинской каторге (Акатуй, Кутомара). Всего отсидел около 9 лет. Поселение отбывал около 3½ лет в Якутской области. Член Р. К. П. (Ленинградское отд.).

83. *Бонишко, Александр Константинович*, родился в 1886 г. в Одессе. В революционном движении участвовал с 1905 г. в Одессе в военной организации п. с.-р. Судился в Одессе в 1906 г. военным судом по 1 ч. 125 ст., приговорен к 4 годам каторги. Срок заключения отбывал в Акатуе и Горном Зерентуе. Всего просидел 4 года. На поселении был в Баргузине Забайкальской обл. Беспартийный. (Московское отд.).

84. *Бонч-Осмоловский, Анатолий Иосифович*, родился в 1857 г. в г. Витебске в дворянской семье. В революционном движении принимал участие с 1877 г., с 1877 г. по 1879 г. в организации «Земля и Воля», с 1880—1882 г.г. в «Черном Переделе» и с 1905 г. в п. с.-р. Всего был арестован 7 раз. Первый раз был арестован в 1882 г. в Минске и сослан административно в свое имение, в 1902 г. арестован вторично в Петрограде и по постановлению комитета министров выслан административно в Сибирь на 5 лет, откуда осенью того же года переведен в Уфимскую губ., Белебеевский у., в 1909 г. арестован третий раз в Петрограде, су-

дился судебн. палатой по 132 ст., оправдан; в 1908 — 1909 г. г. в Минске суд. пал. Виленского округа по 102 ст. предварит. заключение заменено в наказание. Всего просидел 2 года. Поселение отбывал в Усть-Катав-горске и в Белибеевском уезде, Уфимской губернии. Беспартийный. (Московское отд.).

85. *Борейша-Пичиова, Софья Андреевна*, родилась в 1856 г. В революционном движении с 1874 г. Первоначально работала в типографии Мышкина. Первый раз была арестована в 1874 г. и освобождена на поруки. В 1877 г. за участие в Казанской демонстрации присуждена к ... на поселение с лишением прав; к такому же сроку была приговорена и по процессу 193-х в 1878 г. и сослана в Кемь, Архангельской губ., откуда бежала в 1879 г. и примкнула к партии «Народной Воли», была наборщицей в типографии «Народной Воли», где и арестована в 1880 г. При аресте оказала вооруженное сопротивление. Судилась по процессу 16-ти народовольцев вместе с Квятковским и Пресняковым. Приговорена к 4 г. каторги, которую отбывала на Каре. В 1885 г. вышла на поселение в Киренский уезд Иркутской губ. Всего в заключении пробыла около 5-ти лет, ссылки 15 лет. Беспартийная. (Московское отд.).

86. *Боровков, Владимир Алексеевич*, род. в 1883 г. в Петербурге. В революционном движении с 1905 г., партия с.-д. большевиков. Петербург, Смоленск. Судился: 1) в Петербурге в 1905 г. — 2 г. крепости; 2) Петербургским военно-окружным судом в 1908 г., приговорен к 6 годам каторги. Отбывал каторгу в Вологодском и Ярославском централах. Всего отсидел 8 лет. На поселении в Енисейской губ. и том же уезде, около 3-х лет. Член Р. К. П. (Ленинградское отд.).

87. *Бородюкова, Мария Кирилловна*, родилась в 1888 г. В революционном движении участвовала с 1904 г. в группе анархистов-коммунистов. Судилась в Одессе воен.-окр. судом за принадлежность к группе анархистов-коммунистов и за конспиративную квартиру по 2-й части 126 ст., приговорена к 10 г. каторжных работ. Срок заключения отбывала в Одессе, в Мальцевской и Акатуевской тюрьмах. Всего в заключении пробыла 8 лет. Поселение отбывала в Забайкалье. Освобождена по амнистии 1917 г. Член Р. К. П. (Московское отд.).

88. *Борчанинов* (Чайкин), *Александр Лукич*, родился в 1884 г. в Пермской губ., в мещанской семье; слесарь. В революционном движении с 1902 г. в организации Р. С. Д. Р. П. (б). Судился в Киеве воен.-окр. судом за экспроприацию по 1683 ст. Приговорен к 2 с половиной годам исправ. ар. отд., затем судился суд. палатой по 2-й ч. 126 ст. приговорен к 4 годам каторги. Срок заключения отбывал в Перми, Киеве, Бутырках и Александровском централе. Всего просидел в заключении 5 с половиной лет; на поселении был в Якутской обл. 9 лет, освобожден по амнистии 1917 г. Член Р. К. П. (Московское отд.).

89. *Борьян, Баграт Артемьевич*, родился в 1882 г. В революционном движении с 1903 г. по 1913 г. в Бакинской организации Р. С. Д. Р. П. (б). С 1913 г. в Тифлисе и Эриване. Судился в Тифлисе в 1915 г. воен.-окр. судом по 100 и 102 ст. ст. угол. улож.; приговорен к 4 г. каторги. Заключение отбывал в Ярославском централе. Всего просидел 2 г. 2 мес. Член Р. К. П. (Московское отд.).

90. *Бохман, Войцех Карлович*, родился в 1885 г. в г. Калише в мещанской семье. В революционном движении принимал участие с 1904 года в организации п. с. д. Литвы и Польши и п. п. с. в Варшаве. Судился в 1908 г. Варшавским воен.-окр. судом по 102 ст. Приговорен к бессрочной каторге. Срок заключения отбывал в Варшаве, Ломже, Псковском и Ярославском централах. Всего в заключении пробыл 11 лет. Освобожден по амнистии 1917 года. Член Р. К. П. (Московское отд.).

91. *Бочарникова, Софья Львовна*, родилась в 1886 г. В революционном движении участвовала с 1905 г. в Одессе, Белецке, Брянске, Киеве, Ка-

г. Екатеринославе в группах анархистов-коммунистов. Судилась в Екатеринославе в 1909 г. военно-окр. судом по 2-й части 102 ст., приговорена к 4 г. каторги. Срок заключения отбывала в Екатеринославской, Бахмутской и Рижской каторжных тюрьмах. Всего отсидела заключения 6 с половиной лет; на поселении 3 с половиной года в Якутской области, откуда бежала за границу. Беспартийная. (Киевское отд.).

92 *Брагинский, Марк Абрамович*, родился в 1865 г. в Таганроге. В революционном движении с 1882 г. С 1883—84 г.г. в Петербурге в студенческих подпольных кружках; с 1885 по 1886 г. в организации «Народной Воли». В 1887 г. выслан административно в Якутскую область на 5 лет. Судился в Якутске в 1889 г. воен. судом за вооруженное сопротивление вместе с Зотовым, Гаусманом, Коган-Бернштейном и другими. Приговорен к 20 г. каторжных работ. Срок заключения отбывал в Вилюйске и Акатуе, на поселение вышел в 1894 г.; вернулся в Россию в 1895 г., эмигрировал за границу в 1903 г. в Париж, где был представителем группы с.-р.; с 1908 по 1916 г. работал в Петербурге в п. с.-р. Всего в заключении пробыл 8 лет. Член Р. К. П. (Московское отд.)

93 *Брагинский, Лев Матвеевич*, родился в 1883 г. в г. Конотопе. В революционном движении участвовал с 1902 г. в Союзе учащихся г. Курска; с 1905 г. в военной организации п. с.-р. там же. Судился в г. Курске в 1906 г. выездной сессией Харьковской суд. палаты за принадлежность к п. с.-р. по 126 ст. Улож. о наказан.; вторично судился в Харькове по протесту прокурора палаты: приговорен к ссылке на поселение. Поселение отбывал в Иркутской губ. в Бодайбо. Всего просидел 2 года, на поселении 9 лет. Член Р. К. П. (Московское отд.).

94 *Брамсон, Моисей Васильевич*, родился в 1862 г. в г. Ковно. Член партии «Народной Воли». В революционном движении участвовал с 1883 года. Арестован 28 декабря 1885 г.; был освобожден на поруки в 1886 г. Вторично арестован в 1887 г. и сослан административно на 5 лет в Якутскую область. Судился в Якутске в 1889 г. воен. судом за вооруженное сопротивление вместе с Зотовым, Гаусманом, Коган-Бернштейном и другими. Осужден на 20 лет каторжных работ, которые отбывал в Вилюйске и Акатуе. Всего пробыл в заключении 6 лет; срок заключения окончил в 1893 г., поселение отбывал в Селенгинске и Верхнеудинске. С 1901 по 1915 г.г. член п. с.-р. В настоящее время беспартийный. (Московское отд.).

95 *Браницкий-Эртманович, Виктор Андреевич*, родился в 1888 г. в г. Варшаве. В революционном движении с 1904 г. в Варшаве в п. п. с., с 1907 г. в Одессе и Бессарабии в организации Р. С.-Д. Р. П.; 1915—17 г.г. в Иркутской организации Р. С.-Д. Р. П. Судился в 1908 г. суд. палатой за принадлежность к партии с.-д. по 102 ст., приговорен к 6 годам каторжных работ. Срок заключения отбывал в Варшаве и Смоленске. Всего отсидел 9 лет. На поселении был в Иркутской губернии. Член Р. К. П. (Иркутское отд.).

96 *Бреслав, Борис Абрамович*, родился в 1872 г. В революционном движении с 1889 г. в организации «Бунда» в г. Витебске и Гомеле; с 1904 г. в Петербурге в организации «Искра», с 1905 г. в Николаеве, Москве, Екатеринославе, Перми и Екатеринбурге в Р. С.-Д. Р. П. (б). Первый раз был выслан административно из г. Витебска на 5 лет в Вост. Сибирь, откуда бежал. Второй раз выслан административно из Екатеринослава за принадлежность к партии в Сибирь на 3 года. Третий раз судился в Москве суд. палатой по 1-й части 102 ст., приговорен к каторге на 6 лет. Срок заключения отбывал в Москве в Бутырской тюрьме. Всего просидел около 10 лет. Член Р. К. П. (Московское отд.).

97 *Бронская-Корнеева, Софья Романовна*, родилась в 1880 г. в Ромнах Полтавской губ. в еврейской семье. Учительница. В революционном движении принимала участие с 1903 г. в партии с.-р., а с 1918 г.

в партии л. с.-р. интернационалистов. Революционной деятельностью занималась в г. Ромнах среди учащейся молодежи, в Петрограде в сестринском братстве, в Екатеринославе в Совете Рабочих Депутатов и в Якутске в группе с.-р. Судилась в Петрограде воен. судом по 102 ст. Приговорена на 5 лет каторжных работ, замененных поселением в Енисейской губ. Второй раз судилась в Енисейске суд. палатой за побег с поселения. Приговорена к 3 годам каторги, замененных по манифесту 1913 г. ссылкой в Якутской области. Всего в заключении пробыла 4 года. Освобождена по амнистии 1917 г. (Московское отд.).

98. *Бродский, Моисей Лазаревич*, родился в 1884 г. в Елисаветграде в еврейской семье. В революционном движении принимал участие с 1904 г. в Р. С.-Д. Р. П. в Полтаве и Одессе. Судился в 1908 г. Одесским воен.-окр. судом по 1-й ч. 126 ст. за принадлежность к военной организации. Приговорен к 4 годам каторжных работ. Срок заключения отбывал в Одесской тюрьме. Всего в заключении просидел 6 лет. На поселении был в Иркутской губ. Освобожден по амнистии 1917 года. (Одесское отд.)

99. *Броневский, Валериан Алексеевич*, родился в 1858 г. в г. Таганроге в дворянской семье. Учитель. В революционном движении принимал участие с 1878 г. в организации «Земля и Воля», в 1879 г. в организации «Народная Воля», а затем в п. с.-р. В 1881 г. был административно сослан в Сургут Тобольской губ., где пробыл до 1888 г. Первый раз судился 7 января 1907 г. Киевским воен.-окр. судом по 126 ст. Приговорен к 4 годам каторжных работ. Второй раз судился в ноябре того же года в Таганроге выездной сессией Новочеркасской суд. палатой по 1 ч. и 2 ч. 123 ст., приговорен на 5 лет исправительного арестантского отделения. Третий раз судился в январе 1908 г. там же суд. палатой по 1 ч. 102 ст. за участие в Таганрогском совете раб. депутатов в 1905 г. Приговорен к ссылке на поселение. Заключение отбывал в Новочеркасской кат. тюрьме и в Александровском централе. Всего в заключении пробыл около 6 лет, на поселении 7 лет. Освобожден по амнистии 1917 года. Левый народник. (Московское отд.).

100. *Бронштейн (Станиславская), Зинаида Самуиловна*, родилась в 1884 г. в г. Чите в еврейской семье. Слушательница высших женских курсов. В революционном движении участие принимала с 1905 г. в п. с.-р. в Петрограде, Москве, Киеве, Одессе. Судилась в Москве в октябре 1906 г. Моск. суд. палатой вместе с Максимом Бердягиным и др. за изготовление взрывчатых веществ и вооруженное сопротивление при аресте. Приговорена к 6 с половиной годам каторжных работ. Срок заключения отбывала в Московской, Мальцевской и Акатуевской каторжных тюрьмах. Всего в заключении пробыла 6 с половиной лет. На поселении была в Якутской области. Освобождена по амнистии 1917 года. После октябрьской революции член комитета партии левых с.-р. в Забайкалье. В настоящее время беспартийная. (Московское отд.).

101. *[illegible] (Р[illegible]), Михаил Яковлевич*, родился в 1889 г. в Елисаветграде в еврейской семье. В революционном движении принимал участие с 1904 г. в группе анархистов-коммунистов в Елисаветграде и в Одессе. Судился в Одессе воен.-окр. судом по 279, 1029 и 987 ст. ст. Приговорен к 20 годам каторжных работ. Срок заключения отбывал в Тобольском централе и Нерчинской каторге. Всего просидел в заключении 10 лет 3 месяца. Освобожден по амнистии 1917 года. В период революции 1917 г. на Юго-Зап. фронте был секретарем воен. комиссии Ц. К. п. с.-р. В настоящее время член Р. К. П. (б). (Московское отд.).

102. *Бублев, Михаил Иванович*, родился в 1888 г. в Сычевском у. Смоленской губ. в крестьянской семье. Слесарь. В революционном движении участие принимал с 1905 года в Р. С.-Д. Р. П. (б) в Петрограде. Судился в 1909 г. суд. палатой в Петрограде по 102 ст. Приговорен к ссылке на поселение. Ссылку отбывал в Киренском у. Иркутской губ.

Всего просидел в заключении 18 месяцев. На поселении 6 лет. Освобожден по амнистии 1917 года. Член Р. К. П. (б). (Московское отд.).

103. *Бунин, Самуил Маркович*, родился в 1890 г. в Могилевской губ. в еврейской семье. Бухгалтер. В революционном движении принимал участие с 1904 г. в организации «Бунда», а с 1906 г. в группе анархистов-коммунистов в г. Вильне и Гомеле. Судился в 1907 г. в Могилеве Киевской суд. палатой по 2-й ч. 126 ст. уг. ул. Приговорен к 15 годам каторжных работ. Срок заключения отбывал в Могилевской тюрьме и в Псковском и Владимирском каторжных централах. Всего в заключении пробыл 9 лет. На поселении был в Енисейской губ. Освобожден по амнистии 1917 года. Член Р. К. П. (б). (Московское отд.).

104. *Бурлай, Евгений Максимович*, родился в 1890 г. в г. Василькове Киевской губ. В революционном движении участие принимал с 1910 г. в партии с.-р. в г. Умани. Судился во Владивостоке 20 апреля 1913 г. Приамурским воен.-окр. судом за участие в восстании и пропаганду среди солдат, 128, 252, 258 ст. [illegible]. Приговорен к смертной казни через расстреляние, замененной бессрочной каторгой. Срок заключения отбывал в Александровском централе. Всего в заключении пробыл 4 года. Освобожден по амнистии 1917 года. Беспартийный. (Киевское отд.).

105. *Буров, Константин Иванович*, родился в 1885 г. в Нижегородской губ., Павловском у., в крестьянской семье. Кузнец. В революционном движении участие принимал с 1904 года в партии с.-р. в Нижегородской губ. Павловском у., в Сормове и Чите. Первый раз судился в Н. Новгороде 2 октября 1907 г. суд. палатой по 126 ст. Приговорен к 1 году 9 месяцам крепости. Второй раз судился там же 8 октября 1908 года Моск. воен.-окр. судом за хранение взрывчатых веществ по 2 ч. [illegible] 987 ст. Приговорен к 8 годам 2 мес. и 28 дням каторжных работ. Срок заключения отбывал в Нижегородской тюрьме, Ярославском централе и на Амурской кол. дор. Всего в заключении пробыл 8 лет 2 мес. 28 дней. На поселении был в Забайкальской обл. Освобожден по амнистии 1917 года. Член Р. К. П. (б). (Нижегородское отд.)

106. *Буссе, Христиан Юргенович*, родился в 1891 г. в Курляндской губ., Добленском у., в крестьянской семье. Кузнец-слесарь. В революционном движении участие принимал с 1908 г. в Р. С. Д. Р. П. Прибалтийского края в Митаве и Риге. В 1913 г. был отдан административно под надзор полиции, но скрылся. В 1916 году судился воен.-окр. судом в Риге по 102 ст. Приговорен к 4 годам каторги. Срок заключения отбывал в Петроградской пересыльной тюрьме. Всего в заключении пробыл 2 года. Освобожден по амнистии 1917 года. Член Р. К. П. (б). (Нижегородское отд.).

107. *Бык* (Юрьев), *Вольф Гершкович*, родился в 1885 г. в Житомире Волынском, в еврейской семье. В революционном движении с 1903 года в Р. С. Д. Р. П. («Искра» и «Рабочая Воля») и в группе анархистов-коммунистов, в Житомире, в Черкассах. Судился в Киеве в 1906 г. воен.-окр. судом по 126 ст. угол. улож. и по 9, 13 и 1453 ст. улож. о наказ. Приговорен к 8 годам каторжных работ. Срок заключения отбывал в Смоленском и Александровском централах. Всего в заключении пробыл 8 лет. На поселении был 4 года в Иркутской губ. Освобожден по амнистии 1917 года. Член Р. К. П. (Киевское отд.).

108. *Быков, Александр Иванович*, родился в 1862 г. в Киевской губ. Черкасском у., в мещанской семье. Журналист. В революционном движении участие принимал с 1879 года в Киеве и в Москве в организации «Народной Воли». Первый раз арестован в 1881 г. Судился в 1883 г. по делу «Народной Воли» воен.-окр. судом в Киеве. Приговорен к смертной казни, замененной ссылкой на поселение. В 1887 г. бежал из Верхоленского округа. В 1888 г. бежал вторично, был арестован в Москве, опять бежал и вновь арестован. Судился вторично в 1890 г. суд. палатой за

побег из Сибири. Приговорен к 3 годам каторги и 40 ударам плетьми. Наказание плетьми применено не было. В 1900 г. в Иркутске по подозрению в хранении нелегальной литературы был сослан административно в Томскую губ. Срок заключения отбывал на Каре и в Акатуе. Всего в заключении пробыл более 10 лет. На поселении был в Верхоленске и в Якутской обл., административной ссылке в Мариинске и в Черном Яру. В настоящее время беспартийный. (Харьковское отд.).

109. *Бялек, Владислав Янович*, родился в 1886 году в Опочно Радомской губ. в мещанской семье. Конторщик. В революционном движении участие принимал с 1904 года в Варшаве, Опочно, ст. Гологор, Черной Домбровке в польской соц. партии (п. п. с.). Судился в Петрокове в 1912 г. особым присутствием Варшавской суд. палаты за принадлежность к п. п. с. Заключение отбывал в Харьковской, Варшавской, Нижегородской и Московской каторжных тюрьмах. Всего в заключении пробыл 7 лет 4 месяца. На поселении был в Иркутской губ. 1 год 2 месяца. Член Р. К. П. (Московское отд.).

110. *Вавилин, Сергей Семенович*, родился в 1889 г. в Ардатовском у., Нижегородской губ., в крестьянской семье, конторщик. В революционном движении принимал участие с 1906 г. в организации п. с.-р. на Урале. Первый раз был арестован в 1906 г. за распространение Выборгского воззвания, просидев 4 месяца, был освобожден под залог. Второй раз арестован в 1907 г. в Перми за забастовку, судился по 129 ст., приговорен к 3 месяцам арестного дома. Третий раз судился в Николаевске выездной сессией Казанского окружного суда по 102, 279 и 13 стат. за принадлежность к б. о. п. с.-р. Приговорен к 10 г. каторги. Срок заключения отбывал в Пермских поверочных и Тобольском централе. Всего просидел 11 с половиной лет. После октябрьской револ. левый с.-р. Освобожден по амнистии 1917 года. В настоящее время вне партии. (Крымское отд.).

111. *Вайнберг, Юлий Станиславович*, родился в 1887 г. в г. Радоме, в мещанской семье; литератор. В революционном движении участвовал с 1901 года в организации Бунда; с 1907 г. в г. Омске в Р. С.-Д. Р. П. (б). Первый раз судился в 1906 г. в г. Радоме суд. палатой по 129 и 102 стат., Приговорен к ссылке на поселение. Выслан в г. Тару, Тобольской губ. откуда бежал. Работал нелегально в Омске, Москве, Баку и др. городах в Р. С. Д. Р. П. (б). Второй раз арестован в Петербурге в ноябре 1909 г. и затем отправлен в г. Тару, Тобольской г., где за побег с поселения приговорен к 3 годам каторги. Срок заключения отбывал в Радоме, Тобольске и в пересыльной Александровской тюрьме. Всего в заключении просидел около 5 лет. На поселение вышел в 1913 г. в Иркутскую губ. Освобожден по амнистии 1917 года. Беспартийный. (Московское отд.).

112. *Вайнер, Исаак Зусманович*, родился в 1884 г. в г. Вильно, в еврейской семье, закройщик. В революционном движении с 1902 г. в организации Бунда в г. Вильно. Аресту подвергался 3 раза. Судился в Вильне в 1907 г. окружным судом по 1454 и 1456 стат. Приговорен к 10 годам каторги. Срок заключения отбывал в Виленской тюрьме и в Рижском централе. Всего в заключении просидел 8 лет, на поселении был 2 года в Иркутской губернии. Освобожден по амнистии 1917 года. Беспартийный. (Московское отд.).

113. *Вайнер, Лейб Аронович*, родился в 1886 году в Бережнице Волынской губ., в еврейской семье. В революционном движении участвовал с 1903 г. в Ровно, Одессе и Николаеве в организации Бунда, а затем в группе анархистов-синдикалистов. Судился в Одессе в 1906 г. военно-окр. судом по 2 и ч. 126 ст. по делу анархистов-синдикалистов. Приговорен к 10 годам каторжных работ. Срок заключения отбывал в Московской пересыльной тюрьме и в Александровском централе. Всего в заключении пробыл 9 лет, на поселении 3 года в Иркутской губ. Освобожден по амнистии 1917 года. Беспартийный. (Киевское отд.).

114 *Батхадло (Бетчер), Эсфирь Насоновна*, родилась в 1889 г. в местечке Барановичи, Минской губ., в еврейской семье; работница спичечной фабрики. В революционном движении участие принимала с 1904 г. с п. с.-р. в гор. Пинске. Судилась в Пинске в 1908 г. Виленской суд. палатой по 1-й ч. 102 ст. Приговорена к 6 годам каторги, замененной по несовершеннолетию 4-мя годами. Срок заключения отбывала в Виленской каторжной тюрьме. Всего просидела около 6 лет; поселение отбывала в Балаганском у. Иркутской губ. Освобождена по амнистии 1917 г. Беспартийная. (Московское отд.).

115 *Варавко, Василий Викторович*, родился в 1879 г. в г. Александрии, Херсонской губ.; учитель. В революционном движении участвовал с 1905 г. в организации с.-р. в Николаеве и Александрии. Аресту подвергался 3 раза. Первый раз судился в Одессе суд. палатой за хранение литературы, приговорен к 1 году крепости; второй раз судился в Петрограде воен.-окр. судом по 102 ст. Приговорен к ссылке на поселение. Всего в заключении просидел около 2 лет. Поселение отбывал в Иркутской губ. Верхоленском уезде 3 года, откуда бежал в Англию. Вернулся в Россию в 1917 году. Беспартийный. (Московское отд.).

(Продолжение следует).

Ответственный Редактор *Вл. Виленский (Сибиряков)*.

В редактировании настоящего номера принимали участие: *М. Ф. Фроленко, Е. Н. Ковальская, Ф. Кон, И. А. Головина, Б. И. Кузьмин, Г. М. Крамаров.*

Издатель Всесоюзное О-во Политкаторжан и Ссыльно-поселенцев

ИЗДАТЕЛЬСТВО ВСЕСОЮЗНОГО ОБЩЕСТВА ПОЛИТИЧЕСКИХ КАТОРЖАН и ССЫЛЬНО-ПОСЕЛЕНЦЕВ.

Адрес издательства и склада изданий Книжный склад Мая.
МОСКВА, Петровка, 7. Тел. 1-48-92.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1925 ГОД

на журнал

посвященный истории революц. движения в России до падения царизма

„КАТОРГА и ССЫЛКА"

(ИСТОРИКО-РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ВЕСТНИК)

8 книг в год — **8 книг в год**

Под общей редакцией
В. Д. Виленского-Сибирякова.

При ближайшем участии: Н. А. Головиной, И. И. Ионова, Е. Н. Ковальской, Б. П. Козьмина, Феликса Кона, Г. Крамарова, А. В. Прибылева, М. Ф. Фроленко и др.

ПОСТОЯННЫЕ ОТДЕЛЫ ЖУРНАЛА: 1. Из истории революционного движения. 2. Каторга, тюрьма, ссылка и эмиграция. 3. Лики отошедших. 4. Библиография. 5. Хроника. Иллюстрации.

Размер каждого номера 16—19 листов, что составит в год свыше 150 листов

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: на 1 год (8 книг) **12 руб.**; на ½ года (4 книги) — **6 руб. 50 к.**; на 3 мес. (2 книги) — **3 руб. 50 к.** Цена отдельного номера **2 р.**

ГОДОВЫЕ ПОДПИСЧИКИ ПОЛУЧАТ без доплаты в качестве приложения **„Систематический Указатель содержания и Именной Указатель"** за все годы издания журнала.

Подписка на 1924 год за израсходованием комплектов **прекращена**

Полных комплектов за предыдущие годы **не имеется**. Имеющиеся в ограниченном количестве неполные комплекты (без **№ 1 „Историко-революционный Бюллетень", № 1, 4 и 10 „Каторга и Ссылка"**) отпускаются только подписчикам на **1925** г. по цене **20** руб. без пересылки

Из отзывов печати:

Каторга и Ссылка» буквально с каждым номером становится одним из интереснейших исторических журналов, обнаруживает здоровый рост как в смысле подбора материалов, так и интереса помещаемых статей... Внешне — издается очень хорошо, на прекрасной бумаге и с многочисленными портретами, обыкновенно впервые публикуемыми». (Красная Новь, 1924 г. № 2).

История революционного рабочего движения в России, приведшая к Октябрю, нашла свое ясное и красноречивое отображение в изданиях Политкаторжан... Последние технические достижения... заслуживают всяческой похвалы». («Правда», 1924 г. № 62).

Журнал дает, чрезвычайно ценный, хорошо подобранный материал, в яркой литературной форме развертывающий этап за этапом русской революции». («Вестник Труда», 1924 г. № 4).

«Рекомендуем всем интересующимся нашим революционным прошлым... должна быть непременной принадлежностью всех рабочих и клубных библиотек». («Книгоноша», 1924 г. № 1).

С каждым новым номером журнал становится более богатым содержанием для молодого историко-революционного органа — это успех большой». («Былое», 1924 г. № 23).

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1925 ГОД

НА ИЗДАВАЕМУЮ РЕДАКЦИЕЙ ЖУРНАЛА „КАТОРГА и ССЫЛКА"

ИСТОРИКО-РЕВОЛЮЦИОННУЮ

12 книг в год **БИБЛИОТЕКУ** 12 книг в год

ЖУРНАЛА „КАТОРГА и ССЫЛКА".

Предполагаемое содержание «Историко-Революционной Библиотеки»:

1 и 2. **М. Ф. Фроленко** — Воспоминания. 3. **Тюрьма, каторга и ссылка в эпоху первой революции** (Сборник). 4. **Н. С. Тютчев** — Статьи и воспоминания к истории революционного движения. 5. **Колесуха** — Амурская железная дорога (Сборник). 6. **Краухов** — Черноморский флот в революцию 1905 года. 7 и 8. **Сазонов** — Письма и материалы. 9. **Декаористы на каторге и в ссылке.** (Сборник). 10. **В. Д. Виленский-Сибиряков** — Записки каторжанина. 11. **Деятели русского революционного движения.** Альбом портретов с биографическими очерками. 12. **Якутская ссылка 70—80 г.г.**

Каждая книга размером 12—20 листов со многими иллюстрациями, что составит в год приблизительно 200 листов.

Подписная плата:

на год (12 книг)—15 руб.; на ½ года (6 книг)—8 руб.; на 3 месяца (3 книги)—4 руб. 50 коп.

В отдельной продаже цена книги 1 руб. 50 коп.—2 руб. 50 коп., а всей библиотеки свыше 20 рублей.

ПРИ ОДНОВРЕМЕННОЙ ПОДПИСКЕ НА ЖУРНАЛ „НАТОРГА и ССЫЛКА" и ИСТОРИКО-РЕВОЛЮЦИОННУЮ БИБЛИОТЕКУ

Подписная цена:

на 1 год (20 книг)—25 руб., на ½ года (10 книг)—13 руб. 50 коп.; на 3 мес. (5 книг)—7 руб. 50 коп.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ИЗДАВАЕМЫЙ РЕДАКЦИЕЙ ЖУРНАЛА «КАТОРГА и ССЫЛКА

БИО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ДЕЯТЕЛЕЙ РУССКОГО РЕВОЛЮЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ

(От предшественников-декабристов до революции 1917 г.)

Список лиц, принимавших участие в революционном движении в России с краткими биографическими сведениями и наиболее важной библиографией. Словарь будет иллюстрирован портретами, большинство которых опубликовывается впервые.

Все издание составит 5—6 томов, размером каждый 20-25 листов, и будет выходить выпусками по 5—6 листов в каждом выпуске.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ НА ПЕРВЫЙ ТОМ.

„От предшественников-декабристов до конца 80-х годов".

Первый том выйдет в течение 1925 года, в 5—6 выпусках, каждые 2-3 месяца по выпуску. Первый выпуск выйдет в январе 1925 года.

УСЛОВИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОДПИСКИ:

при подписке 2 рубля и при получении каждого выпуска по 1 рублю. Пересылка и наложенный платеж за счет заказчика.

По выходе первого выпуска цена будет ПОВЫШЕНА.

В середине декабря выйдет и поступит в продажу
книга ШЕСТАЯ журнала

„ПЕЧАТЬ и РЕВОЛЮЦИЯ“

Журнал литературы, искусства, критики и библиографии под редакцией В. П. Полонского и при ближайшем участии А. В. Луначарского, Н. Л. Мещерякова, М. Н. Покровского и И. И. Степанова-Скворцова.

Содержание 6-ой книги.

Статьи и обзоры: «Брюсов и революция», **А. В. Луначарского;** А. Франс», **В. М. Фриче;** «Литература о ленинизме» (обзор 2-ой), **Г. Баммеля;** Из переписки 900-х годов», **Б. Невского;** Из переписки Ф. М. Достоевского», **И. Лысанова:** Совр[illegible] [illegible] деревня», **П. Виноградской;** Иллюстрированный «Ревизор» на немецком языке», **П. Эттингера.**

Обозрение искусств и литературы: [illegible] выставка [illegible] статьи **Я. Тугендхольда, Н Тарабукина Федорова-Давыдова;** На правом фланге», **А. Лежнева;** «Журнал „Звезда“», **Л. Войтоловского;** «Журнал „Красная Молодежь“», **П. Лепешинского.**

Отзывы о книгах: И. Луппола, Б. Горева, С. Кривцова, М. Брагинского, В. [illegible]-Сибир[illegible], В. Кр[illegible], П. [illegible]ского, Д. Кап[illegible], С. Ч[illegible], А. Ко[illegible], А. Х[illegible], Ю. С[illegible], Ю Вип[illegible], А Бессер[illegible], Н Мещерякова, В Яр[illegible], М К[illegible], И. Макарова, М. Зеликмана, Г. Лелевича, С. Пионтковского, Д. Фурманова, Н. Лукина, И. Браславского, А. Неусыхина, П. Преображенского, Г. Баммеля, Д-ра За[illegible], И [illegible], [illegible]ского, С Мар[illegible], М Константин[illegible], Б Пур[illegible], А Стр[illegible], Н. Лебедева, Проф. Н. Талиева, В. Костицина, М. Гремяцкого, И. Когана, Н. Кольцова, А. Тимирязева, Проф. А. Селихановича, А И[illegible], Г. Вейсберга, Б Н[illegible], С Ф[illegible], Б Ка[illegible]ского, В. Переверзева, Н. Кашина, Р. Шор, Г. Винокура, И. Кубикова, Н. Фатова, А. Лежнева, Д. Гэрбова, В. Полянского, К. Локса, П. Маркова, И. Гливенко, Л. Розенталя, М. Лейтезена, Е. Браудо, Л. Войтоловского, Федорова-Давыдова, Н Щ[illegible], Проф. А. С[illegible]дорова, Г. Жидкова, С. Бугославского, М. Эйхенгольца, Н. Тихонова, Ольгина.

Литературная хроника. Письмо в редакцию.

В книге будут помещены портреты В. Я. Брюсова и А. Франса, также свыше 20 иллюстраций в тексте.

Адрес редакции: Москва, Никитский бульвар, дом [illegible]
«ДОМ ПЕЧАТИ».

5 M –

Цена 2 р. 50 к.

СКЛАД ИЗДАНИЯ:

МОСКВА, книжный склад «Маяк» Общества Политических Каторжан, Петровка, 7. Тел. 1-48-92.

ЛЕНИНГРАД, Государствен. Издательство, Просп. 25 Октября. Дом Книги.